1 р. 80 к. Индекс 73276

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вот и прошли эти годы первых восторгов, когда журналы, воспользовавшись долгожданными и все же внезапными цензурными послаблениями, наперегонки публиковали все, что на протяжении многих десятилетий печаталось только за границей либо в Самиздате. Мы утоляли застарелый информационный голод, и попытка ограничить журнальную подписку воспринималась миллионами людей как покушение на их новорожденную свободу.

В эти годы «Неве» посчастливилось выйти в первый ряд наиболее привлекательных изданий. Нам удалось — впрочем, ценою значительных усилий — осуществить такие публикации, на которые многие еще не решались. Напомним об одном из самых смелых романов начального периода перестройки — «Белых одеждах» Вл. Дудинцева. О повести Лидии Чуковской «Софья Петровна». О романе Кестлера «Слепящая тьма». Об ахматовском «Реквиеме». О «Граде обреченном» братьев Стругацких... Одновременно с редакцией «Нового мира» и вместе с ней мы нарушили казавшийся незыблемым цензурный запрет на произведения А. И. Солженицына и в этом году заканчиваем уже второй том «Марта Семнадцатого». Пожалуй, не менее важной победой стоит считать опубликование классического исследования Р. Конквеста «Большой террор»...

В результате сотни тысяч людей привыкли доверять «Неве» и прислушиваться к ее голосу.

Судя по вашим письмам и отзывам, многие подписываются на «Неву» прежде всего потому, что это журнал ленинградский, что каждый его номер — это словно бы весть из Ленинграда — Петербурга, города, который дорог многим и многим жителям нашей страны. Именно поэтому ленинградский, петербургский стиль должен быть главенствующим в нашем журнале. На страницах «Невы» появятся новые рубрики: «Двенадцать коллегий», «Петербургские трущобы», «Сенатская площадь», «Городские чудаки», «Физиология города» и другие. Что будет в этих рубриках, вы узнаете, получив первые номера «Невы» 1992 года.

В будущем году вас ожидают встречи с известными писателями, постоянными авторами «Невы». Это Л. Чуковская, братья Стругацкие, Я. Гордин, А. Житинский, Ю. Рытхэу, М. Чулаки. Сотрудничают с нами и литераторы русского Зарубежья — в их числе Ю. Гальперин, А. Львов, А. Синявский. Появятся и новые имена. Например:

Вячеслав ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ. Перцев дом. Лубочные картинки.

Не выбирая нормативных выражений, автор повествует о приключениях бывшего литератора, семейными обстоятельствами поставленного вне закона — закона о прописке. Попросту говоря, это бомж, и окружают его такие же закоренелые преступники, а за ними по ленинградским подвалам охотятся доблестные милиционеры. Автор пишет весело и зло, читателю временами жутко.

Владимир ШАРОВ. Репетиции. Роман.

Евангельский миф и русская история тут соединены необыкновенной, фантастически правдоподобной, увлекательной, как погоня, фабулой. Речь идет о самых важных вещах, и многое сказано впервые.

Широко будет представлена зарубежная литература; в частности, мы продолжим публикации произведений лауреатов Нобелевской премии. Ждет вас и переводной бестселлер:

Войцех ЖУКРОВСКИЙ. Каменные скрижали. Роман.

Роман выдержал на родине автора — в Польше, а также и в других странах — десятки переизданий. Оно и понятно: действие происходит в Индии, герой — сотрудник венгерского посольства, героиня приехала в составе миссии ЮНЕСКО из Австралии. Всепоглощающая взаимная страсть, непреодолимые препятствия, поразительные подробности экзотической обстановки, едкий политический анализ, правдивые сообщения о восстании в Будапеште...

Не менее занимательное чтение — роман классика французской научной фантастики **РЕНАР-БЕСЬЕРА «Люди, люди... и еще раз люди»** и повесть **Р. БРЕДБЕРИ «Недобрые гости».**

Литературное и философское наследие мы планируем представить такими именами, как А. И. Куприн, Д. Оруэлл, А. М. Ремизов, Ф. Хайек, Б. К. Зайцев, А. П. Остроумова-Лебедева.

Таковы наши стратегические планы. Жизнь, однако, часто требует внезапных тактических решений, и мы постараемся и впредь не упустить шанса напечатать вне очереди что-нибудь особенно интересное, хотя бы вроде повести В. Суворова «Аквариум», главы из которой вы держите сейчас в руках...

«Нева», 1991, № 8, 1—208

НЕВА 8/1991

ISSN 0130—741X

8/1991

Нева



Конюшенный мост
Рис. Ф. Васильевой

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

8/1991

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА

ВСПОМИНАЕМ

Выходит
с апреля
1955
года

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Сдано в набор 27.04.91. Подписано к печати 26.07.91. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,14 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 785.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.)

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3

Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики, критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15

Леонид АГЕЕВ

Виктор Соснора сказал точно и жестко: «Блистательное поколение шестидесятых годов разбилось о стену. Его уже нет...»

Это прежде всего — о поэтах. И о тех, кто уже отговорил свое на земле, и о тех, кому дано еще жить и вершить свой труд, удел которых — одиночество, «одиночество слуха и речи» (Т. Галушко).

Поколения нет, но как боль в несуществующей, оттяпанной руке, мозжит ностальгия по нему, по общим прозрениям и иллюзиям, по былой нерасторжимости единомышленников.

Леониду Агееву была особенно присуща эта ностальгия. И наверное, последним (и поразительно неслучайным) подарком судьбы ему была, за две недели до смерти, встреча на совместной читке в Народном музее Ахматовой, встреча с товарищами юности, поэтами питерской «оттепели», авторами стихотворного сборника «То время — эти голоса».

Я знал Леонида Агеева с нашей общей горняцкой первокурсной поры, с первого занятия институтского ЛИТО осенью пятьдесят третьего, иначе говоря — всю жизнь его в поэзии. И я всегда считал его одним из лучших поэтов моего поколения.

Не будучи ни пессимистом, ни меланхоликом в поэзии, Леонид Агеев немало писал о смерти. В разные периоды творчества он обращался к этой теме: в молодости — без романтических декораций и лихости, а зрелости — без подспудного тоскливого страха и безнадежности.

Наши смерти живут на горе,
на особой горе, на высокой.
Смерть лежит, ожидая в норе
своего непременного срока.

День ли, ночь ли, рассвет ли, закат —
оживают угрюмые норы.
Ах, у смерти недолгие сборы,
возвращаться не надо назад...

Смертный срок грянул для него в наши выморочные дни, на койке новостроечной больницы. Все, как сказано:

...все на «скорую помощь» похоже —
вызов, отзыв, дымок голубой...

Я снова вижу людей на заснеженном Волковском кладбище, людей, которые с пронзительной отчетливостью понимали, что́ значит в русской поэзии это имя — Леонид Агеев, и все не могли отойти от свежей могилы, стояли, молчали, запоминали...

Олег ТАРУТИН

Геология жизни

А. Платонову

1

Время. Ветры. Дожди. Перепады
зимних с летними температур...
Мегатонные эти заряды
разрушительней всех диктатур.
Был гранит — остается песочек.
А песочек — одна благодать:
и бульдозером просто ворочать,
и лопатою сортировать.
На фундамент бетонный, на сваи —
замечательный материал...
Что ж он песни поет — завывая
на погостах разрушенных скал.
Что вы, братцы прорабы, не спите?
Или сна вам в ночи не дает
эта память песка о граните:
подозрительно, сволочь, поет.
Страх: а вдруг да по первому свисту,
в котлован поползет он с пластов.
И бульдозер тут с бульдозеристом,
и лопаты лихих удальцов...

2

Тяжелеют угрюмые своды,
расползается крепи гнилье.
Вся надежда на прочность породы,
на безмерную стойкость ее.
По известной теории давней,
подтверждаемой всемирово,—
чем сильнее на *целое* давит,
тем сильнее — на *части* его.
Уплотняются...
Мир уплотнился,
микротрещины множат мирки.
«Эй, полегче там! — катится снизу,—
Совесть надо иметь, мужики!»
Нерушимые — есть ли союзы?

Нерушимость их — кто измерял?
...Вот — друзей,
вот — семьи твоей
друзы.
Это — личности четкий кристалл.

✦ ✦ ✦

К Парамону приходит Макар
каждый вечер, лишь вечер — погожий.
Парамон, как Писание, стар,
Парамона Макар не моложе.
Прополов и полив огород,
подоив дерезу в сараюхе,
к Тимофевне Авдотья идет,
обе — древние и полуглухи.
На бревне у поленницы дров,
на крылечке, с дресвою помытом —
больше дум-горемык,
меньше слов,
места нет пустяковым обидам.

...Булдыганы мозолистых дней —
путь-дорога к спокойному праву
не жалеться о доле своей,
о чужой пожалеть не в забаву.
Жизнь,
которая тем и берет,
тратит, тратит, а все же — в приходе,
что
Макар к Парамону приходит,
к Тимофевне Авдотья идет...



То
в преддверье зари просыпаться
и смотреть из окна на Восток,
где березы, как протуберанцы,
световой разрывают поток...
То
с укрытого шкурою моха
валуна, стерегущего сад,
до последнего в тучах сполоха
наблюдать равнодушный закат...
То,
осеннего чистого неба
постигая в ночи красоту,
как жилище себе
для обмена,
выбирать понадежней звезду...
Понимая:
с тобою такое
и в былые бывало года,
понимать,
что такого с тобою
больше может не быть никогда.



Неужели и жизнь молодая
Отшумела, как платье твое?..
А. Блок

Приходила. Любовь приносила,
обращавшую логово в дом.
Говорила: «Оброс, как Зосима!» —
«Что за Сима? Пардон, не знаком!»
По вихрам, точно ветром по кроне,
пробегала пьянящей рукой...

Ничего, кроме вечной погони
за сочащейся кровью строкой,
ничего, кроме полной свободы
жизни —
в поле ее и тайге,
не признавшей за гончие годы,
ты тянулся к дающей руке.
Присмирев, не щетинилась холка,
застилало глаза пеленой,
всей душой одинокого волка
припадал —
к просветленной, иной.

...Под зонтом беспробудного часа
в суету ускользала, в дела...
Ненадолго хватало запаса
излученного ею тепла.
Ненадолго...
А полем-то — кони...
Над тайгою-то — лося труба...
Возвращается время погони,
трезво стрелки подводит Судьба.

...Побурели предметы от пыли.
Паутина. Окурки...
Ну, что ж!
Приходила —
ко всем приходили!
Не приходит —
и ты не помрешь!



И сжаты челюсти до боли,
и не уходит боль с лица...
На минном, на житейском поле
друзей
взрываются
сердца.

...В ночных бесчисленных полетах,
когда безвластно дремлет плоть,
на отчих северных широтах
ты страх не в силах побороть.
Но в отсветах очередного
разрыва (чье?.. людское! чье!)
летишь и ждешь, спокойный снова,
как сдетонирует *твое*...

●

Виктор
СУВОРОВ

АКВАРИУМ

Повесть

Глава IX

1

В ГРУ новые веяния. В ГРУ новые люди. Фамилии новых начальников 2-го, 7-го, 12-го управлений, 8-го направления, 6-го управления и 4-го направления 11-го управления мне не говорят ничего. Генералы да адмиралы. Но фамилия нового начальника 5-го управления знакома до боли. Кравцов. Генерал-лейтенант. Пять лет назад, когда я уходил в академию, он получил свою первую генеральскую звезду. Теперь их две. Наверное, скоро будет три. Все его предшественники на этом посту были генерал-полковниками. 5-е управление! Под контролем этого небольшого жилистого человека весь Спецназ Советской Армии. Ему подчинены диверсионные и добывающие агентурные сети шестнадцати военных округов, четырех групп войск, четырех флотов, сорока одной армии и двенадцати флотилий. Ему сейчас сорок четыре года. Успехов вам, товарищ генерал.

А у меня нет успехов. Я знаю, что нужно искать выходы к секретам, но у меня на это не остается времени. Дни и ночи я в агентурном обеспечении без выходных, без праздников. Спидометр моей машины взбесился. Не проходит недели, чтобы на спидометре тысячи километров не прибавилось. Иногда эти тысячи прибавляются катастрофически быстро, и тогда Сережа Нестерович, наш автомеханик, по приказу Младшего лидера подкручивает спидометр, сбрасывая лишние тысячи. У него для этого есть специальный приборчик: коробка и длинный металлический тросик в трубочке. Был бы я на его месте, непременно сбежал бы с этим приборчиком в Америку. Покупал бы старые машины, прокручивал спидометры и продавал машины, как новые.

Крутит он спидометр не мне одному. Много нас, борзых, в резидентуре. И каждый носится по Европе интенсивно, как Генри Киссинджер.

Спидометр — лицо разведчика. И не имеем мы права показывать своего истинного лица. Крути, Сережа!

2

Навигатор руки потирает:

— Заходите. Рассаживайтесь. Все?

Младший лидер окидывает нас взглядом. Пересчитывает. Улыбается Навигатору:

— Все, товарищ генерал, за исключением шифровальщиков, группы радиоконтроля и группы радиоперехвата.

Навигатор ходит по залу, смотрит в пол. Вот он поднимает голову и радостно улыбается. Таким счастливым я его никогда не видел.

— Благодаря стараниям Двадцать Девятого, наша резидентура сумела добыть сведения о системе обеспечения безопасности на предстоящей в Женеве выставке «Телеком — 75». Подобные материалы сумели добыть дипломатические резидентуры ГРУ в Марселе, в Токио, в Амстердаме и в Дели. Но наша информация наиболее полная, и получена раньше других. Поэтому начальник ГРУ,— он выжидает мгновенье, чтобы придать заключительной фразе больше веса,— поэтому начальник ГРУ доверил нам проведение массовой вербовки на выставке!

Мы взвыли от восторга. Мы жмем руку Двадцать Девятому. Зовут его Коля Бутенко. Он капитан, как и я. В Вену он приехал позже меня, но уже успел совершить две вербовки. Варяг.

— Двадцать Девятый.

— Я, товарищ генерал.— Коля вскочил.

— Благодарю за службу!

— Служу Советскому Союзу!

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 6, 7.

— А теперь тихо. Восторги будут после выставки. Как делается массовая вербовка, вы знаете. Не дети. На выставку высаживаем всей резидентурой. Все работаем только в добывании. В обеспечении работают дипломатическая резидентура ГРУ в Женеве генерал-майора Звездина и бернская резидентура генерал-майора Ларина. Если потребуется выход на территорию Франции, то марсельская и парижская резидентуры ГРУ готовы к обеспечению. Общее руководство осуществляю я. На время операции мне временно будет подчинен начальник 3-го направления 9-го управления службы информации ГРУ генерал-майор Фекленко. Он прибывает во главе мощной делегации. Николай Николаевич...

— Я, товарищ генерал...— Заместитель по информации вскочил.

— Встреча делегации, размещение, транспорт на твоей совести.

— Да, конечно, товарищ генерал.

— В ходе массовой вербовки применяем обычную тактику. Если кто совершит глупость, то я принесу его в жертву общему успеху точно так, как парижский лидер ГРУ пожертвовал пешкой — помощником военного атташе в ходе массовой работы на выставке в Ле Бурже. Мой первый заместитель (Младший лидер встает) познакомит каждого из вас с теми членами делегации, с которыми каждый будет работать. Желаю удачи.

3

Московский экспресс прибывает в Вену в 5.58 вечера. Медленно мимо нас проплывают зеленые вагоны. Чуть скрипят тормоза. Здравствуйте, товарищи! Приветствуем вас на гостеприимной земле Австрии! Носильщиков звать не надо. Их много. Они знают, что официальная советская делегация не поскупится на чаевые.

Делегация огромна. Офицеры информации ГРУ, офицеры Военно-промышленного комитета (ВПК) Совета министров СССР, эксперты военной промышленности, конструкторы вооружения. Конечно, ничего этого не вычитаешь в их паспортах. Если верить паспортам, то они из Академии наук, из министерства внешней торговли, из каких-то несуществующих институтов. Но разве можно верить нашим паспортам? Разве в моем дипломатическом паспорте указано, что я офицер добывания ГРУ? Здравствуйте! Здравствуйте.

На нашей маленькой смешной планете происходят удивительные вещи. Но они почему-то удивляют только меня и никого более. Никому дела никакого нет до огромной советской делегации. Никто вопросов не задает. А неясных вещей множество. Почему, к примеру, советская делегация прямо в Женеву не едет, зачем она на три дня в Вене останавливается? Отчего делегация в Вену прибыла единым монолитным строем, как батальон, а в Вене вдруг раздробилась, распалась, рассыпалась? Отчего делегаты направляются в Женеву разными путями, разными маршрутами, кто поездом, кто автобусом, а кто самолетом летит? Что за чудеса, до Вены поездом не спеша, а дальше самолетом? Отчего на выставке в Женеве советских дипломатов сопровождают советские служащие ООН в Вене, а не советские служащие ООН в Женеве? Вопросов много. Но никого они не интересуют. И никто на эти вопросы ответов не ищет. Что ж, тем лучше для нас.

4

В комнате для инструктажей, в прозрачных креслах, в которые невозможно вмонтировать никакую аппаратуру, сидят двое незнакомых. Младший лидер представляет меня:

— Это Виктор.

Я сдержанно кланяюсь им.

— Виктор, это Николай Сергеевич, полковник-инженер НИИ—107.

— Здравия желаю, товарищ полковник.

— Это Константин Андреевич, полковник-инженер из 1-го направления 9-го управления службы информации ГРУ.

— Здравия желаю, товарищ полковник.

Я жму протянутые руки.

— Меня интересуют, — ухватил быка за рога Николай Сергеевич,— приемные устройства, захватывающие отраженный лазерный луч, который используется для подсветки движущихся целей при стрельбе с закрытых огневых позиций...

— Вы, конечно, понимаете, что мои знания в этом вопросе поверхностны.

— Конечно, мы это понимаем. Поэтому мы и находимся тут. Ваше дело вербовать, наше — осуществлять технический контроль.— Николай Сергеевич раскрывает свой портфель: — По данным службы информации ГРУ наибольшего успеха в данной области добились фирмы «Хьюз», США и «Силаз», Бельгия.

— Против них я на выставке работать не могу.

Они с недоумением смотрят на Младшего лидера. Но он поддерживает меня:

— Это наш закон. У стендов больших фирм на выставках постоянно находятся сотрудники безопасности этих фирм. На выставках мы работаем только против очень небольших фирм, у стенда которых находится лишь один человек. Как правило, это сам владелец фирмы. Вот против таких мы и работаем.

— Жаль.

— Ничего не поделаешь, стиль нашей работы резко меняется в различных обстоятельствах...

— Хорошо. Вот рекламные проспекты и статьи о небольших фирмах, связанных с этой проблемой. Вот схема их расположения на выставке. Вот фотография того, что нам надо. За эту черную коробочку ВПК готово платить 120 тысяч долларов, ибо разработка подобной системы в Союзе потребует многих лет и миллионов. Дешевле скопировать.

— Деньги у вас с собой?

— Да.

— Можно посмотреть? Я должен к ним привыкнуть.

Константин Андреевич кладет на прозрачный стол прямоугольный поблескивающий портфель и открывает его. Внутри портфель набит газетными вырезками, рекламными проспектами, еще какими-то бумагами: ведь на входе и выходе — полицейский контроль, вся эта макулатура — для полицейских глаз. Он щелкнул чем-то, открывая второе дно.

О, какое великолепие. Зеленое сияние очаровало меня. Я замер. Наверное, так граф Монте-Кристо рассматривал свои сокровища. Какие человеческие усилия, какая роскошь сконцентрирована в этих аккуратных пачках хрустящей зеленой бумаги.

Я равнодушен к деньгам. Вернее, почти равнодушен. Но то, что я увидел в этом маленьком чемоданчике, заставило меня чуть прикусить губу.

— Это демонстрационный портфель,— объясняет Константин Андреевич.— Деньги в нем настоящие, но их не так много, как кажется. Мы не можем проносить с собой на выставку много денег. Поэтому тайное отделение сделано так, чтобы создавалось впечатление нескольких сот тысяч долларов. На самом деле тайное отделение не такое глубокое, как кажется. В ходе выставки мы не платим, а только демонстрируем. Для демонстрации лучше использовать крупные новые купюры. Оплату мы производим вдали от выставки и используем мелкие и потрепанные купюры. Вот они...

Он открывает старый побитый чемоданчик, до краев наполненный пачками денег. Я трогаю их. Я беру в руки десяток пачек. Нюхаю их и кладу обратно. Все вокруг меня смеются. Чему?

— Не обижайся, Виктор,— объясняет Младший лидер,— во втором чемодане денег гораздо больше, чем в первом, но ты к ним равнодушен. А первый демонстрационный чемоданчик тебя просто очаровал. Это настолько разительно, что невозможно не засмеяться. Что ж, мы рады, что демонстрационный чемоданчик так хорошо действует даже на тебя.

Выставка — это поле битвы для ГРУ. Выставка — это поле, с которого ГРУ собирает обильные урожаи. За последние полвека на нашей крошечной планете не было выставки, которую не посетило бы ГРУ.

Выставка — это место, где собираются специалисты. Выставка — это клуб фанатиков. А фанатику нужен слушатель. Фанатику нужен кто-то, кто кивал бы головой и слушал его бред. Для того они и устраивают выставки. Тот, кто слушает фанатика, кто поддакивает ему, тот — друг. Тому фанатик верит. Верь мне, фанатик. У меня работа такая, чтобы мне кто-то поверил. Я как ласковый паучок. Поверь мне: не выпутаешься.

Для ГРУ любая выставка интересна. Выставка цветов, военной электроники, танков, котов, сельскохозяйственной техники. Одна из самых успешных вербовок ГРУ была сделана на выставке китайских золотых рыбок. Кто на такую выставку ходит? У кого денег много. Кто связан с миром финансов, большой политики, большого бизнеса. На такую выставку ходят графы и маркизы, министры и их секретарши. Всякие, конечно, люди на выставки ходят, но ведь выбирать надо.

Выставка — это место, где очень легко завязывать контакты, где можно заговорить с кем хочешь, не взирая на ранги.

Но ГРУ никогда не работает в первый день работы выставки. Первый день — открытие, речи, тосты, суета, официальные лица, излишне нервная полиция. Любая выставка принадлежит нам, начиная со второго дня.

День, когда выставка открывается, важен для каждого из нас, как для командира последний день перед наступлением. В этот день командир вновь и вновь томительными часами прощупывает поле битвы своим биноклем: овраг обойти, вон там ребят дымовой завесой прикрыть, черт, в болотце бы не утонуть, неприметное на вид, а вон там заградительный огонь поставить десятью батареями, оттуда контратака будет.

Огромные силы агентурного добывания, обработки и агентурного обеспечеиия стянуты сейчас в этот милый город. Но мы пока не на выставке. Первый день — не наш. Мы разбрелись по бульварам и набережным, по узким улицам и широким проспектам. Каждый еще и еще раз готовит свое поле битвы: не обошли бы с фланга, не ударили бы в тыл.

Не знаю почему, но завтрашняя массовая вербовка меня пока не волнует. Не стучит и не сжимается сердце. Нет. Не оттого, что я великий разведчик, бесстрашно идущий на рискованную операцию. Наверное, просто оттого, что я занят другим. Меня занимает не предстоящая вербовка, а великий город Женева. Просто добрый волшебник бросил меня в царство прошлого, где на одной улице смешались все эпохи. Улица эта — rue de Lausanne — улица ГРУ.

Тут, на рю де Лозанн, до войны в большом старом доме, в незаметной квартире на третьем этаже находился центр нелегальной резидентуры ГРУ, которой руководил Шандор Радо. Дипломатический резидент ГРУ и не подозревал, что прямо в двух кварталах от него работает сверхмощная тайная резидентура «Дора», опутавшая правительства Европы своими цепкими щупальцами. Тут же, на этой улице, находился узел связи нелегальной резидентуры ГРУ «Роланд», которой управлял генерал Мрачковский. Резидентура «Роланд» раскинула свои сети от Шанхая до Чикаго. Но Навигатор «Роланда» не подозревал о существовании «Доры». А Навигатор «Доры» не знал о Мрачковском и его чудовищной организации «Роланд». А дипломатический резидент не знал об обоих.

Яркий осенний день. Жарко. Но листья уже шуршат под ногами. Иностранные рабочие, испанцы или итальянцы, одетые в оранжевые комбинезоны, спешат убрать первое золото осени с дорожек парка. Эй, не делайте этого. Неужели вам не нравится ходить по багровым и червонным коврам? Неужели шуршание осени вас не волнует? Неужели серый асфальт лучше? Нет у вас, братцы, поэзии ни на грош. И оттого ваш маленький прожорливый трактор так быстро и жадно заглатывает красу природы. А были бы вы чуть более поэтичны, то бросили бы работу да наслаждались. Сколько красок! Какое великолепие. Какая роскошь. Человек никогда не сможет сделать лучше того, что делает природа. Вот напротив входа в парк Мон-Репо — школа. Красивая, как замок. И часы на башне. Заглядение. Но ведь серая она. Нет бы пятнами ее изукрасить золотыми, да багровыми, да оранжевыми.

Под часами на башне школы дата «1907». Это значит, что и Ленин на эту школу любовался. А может быть, буржуазный стиль ему не нравился? Во всяком случае, он тут жил. На рю де Лозанн, где потом разместились резидентуры ГРУ, где сейчас огромные дома для дипломатов громоздятся. Голову на отрез, нелегальные резидентуры ГРУ и сейчас тут работают, не снижая производительности. Хорошее место. Понимал Владимир Ильич, где жить. Понимал, в каких парках гулять. Рабочих он любил, а буржуазию ненавидел. Поэтому он не жил в рабочих кварталах Манчестера или Ливерпуля. Он жил в стане врагов, в буржуазных кварталах Женевы. Наверное, хотел глубже понять психологию и нравы буржуазии, чтобы бить ее наверняка, чтобы всех сделать свободными и счастливыми.

В те дни тут, по парку Мон-Репо и по рю де Лозанн, гуляли террористы, мечтавшие убить русского царя — Гоц, Бриллиант, Минор. Наверное, встречая Ленина, они раскланивались, приподнимая черные котелки, прижимая ладонь к накрахмаленной манишке. А может быть, они принципиально не замечали друг друга и не раскланивались. Во всяком случае, когда Ленин взял власть, он всех террористов, попавших в его руки, перестрелял, а заодно и царя, которого террористы так и не сумели убить.

Мне нужно спешить. У меня только один день. Последний день перед боем, перед моей первой зарубежной вербовкой. Я должен знать поле битвы, как свою ладонь, как командир батальона знает изрытое воронками поле, по которому завтра пойдут в наступление его ребята. Но я не спешу. Меня очаровал старый парк, который видел так много. Тут в октябре 1941 года на какой-то скамеечке состоялось совещание нелегальных резидентов ГРУ в Европе. Пока Советский Союз не принимал участия в европейской войне, Гестапо не трогало его агентуры, хотя и имело некоторые сведения о ней. Но в первый день войны начались провалы. Начались массовые аресты. Операции по локализации провалов результатов не давали. Провалы множились. Провалы групповые. Провалы по цепочке. Провалы, как круги на воде от брошенного камня. Провалы на линиях связи. Связь потеряна. Явки ненадежны. Под подозрением все. Каждый резидент подозревает каждого своего офицера и агента, а каждый из них подозревает всех остальных. Каждый резидент уже чувствует дыхание Гестапо на своей шее и запах теплой крови в камерах пыток. Каждый бессилен.

В этой обстановке они собрались в Женеве. В парке Мон-Репо. Им запрещено было это делать. Ни один из них не имеет права знать ничего о деятельности таких же резидентур ГРУ. Такая встреча — преступление. За такую встречу, если в Москве узнают,— расстрел. Но они встретились.

По своей инициативе. Как они нашли друг друга? Не знаю. Наверное, по «почерку». Как проститутка в огромной толпе среди тысяч женщин безошибочно может найти незнакомую подругу по профессии. Как вор видит вора. Как сидевший в тюрьме без труда по каким-то неуловимым признакам узнает того, кто когда-то тоже был в тюрьме.

Они встретились. Они сидели угрюмые, может быть, под этим каштаном. Волки разведки. Высшая элита агентурного добывания — нелегальные резиденты. Навигаторы. Лукавые. Командиры. Они сидели тут и, наверное, больше молчали, чем говорили. Может быть, для них это молчание было и прощанием с жизнью, и моральной подготовкой к пыткам, и взаимной братской поддержкой.

Вряд ли кто, глядя со стороны, мог подумать, что тут собран цвет руководства сверхмощной организации, которая не единожды сжимала глотку Европы невидимой, но железной хваткой. Вряд ли, глядя на этих людей, кто-то мог подумать, что каждый из них повелевает безраздельно тайной организацией, способной проникать в высшие сферы власти и шатать устои государственности, смещая министров и целые правительства, потрясая столицы топотом миллионных демонстраций. Кто мог подумать, что эти люди в парке Мон-Репо обладают почти неограниченными богатствами? Они сидели в поношенных пальто, в истертых пиджаках, в стоптанных ботинках. Настоящий разведчик не должен привлекать к себе взглядов. Он незаметен, как асфальт. Он сер. Внешне.

Это были загнанные волки. Зажатые в угол. Им не было выхода. То, что они делали, карается в Советском Союзе высшей мерой наказания и именуется страшным термином: горизонтальные связи в агентурном добывании. В ухо им дышало Гестапо.

Они сидели долго. Они о чем-то спорили. Они приняли решение. Они изменили тактику. Они изменили системы связи, способы локализации провалов, проверок и вербовок. Каждый делал это якобы по собственной инициативе, не докладывая в ГРУ о тайном сговоре. Да связи тогда и не было.

Они все пережили войну. Каждый из них добился блестящих результатов. Они все вместе доложили руководству ГРУ о незаконном совещании 41-го в 1956 году. Они все стали героями. Победителей не судят.

Но кто за рубежом взвешивал вклад этих людей в победу? Кто принимал их в расчет, когда планировал молниеносный разгром Красной Армии?

С первого дня существования ленинского режима ему пророчат быструю и немедленную гибель. Пророчат все, забывая предыдущие пророчества. Отчего же забывают об этих людях в потертых пиджаках на скамейке женевского парка Мон-Репо?

6

«Аскот», «Эпсом», «Амат», «Дэрби» — это гостиницы в Женеве. Это цитадели ГРУ. Вообще-то в Женеве любая гостиница в квадрате, ограниченном парком Мон-Репо, рю де Лозанн, набережной озера и рю де Монблан, давно превращена в пристанище ГРУ или КГБ. Из этих гостиниц ранним утром потянулись группы добывания на левый берег. Наш путь к Palais des Expositions. Это гигантское сооружение строилось много лет. С огромным, как вокзал, залом сливались такие же залы, образуя бескрайнее бетонное поле под общей крышей. Бетон застилают коврами, разделяют залы перегородками и каждый выставляет свои достижения.

Сейчас к этому сооружению со всех концов выдвигаются группы агентурного добывания ГРУ. Сюда стекаются группы обработки и агентурного обеспечения. Если бы на огромной карте каждого нашего варяга и борзого каждую нашу машину обозначить светящейся подвижной лампочкой, то получилась бы грандиозная картина. Так полчище крыс медленно окружает льва, которому суждено быть съеденным. Так бесчисленные советские дивизии выдвигались на штурм окруженного Рейхстага.

Сколько стянуто сюда машин с дипломатическими номерами! Сколько серых, незаметных «фордов» без дипломатических номеров. Сколько автобусов и фургонов. Генеральный консул из Берна и консул из Женевы поставили свои черные «мерседесы» в разных концах Plaine de Plainpalais. Они не в добывании. Они в обеспечении и не в агентурном, а в общем обеспечении. Если кого-то из нас арестуют, они готовы вмешаться, они готовы протестовать, они готовы угрожать ухудшением добрососедских отношений и ответными санкциями, они готовы полицию отшиаать, отмазывать. Советский посол в Швейцарии Герасимов и советский посол при отделении ООН в Женеве Миронова тоже на боевых постах. Они тоже в общем обеспечении. Они не знают, что происходит, но имеют шифрованное указание из Центрального Комитета находиться в полной готовности — угрожать, пугать, давить, отшивать, отмазывать. На боевом посту дипкурьеры. Возможно, будет срочный груз в Москву. На боевом посту «Аэрофлот». Того из нас, кого арестуют, он готов немедленно после освобождения переправить домой. Чтобы шуму меньше было. Чтобы журналистам пищи не давать. Чтобы скандал не раздувался. Чтобы все тихо и мирно было.

Входов много. У каждого входа очередь. Это хорошо. В толпе мы серые, незаметные. Семь франков билет. Пожалуйста, три билетика. Двадцать один франк. Отлично. Хорошая цифра. Все, кто работает в добывании,— суеверны, как старая дева. В нашей группе один портфель. Демонстративный. Можете проверить. Бумага. Ничего более. Можете рентгеном просветить или через магнитные ворота нас пропустить: бумага.

Спутники мои скорее к своим стендам торопятся. Ну уж хрен вам! Теперь я хозяин. Мне человека вербовать, мне с ним работать, так уж не спешите. Вот к этому дяде подойдем. Он вас не интересует? А это ничего. Поговорим с ним, можем и кофе с ним попить. А теперь вот сюда подойдем и вот сюда. Опять посидим, побеседуем с представителями фирм, покачаем головами, повосхищаемся слегка. Вот и сюда можно зайти — радиостанции. Это вам совсем не интересно? Знаю я, знаю. Но зайдем. Побеседуем.

А вот и наши стенды потянулись. Крупные фирмы, большие достижения. Мы сюда тоже подойдем, на серые коробки с завистью посмотрим и дальше пойдем. У стендов крупных фирм по многу людей скапливается. Объяснения дают специалисты фирмы, явно тут и служба безопасности фирмы присутствует. Дальше, дальше пойдем. Вот тут и остановимся. У серых коробочек одиноко скучает небольшого роста мужчина. Один. Фирма маленькая. Кто он? Владелец фирмы или ее директор, он же сам для себя и служба безопасности.

— Доброе утро.

— Здравствуйте.

— Ваши коробочки нас очень интересуют. Небывалая вещь.— Мои спутники притворяются, что языками не владеют, и оттого я играю роль переводчика. Это хороший прием: у них гораздо больше времени на обдумывание ответов. Кроме того, этим они меня как бы на передний план выталкивают.

Поговорили о всякой технической чепухе, цифры какие-то, у меня от этого голова болит. А спутники мои аж подпрыгивают, на месте усидеть не могут.

— И сколько вы за одну коробочку желаете?

— 5500 долларов.

Мы все смеемся. Я тут же (сзади никого нет) демонстрационный портфель открываю, прямо двойное дно, чтобы он сумел изумрудным сиянием насладиться. Тут же я его и закрываю. А он на портфель завороженным взглядом смотрит.

— Мы за одну эту коробочку готовы 120 000 долларов вот сейчас вам отсыпать. Да вот беда, мы из Советского Союза, а ваши западные правительства варварски попирают свободу торговли, и мы, к сожалению, вашу коробочку купить не можем. Так жаль!

Мы встаем и уходим. Отошли тридцать шагов. Завернули за угол. Смешались с толпой.

— Ну, что? Настоящая коробка или макет?

— Настоящая! Иди вербуй!

Технические эксперты со мной ходят для умного разговора да для того, чтобы пощупать товар перед покупкой. Меня-то обмануть можно. Их нет. Я к стенду возвращаюсь. Портфель мой в руках. Он меня узнает. Улыбается. Я мимо иду. Тоже улыбаюсь. Вдруг, как бы на что-то решившись, я поворачиваюсь к нему: не хотели бы со мной вечером выпить по рюмочке?

Улыбка его гаснет. Долгим холодным взглядом он смотрит мне в глаза. Затем — на мой портфель. Снова в глаза и утвердительно кивает головой. Я протягиваю ему карточку с рисунком и адрес Hotel du Lac в Монтре. На карточке я еще вчера написал «21.00». Это чтобы сейчас времени на объяснения не тратить.

От стенда я на крыльях лечу. Вербовка! Он согласен! Он уже мой секретный агент! Черт побери! Только бы к потолку от восторга не начать прыгать. Только улыбку ликующую с лица стереть. Только бы сердце так не билось. Я догоняю своих спутников и говорю, что вербовку произвел.

Мы обходим еще несколько стендов. Беседуем. Восхищаемся. Качаем головами. Пьем кофе. А не открыть ли наш портфельчик еще раз? Не вербануть ли еще одного? Глаза у меня огнем загораются. Две вербовки! Но я старого доброго еврея дядю Мишу вспоминаю. Нет. Не будем вербовать второго. Жадность фраера губит.

7

На Plaine de Plainpalais половодье машин. Толпа настоящая. От горизонта до горизонта все машинами заставлено. Ищи своих. Вон машина советского генерального консула. Он на месте, значит, его помощь не потребовалась. Значит, все идет хорошо. Значит, проведены десятки ценнейших вербовок без проколов, без осложнений. Вон там огромный автобус среди десятков столь же огромных своих братьев-автобусов. Там Навигатор принимает самых успешных из своих учеников. Но я пока не дорос до такой чести — докладывать о результатах своей работы лично Навигатору. Я подчинен его первому заместителю — Младшему лидеру. Где же он, черт побери?

Ах, вот он. Среди бесконечных рядов машин я пробиваюсь к нашему автобусу.

Он уж полон. Все передние ряды офицерами информации ГРУ и ВПК заняты. Теми, кто помогал нам сейчас вербовать. Задние ряды свободны. Вроде бы от солнца занавески опущены. Там, на заднем сиденье,— Младший лидер. Он нас по одному подзывает. Шепотом доложи. Он, как полководец на поле выигранного сражения, первые рапорта о несметных трофеях принимает.

А мы все, борзые да варяги, в проходе столпились. Вроде как бесцельно. Шум. Толкотня. Шутки. Но это очередь. Очередь на доклад. Каждому не терпится. У каждого глаза горят. Хохот.

Младший лидер мне кивает. Мое время.

— Вербанул. За 6 минут 40 секунд. Сегодня вечером первая встреча.

— Молодец. Хвалю. Следующий.

8

Я завербовал ценного агента, который будет десятилетиями поставлять нам самую современную электронную технику для самолетов, для артиллерии, для боевых вертолетов, для систем наведения ракет. То, что он завербован,— в этом ни у меня, ни у Младшего лидера сомнений нет.

Правда, что о новом секретном агенте ГРУ мы знаем только то, что на его визитной карточке указано. О его аппаратуре известно больше: у нас две небольшие вырезки из газет об аппарате RS-77. Но это не беда. Это совсем не главное. Главное то, что его аппарат нужен нам, и он будет нашим. А о секретном агенте мы скоро узнаем больше. Главное, что он согласен тайно работать с нами.

За неполных семь минут вербовки я сообщил ему множество важных вещей. Я сказал самые обыкновенные фразы, из которых следовало, что:

— мы официальные представители Советского Союза;

— нас интересует самая современная военная электроника, в частности его аппараты;

— мы готовы хорошо платить за них и он теперь знает нашу точную цену;

— мы работаем скрытно, умело, осторожно, не давим и не настаиваем;

— нам не нужно много экземпляров прибора, а лишь один для копирования.

Из всего этого он уже сам может заключить, что:

— мы не являемся конкурентами его фирмы;

— если подобное производство будет налажено в СССР, то он от этого не теряет, а выигрывает: возрастет спрос и на его аппаратуру, а может быть, западные армии закажут нечто еще более дорогое и совершенное;

— продав нам только один экземпляр аппарата, он может это легко скрыть от властей и от полиции, один это не сто и не тысяча;

— наконец, ему совершенно ясны наши предложения, он знает, чего мы хотим, и поэтому не боится нас, он понимает, что продажа аппарата может быть квалифицирована как промышленный шпионаж, за который на Западе почему-то меньше наказывают.

Ему ясны все аспекты сделки. В одном предложении я сообщил ему наши интересы, условия и цены. Поэтому, когда он кивнул головой, согласившись встретиться, он совершенно отчетливо сказал «да» советской военной разведке. Он понимает, что мы занимаемся запрещенной деятельностью, и соглашается иметь с нами контакты. Значит...

Мой короткий вербовочный разговор — это, примерно, то же самое, что молоденькой красивой студентке объяснить, что я богатый развратник и за половые сношения с хорошенькой девочкой готов щедро платить. Да деньги показать и сказать, сколько именно. И тут же ей предложить встретиться и наедине послушать музыку. Если она согласна, что же еще обсуждать? О чем еще говорить?

Именно так осуществляются мгновенные массовые вербовки на выставках: это нам интересно, готовы платить, где встретимся?

С другой стороны, если бы весь мой разговор с ним записали на пленку, то в нем не было решительно ничего криминального. Мы посмотрели на прибор, сказали, что хотели бы его купить, но это не разрешено. А потом я вернулся и предложил вечером выпить вина.

9

Я молод и неопытен. Мне пока прощают семь минут на вербовку. Вообще-то мгновенная вербовка и должна делаться мгновенно. Десятью словами. Одним предложением. Одной доброй улыбкой.

Вербовка должна быть немедленно и надежно скрыта: я должен обойти сотни стендов, говоря примерно то же самое, улыбаясь примерно так же. Но не вербуя. Если за мной следят, то как определить одного из сотни, который сказал «да» советской

военной разведке? Нас много на выставке. Много вербующих, много обеспечивающих. Каждый закрывает свою вербовку сотней других встреч. На выставке тысячи людей. Поток. Водоворот. Шанхай. Поди, уследи, попробуй.

Нового человека нужно немедленно уводить далеко. Уже сегодня ночью мои более опытные товарищи проведут встречи с вновь завербованными агентами на территории Франции, Италии, Западной Германии. Я встречаюсь в Монтре. Кто-то проводит тайные встречи в Базеле, Цюрихе, Люцерне. Дальше от Женевы! Еще дальше! Это только первые встречи. Вторые встречи будут проводиться и в Австрии, в Финляндии, в США. Дальше от Швейцарии! Еще дальше!

Я долго путаю следы. Меня хорошо обеспечивают. Если за мной следили, то меня давно потеряли. Я испарился. Меня нет. Я растворился в огромных магазинах. Я потерян в бескрайних подземных гаражах. Я ускользнул в переполненном лифте.

В багажнике с дипломатическим номером меня вывозят из Женевы в Лозанну. Это первое обеспечение. Это варяги из дипломатической резидентуры ГРУ в Женеве. Они не видели меня и не знают обо мне. Они поставили свою машину в подземном гараже в точно определенное время, ушли, оставив багажник незапертым. Такова инструкция. Они, наверное, догадываются, что их обеспечение как-то связано с выставкой. Но как? Они не имеют права смотреть в багажник своей машины. Они стремительно несутся по автостраде. Они не менее четырех часов проверяли, нет ли слежки за ними. Они проверяют это и сейчас. Подземный гараж в Лозанне. Темное место со множеством этажей, лестниц и выходов. Если следят за ними, следят ли за машиной? Наверное, нет. У них тысяча дел. Они ходят по городу, совершая совершенно непонятные маневры. Они возвращаются к машине и едут дальше. Снова стоянки. Снова подземные гаражи. Они сами не знают, есть ли что в багажнике или уже нет. Там, конечно, ничего нет. Я давно еду в поезде. В вагоне без желтой полосы над окнами. Второй класс. Серый вагон. Серый билет. Серый пассажир. Я еду далеко. Я внезапно схожу. Я меняю поезд. Я снова еду. Я исчезаю в подземных переходах, в толчее, в подвалах пивных, в темных переулках. Это новая страна для меня. Но я знаю ее наизусть. Кто-то тщательно подготовил для меня все проходы. Кто-то месяцами выискивал и описывал их. Кто-то беспросветно работал а борзых, обеспечивая мою вербовку.

Существует только четыре возможности, которые могут привести к провалу:

— если за мной следят;

— если под контроль взяты все люди, с которыми я встретился сегодня;

— если мой новый друг — провокатор полиции или, испугавшись, доложил в полицию и теперь стал провокатором;

— если на месте встречи нас совершенно нечаянно узнает кто-то, кто доложит в полицию.

Из четырех возможностей я отбрасываю три. Во-первых, за мной не следят. Во-вторых, я встретил сегодня около сотни людей. Установить контроль за каждым невозможно. В-третьих, место проведения встречи подобрано женевскими борзыми ГРУ совсем неплохо. Вероятность столкнуться со знакомыми почти исключена. Остается только мой новый друг. Но и его проверить нетрудно. Сегодня ночью эксперты ГРУ проверят доставленный им аппарат. Если он действует, значит, друг с полицией не связан. Вряд ли полиция будет так дорого платить секретами, не получая ничего взамен.

Место встречи подобрано для меня совсем неплохо. Это тоже некий безвестный борзой искал. Описывал. Доказывал преимущества. Если мне место не понравится, я могу пожаловаться Младшему лидеру завтра, еще через день об этом узнает начальник ГРУ и спустит Тузика на женевского Навигатора. Но я жаловаться не буду. Место нравится мне. Отель должен быть большим. Там никто ни на кого не обращает внимания. Отель должен быть хорошим, но не лучшим. Все именно так и подобрано. Но самое главное, я должен иметь защищенный наблюдательный пункт и следить за всем происходящим по крайней мере в течение часа до начала встречи. Есть такой пункт. Если друг доложил о встрече, если полиция готова следить, то вокруг места встречи возможно какое-то подозрительное движение.

Я жду час. Но ничего подозрительного не происходит. В 20.54 появляется он. Он один в желтом «Ауди-100». Номер машины я запоминаю. Это важная деталь. Никто не подъехал вслед за ним. Он заходит в ресторан, оглянувшись по сторонам. Это очень хороший признак. Если он под полицейской защитой, то не озирался бы. Смотреть по сторонам это очень не профессионально, но я ему этого не скажу. Будут другие встречи. Его всегда будут контролировать. Пусть озирается. Нам от этого спокойнее. Значит, он в дружбе с полицией не состоит.

В 21.03 я покидаю свой наблюдательный пост и захожу в ресторан.

Мы улыбаемся друг другу. Самое главное сейчас успокоить его, открыть перед ним все карты или сделать вид, что все карты раскрыты. Человек боится только неизвестности. Когда ситуация ясна, человек ничего не боится. А если не боится, то и глупостей не делает.

— Я не собираюсь вас вовлекать ни в какие аферы.— В этой ситуации я говорю «я», а не «мы». Я говорю от своего имени, а не от имени организации. Не знаю почему, но это действует на завербованных агентов гораздо лучше. Видимо, «мы», «организация» пугают человека. Ему хочется верить, что о его предательстве знают во всем мире он и еще только один человек. Только один. Этого не может быть. За моей спиной — сверхмощная структура. Но мне запрещено говорить «мы». За это меня карали в Военно-дипломатической академии.

— Я готов платить за ваш прибор. Он нужен мне. Но я не настаиваю.

— Отчего вы решили, что я пришел работать на вас?

— Мне так кажется. Отчего же нет. Полная безопасность. Хорошие цены.

— Вы действительно готовы платить 120 000 долларов?

— Да. 60 000 немедленно. За то, что вы меня не боитесь. Еще 60 000, как только я проверю, что прибор действительно действует.

— Когда вы сможете в этом убедиться?

— Через два дня.

— Где гарантия, что вы вернете и вторую половину денег?

— Вы очень ценный человек для меня. Я думаю получить от вас не только этот прибор. Зачем мне вас обманывать на первой же встрече?

Он смотрит на меня, слегка улыбаясь. Он понимает, что я прав. А я смотрю на него, на своего первого агента, завербованного за рубежом. Безопасность своей прекрасной страны он продает за тридцать сребреников. Это мне совсем не нравится. Я работаю в добывании оттого, что нет у меня другого выхода. Такова судьба. Если не здесь, то в другом месте система нашла бы для меня жестокую работу. И если я откажусь, меня система сожрет. Я подневольный человек. Но ты, сука, добровольно ввешься нам помогать. Если бы ты встретился мне, когда я был в Спецназе, я бы тебе, гад, зубы напильником спилил. Я вдруг вспоминаю, что агентам положено улыбаться. И я улыбаюсь ему.

— Вы не европеец?

— Нет.

— Я думаю, что нам не надо встречаться в вашей стране, но не нужно и в Швейцарии. Что вы думаете по поводу Австрии?

— Отличная идея.

— Через два дня я встречу вас в Австрии. Вот тут.— Я протягиваю ему карточку с адресом и рисунком отеля.— Все расходы я оплачу. В том числе и на ночной клуб.

Он улыбается. Но я не уверен в значении улыбки: доволен, недоволен? Я знаю, как читать значение сотен всяких улыбок. Но тут, в полумраке, я не уверен.

— Прибор с вами?

— Да, в багажнике машины.

— Вы поедете в рощу вслед за мной, и там я заберу ваш прибор.

— Не хотите ли вы меня убить?

— Будьте благоразумны. Мне прибор нужен. На хрена мне ваша жизнь? Ты мне живой нужен,— добавляю я уже про себя.— Я на первом приборе останавливаться не намерен. Зачем же тебя убивать? Я миллион тебе готов платить. Давай только товар.

— Если вы готовы платить так много, значит, ваша военная промышленность на этом экономит. Так?

— Совершенно правильно.

— За первый прибор вы платите 120 000, а экономите себе миллионы.

— Правильно.

— В будущем вы мне заплатите миллион, а себе сэкономите сто миллионов. Двести. Триста.

— Именно так.

— Это эксплуатация! Я так работать не желаю. Я не продам вам свой прибор за 120 000.

— Тогда продайте его на Западе за 5 500. Если у вас его купят. Если вы найдете покупателя, который вам заплатит больше, чем я, дело ваше. Я не настаиваю. А я тем временем куплю почти такой же прибор в Бельгии или в США.

Это уже блеф. На крупную фирму не пролезешь. Ребра поломают. Нет у меня другого выхода к приемникам отраженного лазерного луча. Но я спокойно улыбаюсь. Не хочешь, не надо. Но ты не монополист. Я в другом месте куплю.

— Счет, пожалуйста!

Он смотрит мне в глаза. Долго смотрит. Потом улыбается. Сейчас свет падает на его лицо, и поэтому я уверен, что улыбка не таит в себе ничего плохого. И я вновь улыбаюсь ему.

Он достает сверток из багажника и передает мне.

— Нет, нет,— машу я руками.— Мне лучше его не касаться. Несите его в мою машину. (В случае чего, можно будет сказать, что ты нечаянно сверток забыл в моей машине. Никакого шпионажа. Просто забывчивость.)

Он садится в мою машину (это, конечно, не моя, а взятая для меня напрокат теми, кто меня обеспечивает).

Двери изнутри запереть. Такова инструкция. Аппарат — под сиденье. Я расстегиваю жилет. Это специальный жилет. Для транспортировки денег. В его руки я вкладываю шесть тугих пачек.

— Проверяйте. Если через два дня вы привезете техническую документацию, я заплачу остающиеся 60 000 и еще 120 000 за документацию.

Он кивает головой.

Я жму ему руку.

Он идет к своей машине. Я, рванув с места, исчезаю в темноте.

10

Сколько офицеров ГРУ обеспечивают только меня? Не знаю точно. Но сегодня ночью у меня еще две встречи. Во-первых, полученный прибор должен как можно скорее оказаться за стенами советского посольства. Во-вторых, я должен отдать взятую напрокат машину и получить свою дипломатическую.

Через полчаса на горной просеке в теплом тумане я встречаю второго секретаря советского посольства в Берне. У него белая машина «Пежо-504». Ее еле видно в густых лохматых клубах тумана.

Мой пакет уже упакован в зеленый плотный брезентовый мешок, заперт и опечатан двумя печатями. Дипломат — подполковник ГРУ. Но и ему не положено знать — ни кто я, ни что находится в пакете. Ему приказ встретить меня. Принять груз, запереть двери изнутри и — немедленно в посольство. В момент, когда пакет попал в дипломатическую машину, он в относительной безопасности. Как только он попадет за каменные заборы посольства — он в полной безопасности.

Я останавливаю машину борт к борту, опускаю стекло. У него уже стекло опущено. Принимай.

Он — крупный светловолосый человек. Лицо серьезное. По упрямым складкам у рта без ошибок скажу, что он вербует успешно. Варяг, без всяких сомнений. Такие упрямые парни долго в обеспечении не работают. Просто сегодня день сумасшедший. Просто всех сегодня в женевской и бернской резидентурах в обеспечение бросили.

Мы не имеем права говорить, тем более по-русски. Остановился, бросил груз, исчез. В это короткое мгновенье он успевает рассмотреть меня. По каким-то неприметным признакам он узнает во мне зелененького борзягу, замученного агентурным обеспечением, первый раз вкусившего варяжьего успеха. Он улыбается мне. Он ничего не говорит, он только чуть шевельнул губами. А я понимаю: успехов тебе.

И только красные огни по белому туману, только улыбка его зубастая за стеклом. Исчез.

Я жду три минуты. Ему сейчас преимущество. Он сейчас с грузом. Через два часа возле Интерлакен у меня еще одна встреча: отдать эту машину, получить свою.

В ту ночь меня могли видеть во Фрибурге и в Нешателе. Рассвет я встретил в Цюрихе. Главное сейчас — как можно больше контактов. Меня могли видеть в огромной библиотеке, в оружейном магазине, в пивной, на вокзале. Я разговаривал с мужчинами и женщинами. Я разыскивал фирму, которая реально существует, но мне совершенно не нужна. Я рылся в адресных книгах и искал людей, которые нам совсем не интересны. Говорят, что лиса точно так же путает свои следы.

Границу я пересек у Брегенца поздно вечером. Полицейского контроля почему-то не было. Но если бы и был контроль, разве позволено кому-то осматривать мою дипломатическую машину? Но если бы, применив силу и нарушая Венскую конвенцию 1815 года, они осмотрели мой багаж, могли бы они найти что-то? Нет. То, что интересно, то уже в Москве, на Ходынке, в огромном здании, именуемом Аквариум. Пока я путаю следы, особый самолет с вооруженными дипломатическими курьерами уже давно привез десятки плотных зеленых опечатанных мешков, аккуратно уложенных в алюминиевые контейнеры.

Австрийские полицейские меня приветствуют, улыбаются. Документы? Пожалуйста. Осмотреть машину? Да ни в коем случае! Но у них и намерения такого нет. Толстый добродушный дядька с пистолетом на боку козыряет: проезжай.

Зачем им придираться к советскому дипломату, у которого такое простое доброе лицо. Разве он похож на лохматых террористов, фотографии которых вывешены у полицейского участка?

Я медленно проезжаю пограничный шлагбаум, салютуя им. Я вам не враг. Я почти друг. Мы провели массовую вербовку, но среди наших агентов ни одного гражданина Швейцарии, ни одного гражданина Австрии. Ваших мы вербуем в других местах. Против Австрии мои коллеги работают с территорий всех остальных стран мира. А мы никогда не злоупотребляем гостеприимством.

11

Я смотрю в зеркало, а на меня смотрит серое лицо, поросшее щетиной. Глаза красные у этого человека в зеркале, ввалились. Он сильно устал.

— Спускайся вниз, попарь косточки. Побрейся. И к командиру на львиную шкуру.

— Зачем?

— Не бойся, не на расправу.

В сауне трое моих друзей: 4-й, 2-й, 32-й.

— Здорово, братцы.

— Здравствуй, варяг!

Парятся они уже, видно, давно. Раскраснелись.

— Садись, Витя! — и ржут все. Знают, что я сидеть не могу после двух суток за рулем. Они сами не сидят. Лежат на животах.

— Хочешь, Витя, пивка?

— Еще бы...

Спину мне Колька березовым веником исхлестал и задницу тоже.

— Восстанавливается кровообращение?

— О-о-о... да.

— Вить, а Вить, да не спи ты, опасно это. Вить, лучше пивка попей.

В большом зале накрыт праздничный стол. Стульев нет. Кто сейчас сидеть будет? Все молчат. Улыбаются. Появляется Навигатор, за ним, как верный оруженосец,— первый шифровальщик.

— Деталей прошедшей операции я оглашать не буду. Не имею права. Но успеха добились все. Некоторые имеют по три вербовки. Несколько человек — по две вербовки.— Навигатор поворачивается к первому шифровальщику:

— Александр Иванович, зачитай личному составу шифровки, в части, их касающейся.

Александр Иванович открывает зеленую папку и торжественным голосом читает: «Командиру дипломатической резидентуры 173—В генерал-майору Голицыну. Восемь контейнеров дипломатической почты, направленной вами из Женевы, Берна и Парижа, получил. Первый анализ, проведенный 9-м управлением службы информации — позитивный. Это позволяет сделать предварительное заключение о надежности всех лиц, привлеченных к сотрудничеству. Начальник 1-го управления ГРУ вице-адмирал Ефремов. Начальник 5-го направления 1-го управления ГРУ генерал-майор артиллерии Ляшко».

Мы улыбаемся.

— Читай дальше.— Командир сам сияет.

«Проведенная вами операция — одна из наиболее успешных массовых вербовок последних месяцев. Поздравляю Вас и весь личный состав резидентуры со значительными достижениями. Заместитель начальника Генерального штаба, начальник второго главного управления генерал армии Ивашутин».

Пробки ударили залпом. Заиграл золотистый напиток, заискрился. Бутылки запотевшие. Ведерочки со льдом — серебряные. Как я устал! Как я хочу пить! Как я хочу спать.

По одному, по одному — к командиру.

И я подхожу.

— Товарищ генерал, поздравляю вас. Многое имеет Япония, многое имеет Америка, а мы с сегодняшнего дня имеем все.

Он улыбается.

— Не все, но выходы ко всему. Ты почему второго вербовать не стал?

— Не знаю, товарищ генерал, боялся испортить.

— Правильно сделал. Самое страшное в нашей работе — мнительность и излишнее увлечение. Одна вербовка это тоже очень много. Поздравляю.

— Спасибо, товарищ генерал.

— Александр Иванович...

— Я!

— Читай последнюю.

Первый шифровальщик вновь открывает свою папку:

«Генерал-майору Голицыну. Благодарю за службу. Начальник Генерального штаба генерал армии Куликов».

— Ура! — заорали мы.

Командир вновь серьезен. Он торжественно поднимает бокал...

12

Разбудил меня третий шифровальщик через четыре часа тридцать минут после того, как я коснулся подушки щекой. В комнате отдыха восемнадцать раскладушек. Некоторые уже свободны. На остальных еще спят мои товарищи, те, у которых сегодня вторая операция.

— Виктор Андреевич, я вас правильно разбудил? — шифровальщик смотрит в свой список.

Я смотрю на часы и киваю.

Завтрак подают в большом зале, еще хранящем запах шампанского. Есть не хочется. Голова кружится. Я заставляю себя выпить стакан холодного сока и съесть кусок бекона. А в дверях уже шифровальщик:

— Младший лидер ждет вас. Кофе он разрешает взять с собой.

У Младшего лидера глаза ошалевшие. Наверное, он так и не ложился спать.

— Жилет с деньгами подгони поточнее. Дверь в машине должна быть постоянно закрыта изнутри. В случае неприятностей требуй советского консула. За ночь твою машину вымыли, проверили, отрегулировали, заправили, сбросили лишний километраж. Маршрут движения и сигналы снятия с операции согласуешь в группе контроля. Все. Желаю удачи. Следующий!

Я вернулся через двое суток. Новый агент, который теперь уже именуется 173-В-41-706, привез на встречу полное техническое описание прибора RS-77. Он передал список официальных лиц, которые имеют контакт с его фирмой и которые могли бы быть завербованы позже. На каждого из них было составлено короткое дело с фотографией, с адресом, а главное, с перечислением выявленных слабостей. Я заплатил ему 180 000 долларов. Назначил новую встречу. Данные, которые он собрал по собственной инициативе, будут оплачены в следующий раз.

Полученные документы экономили нам миллионы и годы.

13

Еще через восемь дней я получил очередное воинское звание — майор Генерального штаба.

Мне почему-то грустно. Первый раз в такой день мне не радостно. Когда командир прочитал мне шифровку, я рявкнул: «Служу Советскому Союзу!». А сам подумал: со мной они, как с моим агентом обращаются. Он получает сотни тысяч, а там, наверху, экономят миллионы. Я добываю эти миллионы, а мне за это алюминиевую звездочку в награду. Да и ее я носить не имею права, прячу свой мундир в шкафу с нафталином.

Мне грустно. Меня не радуют чины и ордена. Меня что-то мучает. Я не знаю — что. Главное скрыть свою тоску от чужого взгляда. Если в моих глазах потухнет оптимизм, то это заметят и примут меры. Не знаю какие, но примут. Мне это совсем ни к чему.

Я смотрю в генеральские глаза и улыбаюсь радостно и счастливо.

Глава X

1

Когда я сплю, я укрываюсь с головой, я укутываюсь в одеяло, как в шубу. Это старая армейская привычка. Это бессознательный рефлекс. Это попытка сохранить тепло до самого утра. Я уже не сплю в холодных палатках, в мокрых землянках, в продрогшем осеннем лесу. Но привычка кутаться — на всю жизнь.

Последнее время одеяло меня стало пугать. Внезапно проснувшись ночью в кромешной темноте от жуткого страха, я спрашиваю себя: не в гробу ли проснулся. Я осторожно носом касаюсь мягкого теплого одеяла. На гроб не похоже. А может, я в полотнище закутан, а доски гроба чуть выше? Медленно я трогаю воздух. Нет, я пока не в гробу.

Наверное, так люди начинают сходить с ума. Так к людям подкрадывается безумие. Но может быть, я давно шизофреник, только окружающие меня пока не раскусили? Это вполне допустимо. Быть сумасшедшим совсем не так плохо, как это может показаться со стороны. Если меня завтра замотают в белые простыни и повезут в дурдом, я не буду сопротивляться и удивляться. Там мое место. Я, конечно, ненормальный. Но кто вокруг меня нормальный?

Вокруг меня сплошной сумасшедший дом. Беспросветное безумие. Отчего Запад пускает нас к себе сотнями и тысячами? Мы же шпионы. Разве не понятно, что я направлен сюда для того, чтобы причинить максимальный вред Западу? Отчего меня не арестуют, не выгонят? Почему эти странные, непонятные западные люди никогда не протестуют? Откуда у них такая рабская покорность? Может, они с ума все посходили? А может быть, мы все безумны? Уж я-то точно. И крышка гроба не зря мне мерещится. Ох, не зря. Началось это полтора года назад после встречи с Киром.

Кира все знают. Кир — большой человек. Кир Лемзенко в Риме сидел, но работал, конечно, не только в Италии. У Кира везде успехи были. Особенно во Франции. Римский дипломатический резидент ГРУ генерал-майор Кир Гаврилович Лемзенко власть имел непомерную. За то его папой римским величали. Теперь он генерал-полковник. Теперь он в административном отделе Центрального Комитета партии. Теперь он от имени партии контролирует и ГРУ и КГБ.

Полтора года назад, когда я прошел выездную комиссию ГРУ, вызвал меня Кир. Пять минут беседа. Он всех офицеров принимает, и ГРУ и КГБ. Всех, кто в добывание уходит. Кир всех утверждает. Или не утверждает. Кир велик. Кто Кира знает? Все знают. Судьба любого офицера в ГРУ и в КГБ в его руках.

Старая площадь. Памятник гренадерам. Милиция кругом. Люди в штатском. Группами. Серые плащи. Тяжелые взгляды. Подъезд № 6. Предъявите партийный билет. Суворов — читает прапорщик в синей форме. Виктор Андреевич — отзывается второй, найдя мою фамилию в коротком списке. Да — отзывается первый. Проходите. Третий прапорщик провожает меня по коридору. Сюда, пожалуйста, Виктор Андреевич. Ему, охраннику, не дано знать, кто такой Виктор Андреевич Суворов. Он только знает, что этот Суворов приглашен в Центральный Комитет на беседу. С ним будут говорить на седьмом этаже. В комнате 788. Охранник вежлив. Пожалуйста, сюда.

Вот они, коридоры власти. Сводчатые потолки, под которыми ходили Сталин, Хрущев. Под которыми ходит Брежнев. Центральный Комитет — это город. Центральный Комитет — это государство в центре Москвы. Как Ватикан в центре Рима.

Центральный Комитет строится всегда. Десятки зданий соединены между собой, и все свободные дворики, переходы застраиваются все новыми белыми стеклянными небоскребами. Странно, но со Старой площади этих белоснежных зданий почти не видно. Вернее, они видны, но не бросаются в глаза. На Старую площадь смотрят огромные окна серых дореволюционных зданий, соединенных в одну непрерывную цепь. Внутри же квартал Центрального Комитета не так суров и мрачен. Тут смешались все архитектурные стили.

Пожалуйста, сюда. Чистота ослепительная. Ковры красные. Ручки дверей — полированная бронза. За такую ручку и взяться рукой страшно, не испачкать бы. Лифты бесшумные.

Подождите тут. Передо мной огромное окно. Там, за окном, узкие переулки Замоскворечья, там белый корпус гостиницы «Россия», золотые маковки церквей, разрушенных и вновь воссозданных для иностранных туристов. Там, за окном, громада Военно-инженерной академии. Там, за окном, яркое солнце и голуби на карнизах. А меня ждет Кир.

— Заходите, пожалуйста.

Кабинет его широк. Одна стена — стекло. Смотрит на скопление зеленых железных крыш квартала ЦК. Остальные стены светло-серые. Пол ковровый — серая, мягкая шерсть. Стол большой, без всяких бумаг. Большой сейф. Больше ничего.

— Доброе утро, Виктор Андреевич,— ласков.

— Доброе утро, Кир Гаврилович.

Не любит он, чтобы его генералом называли. А может быть, любит, но не показывает этого. Во всяком случае приказано отвечать «Кир Гаврилович», а не «товарищ генерал». Что за имя? По фамилии украинец, а по имени — ассирийский завоеватель. Как с таким именем человека в Центральном Комитете держать можно? А может, имя его и не антисоветское, а наоборот, советское? После революции правоверные марксисты каких только имен своим детям не придумывали: Владлен — Владимир Ленин, Сталина, Искра, Ким — Коммунистический Интернационал Молодежи. Ах, черт. И Кир в этом же ряду. Кир — Коммунистический Интернационал.

— Садитесь, Виктор Андреевич. Как поживаете?

— Спасибо, Кир Гаврилович. Хорошо.

Он совсем небольшой человек. Седина чуть-чуть только проступает. В лице решительно ничего выдающегося. Встретишь на улице — даже не обернешься, даже дыхание не сорвется, даже сердце не застучит. Костюм на нем самый обыкновенный, серый в полосочку. Сшит, конечно, с душой. Но это и все. Очень похож на обычного человека. Но это же Кир!

Я жду от него напыщенных фраз: «Руководство ГРУ и Центральный Комитет оказали вам огромное доверие...». Но нет таких фраз о передовых рубежах борьбы с капитализмом, о долге советского разведчика, о всепобеждающих идеях. Он просто рассматривает мое лицо. Словно доктор, молча и внимательно.

— Вы знаете, Виктор Андреевич, в ГРУ и в КГБ очень редко находятся люди, бегущие на Запад.

Я киваю.

— Все они несчастны. Это не пропаганда. Шестьдесят пять процентов невозвращенцев из ГРУ и КГБ возвращаются с повинной. Мы их расстреливаем. Они знают это и — все равно возвращаются. Те, которые не возвращаются в Советский Союз по своей воле, кончают жизнь самоубийством, спиваются, опускаются на дно. Почему?

— Они предали свою социалистическую родину. Их мучает совесть. Они потеряли своих друзей, родных, свой язык...

— Это не главное, Виктор Андреевич. Есть более серьезные причины. Тут, в Советском Союзе, каждый из нас — член высшего сословия. Каждый, даже самый незначительный офицер ГРУ — сверхчеловек по отношению ко всем остальным. Пока вы в нашей системе, вы обладаете колоссальными привилегиями в сравнении с остальным населением страны. Когда имеешь молодость, здоровье, власть, привилегии — об этом забываешь. Но вспоминаешь об этом, когда уже ничего нельзя вернуть. Некоторые из них бегут на Запад в надежде иметь великолепную машину, особняк с бассейном, деньги. И Запад платит им действительно много. Но, получив «мерседес» и собственный бассейн, предатель вдруг замечает, что все вокруг него имеют хорошие машины и бассейны. Он вдруг ощущает себя муравьем в толпе столь же богатых муравьев. Он вдруг теряет чувство превосходства над окружающими. Он становится обычным, таким как все. Даже если вражеская разведка возьмет этого предателя на службу, все равно он не находит утраченного чувства превосходства над окружающими, ибо на Западе служить в разведке — не считается высшей честью и почетом. Правительственный чиновник, козявка, и ничего более.

— Я никогда об этом не думал...

— Думай об этом. Всегда думай. Богатство — относительно. Если ты по Москве ездишь на «Ладе», на тебя смотрят очень красивые девочки. Если ты по Парижу едешь на длинном «ситроене», на тебя никто не смотрит. Все относительно. Лейтенант на Дальнем Востоке — царь и бог, повелитель жизней, властелин. Полковник в Москве — пешка, потому что тысячи других полковников рядом. Предашь — потеряешь все. И вспомнишь, что когда-то ты принадлежал к могущественной организации, был совершенно необычным человеком, поднятым над миллионами других. Предашь — почувствуешь себя серым, незаметным ничтожеством, таким, как и все окружающие. Капитализм дает деньги, но не дает власти и почестей. Среди нас находятся особо хитрые, которые не уходят на Запад, но остаются, тайно продавая наши секреты. Они имеют деньги капитализма и пользуются положением сверхчеловека, которое дает социализм. Но мы таких быстро находим и уничтожаем...

— Я знаю. Пеньковский...

— Не только. Пеньковский всемирно известен. Многие неизвестны. Владимир Константинов, например. Он вернулся в Москву в отпуск, а попал прямо на следствие. Улики неопровержимы. Смертный приговор.

— Его сожгли?

— Нет. Он просил его не убивать.

— И его не убили?

— Нет, не убили. Но однажды он сладко уснул в своей камере, а проснулся в гробу. Глубоко под землей. Он просил не убивать, и его не убили. Но гроб закопать обязаны. Такова инструкция. Иди, Виктор Андреевич. Успехов тебе. И помни, что в ГРУ уровень предательства гораздо ниже, чем в КГБ. Храни эту добрую традицию.

2

В Мюнхене снег. Небо лиловое. И еще сыплет из снежной свинцовой тучи. Спешат бюргеры. Носы в воротники прячут. Елки. Елки кругом. Вокруг фонарей гуще снежинки, крупнее. Укрывает снег грязь и серость цивилизации. Все чисто, все без грязных пятен, даже крыша Дойче Банк. Тихо и тепло, когда снег валит. Если прислушаться, то можно услышать шорох белых мягких кристаллов. Слушайте, люди, как снег падает! Эй, бюргеры, да куда же вы торопитесь? Остановитесь. Чисто и тихо. Ни ветра пронзительного, ни визга тормозов. Только тишина над белым городом.

...Мягкие теплые снежинки падают мне на лицо. Я люблю их. Я не отворачиваюсь. Снег бывает колючим, снег бывает жестким и шершавым. Но сегодня не тот снег. Сегодня добрый снег падает с неба, и я не прячу от него лица.

С вокзала — на Мариенплац. Я путаю следы. За мной слежки нет. Но я должен следы запутать, закрутить. Лучше погоды для этого не придумаешь. Майор ГРУ 173-В-41. Я путаю следы после встречи с другом № 173-В-42-706. Встречу я провел в Гамбурге. Там же какой-то молодой борзой из боннской дипломатической резидентуры ГРУ принял полученные мной документы. В Мюнхене я только путаю следы. Переулками, переулками все дальше в снежную мглу. Иногда меня можно увидеть там, где очень много людей. В бесконечных лабиринтах пивной, где когда-то родилась партия Гитлера. Это не пивная. Это настоящий город с улицами и площадями. С бесконечными рядами столов. С сотнями людей. Это целое независимое пивное государство, как Ватикан в Риме, как Центральный Комитет в Москве.

Дальше, дальше вдоль столов, за угол, еще за угол. Тут, в темной нише, немного подождать. Кто появится следом? Тут, в черной нише, на огромном дубовом кресле не иначе Геринг сиживал. А теперь сижу я с огромной пивной кружкой. Это моя работа. Кто пройдет мимо? Кто вышел следом? Не ищут ли меня чьи-то глаза, потерявшие мою серую спину в этом водовороте, в этом сумраке, в пивных испарениях. Вроде никого. Тогда снова на улицу. В узкие переулки. В голубую метель.

3

В Вене — товарищ Шелепин. Проездом. Он едет в Женеву на заседание сессии Международной Организации Труда. Товарищ Шелепин — глава советских профсоюзов. Товарищ Шелепин — член Политбюро. Товарищ Шелепин — звезда первой величины. Но не восходящая звезда, заходящая. Было время, когда товарищ Шелепин был (тайно) заместителем председателя КГБ и одновременно (явно) вице-президентом Международной федерации демократической молодежи. Товарищ Шелепин организовывал манифестации за мир и дружбу между народами. На его совести грандиозные манифестации в защиту мира. Миллионы дураков шли за товарищем Шелепиным. Кричали, требовали мира, разоружения и справедливости. За это его возвели в ранг председателя КГБ. Правил он круто и твердо. Правил половиной мира, в том числе и демократической молодежью, требующей мира. Но он сорвался. Теперь товарищ Шелепин правит советскими профсоюзами. Профсоюзы у нас — это тоже КГБ, но не все КГБ, а только филиал. И потому нет в посольстве особого уважения к высокому гостю. Едешь в свою Женеву, ну и вали. Не задерживайся. Всем как-то ясно, что товарищ Шелепин вниз скользит. Был председателем КГБ, а теперь только глава профсоюзов. Если скольжение вниз началось, то его уже ничем не удержишь.

Все посольство знает, что Железный Шурик напивается до полного безумия. Лидер советского пролетариата жутко матерится. Он бьет уборщиц. Он выбросил из окна тяжелую хрустальную пепельницу и испортил крышу лимузина кубинского посла. Он сам знает, что ему пришел конец. Бывший глава КГБ прощается с властью. Буйствует.

Я столкнулся с ним в коридоре. У него оплывшее морщинистое лицо, совсем не похожее на то, которое улыбается нам с портретов. Да и узнал я его только потому, что пьяный (никто так по посольству не осмеливается ходить), да еще по охране. Кого еще пять телохранителей сопровождать будут? У телохранителей лица каменные, как и положено. В телохранители набирают тех, кто смеяться не научился. Идут они важные. Крестьянские парни, вознесенные к вершине власти. Они, конечно, не понимают, что если падение уже началось, то его не остановить.

И только на губах старшего в команде телохранителей играет чуть брезгливая улыбка. Чуть заметно его губы кривятся. Меня эта ухмылка не обманет: он не охраняет товарища Шелепина от врагов народа, он следит за тем, чтобы товарищ Шелепин, вождь самого сознательного революционного класса, не ударился в бега. Если товарищ Шелепин побежит, начальник охраны воспользуется пистолетом. Да в затылок! Между ушей! Чтоб не убежал товарищ Шелепин очень далеко. И товарищ Шелепин — заходящая звезда первой величины — знает, что начальник охраны не телохранитель, а конвоир. Знает Шелепин, что дана начальнику охраны соответствующая инструкция. И я это знаю.

Ах, если бы мне дали такую инструкцию!

4

— Дэза!

Навигатор суров. Я молчу. Что на такое заявление скажешь? В его руке шифровка. Семьсот Шестой друг начал производить дэзу. Если анализировать полученные от него документы, то вскрыть попытку обмануть ГРУ невозможно. Но любой документ, любой аппарат, любой образец вооружения ГРУ покупает в нескольких экземплярах в разных частях мира. Информация о снижении шумов в редукторах атомных подводных лодок типа «Джорж Вашингтон» была получена ГРУ через дипломатического резидента в Уругвае, а полная техническая информация об этих лодках была получена нелегалами ГРУ через Бельгию. Одинаковые кусочки информации сравниваются. Это делается всегда, с любым документом, с любым кусочком информации. Попробуй добавить от

себя, попытайся утаить — служба информации это вскроет. Именно это случилось сейчас с моим выставочным другом № 173-В-41-706.

Все было хорошо. Но в последнем полученном от него документе не хватает трех страниц. Страницы важные и убраны так, что невозможно обнаружить, что они когда-то тут были. Только сравнение с таким же документом, полученным, может быть, через Алжир или Ирландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка выполнена мастерски. Выполнена экспертами. Значит, Семьсот Шестой под полным контролем. Сам он пришел в полицию с повинной или попался — роли не играет. Главное — он под контролем.

— Прикажете убрать Семьсот Шестого?

Навигатор с кресла вскочил:

— Очнись, майор! Белены объелся? Бульварной литературы начитался? Если предашь ты — мы тебя убьем, это урок для всех остальных. А если убить добропорядочного буржуя, владельца фирмы,— для кого это урок? Кто знает, что он с нами был связан? Я бы его убил, если бы он опасен для нас был. Но он о нас решительно ничего не знает. Он даже не знает, работал он на КГБ или на ГРУ. Мы ему такой информации не давали. Единственный секрет, которым он обладает: Виктор Суворов — шпион. Но это весь мир знает. Велик соблазн убить. Многие разведки так и поступают. Втягиваются в тайную войну и забывают о своей главной задаче: добывать секреты. Нам же нужны секреты. Как здоровому мужчине нужны половые сношения. Запомни, майор, что только слабый, глупый, не уверенный в себе мужчина убивает и насилует женщин. Именно такими слабыми и глупыми нас изображают бульварные газетки и дешевые романчики. Умная, сильная, уверенная в себе разведка не гоняется за агентурой, как за женщиной. Умному мужчине женщины прохода не дают, на шее виснут. Мужчина, у которого сотни женщин, не мстит одной, даже изменившей ему, по той простой причине, что ему некогда этим заниматься. У него множество других девочек. Кстати, у тебя есть что-либо в запасе?

— Вы имеете в виду новых друзей?

— Только это я и имею в виду! — вдруг обозлился он.

Навигатор, конечно, знает, что кроме Семьсот Шестого у меня никаких друзей нет, как нет никаких намеков на интересное знакомство. Вопрос он задал только для того, чтобы ткнуть меня носом в грязь.

— Нет, товарищ генерал, ничего у меня в запасе нет.

— В обеспечение!

— Есть, в обеспечение!

5

С Семьсот Шестым я провел еще одну встречу. Он под контролем, но совсем не обязательно показывать, что ГРУ об этом знает.

Я провожу встречу как всегда. Я плачу. Я говорю, что пока его материалы нам не нужны. Встретимся через год. Возможно, у нас появится заказ. Через год под любым предлогом его выведут в консервацию. В дремлющую сеть. Жди сигнала. На этом связь с ним и прекратится: жди когда к тебе на связь выйдет особо важный нелегал! Пусть ждет он и полиция. Не дождетесь. Называется это «отсечение под видом консервации». От него мы получили очень нужные приборы. На нем мы сэкономили миллионы. Его материал, когда он был первосортным, тоже использовался для проверки какого-то другого. А теперь до свидания. Ждите очередного сигнала. Ждите особо важной встречи.

С Семьсот Шестым никаких проблем. Но что же мне теперь делать? Вновь собачья жизнь начинается. Вновь борзить. Вновь беспросветное агентурное обеспечение. А чего вы, Виктор Андреевич, хотели? Не можете работать самостоятельно, поработайте на других.

6

Я снова в обеспечении. Опять я полностью подчинен Младшему лидеру и лишен права встречаться с Навигатором лично. На таких, как я, у него нет времени. Правда, что те, кто успехи имеют, тоже иногда в агентурном обеспечении работают. Но это случается только во время массового обеспечения, когда всю резидентуру выгоняют на проведение каких-то операций, смысл которых скрыт от нас. А еще их привлекают для обеспечения операций нелегальных резидентур ГРУ. Это другое дело. Обеспечивать нелегалов — почет. Обеспечивать нелегалов — совсем другое дело. Но нас, борзых, в обеспечение нелегалов бросают очень редко. Нам остается тяжелая неблагодарная работа: большой риск, уйма затраченного времени и никаких почестей. Простое агентурное обеспечение работой не считается. Вроде как секретарь-машинистка у великого писателя. Ни денег, ни почестей. Но попробуй, ошибись!

Именно такая у меня сегодня работа. Я на пикник в горы еду. Время сейчас совсем не для пикников. Погода не та. Но мне нужно быть в горах. Если бы за нами следили, если бы нас арестовывали и выгоняли, я придумал бы какой-нибудь предлог поумнее. Но нас редко трогают в Великобритании, почти никогда в США, а в остальных странах к нам — шпионам — относятся доброжелательно. Поэтому нет нужды выдумывать что-то оригинальное. Пикник. Этого достаточно. Вряд ли кто на пикник ездит в одиночку. Но разве кому интересно, что делает советский дипломат в рабочее время?

В багажнике моей машины противотанковый гранатомет РПГ-7 и пять гранат к нему. Все это аккуратно упаковано. Все это я должен вложить в тайник. Гранатомет весит 6 кг. Каждая граната — 2 кг 200. Да упаковка. В общем, более 20 кг в одном длинном сером пакете. Кому это гранатомет нужен? Я не знаю. Я зарою его в горах. Я спрячу его в тайнике, который я выбирал шесть дней. Кто-то кому-то когда-то передаст описание этого тайника и тайные приметы, по которым его совсем легко найти. Адресат всегда получает описание тайника только после того, как материал вложен в тайник. Следовательно, даже если он и захочет продать нас полиции, он не сумеет этого сделать. Адресат получит описание и поспешит к этому месту, но меня там уже давно нет. Так что я, моя дипломатическая резидентура, советская военная разведка, весь Советский Союз — мы к нему отношения не имеем. Лежал гранатомет в земле, вот и все. Может быть, он всегда тут лежал. Может быть, со дня сотворения Земли ему тут место было. Не беда, что гранатомет советский. Может быть, это американцы захватили его во Вьетнаме да и прячут в Альпах?

Кому этот гранатомет нужен? Хоть убейте, не знаю. Ясно, что это не резерв на случай войны. Для долгосрочного хранения применяются тяжелые контейнеры, а тут совсем легкая упаковка. Значит, его в ближайшие дни кто-то заберет. Не исключено, что в ближайшие дни им и воспользуется. Иначе его придется долго хранить. Это опасно. Черт меня побери, а ведь я сейчас историю творю. Может быть, этот гранатомет повернет историю человечества в совсем неожиданное русло. РПГ-7 — мощное оружие, легкое да простое. Все лидеры Запада за пуленепробиваемые стекла попрятались. А если вас, господа, гранатой ПГ-7В шарахнуть? Ни один броневой лимузин не устоит. Шарахнуть с 300 метров можно. Вот визгу-то будет! Интересно, на кого же ГРУ око свое положило? Кому пять гранат предназначаются? Главе государства? Генералу? Папе Римскому? Но ведь можно и не только по броневому лимузину шарахнуть. Защитник окружающей среды может в знак протеста ударить по цистерне с ядовитым газом или по атомному реактору. Защитник мира может подкараулить конвой с американскими боеголовками да нажать на спуск. Шуму на весь мир будет. Ядерного взрыва не получится, но уж газеты так взвоют, что придется Западу разоружиться.

Я кручусь по перекресткам, я часто меняю скорость, я выскакиваю на автострады и вновь ухожу на совсем неприметные полевые дороги. Кто за мной следит? Кажется, никто. Кому нужен я? Никому. Я один. Я в густом лесу на узкой дороге. Над моей головой шумит лес. Свою машину я бросил на обочине узкой дороги. Тут иногда оставляют свои машины туристы.

Я сижу на пригорке в ельнике и со стороны наблюдаю за своей машиной. Слежки за мной не было. Гарантирую. Но возможно, в моей машине полиция вмонтировала радиомаячок, который сейчас сигналит им о моем местоположении. Они, может быть, не следили за мной как обычно, а держались на значительном удалении. Если это так, то скоро кто-то должен появиться у моей машины. Кругом лес да горы. Появиться они могут только используя одну дорогу. Но она под моим контролем. Они будут немного суетиться у моей машины, соображая, в каком направлении я ушел. Тогда я заберу свой драгоценный сверток и, сделав большой крюк по лесу, вернусь к своей машине, когда возле нее никого не останется. Двери я закрою изнутри и буду кружить по лесам и горам. А потом я вернусь в посольство, и завтра повторю все с самого начала.

Я вновь смотрю на часы: прошло тридцать минут. Никто не появился у моей машины. Только сосны шумят. Упаковку с гранатометом можно было бы оставить в машине, и сейчас, убедившись, что не следят, вернуться к машине, захватить груз и идти в горы. Но это не наша техника.

Я еще несколько минут сижу в кустах, прислушиваюсь к шорохам леса. Нет никого. На ноги я надеваю резиновые сапоги, на голову — кепку с добродушным британским львом, рюкзак на спину: пусть меня за туриста принимают. В руках у меня сигара. Я, конечно, не курю. Много лет назад мне запретили это делать. Но ароматная сигара всегда со мной. Кончик ее отломить, табак потереть в ладонях и разбросать вокруг себя. Это вашим собачкам от меня привет. Я долго бреду через кусты, выхожу к ручью и бреду по воде против течения. Слежки нет. Но может быть, они через несколько часов нагрянут сюда с собаками, с вертолетами.

Жаль, что упаковка с гранатометом имеет очень необычную форму. Если кто-то увидит, что из моего рюкзака торчит такая непонятная укутанная резиной деталь,

всенепременно поймет, что я чернорабочий ГРУ, что я работаю в неблагодарном обеспечении в наказание за неспособность самостоятельно находить выходы к секретам.

Далек мой путь. Ножками, ножками. Как в Спецназе. По ручью вверх и вверх. Революционным отрядам борцов за свободу нужно оружие для свержения капиталистического рабства. Возможно, гранатомет заберут итальянские или германские ребята и воспользуются им, нанося еще один удар по гниющему капитализму.

Далек путь. Достаточно времени для умственной гимнастики. Что же мне придумать, чтобы меня на самостоятельную работу поставили? Может, написать рапорт начальнику 5-го направления 1-го управления и предложить нечто оригинальное? Пусть, например, германские или итальянские ребята украдут президента или министра обороны. Это для них хорошо, для их революционных целей, для поднятия революционной сознательности масс. Захваченного пусть они судят своим революционным трибуналом. Пусть казнят его. Но перед казнью мы бы могли с ним поговорить: напильником по зубам — выдавай, падла, секреты!

Я бреду по воде, улыбаясь своим фантазиям. Конечно, этого я никогда не предложу. Неблагодарное дело — давать советы. Тех, кто подал идею, никогда не вспоминают. Награждают не инициаторов, а исполнителей. Идея проста. И без меня до нее додумаются. Мне нужно придумать иечто такое, где бы я был не только инициатором, но и исполнителем. Идея должна быть не общей, а конкретной. Перед тем, как ее поведать командиру, я должен подготовить тысячи деталей. Перед тем, как ее рассказать, я должен быть всецело связан с этой идеей, так, чтобы меня не могли оттеснить в сторону, доверяя проведение операции более опытным волкам.

Чистый горный поток журчит под моими ногами. Иногда я выхожу на берег, чтобы обойти водопад. Тогда я вновь отламываю кусочек сигары, тру табак в руках и разбрасываю его. Я ступаю только на камни, не оставляя следов.

Вот оно, это место, выбранное мной, одобренное Младшим лидером резидентуры и утвержденное начальником 1-го управления ГРУ. Тайник — это не пещера и не тайный погреб. Совсем нет. Тайник — это место, которое легко может найти тот, кому положено, и которое очень трудно найти тем, кому не положено. Тайник — это место, где наш груз не могут обнаружить случайно, где он не может пострадать от стихийных бедствий.

Подобранный мной тайник отвечает этим требованиям. Он выбран в горах, вдали от человеческого жилья. Это место — в расщелине между скал. Это место закрыто непролазной чащей колючих кустов. Сюда не стремятся туристы. Тут не играют любопытные дети. Тут никогда не будет строительства. Этому месту не угрожают оползни и наводнения. А найти его легко. Если знаешь, как искать. Вот высоковольтная линия электропередач на гигантских металлических опорах. От опоры № 042 нужно идти в направление опоры № 041. Нужно дойти до места, где провода более всего провисают и тут повернуть влево. Далее пройти тридцать метров в направлении, точно перпендикулярном линии электропередач. Колючки лицо царапают? Это ничего. Вот в кустах груда камней и черные угли костра, горевшего тут много лет назад. Отсюда десять шагов вправо. Протиснемся в расщелину. Вот груда камней. Это и есть тайник. Место не очень приятное. Сыро, мрачно. Колючки. Прошлый раз, когда я это место нашел, я набросал тут всякого мусора, который обнаружил поблизости: ржавую консервную банку, бутылку, моток проволоки. Это — чтобы никому в голову не пришло тут пикник устроить.

Я еще раз оглядываю все, что окружает меня. С момента моего первого появления тут не изменилось ничего. Даже консервная банка на прежнем месте. Я долго вслушиваюсь в шум ветра в вершинах гор. Никого. Сбрасываю с плеч осточертевший за долгую дорогу рюкзак. Я предлагал командиру закопать гранатомет в землю, но он приказал только завалить его камнями, выбирая какие потяжелее. А еще я предлагал поймать бездомного кота, доставить сюда и тут принести в жертву интересам мирового пролетариата. Его останки отгонят от этого места и охотников, и туристов, и любовные пары, ищущие укромные уголки. Это предложение тоже не утвердили. Первый заместитель командира приказал воспользоваться жидкостью «ЗРГ, вариант 4». Флакончик у меня небольшой, но запах останется надолго. «ЗРГ, вариант 4» — это запах горелой резины, он сохранится тут на несколько недель, отгоняя непрошеных и гарантируя одиночество получателям моей посылки. Что ж, успеха вам, бесстрашные борцы за свободу и социальную справедливость. Я вслушиваюсь в шум ветра и, как осторожный зверь, скольжу между скал.

7

Западную Европу я уже знаю неплохо. Как хороший охотничий пес знает соседнюю рощу. Я мог бы экскурсоводом работать в Амстердаме или в Гамбурге: посмотрите направо, посмотрите налево. Вену я тоже знаю хорошо, но не так, как, например, Цюрих. Это и понятно: не занимайся любовью там, где живешь. Понятно, что мои коллеги из Рима, Бонна, Парижа, Женевы знают Вену лучше меня. Они работают тут, «выезжая на гастроли». А я гастролирую там. Система для всех одна. У всех у нас одна тактика: не надо ссориться с местными властями, если можно операцию провести где-то очень далеко.

Сегодня я работаю в Базеле. Я не сам работаю. Обеспечиваю. Базель — это стык Германии, Франции и Швейцарии. Базель — это очень удобное место. Уникальное место. Базель — перекресток. Был в Базеле и исчез. Тут легко исчезнуть. Очень легко.

Я сижу в небольшом ресторанчике, прямо напротив вокзала. Вообще-то трудно сказать, ресторан это или пивная. Зал надвое разделен. В одной стороне — ресторан. Совсем небольшой. Там на столах красные скатерки. В другой стороне — пивная. Дубовые столы без всяких скатертей. Тут я и сижу. Один. На темном дереве стола вырезан орнамент и дата «1932». Значит, стол этот тут еще и до Гитлера стоял. Хорошо быть швейцарцем. Граница Германии вот там проходит. Прямо по улице. А войны никогда не было.

Симпатичная невысокая барышня кружку пива передо мной ставит на аккуратный картонный кружочек. Откуда ей, грудастой, знать, что я уже на боевой тропе. Что секунды стучат в моей голове, что сижу я тут неспроста и так, чтобы большие часы на здании вокзала видеть. Откуда ей знать, что по этим часам еще кто-то ориентируется, кого я не знаю и никогда не узнаю. Откуда ей знать, что кончики пальцев моих уже намазаны кремом ММП и потому не оставляют отпечатков. Откуда ей знать, что в моем кармане лежит обыкновенная фарфоровая ручка, которые в туалетах на цепочке висят. Дернул — и вода зашумела. Эта ручка сделана в Институте маскировки ГРУ. Внутри — контейнер. Может быть, с описанием тайника или с деньгами, с золотом, черт знает с чем. Я не знаю, что внутри контейнера. Но ровно через семь минут я выйду в туалет и в предпоследней кабине сниму с цепочки ручку, положу ее в карман, а на ее место повешу ту, что у меня в кармане. Кто-то, тот, кто тоже сейчас смотрит на часы вокзала, войдет в эту кабину после меня, снимет ручку с контейнером, а на ее место прицепит обыкновенную. Она сейчас в его кармане хранится. Наверное он тоже сейчас сжимает ее пальцами, намазанными кремом ММП. Все три ручки — как близнецы. Не различишь. Не зря Институт маскировки работает.

Стрелка больших часов чуть дрогнула. Еще шесть минут. Рядом с вокзалом большое строительство. То ли вокзал расширяют, то ли гостиницу строят. Сооружение вырисовывается из-под лесов изящное — вроде башни. Стены коричневого металла и окна тоже темные, почти коричневые. Высоко в небе рабочие в оранжевых касках — мартышки стальных джунглей. А на карнизах голуби. Вот один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища. Клювом в затылок бац, бац. Подождет немного. И снова клювом в затылок. Отвратительная птица голубь. Ни ястребы, ни волки, ни крокодилы не убивают ради забавы. Голуби убивают только ради этого. Убивают своих собратьев просто потехи ради. Убивают очень медленно, растягивая удовольствие.

Эх, был бы у меня в руках автомат Калашникова. Бросил бы я сектор предохранителя вниз на автоматический огонь. Затвор рывком назад и жутким грохотом залил бы привокзальную площадь полусонного Базеля. Шарахнул бы длинной переливистой автоматной очередью по голубю-убийце. Свинцом бы его раздавил, разметал. Превратил бы в ком перьев да крови. Но нет автомата со мной. Я не в Спецназе, а в агентурном добывании. Жаль. А ведь и вправду убил бы и не вспомнил бы, что, спасая слабого голубя от верной смерти, я спасаю и убийцу. Натура у них у всех одна. Голубиная. Придет в себя. Отдышится. Найдет кого послабее, да и будет его клювом своим в затылок тюкать. Знает же гад, в какое место бить. Профессионален, как палач из НКВД. Отвратительная птица — голубь. А ведь находятся люди, которые этого хладнокровного убийцу символом мира считают. Нет бы крокодила таким символом считали или анаконду. Мирная зверюшка анаконда. Убивает только на пропитание. А как покушает, так и спит. В мучительстве наслаждения не находит. И своих собратьев не убивает.

Слабый голубь на карнизе раскинул крылья. Голова его совсем повисла. Сильный голубь весь собрался в комок. Добивает. Удар. Еще удар. Мощные у него удары. Кончик клюва в крови. Ну, ты свое дело кончай, а мне пора. В туалет. На совершенно секретную операцию по агентурному обеспечению.

8

Я не теряю времени. Когда я обеспечиваю кого-то в Германии, я думаю о том, как самому проникнуть в германские секреты. Когда я в Италии, я думаю о выходах к итальянским секретам. Но в Италии можно завербовать и американца, и китайца, и австрийца. Мне нужны такие, которые владеют государственными секретами. Сейчас я вернулся из Базеля и докладываю Навигатору результаты операции. Обычно рапорт слушает Младший лидер, но сегодня слушает Навигатор лично. Видимо, обеспечение было очень важным. Воспользовавшись случаем, я докладываю мои предложения о том, как добыть секретные документы о системе «Флорида». «Флорида» — это систе-

ма ПВО Швейцарии. Швейцарская «Флорида» — это кирпичик. Но точно из таких кирпичиков сложена система ПВО США. Если познакомиться со швейцарским сержантом, то станет многое ясно с американской системой...

Навигатор смотрит на меня тяжелым взглядом. Свинец в глазах и ничего больше. Взгляд его — взгляд быка, который долго смотрит на молоденького тореадора перед тем, как поднять его на могучие рога. Мысли от этого бычьего взгляда путаются. У меня есть имена и адреса персонала на командном пункте системы ПВО Швейцарии. Я знаю, как можно познакомиться с сержантом. Но он давит взглядом меня. Я сбиваюсь и забываю весь четкий порядок моих построений.

— Я постараюсь это сделать...

Он молчит.

— Я доложу все детали...

Он молчит.

Он втягивает ноздрями кубометр воздуха и тут же с шумом, как кит, выпускает его:

— В обеспечение!

Агентурное обеспечение — это вроде сладкий сироп для мухи. Вроде и не рискованно, и сладенько, но не выберешься из него. Крылышки тяжелеют. Так в этом сиропе и сдохнешь. Только тот настоящим разведчиком становится, кто из него вырваться сумеет. Генка-консул, к примеру. Приехал он в Вену вместе со мной. На изучение города нам по три месяца дали. Чтоб город мы лучше венской полиции знали. Через три месяца нам обоим экзамен: десять секунд на размышление, что находится на Люгерплац? Названия всех магазинов, отелей, ресторанов, номера автобусов, которые там останавливаются, все называй. Скорее! А может, там ни одного отеля нет? Скорее, скорее! Знать город лучше местной полиции! Назови все улицы, пересекающие Табор штрассе! Скорее! Сколько остановок? Сколько почтовых ящиков? Если ехать в направлении... что слева? Что? Что? Как? Как? Как?

Экзамены мы с Генкой со второго раза оба сдали. Не сдашь с трех раз — вернут в Союз. После экзаменов меня сразу в обеспечение бросили. А его нет. Он, пока город изучал, успел познакомиться с каким-то проходимцем, который паспортами торгует. Паспорта полуфальшивые, или чистые бланки, или просто украденные у туристов. 17-е направление ГРУ паспорта и другие личные документы: дипломы, водительские удостоверения, солдатские книжки — скупает в титанических количествах. Не для использования. Для изучения в качестве образцов при производстве новых документов. Все эти бумаги особо, конечно, не ценятся, и их добывание — совсем не высший класс агентурной работы. Да только меня в обеспечение, а Генку — нет: добывай свои чертовы паспорта. Пока Генка с паспортами работал, времени у него достаточно было. И он времени не терял. Он еще с кем-то познакомился. Тут уж меня поставили Генкины операции обеспечивать, хвост ему прикрывать. Я после его встреч какие-то папки получал да в посольство возил. Арестуют у входа в посольство, так меня, а не Геннадия Михайловича. А он чистеньким ходит. А потом у него и более серьезные вещи появились. Он на операцию идет, а его пять-семь борзых прикрывают. На следующий год ему досрочно подполковника присвоили. Майором он только два года ходил.

Я не завистливый и не ревнивый. Пусть, Генка, тебе везет. Чистого тебе неба! Я, Генка, тоже из обеспечения скоро вырвусь.

Восемь часов вечера. Я спешу домой. Четыре часа спать, а ночью — в обеспечение.

...Навигатор улыбается мне. Впервые за много месяцев:

— Наконец! Я всегда знал, что ты выйдешь на самостоятельную дорогу. Как ты с ним познакомился?

— Случайно. Я в обеспечении работал в Инсбруке. Возвращаюсь. Решил место для тайника про запас присмотреть. Встал у дороги. Место присмотрел. Хорошее. Решил возвращаться. Задние колеса на грунте. Грунт мокрый. Буксуют. Сзади откос. Сам тронуться не могу. Стою у дороги, прошу помочь. Все мимо несутся. Остановился «Фиат-132». Водитель один в машине. Помог. Чуть подтолкнул мою машину. Я вышел из грязи. Но его всего грязью обрызгал — газанул слишком сильно. Хотел в знак извинения ему бутылку виски дать, передумал. Извините, говорю, простите, давайте в ресторан зайдем. Почиститесь. А вечер мой. Приглашаю.

— Согласился?

— Да.

— Он спросил, кто ты таков?

— Нет, он только спросил, где я живу. Я ответил, что в Вене. Я же и вправду в Вене сейчас живу.

— Номер у тебя дипломатический был?

— Нет. Я в обеспечении работал. На чужой машине.

Навигатор визитную карточку в руках вертит. Налюбоваться не может. Инженер. «Ото Велара». Каждый ли день генерал ГРУ такую визитную карточку в руках держит? «Ото Велара»! Золотое дно. Может быть, кто-то и недооценивает Италию как родину гениальных мыслителей, да только не ГРУ. ГРУ знает, что у итальянцев головы мыслителей. Головы — гениальных изобретателей. Мало кто знает о том, что Италия в предвоенные годы имела небывалый технологический уровень. Воевала Италия без особого блеска, именно это и затмевает итальянские достижения в области военной техники. Но эти достижения, особенно в области авиации, подводных лодок, скоростных катеров были просто удивительны. Полковник ГРУ Лев Маневич перед войной переправил в Союз тонны технической документации потрясающей важности. Италия! Италия — непризнанный гений военно-морской технологии. Может, кто этому и не верит, а ГРУ верит. «Ото Велара!» Инженер!

— А не подставлен ли он? — Навигатору в такую возможность совсем не хочется верить, но этот вопрос он обязан задать.

— Нет! — с жаром уверяю я.— Проверялся. И радиоконтроль ничего не обнаружил.

— Не горячись. В таком деле нельзя горячиться. Если он не подставлен, то тебе крупно повезло.

Это я и сам понимаю.

— Вот что,— говорит Навигатор,— мы ничего не теряем. Срочно составь «лист проверки». До завтра успеешь?

— Я ночью в обеспечении работаю.

Он скривился. Потом поднимает трубку и говорит, не набирая никаких номеров:

— Зайди.

Входит Младший лидер.

— Виктора Андреевича замени завтра кем-нибудь.

— Некем, товарищ генерал.

— Подумай.

— Если только Геннадия Михайловича?

— Консула?

— Да.

— Ставь его в обеспечение. Пусть в обеспечении поработает, а то он себя переоценивать начал. Виктора Андреевича от всякого обеспечения освободить. У него очень интересный вариант наклевывается.

9

Ответная шифровка пришла через два дня. Навигатору совсем не хочется расставаться с «Ото Велара», с фирмой, которая строит удивительно быстрые и мощные военные корабли. Навигатору не хочется читать шифровку мне. Он просто повторяет ответ командного пункта ГРУ: «Нет». Шифровка не разъясняет, почему «нет». «Нет» в любом случае означает, что он — личность известная большому компьютеру ГРУ. Если бы о нем ничего не было известно, то ответ был бы положительным: пробуйте. Жаль. Жаль такого интересного человека терять. А командиру, наверное, жаль меня. Может быть, первый раз жаль. Он видит, что я рвусь в варяги. И ему совсем не хочется вновь толкать меня в борзые. Он молчит. Но я-то знаю, что в обеспечении дикая нехватка рабочих рук:

— Я, товарищ генерал, завтра в обеспечении работаю. Разрешите идти?

— Иди.— И вдруг улыбается.— Ты знаешь, нет худа без добра.

— У меня, товарищ генерал, всегда худо без добра.

— А вот и нет. Тебе запретили его встречать, это плохо. Но к сокровищам нашего опыта мы добавили еще одну крупицу.

— ?

— Ты попал в беду и через это познакомился с интересным человеком. В нашей работе очень тяжелым является первый момент знакомства. Как подойти к человеку? Как завязать разговор? Как закрепить знакомство? Впредь, как только найдешь интересного человека, бей его машину своей. Вот тебе и контакт. Пусть он тебе адрес дает. А ты приглашай выпить. Чем интересуетесь? Монеты? Марочки? Есть у меня одна...

— Вы, товарищ генерал, согласны платить за побитые машины? — смеюсь я.

— Согласен,— серьезно отвечает он.

Глава XI

1

Были времена! Но — прошли. А ведь были же. Была Красная армия, а против нее Белая армия. А еще была Зеленая армия. Командовал ею батько Фома Мокроус. Хоро-

шо зеленые воевали. Да вот беда — поверили красным, соединились с ними в Красно-Зеленую армию. Тут им и конец пришел. А армия снова Красной называться стала.

Хорошие были времена. Захотел к красным — пожалуйста. Не захотел — можешь и белым убежать или еще каким. Много всяких было: григорьевцы, антоновцы, петлюровцы. А лучше: Революционно-повстанческая армия Украины — РПАУ. РПАУ — это и армия и государство. Философия простая: роль государства — защищать население от внешних врагов. Это и все. Внутри государства — каждый сам себе государь. Делай, как хочешь, только других не обижай. Если враги нападут, государство армию выставляет — только добровольцы. Не хочешь за свою свободу воевать — будь рабом. Вот такие были порядки в РПАУ.

У нас на хуторе все старики те славные времена помнят. И руководителя той армии помнят — Нестора Ивановича Махно. Говорят старики, что Нестор Иванович совсем не таким был, как его в кино красные показывают. Говорят, он был парнем молодым. Я потом в энциклопедии проверял. Не врут старики: в восемнадцатом году Нестору Ивановичу тридцати лет не было. Волосы у него длинные были, правда. По плечам распущены. Мужики его святым почитали. Крестились, увидев.

Едет Нестор Иванович по Екатеринославу на четверке вороных. Хмур. Дума великая в глазах его. Четверкой вороных Великий Немой правит. Хромает Нестор Иванович, верхами не ездит: в тачанке рядом с пулеметом. А Великий Немой завсегда рядом. Он батьке Махно и кучер, и ординарец, и телохранитель, и придворный палач: приговоры Нестора Ивановича совсем короткие.

Едет Нестор Иванович — мужики в пояс кланяются, свой он: крестьянский царь. На тачанке его пулеметной сзади серебряными гвоздиками девиз выбит: «Эх, не догонишь!». Спереди — «Эй, не возьмешь!» А рядом с батькиной тачанкой верхами: батько Максюта, Николай Мельник, Гришка Антихрист, Никодим Пустовойт да Лев Андреевич Задов — начальник разведки. Разведка в РПАУ на уровне высших мировых стандартов стояла. В невыгодных условиях Махно никогда боя не принимал. Уходил. Исчезал. Армия его рассыпалась. Пушки, пулеметы по оврагам да буеракам, кони на лугах пасутся, тачанки пулеметные девок на ярмарку возят. Мужики по дворам сидят. На солнышке. Улыбаются.

Махновская армия от всех других юмором острым отличалась да улыбками. Сам Нестор Иванович — большой шутник был. Дума великая на челе его, а в глазах бесенята озорные. За хорошую шутку жаловал он, как за победу в бою. Лихо Нестор Иванович воевал! В одну ночь собирал он всю свою армию в кулак и бил тем кулаком внезапно по самому уязвимому месту. В армии его семнадцать кавалерийских дивизий было. Трепетали города от грохота копыт его конницы. А если удача против него, свистнет батько — и вновь его армия рассыпалась, затаилась, до первой темной ночки исчезла.

Неуязвим был батько Махно. Но красным поверил. Зря, батько, поверил. Нашел, кому верить. Махновская кавалерия вместе с красными в Крым ворвалась белых резать. А как белых порезали, развернулась внезапно Первая Конная армия против своего союзника. Конная армия! Голая степь. Конец ноября двадцатого года. Конная армия! Лавина. Грохот копыт на десятки верст. Степь уже морозом прихватило. Степь вроде бескрайнего бетонного поля. От горизонта до горизонта. Красные не стреляли и даже «ура» не кричали. Десятки тысяч клинков со свистом вылетели из ножен, засверкали на солнце. И пошла Конная армия! И пошла. Вой и свист. Человек в толпе звереет. И лошадь звереет. Пена клочьями. Кони-звери! Люди-звери! Свист клинков. Блеск нестерпимый. Грохот копыт. Кавалерийские дивизии красных большим крюком махновскую армию обходят, отрезая пути, а вся Конная армия в лоб. Галопом. Внезапно. Против союзника! Руби! Даешь! Отдельная кавалерийская бригада особого назначения пленных тут же клинками рубит и своих тоже. Тех, кто в бою не звереет. Р у б и!!!

Развернул Нестор Иванович триста восемьдесят пулеметных тачанок. Четыреста шестнадцать его пулеметов стегнули Первую Конную армию свинцовым ураганом. Но поздно. Поздно. Кому ты, Нестор Иванович, поверил? Поздно. Никогда ты боя в неравных условиях не принимал. Уходил. А тут куда же уйдешь от союзника? Руби! Захлебнулась 6-я кавалерийская дивизия красных собственной кровью. Трупов — горы. Раненых нет. Раненых кони топчут: Первая Конная армия лавиной идет! Ей не время своих раненых обходить. Руби! Зря ты, Нестор Иванович, им поверил. Зря. Я бы им не поверил. Я им и сейчас не верю.

Знаешь, Нестор Иванович, я бы к красным служить не пошел. Я бы под твои черные знамена. Да нет тебя, и нет других армий, кроме Красной. И никуда не убежишь. Прошли те славные времена. В принципе, мало что изменилось. Каждый сам себе банду вербует. Только называется это — не банда, а группа. Правда, что группы друг друга шашками не секут, но от этого разве легче? Раньше хоть ясно было, кто белый, кто зеленый. А сейчас каждый себя для удобства к красным причисляет. Но каждый красный остальным красным не верит. Другие красные для него союзники, как Первая Конная армия для батьки Махно союзником была.

Плохие времена. Все товарищи. Все братья. А когда человек человеку друг, товарищ и брат, как тут угадаешь, откуда по тебе удар нанесут? Откуда лавина внезапно развернется и затопчет тебя копытами?

2

Трясина агентурного обеспечения все глубже и глубже засасывает меня. Не вырвешься.

Если каменщик стенку кладет, то даже ему по закону три подручных положены: раствор мешать, кирпичи подавать, кирпичи на половинки рубить, если понадобится. В агентурном добывании подручных гораздо больше нужно на каждого работающего. И каждый хочет каменщиком быть. Никому подручным быть не хочется. А мастером можно стать, только доказав, что ты умеешь работать сам на уровне других мастеров или еще лучше.

А как это сделать, если агентурное обеспечение забирает все время? Все ночи. Все праздники. Все выходные.

Николай Викторович Подгорный, советский президент, исчез. Испарился. Пропал. Был. Теперь нет его. Конечно, президент — только пешка. Президент — ничто. Президент — ширма. Вроде как советский посол. Ходит по посольству гордый. С высокими особами разговаривает. Руки жмет. Улыбается. Но решений не принимает. И к большим секретам не допущен. Улыбайся и жми руки. Такая тебе работа. А у нас прямой канал подчинения. Навигатор отчитывается перед начальником ГРУ. А он перед начальником Генерального штаба. А тот перед Центральным Комитетом. А послы и президенты — маскировка. Ширма.

Но, черт побери, если президент, пусть даже липовый, исчезает, если о нем вспоминают только полдня, вспомнит ли кто обо мне, если я вдруг исчезну?

Советский военный атташе в Вене исчез. Пропал. Испарился. Его увезли домой. В Союз. Эвакуировали, как у нас выражаются. Эвакуация офицеров ГРУ и КГБ производится в случаях крупных ошибок, полной бездеятельности, в случае, если кто-то заподозрен в недозволенных контактах или в подготовке к побегу.

За что эвакуировали военного атташе, я не знаю. Этого никогда не объявляют. Исчез и точка. Пропал. Уехал в отпуск и не вернулся. Советский Союз большой. Затерялся где-то.

Его зеленый «мерседес» перешел по наследству к новому военному атташе полковнику Цветаеву. Новый военный атташе горд. Начальником себя считает. Наши соседи из КГБ думают, что он Младший лидер. Но у нас, как в любой тайной организации, официально занимаемое положение ничего не значит. У нас своя иерархия. Тайная. Подпольная. Невидимая миру.

Походи, полковник, покрасуйся. Но смотри, скоро тебя Навигатор в свой кабинет позовет. На львиную шкуру. Он тебе, полковник, очень ласково сообщит, что подчинен ты не Навигатору лично, не Младшему лидеру и даже не обычному заместителю Навигатора, а просто одному из очень успешных волков ГРУ, одному из наших варягов. А им может оказаться любой, например, твой помощник. Официально, на людях, ты будешь улыбаться и жать руки, а помощник военного атташе в звании майора или подполковника сзади твой портфель носить будет. Ты на «мерседесе», он — на «форде». Но — это только официально. А то, что делается официально на виду у всех — никакой роли не играет. Главарь мафии днем может официантом прикидываться. Но это совсем не значит, что директор ресторана имеет больше влияния. У нас в ГРУ — та же система. Внешние ранги и отличия роли никакой не играют. Бутафория. Наоборот, своих лидеров и наиболее талантливых офицеров мы со сцены в тень убираем, выставляя на сцену чванных вельмож. А за кулисами у нас свои ранги, свои отличия, своя особая шкала ценностей. И тут, за кулисами, варяг правит борзыми. Варяг глотки рвет. Варяг секреты добывает. Его обеспечивать надо. Твой помощник уже выбился в варяги. А ты, полковник, еще только борзой. Шакал. Шестерка. Бобик. Тузик. Ты на своем «мерседесе» своего помощника обеспечивать и прикрывать будешь. За малые ошибки майор тебя публично осмеет в присутствии всей нашей добывающей братии. За большие ошибки — в тюрьму посадит. Он добывает секреты для ГРУ. А ты только обеспечиваешь его. Он на тебя характеристику писать будет. Твоя судьба в его руках. Ошибешься — пропадешь, исчезнешь. Тебя эвакуируют, как твоего предшественника. А пока улыбайся, борзяга, подметка, каштанка. И помни, через три месяца экзамен на знание города. Знать Вену лучше венской полиции! Сто вопросов. Должно быть сто правильных ответов. Ошибка в ответе приведет к ошибке в агентурном обеспечении. А это — провал, скандал, комиссия Центрального Комитета, конвейер, тюрьма. А если сдашь, полковник, экзамен, то ждет тебя обеспечение. Будешь хвосты прикрывать. Без выходных. Без праздников. Без просвета. А пока улыбайся.

3

Агентурное обеспечение бывает прямое и общее. В прямом обеспечении сегодня работает вся наша славная резидентура. Весь забой. Вся свора.

Все обеспечение координирует Навигатор лично. А в общем обеспечении работает посол Союза Советских Социалистических Республик и Генеральный консул. Они, работающие в общем обеспечении, понятия не имеют о том, что происходит. Просто из Центрального Комитета (это называется «из инстанции») им шифровка: прикрыть, оградить, отмазать. Если ошибемся мы, прямое обеспечение, то общее обеспечение будет нас дымовой завесой прикрывать. Точно как осьминог уходит от врага, прикрываясь непроглядной завесой. Посол и Генеральный консул будут кричать, шуметь, обвинять в клевете и провокациях австрийскую полицию, отрицать все, что угодно. Они будут нагло смотреть в глаза, разыгрывая оскорбленную невинность. Они будут угрожать ухудшением дружеских отношений и концом разрядки. Они вспомнят, что Красная Армия бескорыстно освободила Австрию. Они вспомнят о жертвах войны и о преступлениях нацизма. У них работа такая. Они придуманы для того, чтобы прикрывать наш отход, если мы ошибемся.

Но мы пока не ошиблись. Пока все идет хорошо. Операция, которую мы проводим, требует усилий нескольких резидентур и всех добывающих офицеров в каждой из резидентур, вовлеченных в операцию: через Австрию идет танковый двигатель.

Он уже прошел несколько стран. Транзитом. Назначение — Турция. Якобы. Австрия — последний трудный этап этого сложного пути. Дальше он пойдет в Венгрию, а дальше он резко изменит направление движения.

Танковый двигатель весит полторы тонны. Наши варяги увели его в какой-то стране и переправили через границу под каким-то другим названием. Он путешествует уже давно, пересекая границы, каждый раз меняя свое название, точно как нелегал ГРУ меняет паспорта, пересекая границы.

Сейчас контейнер с танковым двигателем уже в Австрии. Тут он путешествует под названием «экспериментальная энергетическая установка для дренажных систем орошения». В странах Азии и Африки голод! Пропустите «экспериментальную энергетическую установку»! Пусть бедные страны решат проблему продовольствия!

Нервная работа. Тяжелая. Тот, кто не связан с транзитом тяжелых грузов через государственные границы, даже представить не может, сколько бюрократов вовлечено! А ГРУ должно быть уверено, что ни один из них не подозревает об истинном назначении «экспериментальной энергетической установки». А тот из них, кто вдруг догадался, должен немедленно получить мощный гонорар за догадливость и сделать вид, что не догадывается. Каждого из них ГРУ должно контролировать хотя бы издалека. Вот этим мы и занимаемся.

Кто-то из наших варягов сверлит дырку для ордена. Танковый двигатель. Новейший. Не для копирования, конечно. Но для изучения. Точно так же, как для американского конструктора гоночных машин был бы очень интересен новейший японский двигатель.

Черт побери, где же мне добыть что-то подобное? Интересных вещей множество. И добыть их иногда не очень трудно. Но служба информации покупает три-четыре одинаковых образца или документа в разных частях мира, и все. Больше не нужно. Давай новейшее, то, чего никто добыть не может. Иногда предлагаешь что-то потрясающе интересное, но ГРУ отвечает отказом. Спасибо, но дипломатическая резидентура ГРУ в Тунисе работала быстрее. Спасибо, у нас уже это есть.

ГРУ — это жестокая конкуренция. Выживают сильнейшие.

4

Медленно струится время, тик, тик, тик. Ночь. А у нас в забое всегда один цвет: голубой. Можно регулировать яркость света. Но от этого не меняется цвет. Все попрежнему остается голубым. 2 часа 43 минуты. Нужно пройтись, разогнать сон. Обычно в помещениях резидентур нет никаких окон. У нас в Вене в огромном сооружении их только три. Нужно из общего рабочего зала выйти в коридор, подняться по лестнице, мимо фотодешифровочной лаборатории в коридор «С», и оттуда вверх по лестнице. Сорок восемь ступеней. Вот тут у нас совсем небольшой коридорчик, который ведет к мощной двери антенного центра. В этом-то коридорчике и есть три окна. Место это называется Невский проспект. Наверное потому, что насидевшись в глубинах наших казематов, каждый норовит тут на пятачке покрутиться у солнышка. Этот пятачок отделен от наших рабочих помещений десятками дверей, бетонными перекрытиями и стенами. Тут не разрешено обсуждать секретных вопросов. Тем не менее три окна защищены так, как должны быть защищены окна помещений ГРУ. Снаружи они ничем не отличаются от других окон. Такие же решетки, как и везде. Но наши окна чуть мутны. Поэтому снаружи очень трудно разглядеть то, что происходит внутри.

Стекла на окнах очень толстые. Не проломишь. Выполнены они так еще и потому, что толстое стекло меньше вибрирует и не может служить мембраной, если навести на него мощный источник электромагнитных излучений. Стекла сделаны как бы не очень аккуратно. В одном месте чуть толще, в другом — чуть тоньше. Но и это хитрость. Неровности стекла рассчитаны электронной машиной. Кто-то за изобретение неровного стекла премию получил. Если даже наши стекла используются в качестве мембраны, то неровное стекло рассеивает отраженный луч хаотично, не позволяя получить удовлетворительное качество приема. Форточек у нас, конечно, нет. Системы вентиляции особые. Они охраняются, и о них я мало что знаю. Ясно, что окна для этой цели никак не используются.

Каждое окно имеет тройное стекление. Рамы металлические. Между металлическими деталями — прокладки. Это чтобы всячески снизить вибрацию. Внутреннее и внешнее стекление выглядят как обычные оконные стекла, но если присмотреться к средней раме, то можно увидеть, что стекла находятся не в одной плоскости. Каждое стекло чуть наклонено и чуть развернуто по фронту. Для каждого стекла свой угол наклона. Каждый угол тоже электронной машиной рассчитан. Это чтобы предотвратить возможность использования окон для подслушивания. Стены защищены, конечно, еще лучше. Особенно там, под землей, в забое.

За окнами еще непроглядная ночь. Я знал это. Я пришел сюда только для того, чтобы походить по лестницам и коридорам. Я — дежурный офицер, и мне спать никак нельзя.

Вся ночная смена работает практически без моего участия и вмешательства. Группа «ТС» постоянно и круглосуточно ведет работу по перехвату и расшифровке военных и правительственных радиограмм. Группа контроля тоже занимается радиоперехватом. Но это совсем другой вид работы. «ТС» работает в интересах службы информации ГРУ, добывая крупинки, из которых командный пункт и большой компьютер постоянно лепят общую картину мира. У радиоконтроля функции другие, хотя и не менее ответственные. Группа радиоконтроля работает в интересах только нашей резидентуры. Эта группа следит за активностью полиции. Эта группа всегда знает, что делает венская полиция, как расставлены ее силы, за кем следят ее переодетые агенты. Радиоконтроль всегда скажет вам, что сегодня у вокзала они следили за подозрительным арабом, а вчера все силы были брошены на поимку группы торговцев наркотиками. Очень часто активность полиции не поддается расшифровке, но я тогда группа радиоконтроля всегда готова предупредить о том, в каком районе города эта непонятная активность.

Кроме групп радиоперехвата ночами работают радисты и шифровальщики, но и в их работу я не имею права вмешиваться. Зачем же я тогда ночью тут сижу? Так положено. Работают разные группы, не подчиненные друг другу. Значит, над ними кто-то должен быть старшим. Оттого мы и дежурим ночами.

Я — обыкновенный добывающий офицер, не имеющий особых заслуг, для всех них — олицетворение власти. Для них неважно, варяг я или борзой. Я отношусь к высшей касте. Я добывающий. Значит, гораздо выше любого из тех, кто не связан прямо с иностранцами. Для любого из них, независимо от их воинских званий, стать добывающим офицером — красивая, но неосуществимая мечта.

— Виктор Андреевич, кофе?

Это Боря, третий шифровальщик. Ему нечего делать. Главный приемник молчит, приемник агентурной радиосигнализации тоже молчит.

— Да, Боря. Пожалуйста.

Я собирался закончить описание подобранных мной площадок десантирования для работы Спецназа 6-й Гвардейской танковой армии. По приказу ГРУ я подобрал три такие площадки. На случай войны. Но если Боря вышел из своего отсека, то завершить эту работу все равно не удастся.

— Сахар?

— Нет, Боря. Я всегда без сахара.

Боря поклоняется Венере. Все шифровальщики ГРУ и КГБ по всему миру поклоняются этой даме. Боря знает, что у меня много работы и ходит вокруг, обдумывая, как отвлечь мое внимание от будущей войны и переключить его на обсуждение вопросов его религии.

— Виктор Андреевич!

— Чего тебе? — я не отрываюсь от тетради.

— Дипкурьеры стишок новый принесли.

— Сексуальный, конечно?

— У дипкурьеров всегда только такие.

— Хрен с тобой, Боря. Давай свой стишок.

Боря кашляет. Боря прочищает горло. Боря в позе великого поэта:

Я хожу по росе,
Я в ней ноги мочу,

Я такой же, как все:
Я ... хочу!

— Это я, Боря, и до тебя слышал.
Боря огорчается ненадолго:
— У нас в Ленинграде один страдатель был. Знатные стихи выдавал:

О, Ленинград!
О, город мой!
Все люди — б...
А я святой!

От него не отвяжешься. Да и портить отношения с ним опасно. Шифровальщики — более низкая каста, да зато ближе всех к Навигатору стоят, как верные холопы. В его поэзию мне никак углубляться не хочется, но и прерывать его неразумно. Лучше разговор в сторону повернуть:
— Ты в штабе Ленинградского округа служил?
— Нет, в восьмом отделе штаба 7-й Армии.
— А потом?
— А потом прямо в Ватутинки.
— Ого!
Ватутинки — это совершенно секретный городок под Москвой. Главный приемный радиоцентр ГРУ. Там секретно все. Даже кладбище. Ватутинки — рай. Но как настоящий рай, он имеет одно неудобство: нет выхода наружу. Тот, кто попал в Ватутинки, может быть уверен, что похоронят его именно на этом кладбище я нигде более. Некоторые из тех, кто попал в это райское место, бывают за рубежом. Но жизнь от этого разнообразнее не становится. Для всех шифровальщиков внутри посольства установлены четко ограниченные зоны. Для каждого своя. Для Бори это только шестнадцать комнат, включая комнату, в которой он живет, общий рабочий зал, кабинеты Навигатора и его заместителей. За пределы этой зоны он перемещаться не может. Это уголовное преступление. А за пределы посольства — тем более. В этой зоне Боря проживет два года, а затем его отвезут в Ватутинки. В зону. Боря не ездит. Его возят. Под конвоем. Боря счастливый. Многих из тех, кто попал в Ватутинки, вообще никуда не возят. Но и они — счастливцы в сравнении с теми тысячами шифровальщиков, которые служат в штабах округов, флотов, армий, флотилий. Для каждого из них Ватутинки — красивая, но неосуществимая мечта.
— Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, про проституток. А то мне скоро в Ватутинки. Там ребята засмеют: был в Вене, а никаких рассказов не привез.
— Боря, я ничего не знаю о проститутках.— Голову даю на отрез, Боря не по приказу свыше меня провоцирует, ему просто послушать хочется. Любой шифровальщик, вернувшийся в Ватутинки, ценится только умением рассказывать истории на сексуальные темы. Все понимают, что у него была очень ограниченная зона для передвижения внутри посольства, иногда пять комнат. Все понимают, что его истории — выдумки, что ни один добывающий офицер не осмелится рассказать шифровальщику ничего из того, что он видит вокруг себя. И все же умелый рассказчик ценится в Ватутинках, как у народностей, не имеющих письменности, ценится сказочник. Вообще-то у цивилизованных народов то же самое наблюдается. Магазины Вены забиты фантастическими романами о приключениях на вымышленных планетах. Все цивилизованные люди понимают, что это выдумка, но чтут авторов этих вымыслов точно так же, как в Ватутинках чтут рассказчиков сексуальных историй.
— Виктор Андреевич, ну расскажите про проституток. Что, прямо так и стоят на улице? А одеты в чем? Виктор Андреевич, я знаю, что вы к ним близко не подходите, но как они издалека выглядят?

5

...Ощущаю острую нехватку воображения. А без него — труба. Тот, кто сам планирует свои ходы, всеми силами старается уйти в тень, выталкивая обеспечивающих под свет полицейских фонарей. На что уж полиция в Австрии добродушная, но и она иногда злиться начинает. Публично нас, конечно, не выгоняют: мы все-таки не в Великобритании, тем не менее потихоньку и из Австрии иногда выставляют. Без шума, без скандала. А уж если ты в Австрии не сумел работать, можно ли тебя в Голландию отправить, где полиция работает вполне серьезно, или в Канаду, где условия и перспективы теперь совсем не те, что были когда-то.
Каждый варяг в тени. Каждый борзой — всему миру известен. Что ж, обмани ближнего, иначе дальний приблизится и обманет тебя. Варяги правильно делают, что нас под огонь подставляют, прикрываясь нашей нерасторопностью и неумением. Но я тоже стану варягом. Это я решил точно. Ночи спать не буду, а свой выход к секретам найду!

Без выхода к настоящим документам — нет вербовки. Без вербовки нет жизни в ГРУ. Заклюют. Все, что нам в Академии преподавали,— имело не менее 20 лет выдержки и использовалось на практике много раз. Нужны новые пути.
Для развития криминального воображения нас заставляли детективные романы читать. Но это скорее для развития критического отношения к действиям и решениям других. Авторы детективов — профессиональные развлекатели публики, а не профессиональные добыватели секретов. Легко и свободно они главный вопрос обходят: как командир может поставить задачу на добывание нового оружия, если о нем ничего не известно. Вообще ничего. Если мир еще и не подозревает о том, что подобное оружие может существовать. А ведь ГРУ начало охоту за атомной бомбой в США, когда никто в мире не подозревал о возможности создания такого оружия, и президент США еще по достоинству его не оценил.
Для развития воровского подхода в добывании возили нас в секретный отдел музея криминалистики на Петровку. Московское УГРО, конечно, не знало, кто мы такие. В том музее множество секретных делегаций и из МВД, и из КГБ, и из народного контроля, и из комсомола, и еще черт знает откуда. Всем криминальное мышление развивать надо.
Интересный музей, ничего не скажешь. Больше всего мне машина понравилась, которая деньги делала. Ее студенты МВТУ сработали и грузинам за 10 000 рублей продали: нам настоящие деньги нужны, а фальшивую машину мы еще одну сделаем. Показали студенты, куда краску лить, куда бумагу вкладывать, куда спирт заливать. Делала машина великолепные хрустящие десятки, которые ни один эксперт от настоящих отличить не мог. Предупредили студенты грузин: не увлекайтесь — жадность фраера губит! Не перегревайте машину — рисунок расплывчатым станет. Уехали грузины в Грузию. Знай себе по вечерам денежки печатают. Но встала машина. Пришлось в шайку механика вербовать. Вскрыл механик ту машину, присвистнул. Обманули вас, говорит. Не может эта машина денег фальшивых делать. В ней сто настоящих десяток было вставлено. Крутнешь ручку — новенькая десятка и выскочит. Было их только сто. Все выскочили. Больше ничего не выскочит. Грузины в милицию. Студентов поймали — по три года тюрьмы за мошенничество. А грузинам — по десять. За попытку и решимость производить фальшивые деньги. Оно и правильно: студенты только грузин обманули, а те хотели рабоче-крестьянское государство обманывать.
Эх, везет же людям с такой роскошной фантазией. А что мне придумать?

Глава XII

1

Вербовка — сложное дело. Как охота на соболя. В глаз нужно бить, чтобы шкуру не испортить. Но настоящий охотник не считает трудностью попасть в соболиный глаз. Найти соболя в тайге — вот трудность.
ГРУ ищет людей, которые обладают тайнами. Таких людей немало. Но советник президента, ракетный конструктор, штабной генерал отделены от нас охраной, заборами, сторожевыми собаками, тайными привилегиями и огромными получками. Для ГРУ нужны носители секретов, которые живут одиноко, без телохрвнителей, нужны носители государственных секретов, которые не имеют радужных перспектив и огромных получек. Нам нужны носители секретов, которым нужны деньги. Как найти таких людей? Как выделить их из сотен миллионов других, которые не имеют доступа к секретам? Не знаете? А я знаю! Теперь я знаю. У меня блестящая идея.
Но вот беда: к Навигатору на прием попасть невозможно. Уже много дней он сидит в своем кабинете, как в заключении, и никого не принимает. Младший лидер — злее пса. К нему подходить опасно — укусит. Младший лидер тоже почти все время в командирском кабинете проводит. А кроме них там Петр Егорович Дунаец сидит. Официально он — вице-консул. Неофициально — полковник ГРУ, заместитель Навигатора. Теперь к этой компании присоединился еще и контр-адмирал Бондарь — заместитель начальника 1-го управления ГРУ. Он в Вену прилетел как член какой-то делегации, не военной, а гражданской, конечно. В делегации его никогда не видели. У него более серьезные заботы.
Вся компания — генерал, адмирал и два полковника очень редко из командирского кабинета появляются, как стахановцы, в забое сидят. Мировой рекорд добычи поставить решили?
Женя, пятый шифровальщик, носит им в кабинет и завтрак, и обед, и ужин. А потом подносы оттуда выносит. Все холодное, все нетронутое. А еще Женя оттуда выносит груды кофейных чашек и пирамиды окурков. Что там происходит, Женя, конечно, не знает. Все командирские шифровки обрабатывает только Александр Иванович — первый шифровальщик. Но у него рожа всегда каменная. Без эмоций.

Наверняка то, чем занимаются четверо в кабинете, именуется научным термином «локализация провала». Знать, крупный провал, глубокий. И нужно рубить нити, которые могут нащупать следователи. И потому в командирский кабинет вызывают по одному самых опытных варягов резидентуры, и после короткого инструктажа они исчезают на несколько дней. Что они делают, я не знаю. Мне этого не положено знать. Ясно, что нити рубят. А как рубят? Можно только догадаться. Дают агентам деньги и паспорта: уходи в Чили, уходи в Парагвай, денег на всю жизнь хватит. Это не всем, конечно, такая удача. Речь о безопасности ГРУ идет. Речь идет о том, останется ли могущественная организация, как всегда, в тени, или о ней начнут болтать все бульварные газеты, как о КГБ или CIA. Для ГРУ очень важно вновь увернуться в тень. Ставки в игре небывалые. И поэтому ГРУ рубит нити и другими способами. Кто-то сейчас с диким воплем под поезд падает в награду за долголетнюю верную службу. Каждому свое. Кто-то при купании утонул. С всяким это может случиться. Но чаще всего автомобильные катастрофы происходят. ГРУ, как анаконда, никогда не убивает ради любви к убийству. ГРУ убивает только при крайней нужде. Но убивает неотвратимо и чисто. Нервная это работа. Вот почему к Младшему лидеру сейчас лучше не подходить. Укусит.

2

— Ты, Витя, на доброте своей сгоришь. Нельзя быть таким добрым. Человек имеет право быть добрым до определенного предела. А дальше: или всех грызи, или ляжь в грязи. Дарвин это правило даже научно обосновал. Выживает сильнейший. Говорят, его теория только для животного мира подходит. Правильно говорят. Да только ведь и мы все животные. Чем мы от них отличаемся? Мало чем. У остальных животных нет венерических болезней, а у людей есть. Что еще? Только улыбка. Человек улыбаться умеет. Но от ваших улыбок мир не становится добрее. Жизнь — выживание. А выживание — это борьба, борьба за место под солнцем. Не расслабляйся, Витя, и не будь добрым — затопчут...

Давно за полночь. С берега Дуная тянет прохладой. Где-то далеко садится самолет. Дождь прошел. Но с каштанов еще падают тяжелые теплые капли. Младший лидер сидит напротив меня, горестно подперев щеку кулаком. Вообще-то он уже не Младший лидер. Это просто по привычке мы его так называем, да и то не все. Теперь он просто полковник ГРУ Мороз Николай Тарасович. Добывающий офицер, действующий под дипломатическим прикрытием. Это не много. Полковник ГРУ это тоже не очень высоко. Полковники всякие в ГРУ бывают. Важно не звание, а успехи и положение. Добывающий полковник может быть просто борзым, как два военных атташе, которых эвакуировали одного за другим. Он может быть гордым и успешным варягом. Полковник может быть заместителем лидера или Младшим лидером. А в некоторых случаях и лидером небольшой дипломатической или нелегальной резидентуры.

Сейчас полковник Николай Тврасович Мороз сведен с предпоследнего этажа на самый низ. Локализация провала завершена. Младшего лидера сместили. Троих борзых, что его всегда обеспечивали, эвакуировали в Москву. И все затихло. Со стороны изменений ведь не увидишь.

Кончилась власть полковника Мороза. На его место пока никого не прислали. Так что Навигатор правит нами лично и через заместителей. Нелегко ему без первого заместителя, но, откровенно говоря, и Навигатор не очень сейчас старается. Все как-то само собой идет.

Падение Младшего лидера каждый по-своему переносит. Каждый по-своему реагирует. Для офицеров «ТС», радиоконтроля, фотодешифровки, для охраны, для операторов систем защиты, связистов, шифровальщиков и всех остальных, не участвующих в добывании, он так и остался полубогом. Ведь он же по-прежнему добывающий офицер! Но среди нас, добывающих, к нему теперь по-разному относятся. Конечно, капитаны, майоры и подполковники не хамят ему. Он равен нам по положению, но тем не менее полковник. Но вот среди полковников, особенно малоуспешных, кое-кто и посмеивается. Интересно мы устроены: те, кто больше других к нему в дружбу лез, те больше других сейчас над ним потешаются. Друзья в беде познаются. Николай Тарасович на шутки не обижается. Не огрызается. Пьет Николай Тарасович. Здорово пьет. Навигатор внимания не обращает. Пусть пьет. Горе у человека. Сдается мне, что и сам Навигатор поддает. Боря, третий шифровальщик, говорит, что Навигатор с зеркалом пьет, закрывшись в кабинете. Без зеркала пить не хочет, считает, что пьянство в одиночку — серьезный вид пьянства. Не знаю, шутит Боря или правду говорит, но только месяца три назад не осмелился бы Боря ни шутить так, ни личные командирские тайны выдавать. Видать, ослабла рука Навигатора, нашего папочки, нашего командира. Ослабла рука Лукавого. Возможно, что Навигатор с бывшим Младшим лидером иногда и вдвоем напиваются. Но Лукавый умудряется это в секрете сохранить, а Николай Тарасович не прячется.

Сегодня вечером под проливным дождем бегу я к своей машине, а он, бедолага, мокрый весь, ключом в дверь своего длинного «ситроена» попасть не может.

— Николай Тарасович, садитесь ко мне, я вас домой отвезу!

— Как же я, Витя, тогда утром в посольство вернусь?

— А я за вами утром заскочу.

Поехали.

— Вить, айда выпьем?

Как не выпить? Отвез я его за Дунай. У меня тут места есть, мало каким разведкам известные. Да и цены умеренные. Пьем.

— Добрый ты, Витя. Нельзя так. Ты человека из беды выручаешь, а он тебя и сожрет. Говорят, что люди — звери. Я с этим, Витя, ну никак согласиться не могу. Люди хуже зверей. Люди жестоки, как голуби.

— Николай Тарасович, все еще на свои места встанет, не расстраивайтесь. Навигатор вас за брата считает, он вас поддержит. Да и в Аквариуме у вас связи могучие, и в нашем управлении, и на КП, и в информации...

— Это все, Витя, правильно... Да только... ш-ш-ш, секрет... Провал у меня... Жестокий... В Центральном Комитете разбирали... Тут связи в Аквариуме не помогут. Ты думаешь, почему я не в Союзе? Потому как странно будет: в одной стране процесс шпионский, а из соседней — дипломаты советские исчезают... Проныры-журналисты мигом параллель проведут... А для политики разрядки это вроде как серпом по глотке. Это вроде признания нашей вины и заметание следов. Временно я в Вене. Немного уляжется, забудется, тогда и меня уберут. Эвакуируют.

— А если вы успеете особо важного вербануть?

Он на меня грустным взглядом смотрит. Мне немного за свои слова неудобно. Мы оба знаем, что чудес не бывает. Но что-то в моей речи нравится ему, и он грустно улыбается мне.

— Вот что, я сегодня слишком много болтаю, хотя права у меня нет такого. Болтаю я, потому как пьян, а еще потому, что среди многих известных мне людей ты, наверное, меньше всех подлостью заражен. Слушай, Суворов, и запоминай. Сейчас в нашей своре полное расслабление с полудремотой, как после полового сношения. Это потому, что Навигатору по шее дали — еле удержался, да меня сбросили, да транзит нелегалов временно через Австрию прекращен, да поток добытой документации сейчас по другим каналам в Аквариум идет. И многим кажется, что делать ничего не надо. Все разленились, распустились без тяжелой руки папаши. Это не надолго. Наша свора потеряла ценнейший источник информации, и Центральный Комитет скоро об этом напомнит. Лукавый на дыбы взовьется. С каждого спросит. Лукавый любого в бараний рог скрутить может. Он обязательно себе жертву выберет и на алтарь советской военной разведки положит. Чтоб никому не повадно было расслабляться. Будь, Виктор, начеку. Скоро Лукавому шифровку от Кира принесут. Лукавый страшен во гневе. Многим карьеры переломает. И правильно. Какого черта напоминаний ждете, как бараны в стаде? Виктор, работай сейчас. Завтра, может быть, уже поздно будет.

— Николай Тарасович, у меня идея есть неплохая, но я уже давно к Навигатору на прием попасть не могу. Может, завтра еще раз попробовать?

— Не советую, Витя. Не советую. Подожди. Скоро он всех по одному на львиную шкуру на великий суд вызывать будет, тогда и скажешь ему свою идею. Только мне ее не говори. Я ведь никто сейчас. Не имеешь права ты мне своя идеи говорить. А еще я ведь и украсть твою идею могу. Мне идеи сейчас позарез нужны. Не боишься?

— Не боюсь.

— Зря, Суворов, не боишься. Я такая же скотина, как и все остальные. А может быть, и хуже. Пойдем по бл..., по лебедям?

— Поздно, Николай Тарасович.

— Самое время. Я тебе таких девочек покажу! Не бойся, пошли.

Вообще-то я не против на девочек посмотреть. И не боюсь я его. Он хоть и считает себя зверем, и хотя рука его к убийству вполне привычна, он все же человек. Редкое исключение среди тысяч двуногих зверей, встречавшихся на моем пути. Я — зверь в большей степени, чем он. И инстинкт размножения во мне не слабее инстинкта самосохранения. Но он пьян, и с ним можно нарваться. А за этим следует эвакуация.

— Поздно уже.

Он понимает, что я не прочь на девочек посмотреть и в их обществе немного расслабиться, но сегодня не пойду. И он не возражает.

3

Люди делятся на капиталистов и социалистов. И тем и другим деньги нужны. Это их объединяет. А разъединяет их метод, которым они деньги добывают. Если капиталисту нужны деньги — он упорно работает. Если социалисту нужны деньги — он бросает работу, да еще и других подстрекает делать то же самое.

У капиталистов и социалистов все ясно и логично. А я отношусь к черт знает какой категории. В нашем обществе все наоборот. Всем тоже деньги нужны. Но о деньгах неприлично говорить и преступно их делать. Не общество, а непонятно что. Если было бы у нас нормальное общество, я всенепременно стал бы социалистом. Я бы бастовал постоянно и на этом сколотил огромный капитал.

Мне хочется сейчас думать о чем угодно, о капиталистах и социалистах, о светлом будущем планеты, когда все станут социалистами, когда все будут помнить только свои права, но не свои обязанности. И вообще, мне сейчас хочется думать обо всем, кроме того, что ждет меня через несколько минут за броневой дверью командирского кабинета.

Свиреп Лукавый во гневе. Страшен он, особенно когда от Кира шифровку получит. Шифровку «из инстанции» Александр Иванович, первый шифровальщик, по приказу Лукавого всей своре зачитал. Суровая шифровка.

А после нее потянулись полковники по одному на львиную шкуру. Пред ясные очи. А за полковниками — подполковники. Быстро Лукавый резолюции выносит, точно как батька Махно приговоры.

Скоро уже моя очередь... Страшно.

Докладывай.

— Альпийский туризм.

— Альпийский туризм? — Навигатор медленно встает со своего кресла.— Ты сказал — альпийский туризм? — Ему не сидится. Он быстро ходит из угла в угол, чему-то улыбаясь и глядя мимо меня: — Аль-пий-ский туризм.— Указательный палец его правой руки коснулся его мощного лба и тут же наставлен на меня, как пистолет: — Я всегда знал, что у тебя золотая голова.

Он усаживается удобно в кресло, подперев щеку кулвком. Оранжевый отблеск лампы скользнул по его глазам, и я вдруг ощутил на себе подавляющую тяжесть его могучего интеллекта: — Расскажи мне об альпийском туризме.

— Товарищ генерал, шестой флот США контролирует Средиземное море. Понятно, что ГРУ смотрит за ним из Италии, из Вашингтона, из Греции, Турции, Сирии, Ливана, Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Испании, Франции, с Мальты, с Кипра, со спутников, с кораблей 5-й эскадры. На 6-й флот мы можем смотреть не со стороны, а изнутри. Наблюдательный пункт — Австрийские Альпы. Конечно, наш опыт будет перенесен в Швейцарию и другие страны, но мы будем первыми. 6-й флот — золотое дно. Атомные авианосцы, новейшие самолеты, ракеты всех классов, подводные лодки, десантные корабли, а на них — танки, артиллерия и любое вооружение сухопутных войск. В 6-м флоте мы найдем все. Там ядерные заряды, атомные реакторы, электроника, электроника, электроника...

Он не перебивает меня.

— ...Служба в 6-м флоте — это возможность посмотреть на Европу: зачем лететь в США, если отпуск можно великолепно провести в Австрии, в Швейцарии, во Франции. После изнурительных месяцев под палящим солнцем — флотский офицер попадает в снежные горы...

Его глаза блестят:

— Если бы ты родился в волчьей семье капиталистов, то тебе предпринимателем быть. Продолжай...

— Я предлагаю сменить тактику. Я предлагаю ловить мышь не в норе, а в момент, когда она из нее выйдет. Я предлагаю не проникать на особо секретные объекты и не охотиться за какой-то определенной мышью, а построить мышеловку. Небольшой отель в горах. Это нам не будет практически ничего стоить. 500 тысяч долларов, не более. Для выполнения плана мне нужно только одно: секретный агент, который долго работал в добывании, но сейчас потерял свои агентурные возможности. Мне нужен один из стариков, который втянут в наши дела совершенно и окончательно, которому вы верите. Я думаю, что у вас должны быть старики на агентурной консервации. Мы найдем небольшой горный отель на грани банкротства. Таких немало. В него мы вдохнем новую жизнь, введя нашего агента с деньгами в качестве компаньона. Этим мы спасем отель и поставим владельца на колени. Собрав предварительно данные об отелях, мы выберем тот, в котором американцы из 6-го флота останавливаются наиболее часто. Отель не место вербовки. А место изучения. Молниеносная вербовка после. В другом месте.

Он прищурился:

— Отель — пассивный путь. Кто-то заедет. Или нет. Долго ждать...

— Как рыбак, забросив удочки... надо знать, куда забрасывать и с какой наживкой.

— Хорошо. Приказываю тебе собрать материалы о небольших горных отелях, которые по разным причинам продаются... Продаются не от хорошей жизни.

— Товарищ генерал, я уже собрал такие сведения, вот они...

4

Я больше в обеспечении не работаю. Это видят в забое все. Каждый мою судьбу предсказать пытается. Надолго ли мне привилегии такие. Судьбу предсказывать не очень трудно. Нужно на первого шифровальщика смотреть. Он все знает. Все тайны. Он барометр командирской милости и немилости.

А первый шифровальщик меня по отчеству называть начал: Виктор Андреевич. Вам шифровка, Виктор Андреевич. Доброе утро, Виктор Андреевич. Распишитесь тут, Виктор Андреевич.

Это катаклизм. С первым шифровальщиком такого никогда не случалось. Он не добывающий офицер, но к персоне Навигатора он ближе всех стоит. По званию он подполковник. Он по имени и отчеству только добывающих полковников называл, а подполковников, майоров, капитанов он никак не называл: вам шифровка! И не более. И вот на тебе: вспомнил имя мое и публично его произнес. Главный рабочий зал затих, когда он это впервые сказал. Лица удивленные в мою сторону повернулись. У Сережи Двадцать Седьмого аж челюсть отвисла.

В тот самый первый раз, когда это случилось, первый шифровальщик меня к Навигатору вызывал:

— Командир ждет вас, Виктор Андреевич.

Теперь к этому уже привыкли. Каждый гадает, где это я успел отличиться. Краем уха слышу я иногда обрывки разговора обо мне: китайского атташе вербанул! Слухи обо мне разные. Но кроме меня, о моих делах знает только Навигатор, первый шифровальщик и Николай Тарасович Мороз, бывший Младший лидер. Он уже не пьет. Над ним никто больше не шутит. Раньше, когда он был Младшим лидером, он говорил: «Приказываю!». Потом он ничего не говорил. Теперь, оставаясь просто добывающим офицером, он стал говорить: «Именем Резидента приказываю!». В его голосе вновь зазвенели железные нотки повелевающей машины. Раз приказывает, значит, есть такие полномочия. Раз заговорил таким тоном, значит, чувствует силу за собой.

Титул Младшего лидера утерян, это важно, конечно, очень. Но более важно другое: Навигатор полковнику по-прежнему верит и опирается на него. Раньше Младший лидер своей властью всю свору в кулаке держал, теперь он делает то же самое, но только от командирского имени.

— Товарищ генерал, мне на завтра три человека в обеспечение нужны, и в ночь с субботы на воскресенье — пятеро.

— Бери.

— Кого?

— Согласуй с Николаем Тарасовичем. Кто не занят, тех и забирай.

— А если там полковники и подполковники?

— И их забирай.

— И командовать ими?

— И командуй. В день проведения операции разрешаю использовать формулу «Именем Резидента».

— Спасибо, товарищ генерал.

С Николаем Тарасовичем мы в паре работаем. Как два аса под прикрытием целой эскадрильи.

Мы мышеловку в горах создаем. Большой бизнес разворачиваем. Я совсем не против того, что его к моей идее подключили, что меня ему полностью подчинили. У него опыт, у него агентура.

С разрешения Аквариума Навигатор снимает с агентурной консервации стариков и стягивает их в Австрию для проведения операции «Альпийский туризм». Отель не один куплен, а три. Это не дорого для ГРУ.

Снятые с консервации старые добывающие агенты используются по-разному. Большинство из них вошли в состав агентурной группы с прямым каналом связи. Они прямо в Ватутинки сообщения передавать могут, не подвергая себя и нас риску. Несколько стариков работают под контролем Николая Тарасовича. Один подчинен непосредственно мне.

Раньше его звали 173-В-106-299. Теперь его зовут 173-В-41-299. Завербовали его в 1957 году в Ирландии. Пять лет он в добывании работал. Что он добывал, в его деле не сообщается. В деле только между строк можно прочитать о высокой активности и немалых успехах. После этого идет совершенно темная полоса в его биографии. В деле только говорится, что он в этот период состоял на прямой связи с Аквариумом, не подчиняясь Венскому Навигатору ГРУ. Этот период оканчивается присвоением ему ордена Ленина, выдачей мощной премии, выводом в длительную консервацию с переводом под контроль нашей резидентуры.

За годы консервации с ним встреч не проводилось. Таких ребят именуют Миша, Дремлющий, Кот. Теперь он из спячки возвращен к активной работе. Теперь ему контрольные задания поставлены. Он думает, что работает, но это его просто проверяют. Не охладел ли? Не раскололся ли? Не перековался ли?

5

Навигатор меняет курс. Мы все это чувствуем. Он круто переложил руль и гонит наш корабль по бурным волнам. Он рискует. Он клонит корабль. Так можно и зачерпнуть бортом! Но у него крепкая рука.

Что-то меняется. Интенсивность обеспечения нарастает. В обеспечение всех! Операции другого рода пошли. Связаться с рекламными бюро! Собрать материалы на гидов и обслуживающий персонал отелей! Секретно. Ошибешься — тюрьма! Установить прямые контакты с рекламными бюро на Средиземноморском побережье. Черт побери, что мы, бизнесом туристским занялись?

Добывающие идут чередой в кабинеты заместителей Навигатора. Добывающие исчезают на несколько дней. Спрятать передатчик в горах! Вложить деньги в тайник. Больше денег! Заместители Навигатора проверяют выполнение заданий. Что, черт побери, происходит? Каждый раз за советом к Навигатору не побежишь. Навигатор занят. Никого не пускать! Где заместителю правильный ответ искать? К Николаю Тарасовичу Морозу, что ли, обратиться? Он теперь не Младший лидер, но, черт побери, все по-прежнему знает. Толпятся заместители в кабинете Николая Тарасовича. Ему кабинет вообще-то не положен. Он сейчас никто. Он просто добывающий. Но пока новый Младший лидер не прибыл...

Николай Тарасович — някто. Но лучше заместителю Навигатора к нему лишний раз забежать проконсультироваться, лучше выслушать его упреки, чем ошибиться. Ошибешься — Сибирь-матушка.

И опять обеспечение всех колесом закрутило. Днями и ночами. Без просветов.

— Николай Тарасович, некого в обеспечение ставить!

— А вы, Александр Александрович, подумайте.

Александр Александрович думает.

— Может, Витю Суворова?

— Нет. Его нельзя.

— Кого ж тогда? — Александр Александрович, заместитель Навигатора, только одного добывающего офицера в резерве имест, и это Николай Тарасович Мороз. Александр Александрович вопросительно на Николая Тарасовича смотрит. Может, сам догадается в обеспечение попроситься? Некого ведь посылать. Всех разослали. Но Николай Тарасович молчит.

— Что ж мне, самому, что ли, в обеспечение идти? Я все-таки заместитель.

— А почему бы, Александр Александрович, и не сходить разок. Если посылать некого?

Александр Александрович еще думает. Наконец, решение находит: я Виталия-Аэрофлота два раза в ночь погоню.

— Ну, вот видишь, а говоришь — посылать некого.

Куда ты, Навигатор, гонишь нас? Можно ли так котлы перегревать? Не лопнули бы? Не лопнут! Тренированные. Из Спецназа. В обеспечение! Всех! Александр Александрович, в обеспечение! А твое обеспечение обеспечивает новый военный атташе. На зеленом «мерседесе».

Замотались. Закрутились. Ошибешься — тюрьма. На каждую операцию план написать. О каждой операции — отчет. Это чтобы следователям 9-го направления ГРУ легче виновных потом найти было.

В большом рабочем зале свет не тушат. Старший дежурный по забою сейчас не назначается: все равно полно офицеров добывающих в любое время суток в забое.

Слева от меня за рабочим столом Слава из торгпредства. Молоденький капитан совсем. Отчет пишет. Рукой от меня закрывает. Правильно, никому не положено чужих секретов знать. Откуда ему, Славе, знать, что это я ему операцию придумал. Что все ее детали мы с Навигатором и с Николаем Тарасовичем неделю назад всю ночь обсуждали. Откуда тебе, Слава, знать, что это ты меня обеспечивал. И когда ты на лесную просеку выходил, я тебя видел. Хорошо видел. А ты меня не видел. И не мог видеть. И не имел права видеть. Ну пиши, пиши.

6

У Виктора Андреевича голова болит. И глаза тоже. Виктор Андреевич в кабинете Николая Тарасовича сидит. Мы книги регистрационные проверяем. Много их. Из разных отелей. Из тех, что нам и не принадлежат. Но у нас копии регистрационных книг. Десятки отелей и десятки тысяч имен. Это уже история. Но тот, кто знает историю, может прогноз на будущее составить. Точный или неточный — это другой вопрос. Но нет возможности познать будущее, не познав настоящего и прошлого.

Тысячи отелей в Австрии. Миллионы туристов. Если обеспечивающие добудут больше регистрационных книг, можно будет и электронную машину использовать для расчета прогнозов. А пока это мы вручную делаем.

Группа японских туристов. Шестнадцать человек. Интересные люди? Может быть. Только у нас к ним никакого ключика нет. Не знаем мы, интересные они или не интересные. Жаль. Но их мы сразу в число неинтересных зачисляем. Мы их просто пропускаем. Вдобавок японский турист никогда не возвращается на одно и то же место, точно как диверсант в Спецназе никогда назад не возвращается. Японский турист спешит осмотреть всю планету. Японского туриста мы пропускаем.

Английская пара из Лондона. Интересно? Не знаю. Пропускаем.

— Николай Тарасович, посмотрите, что я нашел!

Он смотрит. Он качает головой. Он цокает языком. Одинокий американец из маленького итальянского порта Гаета. Что это название сказало вам? Что это название может сказать любому? Что это название скажет офицеру КГБ? Совершенно ничего. Маленькая рыбачья деревушка. В ней почему-то оказался американец. Почему? Да кому это интересно? Любой, кто узнал бы, что в маленьком австрийском горном отеле остановился американец из Гаеты, не обратил бы на это ни малейшего внимания.

Но мы — военные разведчики. Каждый из нас начинал службу в информационной группе или отделе. Каждый из нас учил наизусть тысячи цифр и названий. Для каждого из нас Пирмазенс, Пенмарш, Обен, Холи-Лох, Вудбридж, Пвайбрюккен — звенят райской музыкой. Какое наслаждение слышать название Гаета! В этой деревушке базируется всего один военный корабль. На его борту — огромная цифра «10». Теперь вспомнили? Нет? Это американский крейсер «Олбани»! Это флагман 6-го флота. Это концентрация всех секретов и всех нитей управления. О моя деревянная голова! Почему идея о горных отелях не пришла в тебя год назад? Совсем недавно в горном отеле отдыхал американец из небольшой итальянской деревушки. Он обязательно был связан с крейсером «Олбани». Мы не знаем, кто он. Но не может американец в этом забытом селении не знать других американцев с крейсера. Пусть он не капитан, не офицер и даже не матрос крейсера. Пусть он даже не военный. Может, он пастор, может быть, продавец порнографии. Но он имеет контакты с моряками крейсера, и это самое главное. Если бы наша мышеловка была поставлена год назад, то мы обязательно обрушились бы на бедного американца всей мощью нашей своры.

Массовый загон! Десятки шпионов против одной жертвы. Жертва чувствует, что акулы со всех сторон, что путей отхода нет. Иногда, когда осуществляется массовый загон всей сворой, стеной, македонской фалангой — жертва не выдерживает и кончает самоубийством. Но чаще соглашается работать с нами. Если бы знали о нем, когда он появился в Австрии, на него обрушилась бы вся несокрушимая мощь ГРУ. А если бы Навигатор помощи попросил, то по приказу Аквариума на одну вербовку могли бы быть брошены силы нескольких резидентур. В таких случаях жертва кричит и мечется, всюду нарываясь на варягов и борзых. Он бы звонил в полицию. Что ж, своих ребят мы и в полицейскую форму иногда нарядить можем. Полиция спасла бы его и посоветовала или кончать с собой или соглашаться на предложение ГРУ. Когда гонят одного целой ордой, несчастный может звонить во все мыслимые адреса, но везде получит один ответ. В угол его! В тупик! Углы всякие бывают: физические и нравственные, бывают финансовые тупики и пропасти безнадежности. А можно и просто в угол загнать. Голого человека в угол ванны. Голый среди одетых всегда ощущает непреодолимое чувство стыда и бессилия. Мы умеем загонять в угол! Мы умеем унижать и возвеличивать. Мы умеем заставить броситься в пропасть и умеем вовремя протянуть руку помощи.

— Замечтался?

— Замечтался, Николай Тарасович.

— Смотри, что я нашел.

Я читаю запись. Британская чета из небольшого городка Фаслейн — база британских подводных лодок. Если пара живет в Фаслейне, то вероятность того, что она связана с лодками, очень велика. Может быть, он командир лодки, а может быть, простой охранник на базе. Может быть, он мусорщик на военной базе или вблизи нее, поставщик молока, владелец пивной. Может быть, он работает в библиотеке, или в столовой, или в госпитале. Любое из этих положений — великолепно: они имеют контакты с экипажами, с ремонтными бригадами, со штабными офицерами.

Если в Фаслейне есть проститутки, то смело можно утверждать, что и они с базой связаны. Да еще как! И через них можно добывать секреты, о которых, может быть, и капитаны лодок не знают.

Фаслейн слишком мал. Поэтому любой его обитатель как-то связан с базой.

Во Франции тоже есть база атомных подводных лодок. Но это Брест. Большой город. Совсем не каждый с лодками связан. Поэтому мы и выискиваем очень маленькие городки, в которых находятся военные объекты чрезвычайной важности. Тот же Фаслейн, например. Дипломатической резидентуре ГРУ в Лондоне очень неудобно своих ребят в Фаслейн посылать. В Великобритании ловят часто и выгоняют безжалостно. Не разгонишься. Да и появление постороннего в маленьком городке настораживает. Вот поэтому мы охотимся тут, в Австрии, на обитателей этих маленьких городков, название каждого из которых так сладко звучит в ушах военного разведчика.

Ночи напролет мы листаем регистрационные книги. Чем черт не шутит, решится кто-нибудь из этих людей второй раз в то же самое место вернуться? А если и нет, мы других найдем.

Регистрационные книги — это прошлое. Жаль, но его не вернешь. Но, листая книги о прошлом, мы ясно видим контуры наших будущих операций.

7

Командир серьезен. Командир строг.

— Приказом начальника ГШ назначен мой первый заместитель.

Мы все молчим.

— Александр Иванович, зачитай шифровку.

Александр Иванович, первый шифровальщик, осматривает нас ничего не выражающим взглядом и опускает глаза на небольшой ярко-желтый листок:

«Совершенно секретно. Приказываю назначить первым заместителем командира дипломатической резидентуры ГРУ 173-В полковника Мороза Николая Тарасовича. Начальник Генерального штаба маршал Советского Союза Огарков. Начальник ГРУ генерал армии Ивашутин».

Командир улыбается. Первый шифровальщик улыбается. Улыбается Николай Тарасович. Он снова Младший лидер. Улыбаюсь я. Улыбаются мои товарищи. Не все.

У нас в ГРУ, а также во всей Советской Армии, в КГБ, во всем Советском Союзе возвышение после опалы — вещь редкая. Это — вроде как из могилы назад вернуться,— немногие возвращаются. Срыв означает падение. А падение — всегда на самое дно, на камушки.

Мы подходим к Младшему лидеру и по очереди поздравляем его. Ему больше не надо использовать формулу «Именем Резидента», он теперь всемогущ и юридически. Он жмет руки всем. Но мне кажется, что он не совсем забыл, кто потешался над ним, когда падение началось. Не забыл. И те, кто потешался, тоже знают, что не забыл он. Вспомнит. Не сейчас, подождет. Все знают, что ожидание мести хуже самой мести. Младший лидер не спешит.

— Поздравляю вас, Николай Тарасович. — Это моя очередь подошла. Он жмет мне руку, смотрит в глаза. Он тихо говорит мне «спасибо».

Кроме нас только Лидер да первый шифровальщик понимают истинное значение этого «спасибо». Месяц назад агент 173-В-41-299, ставший теперь совладельцем маленького отеля и подчиненный мне, вызвал меня на экстренную встречу и сообщил о постояльце из маленького бельгийского города, название которого снится любому офицеру ГРУ. На вербовку должен был выходить я — немедленно. Я связался с Навигатором и отказался. Не могу, опыта не достаточно. За эту вербовку я бы получил красную звезду на грудь или серебряную на плечи. И опыта у меня достаточно. Но... я отказался. Навигатор послал Николая Тарасовича. Вот он сегодня и именинник.

— Спасибо, Витя.— Это Навигатор мне руку жмет. Все вокруг смотрят на нас. Никто ничего не понимает. Отчего мне вдруг Навигатор руку жмет? За что благодарит? Вроде не я сегодня именинник. А Навигатор мне руку на плечо положил, по спине хлопает — будет и на твоей улице праздник. Не знаю почему, но я глаза вниз опустил. Не жалко мне той вербовки, ничуть не жалко.

Пусть вам повезет, Николай Тарасович.

8

Болеют только ленивые. Неужели трудно раз в месяц в лес выбраться и положить конец всем болезням? Предотвратить все грядущие недуги? Я такое время всегда нахожу, даже в периоды самого беспросветного обеспечения. А сейчас и подавно.

Я далеко в горах. Я знаю, что тут никого нет. Я умею это проверять. Нет, ни тайники, ни встречи меня не ждут. Муравьи. Большие рыжие лесные муравьи. Вот их царство, город-государство. На солнечной поляне меж сосен. Я раздеваюсь и бросаюсь в муравейник, как в холодную воду. Их тысячи. Толпа. Муравьиный Шанхай. Побежали по рукам и ногам. Вот один больно укусил, и тут же вся муравьиная свора вцепилась в меня. Если посидеть подольше — съедят всего. Но если выдержать только минуту — лечение. Это — как яд змеиный. Много — смерть. Немного — лекарство. Недаром змея символом медицины считается. Но я змеиным ядом не лечусь. Не знаю почему. Просто времени никогда не было. А на муравьев времени много не надо. Нашел огромный муравейник да и прыгай в него!

Жидкость, выделяемая железами муравья, консервирует и сохраняет все что угодно. Укусит муравей гусеницу и в свое муравьиное хранилище тащит. От одного укуса мертвое тело не сгниет ни за год, ни за два. Так и будет лежать, как в холодильнике.

А с живым телом и подавно чудеса происходят. Ни морщин, ни желтизны на лице никогда не будет. Зубы все целые останутся. Мой дед в девяносто три года умер без морщин и почти со всеми зубами. Потерял только три — красные выбили. Сбежал он от них, а иначе все бы зубы потерял вместе с головой. Всю жизнь прожил, махновское свое прошлое скрыть ухитрился. Иначе меня никто бы в Красную Армию не взял. Да, наверное, мне и родиться не суждено было б.

Секретами муравьиными не один мой дед пользовался. Вся Русь. А до нее Византия. А еще раньше Египет. Муравей в Египте первым доктором почитался. Увидели египтяне много тысяч лет назад, как муравей свою пищу консервирует, и ну в муравейники ноги свои совать да руки. А потом и фараонов мертвых стали муравьиным собраниям на две ночи выставлять. Тысячи лет после этого их тела разрушению не подвержены.

Все знают, что рыжий лесной муравей — чародей. Да ведь лениво человечество! В аптеках муравьиную кислоту покупают люди. Не настоящую, на фабриках произведенную. Руки, ноги растирают. Глупые. Муравей-то знает, куда кусать. А это важно очень, чтобы кусать именно туда, куда положено. Вроде как в китайской медицине иголочками колоться. Не абы куда, а куда положено.

Взревел я, как лось. Галопом скачу. Муравьев с себя стряхиваю. Спасибо, братцы, достаточно на сегодня.

9

Друг Народа исчез. Друг Народа — это резидент КГБ. Главный Сосед. Все соседи из чекистского гнездышка пасмурные. У них что-то происходит. Наверное, они сами толком не понимают — что. Но резиденты КГБ из Вены, Женевы, Бонна и Кельна были вызваны в Москву и почему-то не вернулись. Временно заместители правят.

Эвакуация — дело жестокое и неотвратимое. Получаешь шифровку, ваш папаша, мол, не в себе. Перед смертью попрощаться желает. Летишь в самолете, а рядом конвой. Чтоб не сбежал. Прибываешь в городок-герой Москву и сразу на следствие. А кто у нас ни в чем не виновен? Все виновны. Был бы человек, а дело состряпать всегда можно. Правда, не стреляют сейчас как в тридцать седьмом. Вернее, стреляют, но не так интенсивно.

На чем Друг Народа погорел? Откуда нам знать. Можно, конечно, слухи послушать. Да ведь слухи специальной службой распускаются, чтобы правду затемнить...

...Так часто бывает. Открываешь бизнес и имеешь головокружительный успех. Ненадолго. То же самое с нашими коммерческими предприятиями происходит. Только начали работать — небывалая удача: вербовка, за которую Младшему лидеру простили провал.

Младший лидер с группой обеспечивающих добывает секреты, на которые генерал-полковник Зотов, начальник информации ГРУ, шлет восторженные шифровки.

Но термин «достаточно» в службе информации применяется только тогда, когда качество добытой информации не очень высокое. Во всех остальных случаях применяется термин «недостаточно». Это точно так же, как миллиардеру еще недостаточно денег, и никогда не будет достаточно. Как женщине не хватает нарядов. Как коллекционеру всегда недостает одного ржавого пятака. И всегда будет недостаточно. А Генеральному штабу всегда не хватает вражеских секретов. Сколько бы мы их ни добыли. Всегда остается что-то не до конца понятное в положении противника, в его планах, в его вооружении.

Но наши горные отели пока не дают желанного результата. Да ведь это и нелегко. Не каждый день в маленький отель попадают люди из маленьких городков с такими звонкими именами, как Майнот или Оффут. Наша агентура в туристическом бизнесе получила тоненькие листочки с названиями мест, где практически каждый житель должен быть связан с объектами экстраординарной важности. Но результатов пока нет. Попалась рыбка в сети, и все. Попалась одна рыбка, и я ее добровольно Младшему лидеру отдал. Ему важнее иметь успех сейчас. А на мою долю не выпадает ничего.

Шифровки из Аквариума — с легким раздражением: почему Сорок Первого в обеспечение не ставите? Он же сам признался, что еще не готов работать самостоятельно?

10

У наших соседей, у друзей народа — большой праздник. Несколько лет назад с советского боевого корабля бежал офицер. За ним многие резидентуры КГБ охотились, но повезло Венской дипломатической резидентуре. Она провела головокружительную провокацию. Заместитель резидента КГБ связался с американской разведкой и подбрасывал ей вполне правдоподобные секреты. А потом и в США бежать собрался. Но перед побегом попросил гарантий: хочу поговорить с беглым советским офицером, правда ли хорошо ему живется. Американская разведка прислала несчастного беглеца на встречу с КГБ. Потому в КГБ и праздник.

Что ж, друзья народа, успехов вам. Воровать людей вы здорово научились. Но почему вам не удалось украсть американские атомные секреты, отчего вы никогда не приносили советской промышленности ни чертежей французских противотанковых ракет, ни британских торпед, ни германских танковых двигателей? А?

— Виктор Андреевич, вам сигнал.

Чашку кофейную в сторону. Документы в портфель. Портфель — в сейф. Ключ — в малый сейф. Закрывающая комбинация сегодня сменена. Это помнить надо.

— Пошли!

Четвертый шифровальщик впереди. Я следом. По бетонной лестнице вниз. В «бункер». Он на кнопку сигнала жмет. Дверь щелкнула — можно открывать. Мы в небольшой бетонной комнате. Стены ее белые, шершавые. Хранят на века отпечатки поверхностей досок, из которых опалубка была выполнена, когда бункер строили. Двери закрыты. Любопытные телекамеры осматриваают нас. Четвертый шифровальщик входную даерь плотно задраивает. Изнутри она на герметичный люк подводной лодки похожа. Шифровальщик опускает руку под занааескy и набирает номер. Руку его я видеть не могу и не имею права. И не знаю, что он там своей рукой делает. Говорят, что, если ошибешься в наборе комбинации, капкан руку прищемит. Не знаю, правда это или шифровальщики шутят. Добывающему офицеру не положено знать их тайн.

Внутренняя охрана бункера наконец убедилась, что мы — свои. Главная дверь плавно, без всяких щелчков, медленно уплывает в сторону. За дверью Петя — Спецназ: заходите. КГБ свою внутреннюю охрану из офицеров пограничных войск комплектует. А ГРУ — из офицеров диверсионных батальонов и бригад. Одним выстрелом двух зайцев ГРУ убивает. И охрана надежная, и диверсантов иногда по стране на автобусе повозить можно: вот ваши площадки десантирования, тут тайники, тут укрытия, тут полицейские посты.

Дипломатическую резидентуру ГРУ в Вене охраняют диверсанты из 6-й гвардейской танковой Армии. Это горная армия с особыми традициями. Она через Большой Хинган прорвалась на пути к Тихому океану. Она 800 километров без остановки прошла по местам, которые любыми теоретиками считались недоступными для танков. Теперь 6-я гвардейская Танковая армия готовится к проведению молниеносного броска через Австрию по левому незащищенному берегу Рейна к Северному морю. В сравнении с Хинганом Австрийские Альпы, конечно, просто холмы. Но и их надо умело преодолевать. Вот поэтому в Вене только из этой Армии диверсанты постоянно находятся. Им впереди идти. Им дорогу очищать своими острыми ножами.

— Здравствуйте, Виктор Андреевич,— Петя меня приветствует.

— Здравствуй, здравствуй, головорез. Обленился в бункере?

— Не обленился, а озверел,— смеется Петя.— Юбку женскую шесть месяцев уже не видел. Даже издалека.

— Крепись. На подводных лодках хуже бывает.

По коридору — вдоль стальных дверей. Коридор десятками тяжелых портьер завешан. Так что не скажешь, длинный он или нет. Может, за следующей занавеской коридор раздваивается или уходит в сторону. Нам этого знать не положено. Дверь комнаты сигнализаторов первая слева.

В комнате с низкими потолками тоже все в занавесках серых. Говорят, это на случай пожара. Может быть и так. Но, опять же, бываю я в этой комнате, а сколько в ней сигнализаторов стоит — понятия не имею.

В ожидании меня одна занавеска сдвинута. За ней серый ящик с аккуратной надписью «Передал 299. Принял 41». Шифровальщик вставляет саой ключ в скважину, поворачивает его и выходит из комнаты. Я вставляю свой ключ, поворачиваю его и открываю стальную дверку. За ней ряды маленьких зеленых лампочек. Одна — с номером 28 — горит. Я нажимаю кнопку сброса. Сигнальная лампочка гаснет. Одновременно гаснет сигнальная лампочка над моим сигнализатором. Она говорит шифровальщику, что какой-то сигнал получен. Но он не имеет права знать, какой именно сигнал. Это знаю только я. Это сигнал «28». Но если бы шифровальщик и узнал, что я получил сигнал «28» от агента 173-В-41-299, как он может узнать, что означает сигнал «28»?

Сигнал «28» означает, что агент 173-В-41-299 вызывает меня на связь. «28» означает, что безличная встреча состоится в первую субботу после получения сигнала. Время между 4.30 и 4.45 утра. Место — Аттерзее, район Зальцбурга.

299 имеет целую систему сигналов и может вызывать нас на личную или безличную связь в любой момент. Каждый вариант связи разработан до мельчайших деталей и каждый вариант имеет свой номер. Под номером «28» кроется целый план с вариантами и запасными комбинациями.

Неуязвимость ГРУ обеспечивается прежде всего тем, что количество встреч с ценной агентурой сводится к минимуму и, если возможно,— к нулю. Я работаю десять месяцев с 299-м агентом, но никогда не видел его и не увижу. Безличные встречи с ним проводятся по два-три раза в месяц, но за двадцать один год работы с ГРУ он имел только шесть личных встреч и видел в лицо только двоих офицеров ГРУ. Это праaильная тактика. Отсутствие личных встреч защищает нашу агентуру от наших же ошибок, а наших офицеров от скандальных провалов и сенсационных фотографий на первых полосах.

При безличной встрече офицер ГРУ и его агент могут находиться в десятках километров один от другого. Каждый не знает, где находится его собеседник. Для передачи сообщения или для обмена сообщениями мы не используем радио или телефон. Мы используем водопроводные или канализационные трубы. Иногда два телефонных аппарата могут быть подключены к металлическому забору или к ограде из колючей проволоки. Эти «участки связи» заранее подбираются и проверяются обеспечивающими офицерами.

Но чаще всего для связи с ценными агентами ГРУ использует воду. Пусть полиция прослушивает эфир. Вода — лучший проводник сигналоа, и гораздо менее контролируемый. Когда полиция начнет контролировать все аодоемы, все реки, озера, моря и океаны, тогда мы перейдем на другие способы агентурной связи. Институт Связи ГРУ что-нибудь к тому времени придумает.

11

Капли росы на сапогах. Я бреду по высокой мокрой траве к озеру. Березы да ели вокруг. Клинья еловых вершин сплошным частоколом вокруг воды стоят. Стенкой. Тишина звенящая. На сучок не наступить. Зачем шум? Шум оскорбляет эту чистую воду, эту хрустальную прозрачность неба и розовые вершины гор. Тут всегда будет тишина. И когда сюда придет Спецназ, грохот солдатского сапога не нарушит тишины: мягкая обуаь диверсанта не стучит, как кованый сапог пехотинца. Потом тут пройдет 6-я гвардейская танковая армия. Это будет грохот и рев. Но совсем ненадолго. Вновь воцарится звенящая тишина, и маленький уютный концлагерь на берегу озера ее не нарушит. Может, я буду начальником лагеря, а может быть, обыкновенным зэком вместе с местными социалистами и борцами за мир. Так всегда было: кто Красную Армию первым приветствует или с ней о мире договориться желает — первым под ее ударами падает.

Земля зарей объята. Земля восторженно приветствует восход саетила. Жизнь ликует. Жизнь торжествует, готовясь встретить брызжущий водопад света, который обрушится из-за вершин гор. Вот сейчас, вот еще немного. Оглушительный щебет загремит гимном, приветствуя свет. А сейчас еще тишина. Еще не засверкали капли бриллиантами, еще не потекло червонное золото по склонам гор, еще не принес легкий ветер аромат диких цветов. Природа утихла в самое последнее мгновение перед взрывом восторга, радости и жизни.

Кто любуется этим? Один я. Витя-шпион. А еще мой агент под 299-м номером. Он пробирается к озеру совсем с другой стороны. Интересно, понимает ли он поэзию природы? Может ли он часами вслушиваться в ее шорохи? Понимает ли он, что сейчас мы с ним вдвоем ведем подготовку к строительству маленького концлагеря на отлогом берегу? Понимает ли этот старый дурак, что и я и он можем стать обитателями этого самого живописного в мире лагерька? Соображает ли он, что те, кто очень близко у жерла мясорубки работают, попадают в нее чаще обычных смертных? Думает ли он саоей деревянной головой, что волей случая его лагерный номер может быть очень похож на его агентурный индекс? Ни черта он не думает. Мне деваться некуда, я родился и вырос в этой системе. И от нее не убежишь. А он добровольно нам помогает, собака. Если меня не поставят коммунисты к стенке, не сожгут в крематории и не утопят в переполненной барже, а поставят концлагерем командовать, то таким добровольным помощникам я особый сектор отгорожу и кормить их не буду. Пусть по очереди друг друга пожирают. Как крысы в железной бочке сжирают самую слабую первой, чуть более сильную второй... Пусть каждый день они выясняют, кто из них самый слабый. Пусть каждый заснуть боится, чтобы его сонного не удушили и не съели. Вот, может, тогда поймут они, что нет на земле гармонии и быть не может. Что каждый сам себя защищать обязан. Эх, черт. Поставили бы меня начальником лагеря!

Время.

Я забрасываю удочку в озеро. Моя удочка на обычные очень похожа. Разница только в том, что из ручки можно вытянуть небольшой проводок и присоединить его к часам. Часы, в свою очередь, соединены кабелем с маленькой серой коробочкой. От часов кабель идет по рукаву и опускается во внутренний карман. Циферблат моих слегка необычных часов засветился, а через минуту погас. Это значит: передача принята и записана на тонкую проволоку моего магнитофона. Волны, несущие сообщения, не распространяются в эфире. Наши сигналы распространяются только в пределах озера и за его берега не выходят. Заблаговременно сообщения записываются на магнитофон и передаются на предельной скорости. Перехватить агентурное сообщение очень трудно, даже если знаешь заранее время и место передачи, и частоты. Без такого знания — перехватить передачу невозможно.

Я делаю вид, что завожу свои часы. Циферблат чуть засветился и погас: ответное сообщение передано. Пора и удочки сматывать.

Глава XIII

1

— Товарищ генерал, я имел связь через воду с 299-м. Он сообщает, что в ближайшие месяцы в его отеле вряд ли будут клиенты из интересующих нас мест.

— Плохо.

— Но 299-й не даром хлеб ест. Он установил дружеские отношения с владельцами соседних отелей и иногда под разными предлогами имеет возможность просматривать записи о предварительных заявках.

— Ты думаешь, это не опасно? — Командир знает, что это не опасно, но он обязан задать мне этот вопрос.

— Нет, товарищ генерал, не опасно. 299-й хитер и опытен. Так вот, он сообщает, что в соседнем отеле,— я придвигаю к себе лист бумаги и пишу название отеля. Я не имею права называть дат, адресов, названий или имен. Даже в защищенных комнатах мы должны писать это на бумаге, иногда при этом произнося совершенно не относящиеся к делу даты, названия и имена.— В соседнем отеле зарезервировано место для человека — я пишу имя на бумаге. Он работает в Испании. В городе...

Я положил перед собой лист бумаги и торжествующе начертал огромными буквами название РОТА.

Он смотрит на меня, не желая верить. И тогда я на листе вновь пишу это короткое очаровательное название, которое каждому разведчику снится ночами, которое звучит хрустальным звоном для каждого из нас,— РОТА.

Он смеется, я смеюсь. В мире сотни мест, которые очень интересны для нас, любое из них — находка, любое — улыбка фортуны для разведчика. Мне выпало настоящее счастье — РОТА!

— Тебя проверить? — смеется он. Это шутка, конечно. Ибо нельзя быть офицером ГРУ, не зная характеристики этой базы. При слове РОТА в мозгу каждого офицера ГРУ, как в электронной машине, отражаются короткие фразы и четкие цифры: площадь акватории 25 квадратных километров; гавань защищена волнодромом — 1500 метров, три пирса — 350 метров каждый, глубина у пирсов 12 метров, склад боеприпасов — 8000 тонн, хранилище нефтепродуктов — 300 000 тонн; аэродром, взлетная полоса одна — 4000 метров. А то, что тут базируются американские атомные ракетные подводные лодки,— это все знают.

Навигатор ходит по кабинету. Навигатор трет руки.

— Пиши запрос.

— Есть!

2

Человек из маленького испанского местечка Рота. Об этом человеке я не знаю ничего. Еще даже не ясно: ты американец или испанец. Но я заполняю «запрос». Завтра этот запрос пропустят через большой компьютер ГРУ. Большой компьютер сообщит все, что он знает о тебе.

Большой компьютер ГРУ создан творческим гением американских инженеров и продан Советскому Союзу близорукими американскими политиками. За большой компьютер Америка получила миллионы, потеряла миллиарды. Большой компьютер знает всех. Он очень умный. Он поглощает колоссальное количество данных о населении земли. Он прожорлив. Он заглатывает телефонные книги, списки выпускников университетов, списки сотрудников астрономического количества фирм. Он ненасытен. Он поглощает миллионы газетных объявлений о рождениях и смертях. Но он питается не только этой макулатурой. Ему доступны секретные документы и притом — в огромных количествах. Каждый из нас заботится о том, чтобы этот прожорливый американский ребенок не голодал.

Может быть, информация о человеке из Рота будет совсем отрывочной и недостаточной. Может быть, большой компьютер сообщит нам дату рождения, может быть, дату, когда это имя впервые появилось в секретном телефонном справочнике, может быть, название банка, в котором этот человек держит деньги. Но и этих отрывочных данных вполне достаточно, чтобы немедленно командный пункт ГРУ направил несколько шифровок в места, где возможно добыть что-то еще. Какие-то борзые, может быть, найдут твоих родителей, твоих школьных друзей, твой родной город, твою фотографию. И когда я встречу тебя в небольшом отеле на берегу горного озера, я буду знать о тебе больше, чем ты думаешь. Дорогой друг, до скорой встречи. Кстати, для удобства тебе уже присвоен номер 713. А если не сокращать — 173-В-41-713. Чтобы всем, кому положено, сразу знали, что работает с тобой Сорок Первый офицер добывания Венской дипломатической резидентуры ГРУ.

3

Время летит, как стучащий экспресс, оглушая и упругим потоком отбрасывая от насыпи. Снова день и ночь смешались в черно-белом водовороте: транзит из Ливана, прием на связь людей, завербованных в Южной Африке, тайниковая связь с каким-то призрачным «другом», завербованным неизвестно кем, обеспечение нелегалов и опять транзит в Ирландию. И Командир и Младший лидер запрещают меня отвлекать по пустякам. Но слишком часто идет обеспечение особой важности, то есть обеспечение нелегалов или массовое обеспечение, когда в прикрытии работают все, включая и заместителей резидента. И никому нет поблажек. В обеспечении все! Где людей взять? Дважды в ночь пойдешь! Прием транзита из Франции. Прием транзита из Гондураса. Понимать надо!

И вдруг колесо остановилось. Я листаю свою рабочую тетрадь, исписанную вдоль и поперек, и вдруг внезапно открываю совершенно белую страницу. На ней только одна запись: «Работа с 713». И этот белый лист означает сегодняшний день. День, когда я сижу в своем кресле, а в моей голове галопом несутся встречи, тайниковые операции, безличная связь.

Я долго смотрю на короткую фразу, затем поднимаю белую телефонную трубку и, не набирая никаких цифр, спрашиваю:

— Товарищ генерал, вы не могли бы принять меня?

— До завтра подождет?

— Я уже несколько дней пытаюсь попасть к вам на прием,— это я вру, зная, что сейчас у него нет времени проверять,— но сегодня последний день.

— Как последний?

— Даже не последний, товарищ генерал, а первый.

— Ах ты, черт. Слушай, я сейчас не могу. Через тридцать минут зайдешь ко мне. Если кто-то будет в приемной, пошли на хрен от моего имени. Понял?

Понял.

Я доложил ему маршрут следования, приемы и уловки, которыми я намеревался сбить полицию со следа. Я доложил все, что мне теперь известно о нем,— человеке из Роты.

— Ну, что ж, неплохо. Желаю удачи.

Он встал. Улыбнулся мне. И пожал руку. За четыре года третий раз.

4

Дороги забиты туристами. Я тороплюсь. Я рассчитываю попасть в гостиницу к вечеру, чтобы и этот вечер использовать для выполнения задачи. Пять часов я гоню по большой дороге. Иногда приходится подолгу стоять, когда образовываются гигантские пробки на дорогах, но как только путь освобождается, я снова гоню свою машину, не жалея ни мотора, ни шин, обгоняя всех. Когда солнце стало склоняться к Западу, я сошел с большой дороги на узкую, не снижая скорости, погнал по ней. Из-за поворота — белый «мерседес». Тормоза надрывно визжат. Над ним облако пыли: его на обочину вынесло. Водитель меня по глазам фарами своими хлещет и зычным ревом сигнала — по ушам моим. Женщина на заднем сиденье «мерседеса» пальцем у виска крутит, внушает мне, что я ненормальный. Зря стараетесь, мадам, я это знаю и без вас. Я чуть педали тормоза коснулся на повороте, отчего тормоза взвыли, протестуя, унося мою машину на встречную полосу, тут же я тормоза отпускаю, а педаль газа — в пол жму, до упора, пока нога не упрется. Голову на отрез — моего номера запомнить они не могли, и даже рассмотреть времени не имели. Я уже за поворотом. Я руль ухватил, не отпущу его. Если в пропасть лететь — так и тогда не отпущу. А машина моя ревет. Не

нравятся машине повадки мои. На первом же перекрестке я ухожу на совсем узкую дорогу в темном лесу. По ней, по этой дороге, я долго вверх карабкаюсь, а потом вниз, вниз, в горную долину. Более широкой дорога стала. По ней и пойду. Картой не пользуюсь. Местность эту я хорошо представляю, да по багровому солнцу ориентируюсь. А оно уж своим раскаленным краем поросшей лесом скалистой гряды коснулось.

В гостиницу я попал, когда уж совсем стемнело. Гостиница та на берегу лесного озера у отлогого горного ската. Зимой тут, наверное, все пестрит яркими лыжными костюмами. А сейчас, летом — тишина, покой. С гор прохладой тянет, а над некошеным лугом кто-то раскинул упругую перину белого тумана. А мне некогда на красоты любоваться. Я в номер. На второй этаж. А ключ в дверь не попадает. Я сам себя успокаиваю. Дверь открываю. Чемодан в угол бросаю, и — в душ. Грязный я совсем. Целый день за рулем.

Вот уж и чистенький. Полотенцем по коже сильнее, сильнее. Костюм свеженький на себя, глаженый. Платок яркий — на шею. А теперь в зеркало. Нет, так, конечно, не пойдет. Глаза свинцовые, губы сжаты. На лице беззаботное счастье светиться должно. Вот так. Так-то лучше. А теперь вниз. Да не спеша. Смотрят люди на меня и никто не подумает, что сегодня в моей очень трудной жизни, лишенной выходных и праздников,— один из наиболее утомительных дней. И не думайте, что мой рабочий день уже кончился, нет, он продолжается.

А в зале музыка грохочет. А в зале по темным стенам яркие огни мечутся, по потолку тоже, и по лицам счастливых людей, распыляющих уйму энергии в угоду своему наслаждению, в бурном водовороте звуков вдруг яростно доминирует труба, заглушая все своим ревом, и ритм торжествует над толпой, подчиняя себе каждого. И по властному велению ритма звенит хрусталь, вторя пьянящему шуму танцующей толпы.

Моя рука чувствует режущий холод запотевшего хрусталя, я поднимаю перед собой сверкающий, искрящийся сосуд, наполненный обжигающей влагой, и в то же мгновенье в нем отражается весь бушующий ураган звука и цвета. Улыбаясь брызжущему огню и закрывая им лицо, я медленно обвожу зал глазами, стараясь не выдать своего напряжения. Вот уголком глаза я увидел того, кто в зеленой блестящей папке числится под номером 713. Я видел его только раз, только на маленькой фотографии. Но я узнаю его. Это он. Я медленно подношу бокал к губам, гашу улыбку, пригубливаю спиртное и так же медленно поворачиваю лицо. Вот он медленно поднимает глаза на меня. Вот наши взгляды встретились. Я изображаю радостное удивление на лице и салютую широким приветственным жестом. Он изумленно оборачивается, но сзади — никого. Он вновь смотрит на меня с неким вопросом: ты это кому? Тебе! — молча отвечаю я.— Кому же еще? Расталкивая танцующих, с бокалом в руке я пробиваюсь к нему.

— Здравствуй! Никогда не думал тебя встретить тут! Ты помнишь тот великолепный вечер в Ванкувере?

— Я никогда не был в Канаде.

— Извините,— смущенно говорю я, всматриваюсь в его лицо.— Тут так мало света, а вы так похожи на моего знакомого... Извините, пожалуйста...

Я вновь пробился к бару. Минут двадцать я наблюдаю за танцующими. Я стараюсь уловить наиболее характерные движения: в моей жизни никогда не было времени для танцев. Когда приятное тепло разливается по всему телу, я вступаю в круг танцующих и толпа радушно расступилась, открывая ворота в королевство веселья и счастья.

Танцую я долго и исступленно. Постепенно мои движения приобретают необходимую гибкость и вольность. А может, это только мне кажется. Во всяком случае, на меня никто не обращает внимания. Веселая толпа принимает всех и прощает всем.

Когда он ушел, я не знаю. Я уходил поздней ночью в числе самых последних...

5

Звонок будильника разбудил меня рано утром. Я долго лежу, уткнувшись лицом в подушку. Меня мучает хроническая нехватка сна. И пять часов никак не могут компенсировать многомесячного недосыпа.

Потом я заставляю себя резко вскочить. Пятнадцать минут я мучаю себя гимнастикой, а потом душ жгуче холодный, беспощадно горячий, снова холодный и снова нестерпимо горячий. Тот, кто так делает регулярно, выглядит на пятнадцать лет моложе своего возраста. Но не это мне важно. Я должен выглядеть бодрым и веселым, каким подобает быть праздному бездельнику.

Вниз я спускаюсь самым первым и погружаюсь в утренние газеты, изображая равнодушие.

Вот к завтраку спустилась пожилая чета. Вот прошла женщина неопределенного возраста, неопределенной национальности со вздорной, не в меру агрессивной собачкой. Вот группа улыбающихся японцев, обвешанных фотоаппаратами. А вот и он. Я улыбнулся и кивнул. Он узнал меня и кивнул...

После завтрака я иду в свой номер. Уборка еще не началась. Я вешаю на двери табличку «Не беспокоить», запираю дверь на ключ, опускаю жалюзи на окнах и, оказавшись в темноте, с удовольствием вытягиваюсь на кровати. О таком дне, когда никуда не надо спешить, я мечтал давно. Я пытаюсь вспомнить все детали вчерашнего дня, но из этого получается только блаженная улыбка на лице. С этой улыбкой я, наверное, и засыпаю.

Вечером я исступленно танцую в толпе. Он все на том же месте, что и вчера. Один. Увидев его, я улыбаюсь. Я подмигиваю и жестом приглашаю в толпу безумствующих. Он улыбается и отрицательно качает головой.

Следующим утром я первым спустился в холл. Он был второй.

— Доброе утро,— говорю я, протягиваю свежие газеты.

— Доброе утро,— улыбается он.

На первых страницах всех газет президент Уганды Амин Дада. Мы перебросились фразами и пошли завтракать.

Самое главное сейчас — не испугать его. Можно, конечно, быка взять за рога, но у меня есть несколько дней, и потому я использую «плавный контакт». Многое об этом человеке нам не известно. Но даже наблюдение в течение нескольких дней дает очень много полезной информации: он один, на женщин не бросается, деньгами не сорит, но и не жалеет каждый доллар, весел. Последний факт очень важен — хуже всего вербовать угрюмого. Не напивается, но пьет регулярно. Книг читает много. Последние известия смотрит и слушает. Юмор понимает и ценит, одевается аккуратно, но без роскоши. Никаких ювелирных украшений не носит. Волосы на голове не всегда гладко причесаны — уже этого достаточно для того, чтобы что-то знать о внутреннем мире человека. Часто челюсти сжаты — это верный признак внутренней подтянутости, собранности и воли. Такого трудно вербовать, зато потом легко с таким работать. Очень долго украдкой я наблюдаю за выражением его лица. Особенно мне нужны все детали о его глазах: глаза расположены широко, веки не нависают, небольшие мешки под глазами. Зрачки с одного положения на другое переходят очень медленно и задерживаются в одном положении долго. Веки опускает медленно и так же медленно их поднимает. Взгляд долгий, но не всегда внимательный. Чаще взгляд отсутствующий, чем изучающий. При изучении человека особое внимание уделяется мышцам рта в разных ситуациях: в улыбке, в гневе, в раздражении, в расслаблении. Но и улыбка бывает снисходительной, презрительной, брезгливой, счастливой, иронической, саркастической, бывает улыбка победителя и улыбка проигравшего, улыбка попавшего в неловкое положение или улыбка угрожающая, близкая к оскалу. И во всех этих ситуациях принимают участие мышцы лица. Работа этих мышц — зеркало души. И детали эти гораздо более важны, чем знание его финансовых и служебных затруднений, хотя и это неплохо знать.

Ночью я бросаю в машину рюкзак, длинные сапоги, удочки и еду на дальнее озеро ловить рыбу. На рассвете из камышей появляется Младший лидер. Он садится рядом со мной и забрасывает удочку в воду. Кругом никого. Вода теплая к рассвету, парит слегка. Розовая от восхода, солнца еще не видно.

Заместитель командира рыбалку терпеть не может. Особенно его раздражает то, что находятся на свете люди, которые добровольно руками берут червяков. Он к ним притронуться боится, если бы приказали — другое дело. Но тут старшим был он. Нужды брать их в руки не было, и потому он забрасывает удочки с пустым крючком. Он очень устал. Глаза у него совсем красные, а лицо серое. Ради короткой встречи со мной он явно всю ночь провел за рулем. А у него множество своих ответственных дел. Он неудержимо зевает, слушая меня. Правда, в конце рассказа он зевать перестал, слегка даже заулыбался.

— Все хорошо, Виктор.

— Вы думаете, можно вербовать?

Третий раз в жизни я удостоился взгляда, который усталый учитель дарит на редкость бестолковому ученику. Учитель трет свои красные от недосыпа глаза:

— Слушай, Суворов, ты чего-то не понимаешь. В таком деле ты просто не имеешь права спрашивать разрешения. Если ты спросишь, я тебе дам отказ. Когда-нибудь ты станешь Младшим лидером и даже Навигатором, но запомни: и тогда ты не должен

никого спрашивать. Ты пошлешь запрос в Аквариум, а ответ по техническим причинам обязательно опоздает. Я могу знать очень многое о твоем человеке, но я не могу его чувствовать. Ты разговариваешь с ним, и только твоя собственная интуиция может тут помочь. В этой ситуации ни я, ни Навигатор, ни Аквариум — брать на себя ответственность не желаем. Если ты человека не завербуешь, это твоя ошибка, которую тебе не скоро простят. Если ты ошибешься и тебя арестуют на вербовке, тебе и этого не простят. Все зависит только от тебя. Хочешь вербовать — это твой будет орден, это тебя будут хвалить, это твой успех и твоя карьера. Мы тебя все тогда поддержим. Запомни, что Аквариум всегда прав. Запомни, что Аквариум всегда на стороне тех, у кого успех. Если ты будешь нарушать правила и провалишься — попадешь под трибунал ГРУ. Если будешь действовать точно по правилам, но провалишься — опять ты же и будешь виноват: догматично использовал устав. Но если ты будешь иметь успех, то тебя поддержат все и простят всё, включая нарушение самых главных наших правил. «Творчески и гибко использовал устав, отметая устаревшие и отжившие правила». Уверен в успехе — иди и вербуй. Не уверен — откажись сейчас. Я другого пошлю, о такой возможности любой разведчик мечтает. Дело твое.

— Я буду вербовать.

— Это другой разговор. И запомни: ни я, ни Навигатор, ни Аквариум твоих намерений не одобряем. Мы просто их не знаем. Ошибешься — мы скажем, что ты глупый мальчишка, который превысил свои полномочия, за что тебя нужно выгнать на космодром Плесецк.

— Я понимаю.

— Тогда желаю успеха.

Чтобы быть похожим на рыбака, он взял несколько пойманных мной рыбешек и скрылся в камышах.

6

Вечером мы пьем с 713-м. Он и не подозревает о том, что у него давно есть номер, что большой компьютер уделил ему особое внимание, что вокруг горного отеля собраны немалые силы ГРУ, что из Аквариума прибыл один из ведущих психологов ГРУ полковник Стрешнев, который проводил анализ короткого фильма, снятого мной. 713 не знает, что работу его лицевых мышц анализировали, может быть, самые успешные психиатры тайного мира разведки.

Мы пьем и смеемся. Мы говорим обо всем. Я начинаю говорить о погоде, о деньгах, о женщинах, об успехе, о власти, о сохранении мира и предотвращении мировой ядерной катастрофы. Должна быть какая-то тема, которую он поддержит и начнет говорить. Главное, чтобы он говорил больше меня. Для этого нужен ключик. Для этого нужна тема, которая его интересует. Мы снова пьем и снова смеемся. Ключик найден. Его интересуют акулы. Смотрел ли я фильм «Челюсти»? Нет, еще не смотрел. Ах, какой фильм! Акулья пасть появляется, когда зал, полный зрителей, ее не ждет. Какой эффект! Мы снова смеемся. Он рассказывает мне о повадках акул. Удивительные существа... Мы снова смеемся. Он старается угадать, какой я национальности. Грек? Югослав? Смесь чеха и итальянца? Смесь турка с немцем? Да нет же, я русский. Мы оба хохочем. Что же ты тут, русский, делаешь? Я — шпион! Ты хочешь меня завербовать? Да! Мы хохочем до упаду.

Потом он вдруг перестает смеяться.

— Ты правда русский?

— Правда.

— Ты шпион?

— Шпион.

— Ты пришел вербовать меня?

— Тебя.

— Ты все обо мне знаешь?

— Не все. Но кое-что.

Он долго молчит.

— Наша встреча заснята на пленку, и ты будешь теперь меня шантажировать?

— Наша встреча заснята на пленку, но шантажировать я не буду. Может быть, это не совпадает со шпионскими романами, но шантаж никогда не давал положительных результатов, и потому не используется. По крайней мере, моей службой.

— Твоя служба — КГБ?

— Нет. ГРУ.

— Никогда не слышал.

— Тем лучше.

— Слушай, русский. Я давал клятву не передавать никаких секретов иностранным державам.

— Никаких секретов никому передавать не надо.

— Чего же ты от меня хочешь? — Он явно никогда не встречал живого шпиона и ему просто очень интересно со мной поговорить.

— Ты напишешь книгу.

— Про что?

— Про подводные лодки на базе Рота.

— Ты знаешь, что я с этой базы?

— Потому я и вербую тебя, а не тех за соседним столом.

Мы снова смеемся.

— Мне кажется, что все как в кино.

— Это всегда так бывает. Я тоже никогда не думал, что попаду в разведку. Ну, спокойной ночи. Эй, девочка, счет.

— Слушай, русский, я напишу книгу, и что дальше?

— Я опубликую эту книгу в Советском Союзе.

— Миллион копий?

— Нет. Только сорок три копии.

— Не много.

— Мы платим семнадцать тысяч долларов за каждую копию. Контракта мы не подписываем. 10% мы платим немедленно. Остальные сразу по получении рукописи, если, конечно, в ней освещены вопросы, интересующие наших читателей. Потом книгу можно опубликовать и по-английски. Если западному читателю что-то может быть не интересно, это можно в американском издании упустить. Так что никакой передачи секретов нет. Есть только свобода печати и ничего больше. Люди пишут не только про подводные лодки, но и про кое-что пострашней, и их никто за это не судит.

— И всем им вы тоже платите?

— Некоторым.

Я оплатил счет и пошел спать в свой номер.

Глава XIV

1

Чувство глубокое и неповторимое: возвращаться в родные бетонные казематы после самостоятельной вербовки.

Неделя отсутствия замечена всей нашей ордой, всей сворой. Если добывающий офицер отсутствует три дня — ясно, в обеспечении работал. А если больше недели? Где был? Всем ясно, на вербовке.

И вот иду я по коридору. Вся наша шпионская братия расступается и при моем приближении умолкает. А я губы кусаю, чтобы не улыбнуться. Не положено мне улыбаться до командирского поздравления, неприлично.

А они тоже традиции уважают. Никто вопроса нескромного не задаст. Никто не улыбнется. Никто не поздравит. Не положено никого поздравлять до командирского поздравления. Никто, конечно, не знает, с чем меня поздравлять, но каждый понимает, что есть такая причина. Каждый каким-то внутренним чувством понимает, что я триумфатор сейчас. И серый мой помятый костюм — это мантия пурпурная. И каждый сейчас на моей голове сияющий венец с бриллиантами видит.

Приятно думать, что нет ни в ком сейчас зависти, но — понимание, уважение есть, радость. И есть гордость и за меня и за всех нас: вот идешь ты, Витька, по красному ковру прямо к генеральскому кабинету, и рады мы за тебя, и мы вот так же по этому ковру хаживали, а если нет, то обязательно вот так же гордо и сдержанно пойдем по нему.

Смотрит на меня шпионская братия, дорогу уступает. И как-то радостно всем и смешно, что вот вернулся я, и не попался, и не скрутили меня, не повязали, не обложили, как медведя в берлоге, не гнали собаками, как раненого волка.

Дверь командирского кабинета передо мной открывается. Сам Навигатор меня на пороге встречает. Просто все. Посторонился, пропуская в дверь: заходи, Виктор Андреевич. Вроде ничего и не случилось, да только такое обращение совсем необычно. И оттого кто-то в глухой тишине так глубоко вздохнул, что командир в двери обернулся и засмеялся.

И за командиром все засмеялись этому простодушному вздоху.

Устав ГРУ категорически запрещает объявлять одним офицерам что-либо о работе других, будь то успехи или провалы. Навигаторы устав свято соблюдают. Понимают, что никто не должен знать больше, чем положено для выполнения своих функций. Но как же тогда поддерживать атмосферу жесткой конкуренции внутри тайной организации? И потому выдумывают командиры всяческие хитрости, чтобы устав обойти

и продемонстрировать всей своре свое персональное расположение к одним и неудовольствие к другим. Находят командиры эти пути.

В моем случае — сразу вслед за мной по коридору продефилировал шестой шифровальщик в белых перчатках с серебряным запотевшим ведерком и бутылкой шампанского в нем.

Ведерко со льдом да накрахмаленные салфетки братия дружным гулом одобрения встретила: лихо Батя устав обходит! А Витька Суворов, прохвост, эвон на какие высоты взлетел. На форсаже вверх идет. Молодые борзяги о моем взлете с блеском в глазах говорят. Старые мудрые варяги головами качают. Они знают, что в жизни добывающего офицера успех — самое тяжелое время. Успеху предшествует дикое напряжение сил, нечеловеческая концентрация внимания на каждом слове, на каждом шаге, на каждом дыхании. Вербующий разведчик собирает в кулак всю свою волю, свой характер, все знания и наносит удар по своей жертве, и в этот момент величайшего напряжения и концентрации воли против объекта вербовки он еще и обязан следить за всем происходящим вокруг него.

Успех — это расслабление. Внезапная разрядка может кончиться катастрофой, срывом, истерикой, глубочайшей депрессией, преступлением, самоубийством. Мудрые варяги знают это.

И Навигатор знает. И оттого он и радостен и строг. Навигатор мне на какие-то несуществующие мои промахи указывает: дабы не взорвался я от ликования. А как не ликовать? Он согласен. Он взял деньги. Он взял список вопросов, которые должны быть отражены в книге (в английском издании многие из этих деталей могут быть опущены). Получив 10%, он в наших лапах. 73 тысячи он растратит быстро, и ему захочется получить остальные. Опыт ГРУ говорит, что было множество людей, желавших получить 10% и ничего потом не делать. Но каждый из них, почувствовав вкус денег, за которые не надо много работать и не надо много рисковать, делал работу на совесть и получал остальное. Это правило без исключений.

2

Не знаю почему, но успех не радует меня. Правы, наверное, люди, которые говорят, что счастье можно испытывать, лишь карабкаясь к успеху. А как только успеха достигнешь, то уже не ощущаешь себя счастливым. Среди тех, кто добился успеха, мало счастливых людей. Среди оборванных, грязных, голодных бродяг гораздо больше счастливых, чем среди звезд экрана или министров. И самоубийства среди всемирно признанных писателей и поэтов случаются гораздо чаще, чем среди дворников и мусорщиков.

Мне плохо. Я не знаю почему. Сейчас я готов на все. Почему, интересно, нас никто не вербует? Вот если бы сейчас подошел ко мне американский дипломат и сказал: «Эй ты, дааай завербую!»

Не вру, согласился бы. Он бы удивлялся, зная повадки ГРУ. Эх ты, дурак, сказал бы мой американский коллега, ты соображаешь, что тебя ждет в случае провала? Соображаю, радостно ответил бы я. Ну, вербуй меня, проклятый капиталист! Я на тебя без денег работать буду. Все, что американская разведка мне передавать будет, клади в свой карман! Я просто так хочу головой рисковать. Разве не упоительно по краю пропасти походить? Разве не интересно со смертью поиграть? Ведь находятся же идиоты, которые на мустангах скачут диких или перед бычьими рогами танцуют. Не ради денег. Удовольствия ради.

Ну, вербуйте меня, враги, я согласен!

Что же молчите?

Проверки, проверки, снова проверки. Совсем замучали проверками, надоели.

Завербованных нами друзей проверять легко. Всех их постоянно контролирует Служба информации, конечно, не зная ни их имен, ни их биографий, ни занимаемых постов. Один и тот же вопрос можно освещать, находясь в тысячах километров от интересующего ГРУ объекта: планы Германского Генштаба освещались из Женевы, но и из Токио, но и из Никозии. И ни один источник не подозревает о существовании других, ни их возможностей. Если данные одного источника резко отличаются от других, то значит что-то неладно с этим источником. Но может быть и наоборот: что-то неладно со всеми другими источниками — они заглатывают дезу, и лишь один глаголет истину. Во всяком случае если с разных концов света поступает один и тот же аппарат, который вдобавок ко всему при копировании дает положительные результаты и разрешает проблемы армии, то можно пока не беспокоиться. Пусть даже друг перевербован. Пусть он двойник. Не беда. Давал бы материальчик. Если полиция думает так дорого платить только за то, чтобы поиграть с нами, пусть платит. Мы и такие подарки принимаем. А как только подарки окажутся негодного качества, с гнильцой, информация нам быстро об этом просигнализирует.

Но Аквариум не только друзей проверяет, но и нас. Проверяет часто, утомительно, придирчиво. Против нас другой метод придуман — провокация. За время учебы и работы много я таких штучек от Аквариума получал. Все они беспокоятся — как я реагировать буду. А я правильно всегда реагировал: немедленно обо всем, что со мной приключится, что с друзьями моими случается, все и точно своему командиру докладываю. Увидел в лесу своего друга — командиру доложи. С другом ничего не случилось, значит он на операции в том лесу был, а может, он там просто находился, чтобы командир проверить мог: увижу ли я его, доложу ли вовремя. Меня все время проверить пытаются: кто для меня дороже — Аквариум или друг. Конечно, Аквариум! А попробуй не доложи! А если это только проверка? Вот и конец всему, вот ты уже и на конвейере.

Впрочем, последнее время мне доверять больше стали. Я теперь сам постоянно в проверках участвую. Вот и сейчас, темной ночью, бросив далеко машину, я шлепаю по лужам в темноте. Ногам холодно и мокро. Когда вернусь домой, обязательно в ванну залезу на целый час, попарюсь.

В кармане у меня макет, в котором — Библия. Книжечка маленькая совсем, на тоненькой бумаге отпечатана. Это их всякие религиозные общества так специально выпускают, чтобы их удобнее в Союз провозить можно было. Библию эту я в почтовый ящик брошу. Почтовый же ящик Вовке Фомичеву принадлежит — он капитан, помощник военного атташе,— наш то есть парень, из Аквариума, недавно прибыл. Догадывается он или нет, но ему сейчас Аквариум серию гадостей подбрасывает. Вот я и иду к его дому.

Библию он завтра утром из своего почтового ящика достанет,— их всякие религиозные общины и организации нам постоянно подбрасывают. Вряд ли он знать будет, что это мы на этот раз в его ящик пакет опускаем. Может, книжечка заинтересует его, может, он ее ради бизнеса сохранить попытается: в Союзе народ с ума посходил, за такие книжечки уйму денег платит, не скупится. Завтра — выходной, на работу идти не надо. Вот мы и полюбуемся — прибежит он утром с докладом или до понедельника подождет, а может, и вообще не доложит: сохранит или тайно выбросит, чтоб лишних неприятностей не было. Но любой из этих вариантов, кроме первого, кроме немедленного рапорта,— для него конец означает. Конвейер то есть.

Холодно, мокро. Листья ветер по тротуару гонит. А как попадет листок в лужу, вот и все. Влип. Больше не летает. Его теперь мусорная метла подхватит. Заметет.

Никого на улицах. Лишь я — одинокий шпион великой системы. Я своего собрата сейчас проверяю. Впрочем, трудно сказать, кто кого проверяет. Вовка Фомичев — мне друг. Мы с ним уже дважды на операции совместные выходили. Работает он мастерски и уверенно. Но, черт его знает, прибыл он недавно, а может быть, со спецзаданием. Может быть, с его помощью меня сейчас проверяют? То-то он ко мне в друзья мостится. Опыта желает набраться! Может быть, это меня вновь проверяют. Брошу я пакет в его ящик, а сам его по-дружески предупредить попытаюсь, чтоб бегом докладывать бежал. Тут мне и конец. Тут уж меня на конвейер поставят: друг тебе дороже доблестной советской военной разведки.

Дом Вовки Фомичева — большой, нарядный, в нем множество дипломатов живет всяких наций и стран. Дом, конечно же, под контролем полиции, парадные двери во всяком случае. Может быть и нет,— но лучше предполагать, что да, и на основе такого предположения строить свои планы. Поэтому я не через парадный вход иду. Я темными задними дворами мимо аккуратных мусорных ящиков — в подземный гараж. Ключи у нас есть от очень многих гаражей и подъездов домов, в которых обычно дипломаты живут. В любой отель Вены я тоже без труда пройду. У нас громадный шкаф с ключами. И где наши собратья из Аквариума ни пройдут, они везде копии ключей снимают. Главное установить точный порядок учета и хранения, чтоб вовремя нужный ключик найти. Сегодня у меня в кармане три ключа. Если надо, я к Вовке и в квартиру залезть могу. Откуда ему знать, что три года назад в этой квартире его неудачливый предшественник жил, который и сделал для ГРУ копии ключей? К сожалению, ни на что более героическое у него сил не хватило, и он был с позором эвакуирован и изгнан из Генерального штаба.

От мусорного ящика коты в разные стороны метнулись с воем душераздирающим. Это хорошая примета: значит, тут поблизости других людей нет. Может, телекамера скрытая? Света нет — экономят. Зачем на заднем дворе свет? Но телекамера может работать и в инфракрасных лучах. Поэтому пальто у меня расстегнуто так, чтобы скрепка галстука была видна. На вид она совсем обычная, но покрыта особой краской, и если в темноте меня облучат инфракрасными лучами, то она будет светиться. Ибо она — индикатор ИК-излучений. Повернувшись вокруг, я и направление на скрытую камеру могу определить. Если за мной следят, я малую нужду меж мусорных ящиков справлю да и побреду дальше. Но застежка не блестит, наблюдения нет. Я достаю ключ и осторожно вставляю в скважину. Дверь гаража тихо скользит в сторону. Я в громадном гараже с сотнями машин.

Ступаю осторожно. Но моя походка не должна быть крадущейся, а взгляд вороватым. Пусть думают, что я только что приехал, оставил в парке свою машину и иду домой. Стальную дверь открываю другим ключом. На лифте из подземного гаража я поднимаюсь на самый верхний этаж и жду там несколько минут, внимательно прислушиваясь. Дом спит. Ни дверь не стучит, ни лифт не скользит по шахте. Я смотрю на часы. Если за мной и следят, мое посещение должно остаться непонятным. Может, я к американскому дипломату на встречу пришел, может, меня женщина ждет. Если за мной следят, то даже истинная моя цель — бросить Библию в почтовый ящик — может им показаться маскировкой, а над истинной целью они будут долго думать: слишком долго я оставался наверху.

Впрочем, лифты так и замерли в шахтах, и по лестницам никто не ходит, полная тишина.

Теперь я осторожно спускаюсь вниз по лестнице. Ступаю не на носки и не на всю площадь подошвы. Нет. Я касаюсь пола только внешними рантами ботинок, как клоун искривив ноги колесом. Подошвы у меня мягкие. Не скрипят. Но все же лучше идти так, как учили. Так никогда не слышно шагов. Вот нижний этаж. В мраморном вестибюле десятки дверок почтовых ящиков. Я знаю, какой нужен мне, но останавливаюсь у многих, разглядывая надписи с именами владельцев. Всем телом прилегаю к блоку ящиков и незаметно бросаю пакет в нужную щель. Если бы мне в спину смотрели, то вряд ли точно определили, какой ящик интересовал меня и что я с ним сделал.

Со скучающим видом, не обнаружив ничего интересного, я дальше спускаюсь по лестнице вниз, в подземный гараж.

Тот, кто использует один и тот же путь для входа и для выхода, демонстрирует отсутствие вкуса к конспиративной работе. Я вкус этот чувствую. Он не похож ни на вкус вина, ни на акус любви, ни на вкус борьбы. Вкус конспиративной жизни не похож ни на какие другие, я его понимаю и ценю. У меня он есть. И не отсутствие вкуса вновь гонит меня в темный гараж. Просто нет у меня лучшего пути.

3

У меня вновь недосып. А когда выспишься? Глаза воспалены. Я рано утром в забое появляюсь, хоть сегодня и выходной. Я Вовку жду. Если бы он появился еще раньше меня, это было бы великолепно. Но только Саша-Аэрофлот в углу зевает. У него глаза тоже красные. Он, наверное, тоже каверзы кому-то ставил, может быть, даже мне. Он тоже, наверное, ждет кого-то, кто должен прибежать запыхавшись. Он передо мной оправдывается: нужно срочно финансовый отчет закончить. Я, конечно, понимаю, что это правда, но не вся. В 6 утра, в воскресенье, его в забой другая нужда пригнала. Я ему говорю, что у меня к следующей почте три отчета об операциях еще не отпечатаны. Это действительно так. Но только он понимает, что это не единственная причина, пригнавшая меня сюда. Он вид делает, что работает, а сам на часы поглядывает, я тоже вид демонстрирую. Сам тоже на часы поглядываю, но украдкой. Документы я на своем рабочем столе разместил, а сам в стенку смотрю. Жаль, окошек нам не положено иметь в рабочих помещениях.

В 10 утра Младший лидер приглашает Сашку-Аэрофлота в свой кабинет. Теперь в большом рабочем зале я один.

В 11.32 появляется Навигатор.

— Ну, что?

— Товарищ генерал, я подарок вложил без происшествий. Но он еще не отреагировал.

По выражению лица Навигатора я понимаю, что это не меня проверяли, а Вовку Фомичева. Элементарная провокация. Он клюнул. По какой-то причине, найдя Библию в почтовом ящике, он немедленно не доложил руководству. А если с ним что-то серьезное случится, доложит ли он тогда или нет? Ясно, что он опасен всей нашей тайной организации и всей советской системе.

— Виктор Андреевич, иди домой, отдыхай. Вернешься в 6 вечера.

— Есть.

Весь мир имеет выходные дни. Дни, когда никто на работу не ходит. Советские дипломаты по два таких дня в неделю имеют. Суббота и воскресенье.

Но ГРУ не имеет выходных дней. И КГБ тоже. Но вот представим себе картину, что в каждый выходной часть дипломатов в посольство не ходит. А другая, бо́льшая часть — ходит. Все сразу ясно станет, кто чистый дипломат, а кто не очень.

Чтобы этого не случилось, много всяких хитростей придумано, чтобы чистого дипломата в выходной день в посольство завлечь, чтобы его широкой дружеской улыбкой загородиться, чтобы активность резидентур скрыть. Посольство в выходной день — муравейник, и — неспроста. В выходные, и только в выходные, почту из Союза выдают. Письма да газеты. Всем «Известия» нужны. Там курс валют печатается. Каждый вычислениями занят: сейчас менять валюту на сертификаты или подождать, курс валют скачет. Какова позиция советского Госбанка через неделю будет, одному только Богу известно, но никому другому, даже и председателю Госбанка.

А еще по выходным дням в посольствах советских по всему миру особые магазины работают с ценами удивительными; вся советская колония в магазин валом валит. А еще в воскресенье лекции читают. Все тоже валом валят. Но не потому, что лекции любят. Там на лекциях всем крестики ставят: был, не был. Вообще-то никого не заставляют на лекции ходить, дело твое. Но если вдруг покажется кому-то, что Иван Никанорович, к примеру, апатию проявляет и политикой особенно не интересуется, то ему — эвакуация. Внезапно ночью ему в дверь позвонят: папаша ваш не в себе, проститься желает. И конвой Ивану Никанорович приставят. Хочешь прощаться с родителями, не хочешь, а пошли — к самолету.

А еще по воскресеньям в советских посольствах фильмы показывают. Новые и не очень новые. Тоже народ валом валит. Массовость посещения — признак высокой сознательности и нерасторжимой связи с социалистической родиной.

Много народа по выходным в посольстве. Машину поставить негде. Но я поставил. У меня на этот случай место особое зарезервировано.

Мы с Навигатором по парку гуляем. Парк огромный. Беседуем. Мы на ворота издали поглядываем. Тут же — Петр Егорович Дунаец, вице-консул, да Николай Тарасович Мороз, первый секретарь посольства — прогуливаются. Нас они вроде не замечают. Но не зря они тут гуляют. Готовится эвакуация. Помощник советского военного атташе в Вене капитан ГРУ Владимир Дмитриевич Фомичев — ненадежен. Самолет уже вызван. В эвакуации участвует очень ограниченное число людей: Навигатор — это его решение, я — потому что в проверке участвовал и знаю о ненадежности Фомичева, полковники Дунаец и Мороз — заместитель и первый заместитель резидента.

Вот серый «форд» Фомичева плавно проплыл через ворота. В кино помощник военного атташе приехал с супругой. Отчего же ты, Володя, утром не прибежал, высунув язык? Отчего ты Библию с собой не принес? Зачем ее спрятал? Ну зачем она тебе нужна? Бога нет, усвоить пора. Выдумки про Бога — гнусная антисоветская стряпня. Рай не после смерти. Рай на земле нужно строить. Если ты думаешь, что рай после смерти наступит, то этим самым самоустраняешься от активного строительства рая на земле. Это бабкам неграмотным простят. Тебе — нет. На конвейер пойдешь. Из тебя правду сумеют вырвать. Зачем Библию прятал? Может, ты ее и не прятал совсем. Может, ты боялся неприятностей и поэтому взял и выбросил ее в мусорный ящик, думал, никто не узнает. А мы все знаем обо всем, что с тобой случается, ты обязан докладывать. Молчания тебе ГРУ не простит.

Заместитель командира медленно (гуляет!) побрел к воротам. Войти в посольство можно только одним путем, но и выйти можно только им. Путь этот уже отрезан для помощника военного атташе. У ворот охрана. Она ничего не знает. Охрана так ничего и не узнает, если помощник военного атташе не попытается бежать. А если попытается, то мышеловка захлопнется перед самым его носом. Командир и Младший лидер к библиотеке бредут. Не спешат. Они тоже гуляют. Там, возле библиотеки, запасной вход в бункер.

Я немного еще тут подожду.

Вот Боря, третий шифровальщик, на парковку спешит. Боря в эту тайну не посвящен. Его задача подойти, поздороваться и сказать: Владимир Дмитриевич, вам шифровка.

Я издалека наблюдаю.

Вот Боря около машины. Вот Фомичев выходит. Выражения лица не видно. Вот он что-то жене говорит. Вот он ее целует слегка. Вот она одна подошла к кинозалу. Эх, не знаешь ты, капитан, что тебя ждет! Преступник ты. Не доложил командиру, что буржуазный мир тебя совратить пытается, сбить с правильного пути. За это, капитан, тебя, конечно, не расстреляют, но в тюрьму посадят — за попытку обмануть резидента. А в тюрьме еще тебе срок добавят. Там таким, как ты, добавляют обязательно. Если ты когда-нибудь из тюрьмы выйдешь (у нас особая тюрьма есть), то жена с тобой вряд ли встретиться пожелает. Она бросит тебя. Я ее лицо видел однажды на дипломатическом приеме близко совсем. Бросит наверняка.

Пора и мне.

Стальная дверь. Коридор. Лестница вниз. Еще дверь. Это та дверь, что с черепом улыбающимся. Снова вниз. В бункер. В забой. Большой рабочий зал. Коридор. Малый рабочий зал. Еще коридор. Двери справа и слева. Он сейчас в комнате Младшего лидера. Жму на звонок. Лицо Младшего лидера появляется из-за двери. Дверью он, как щитом, прикрывается. Что внутри кабинета — не разглядишь.

— Чего тебе?

— Помощь нужна?

— Да нет. Иди, Виктор Андреевич, кино смотри. Сами справимся.

— До свидания, Николай Тарасович.

— До свидания.
По коридору. По лестницам вверх. Малый рабочий зал...
— Витя! — Младший лидер за мной спешит.
— Слушаю вас.
— Витя, совсем забыл. Дождешься конца фильма. Встретишь его жену Валентину, скажешь, что муж ее на срочном задании на два дня. Пусть не волнуется. Секретное задание, скажешь. Сообразишь так, чтобы она не заподозрила. И домой ее отвезешь. А пока машину его с парковки убери. В подземный гараж спрячь, вот ключи Все. До завтра.
— До свидания, Николай Тарасович.

Валя Фомичева — женщина особая. На таких оборачиваются, таким вслед смотрят. Она небольшая совсем, стрижена, как мальчишка. Глаза огромные, чарующие. Улыбка чуть капризная. В уголках рта что-то блудливое витает. Но это только если присмотреться внимательно. Что-то в ней дьявольское есть, несомненно. Но не скажешь — что. Может быть, вся красота ее дьявольская. Зачем ты, Володя, себе такую жену выбрал? Красивая жена — чужая жена. Кто на нее в посольстве только не смотрит? Все смотрят. И в городе тоже. Особенно южные мужчины, французы да итальянцы, высокие, плотные, с легкою сединой. Им эта стройная фигурка покоя не дает. Едем в машине, останавливаемся на перекрестке, взгляды упрекающие меня сверлят: зачем тебе, плюгавый, такая красивая женщина?

А она вовсе и не моя. Я ее домой везу, ибо муж ее уже на конвейере, уже показания дает. Из него еще тут, в Вене, вырвут нужные признания. А потом он в Аквариум попадет, в огромное стеклянное здание на Хорошовском шоссе.

Валя, его жена, об этом пока не догадывается. Ушел в ночь, в обеспечение. Ее это не волнует, привыкла. Она мне о новых блестящих плащах рассказывает, вся Вена такие сейчас носит. Плащи золотом отливают, и вправду красивые. Ей такой плащ очень пойдет. Как Снежная королева, будешь ломать наш покой своим холодным надменным взглядом. Сколько власти в ее сжатых узких ладонях. Несомненно, она повелевает любым, кто встретится на ее пути. Если сжать ее, раздавишь, как хрустальную вазу. С такой женщиной можно провести только одну ночь, а после этого бросать и уходить, пусть будет огорчена. В противном случае — закабалит, подчинит, согнет, поставит на колени, я знаю таких, в моей жизни была точно такая женщина. Тоже совсем маленькая и хрупкая. На нее тоже оборачивались.

Я ушел от нее сам. Не ждал, когда прогонит, когда обманет, когда поставит на колени.

Глуп ты, капитан, что за такой пошел. Наверняка знаю, что она смеялась тебе в лицо, а ты, ревнивец, следил за ней из-за угла. А потом, повинуясь мимолетному капризу, она согласилась стать твоей женой. Ты и сейчас, на конвейере, только о ней думаешь. Тебе один вопрос покоя не дает: кто ее сейчас домой везет. Успокойся, капитан, это я, Витя Суворов. Не нужна она мне, обхожу таких стороной. Да и не в Вене этими вещами заниматься. Слишком строго мы друг друга судим, слишком пристально друг за другом следим.

— Суворов, ты почему никогда мне не улыбаешься?
— Разве я один?
— Да. Мне все улыбаются. Боишься меня?
— Нет.
— Боишься, Суворов. Но я заставлю тебя улыбаться.
— Угрожаешь?
— Обещаю.

Остаток пути мы молчим. Я знаю, что это не провокация ГРУ. Такие женщины только так и говорят. Да и не может сейчас ГРУ следить за мной. Операции ГРУ отточены и изящны. Операции ГРУ отличаются от операций любых других разведок простотой.

ГРУ никогда не гоняется за двумя зайцами одновременно. И оттого ГРУ столь успешно.

— Надеюсь, Суворов, ты не бросишь меня возле дома. Я красивая женщина, меня на лестнице изнасиловать могут, отвечать ты будешь.
— В Вене этого не бывает.
— Все равно я боюсь одна.
В этой жизни она ничего не боится, я знаю таких женщин, зверь в юбке.
В лифте мы одни, она смеется:
— Ты уверен, что Володя ночью не вернется?
— Он на задании.
— А ты не боишься меня одну ночью оставлять, меня украсть могут.

Лифт плавно остановился, я открываю перед ней дверь. Она квартирную дверь ключом отпирает.
— Ты что сегодня ночью делаешь?
— Сплю.
— С кем же ты спишь, Суворов?
— Один.
— И я одна,— вздыхает она.
Она переступает порог и вдруг оборачивается ко мне. Глаза жгучие. Лицо чистенькой девочки-отличницы. Это самая коварная порода женщин. Ненавижу таких.

4

Эвакуация всегда производится только самолетом, быстро. И полицейский контроль только один раз.

Эвакуация всегда производится днем: ночью полиция более подозрительна, утром новая смена — свежие силы. Вечером самолеты, в основном, в дальние рейсы не уходят, поэтому эвакуация — днем.

Расписания рейсов Аэрофлота в направлении Москвы из большинства стран составлены так, чтобы самолет уходил днем. Не везде это возможно, но где возможно, сделано именно так. Не каждым рейсом Аэрофлота людей эвакуируют. Но если потребуется, все предусмотрено заранее.

Бывший капитан ГРУ, бывший помощник военного атташе сидит на табуретке. Голова на груди. Он не связан. Он просто сидит. Но у него больше нет желания кричать и буянить. Он уже прошел первую стадию конвейера. Он признался: да, была Библия в почтовом ящике. Нет, религией не интересовался. Да, проявил халатность. Да, бросил в мусорный ящик. Третий слева. Библия уже на столе лежит. Нашли ее. Доказательство! Библия в целлофановом пакете.

Пока я твою жену возил, из тебя, капитан, в это время первый слой показаний извлекали. Да, обманывал Навигатора и раньше. Посещал проституток четыре раза. Нет, с западными разведками не связан. Вербовочных предложений от них не получал. Нет, секретных сведений им не передавал.
Эвакуация.
— Спирт.
Вместо медицинского спирта мы обычно джин «Гордон» используем. Из командирского бара.
— Шприц.
Шприц одноразовый. Точно как в Спецназе. Но это не «Блаженная смерть», это просто «Блаженство».
Место укола надо тщательно протереть проспиртованной ваткой, чтобы не было заражения.

Аэропорт. Грохот двигателей. Блестящий пол. Сувениры. Много сувениров. Куклы в национальных нарядах. Зажигалки «Рондсон». Контроль билетов. Багаж? Нет багажа. Краткосрочная командировка. Предъявите паспорта!

Наши паспорта зеленого цвета. «Именем Союза Советских Социалистических Республик, Министр иностранных дел Союза ССР...» Проходите.

Нас трое. Бывший капитан. Я. Вице-консул. Бывший капитан путешествует. Мы — провожающие лица. Якобы. На самом деле мы — прямое обеспечение. А вон там, у киоска с бутылками — Генеральный консул СССР. Общее обеспечение. Оградить! Предотвратить! Отмазать!

Теперь к самолету. «Дипломатическая почта» — это про нас. Проходим.

Через поле — к самолету. Совсем недалеко, даже автобуса не надо. ТУ-134. Два трапа. Задний для всех. Передний — для особо важных персон и для дипломатической почты, для нас то есть. У трапа еще одна стюардесса. Чего зубы скалишь, радуешься? Но откуда ей, стюардессе, знать, что бывший капитан уже не особо важная персона? Откуда ей знать, что улыбается он просто потому, что его «Блаженством» кольнули.

У трапа — дипломатические курьеры. Двое. Крупные. Они знают, что за груз у них сегодня. Они вооружены и не скрывают этого. Такова международная дипломатическая практика. Таковы правила, установленные еще Венским конгрессом 1815 года...

Они помогают бывшему капитану подняться по трапу. У бывшего капитана почему-то ноги на ступени трапа не попадают. Тащатся ноги. Ну, это ничего. Поможем. У двери два больших человека чуть развернули бывшего капитана боком: втроем в дверь не войдешь. Я вновь вижу их лица. Бывший советский военный дипломат улыбается тихой доброй улыбкой. Кому улыбается? Может быть, даже мне.

И я улыбаюсь ему.

Глава XV

1

— Одевай,— приказывает Навигатор. Я одеваю на голову прозрачный шлем. Он делает то же самое. Теперь мы на космонавтов похожи. Наши шлемы соединены гибкими прозрачными трубами.

Подслушать то, что говорят в командирском кабинете, невозможно. Даже теоретически. Но если в дополнение ко всем системам защиты он приказывает еще воспользоваться и переговорным устройством, то, значит, речь пойдет о чем-то совсем интересном.

— Ты делаешь успехи. Не только в добывании. Недавно ты прошел серию проверок, организованных Аквариумом и мной лично. Ты не догадывался о проверках, но прошел их блестяще. Сейчас ты в доверии нулевой категории...

Если это правда, то ГРУ меня слегка переоценивает. За мной грешки числятся. Я не святой. А может быть, Навигатор мне всей правды не говорит. Не зря его Лукавым зовут.

— ГРУ доверяет тебе проведение операции чрезвычайной важности. В Вену в ближайшее время прибывает Друг. Он важен для нас. Насколько важен, можешь судить сам: им руководит генерал-полковник Мещеряков лично. Кто этот Друг, я не знаю и не имею права знать. А тебе и тем более этого знать не полагается. Понятно, что с таким человеком мы не встречаемся лично. Никогда. Он работает через систему тайников и сигналов. Однако ГРУ готово провести встречу с ним в любой момент. Мы должны быть уверены, что контакт может быть установлен в любых обстоятельствах, в любое время. Поэтому раз в несколько лет проводятся контрольные встречи. Он получает боевой вызов и идет на связь. Но мы в контакт не вступаем. Только смотрим издалека за ним. Его выход — это подтверждение ГРУ, что связь работает нормально. Кроме того, мы проверяем безопасность вокруг него. Сейчас будет проведена такая операция. Приказом начальника ГРУ контрольную операцию приказано проводить тебе. Для тебя будет снят номер в отеле. Проверяться будешь двое суток с мощным обеспечением. Исколесишь всю страну. Машину свою бросишь в Инсбруке. Исчезнешь. Растворишься. В Вене появишься, как призрак. Проведешь окончательную проверку. Войдешь в отель через ресторан. Незаметно вверх. Все будет подготовлено. У тебя будет «Минокс» с телеобъективом. Аппарат заряжен пленкой «Микрат 93 Щит». Пленка имеет два слоя: отвлекающий и боевой. На отвлекающем слое сделаны снимки австрийских военных аэродромов. Боевой слой ты будешь использовать для работы. Если тебя арестуют — попытайся пленку вырвать из камеры и засветить ее. Если это не удастся, они проявят ее. Они получат изображения аэродромов, но проявителем уничтожат боевой слой. Пусть они примут тебя за мелкого шпиона. Все понял?

— Да.

— Тогда слушай дальше. Друг в точно определенное время выйдет к витрине обувного магазина. Ты будешь находиться в ста метрах от него и на восемнадцать метров выше. Отснимешь на пленку появление Друга. Я не знаю, кто это будет. Может быть, женщина, переодетая мужчиной. Может быть, мужчина, переодетый женщиной. Не смущайся, если одежда грязная, а волосы не расчесаны, так лучше для дела. В течение получаса до появления Друга фиксируй на пленку любое движение, которое тебе покажется подозрительным. Как узнать его? Он появится в точно определенное время в точно определенном месте. Свернутая газета в правой руке — опознавательный признак и одновременно сигнал благополучия. Та же газета в левой руке — сигнал опасности. Друг идет на встречу. Он не знает, встретим мы его или нет. Но если он под контролем, он может предотвратить встречу. Этим он спасает нашего офицера и одновременно свою шкуру. Если он под контролем полиции, в его интересах сократить количество контактов с нами. Если через пять минут никто не вступит в контвкт с ним, он уйдет и будет вновь выходить на связь, когда мы этого потребуем. Возможно, через десять лет и на другой стороне планеты. И возможно, вновь мы только проверим его, не вступая в контакт. Что не ясно?

— Все ясно.

— Последнее. Время и место проведения операции я тебе сообщу внезапно, прямо перед самым началом. В оставшееся до операции время ты не имеешь права иметь никаких контактов с иностранцами. О любом вынужденном контакте докладывать мне лично. О деле не знает никто, даже первый шифровальщик. Телеграмма моим личным шифром была закрыта. В номере гостиницы с тобой не должен оказаться никакой другой фотоаппарат, кроме того, что я тебе дам перед операцией. Лишний фотоаппарат может стоить тебе головы. Будь осторожен с «Миноксом». Он заряжен в Аквариуме

и опечатан. Печати почти не видно. Смотри не повреди ее. О том, как выглядит Друг, ты не имеешь права рассказывать никому, даже мне. Опечатанный «Минокс» дипломатической почтой уйдет в Аквариум и там пленку проявят особым способом. Все понял?

— Все.

— Тогда повтори все с самого начала.

2

Номер отеля подобран со знанием дела. Моя комната угловая. Я могу обозревать сразу три тихие улочки. Вон там обувной магазин. На прилегающих улицах почти никакого движения. До появления Друга три часа десять минут.

Заботливая рука приготовила все, что может мне потребоваться: телеобъектив к «Миноксу» — величиной с батарейку электрического фонарика, большой бинокль «Карл Цейс. Йена», хронометр «Омега», набор светофильтров, карта города, термос с горячим кофе. А «Минокс» я с собой принес.

Вот он, в ладони. Маленький хромированный прямоугольник с кнопочками и окошечками. «Миноксом» работают все разведки уже полвека. «Миноксом» работал Филби против британской разведки в интересах советской разведки. «Миноксом» работал полковник Пеньковский против советской разведки в интересах британской разведки. Вот он, на моей ладони. Маленький аккуратный «Минокс». Я присоединяю телеобъектив и пробую снимать. Я только примеряюсь. Для такого маленького аппарата сто метров — большая дистанция. Дрогнет рука — все смажется. «Минокс» не для этого придуман. «Минокс» — снимать документы, разложенные на столе.

Время, лениво переваливаясь, нехотя плетется мимо. Крышка термоса, которая мне чашкой служит, дымит тонкой струйкой, как Везувий над Неаполем. Толстая женщина выходит из дома и идет по улице. Ничего интересного. Проехал почтальон на велосипеде. Опять все замерло. По улице черный «мерседес» проехал. На заднем сиденье утопает в подушках человек, одетый в белые простыни. Это представитель бедной страны поехал на совещание требовать денег от богатых стран. Дипломаты богатых стран тоже на совещание едут. Но у богатых машины поскромнее. Говорят, что в будущем разрыв между богатыми и бедными странами будет увеличиваться. Так специалисты говорят, им виднее. Большой разрыв будет означать, что дипломаты бедных стран только на «роллс-ройсах» ездить будут, а дипломаты богатых стран, наверное, на велосипеды пересядут для экономии.

Тоненькая стрелка маленького аккуратного хронометра утомительно идет круг за кругом. Опять толстая женщина прошла. Опять прошелестели шины огромного черного автомобиля с дымчатыми стеклами: беднейший опять за помощью едет. Я вновь «Цейсом» улицы щупаю. Не пропустить ничего. Запомнить номера. Запомнить лица. Их не много. Запомнить любое движение. Любое изменение. «Минокс» — на боевом взводе, как зенитный пулемет в танке. К бою всегда готов. Все подозрительное — на пленку. Кадры в «Миноксе» крошечные. Поэтому на короткой пленке их очень много умещается. А что это?

Что?? Всего я еще не осознал, меня просто переполнило сознание чего-то ужасного и непоправимого. На улице остановился красавец «ситроен». Я его среди тысяч других узнаю — это «ситроен» Младшего лидера. Из машины выходит женщина, быстро наклоняется к Младшему лидеру и целует его. Именно этот момент снимает мой беленький аккуратный «Минокс». Женщина садится в спортивный «фиат» и уезжает. А Младшего лидера давно нет на улице.

Я в кресле сижу. Я кусаю губы. Женщина, конечно, не жена Младшего лидера. Его жену я знаю. Женщина эта — не секретный агент. Навигатор знает время и место любой операции и сейчас в моем районе он наверняка запретил любые операции. Значит, ГРУ вновь проверяет меня. Они посадили меня в эту дурацкую комнату и разыграли комедию. Теперь они ждут, доложу я о проступке обожаемого мной человека или скрою это. Для того и аппарат дали, чтобы узнать, колебался ли я хоть мгновенье или воспользовался им немедленно. А еще по снимку они увидят, дрожали у меня руки или нет.

Но губы я кусаю неспроста. Еще одна возможность остается. Тихая улочка по всем статьям для тайных встреч подходит. О том, что я на шестом этаже сижу за плотными шторами, мало кому известно. Ему могло быть это и неизвестно, если он в операцию лично не вовлечен. Младший лидер и любовница. Американка? Англичанка? Ясно, что иностранка. Советской женщине за рубежом машину иметь не полагается. Тем более спортивную. Зачем ей спортивная? Все машины советскому государству принадлежат и ими пользуются только те, кто мощь государства бережет и умножает. Если все это не комедия и не проверка, то Младшему лидеру — конец. Капут. Кранты. Конвейер. Полный конвейер с очень неприятным финишем. Однако все это может быть проверкой. Мало ли как каждого из нас проверяли? Именно так я и должен был действовать. Быстро и решительно. Мои пустые глаза смотрят на пустынную улицу. Никто не нару-

шает ее спокойствия. Только неприятная сутулая фигура с газетой в руке у витрины обувного магазина прозябает. Что ты там, человече, интересного мог увидеть?

Я откидываюсь на спинку кресла и смотрю в потолок. И вдруг я вскакиваю, опрокинув термос. Я хватаю «Минокс». Я судорожно жму на спуск. Это же ОН! Так, его мать, это ДРУГ! Затвором щелк, щелк. И еще раз. Черт бы побрал всех друзей вместе с генерал-полковником Мещеряковым, вместе с Младшим лидером и его б...дью. Время истекло. Друг нехотя бросает газету в урну и исчезает за углом.

Качество кадров может оказаться неудовлетворительным, и это выдаст мое душевное состояние. Это прольет свет на факт, что Младшего лидера я выдавать не хотел, что я колебался.

Я встаю. Отсоединяю телеобъектив. Термос, объектив, бинокль я укладываю в пакет и опускаю в урну. Кто-то после меня все это заберет. «Минокс» в левой руке зажат. Так удобнее вырывать из него пленку при аресте. Ах, если бы меня арестовали. А может, симулировать нападение полиции? Нет, это не пройдет. Генеральный консул в полицию позвонит и узнает, что никто на меня не нападал. Тогда меня на конвейер.

Я выхожу на улицу, и яркое солнце ослепляет меня. Нет. В этом радостном мире все не может быть так плохо. Это была обычная проверка. Обычная провокация ГРУ. И я не клюнул. В Академии нам и не такие проверки устраивали. Похлеще. Жизнь самых близких нам людей на карте стояла. А потом выяснялось, что это просто комедии наши начальники разыгрывали. Многие этого не выдерживали. Я выдержал. А минуты сомнений нам прощали. Мы все-таки тоже люди.

3

— Откуда Друг появился?

Я мгновенье размышляю, соврать или нет.

— Я не видел, товарищ генерал.

— У тебя был хронометр. Разве Друг вышел не точно вовремя?

Я молчу.

— Тебя что-то сбило с толку? Что-то было подозрительным? Непонятным? Необъяснимым? Что-то смутило тебя?

— Ваш Первый заместитель...

Нестерпимая тревога в глазах его.

— ...Ваш Первый заместитель был на месте встречи за двенадцать минут до появления Друга... с женщиной.

Острые косточки на его кулаках белые-белые. И лицо белое. Он молчит. Он смотрит в стену сквозь меня. Потом он тихо и спокойно спрашивает:

— Ты его, конечно, не успел заснять...

Трудно понять, он спрашивает или утверждает. А может, угрожает.

— Успел...

В глаза я ему боюсь смотреть. Я под ноги себе смотрю. Время тоскливо тянется. Нехотя. Часы на его стенке тикают — тик, тик, тик.

— Что делать будем?

— Не знаю,— жму я плечами.

— Что делать будем!? — бьет он по столу кулаком и тут же, брызжа слюной, шипит мне в лицо: «ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ!?»

— Эвакуацию готовить! — обозлившись, вдруг огрызаюсь я.

Мой крик успокаивает его. Он утихает. Он просто старик-горемыка, на которого свалилось тяжелое горе. Он сильный человек. Но система сильнее каждого из нас. Система сильнее всех нас. Система могущественна. Под ее неумолимый топор любой из нас попасть может. Он смотрит в пустоту.

— Знаешь, Витя, полковник Мороз в шестьдесят четвертом году меня от высшей меры отмазал. Я его после этого по всему свету вел за собой. Он вербовал женщин. Но каких женщин! Эх, жизнь. Любил он их. И они его любили. Я знал, что он налево ударяет. Я знал, что у него в каждом городе — любовница. Я прощал ему. И знал я, что попадется он. Знал. Как ты в этой Австрии спрячешься? Ладно. Вдвоем мы эвакуацию сумеем провести?

— Сумеем.

— Шприц в шкафу возьми.

— Взял.

Он нажимает кнопку переговорного устройства.

— Первый шифровальщик.

— Я, товарищ генерал,— отвечает аппарат.

— Первого заместителя ко мне.

— Есть,— отвечает аппарат.

— Садись,— устало говорит Командир. Он сидит за столом. Левая рука на столе. Правая в ящике стола. Так там и застыла. Я сзади кресла, на котором теперь Младший лидер сидит. Рука Навигатора в ящике стола уже все сказала Младшему лидеру. А мое присутствие сказало ему, что это я его как-то проверял и на чем-то застукал. Он тянется всем телом до хруста в костях. Затем спокойно заводит руки за спинку кресла. Он знает правила игры. Я щелкаю наручниками. Я осторожно поднимаю рукав его пиджака, расстегиваю золотую запонку и открываю его руку. Тонкую белую салфетку (для чистки оптики) я смачиваю джином из зеленой бутылки. Салфеткой я протираю кожу, куда сейчас войдет игла. Тонким штырьком я пробиваю мембрану шприц-тюбика, не касаясь пальцами иглы. Затем, подняв шприц на уровень глаз, нежно двумя пальцами жму на прозрачные стенки флакончика с прозрачной, чуть мутной жидкостью. Иглу под кожу нужно вводить аккуратно, а содержимое тюбика выдавливать плавно. Затем, не разжимая пальцев (тюбик, как насос, может втянуть всю жидкость в себя снова), и извлекаю иглу и вновь растираю кожу салфеткой с джином.

Кивком головы Лукавый дает мне знак выйти. Я выхожу из кабинета и, закрывая дверь, слышу его лишенный всяких переживаний голос:

— Рассказывай...

4

Мне плохо.

Мне совсем плохо.

Со мной подобного никогда не случалось. Плохо себя чувствуют только слабые люди. Это они придумали себе тысячи болезней и предаются им, попусту теряя время. Это слабые люди придумали для себя головную боль, приступы слабости, обмороки, угрызения совести. Ничего этого нет. Все эти беды — только в воображении слабых. Я себя к сильным не отношу. Я — нормальный. А нормальный человек не имеет ни головных болей, ни сердечных приступов, ни нервных расстройств. Я никогда не болел, никогда не скулил и никогда не просил ничьей помощи.

Но сегодня мне плохо. Тоска невыносимая. Смертная тоска. Человека б зарезать!

Я сижу в маленькой пивной. В углу. Как волк затравленный. Скатерть, на которой лежат мои локти, клетчатая, красная с белым. Чистая скатерть. Кружка пивная — большая. Точеная. Пиво по цвету коньяку сродни. Наверное и вкуса несравненного. Но не чувствую я вкуса. На граненом боку пивной кружки два льва на задних лапках стоят, передними — щит держат. Красивый щит и львы красивые. Язычки розовые — наружу. Я всяких кошек люблю, и леопардов, и пантер, и домашних котов, черных и сереньких. И тех львов, что на пивных кружках, я тоже люблю. Красивый зверь кот. Даже домашний. Чистый. Сильный. От собаки кот независимостью отличается. А сколько в котах гибкости! Отчего люди котам не поклоняются?

Люди в зале веселые. Они, наверное, все друг друга знают. Все друг другу улыбаются. Напротив меня четверо здоровенных мужиков: шляпы с перышками, штаны кожаные по колено на лямочках. Мужики зело здоровы. Бороды рыжие. Кружкам пустым на их столе уже и места нет. Смеются. Чего зубы скалите? Так бы кружкой и запустил в смеющееся рыло. Хрен с ним, что четверо вас, что кулачищи у вас, почти как у моего командира полка — как пивные кружки кулачищи.

Может, броситься на них? Да пусть они меня тут и убьют. Пусть проломят мне череп табуреткой дубовой или австрийской кружкой резной. Так ведь не убьют же. Выкинут из зала и полицию вызовут. А может, на полицейского броситься? Или Брежнев скоро в Вену приезжает с Картером наивным встречаться. Может, на Брежнева броситься? Тут уж точно убьют.

Только разве интересно умирать от руки полицейского или от рук тайных брежневских охранников? Другое дело, когда тебя убивают добрые и сильные люди, как эти напротив.

А они все смеются.

Никогда никому не завидовал. А тут вдруг зависть черная гадюкой подколодной в душу тихонько заползла. Ах, мне бы такие штаны по колено да шляпу с пером. А кружка с пивом у меня уже есть. Что еще человеку для полного счастья надо?

А они хохочут, закатываются. Один закашлялся, а хохот его так и душит. Другой встает, кружка полная в руке, пена через край. Тоже хохочет. А я ему в глаза смотрю. Что в моих глазах — не знаю, только, встретившись взглядом со мной, здоровенный австрияк, всей компании голова, смолк сразу, улыбку погасил. Мне тоже в глаза смотрит. Пристально и внимательно. Глаза у него ясные. Чистые глаза. Смотрит на меня. Губы сжал. Голову набок наклонил.

То ли от моего взгляда холодом смертельным веяло, то ли сообразил он, что я хороню себя сейчас. Что он про меня думал, не знаю. Но, встретившись взглядом со мной, этот матерый мужичище потускнел как-то. Хохочут все вокруг него. Хмель в счастливых головах играет, а он угрюмый сидит, в пол смотрит. Мне его даже жалко стало. Зачем я человеку своим взглядом весь вечер испортил?

Долго ли, коротко ли, встали они, к выходу идут. Тот, который самый большой, последним. У самой двери останавливается, исподлобья на меня смотрит, а потом вдруг всей тушей своей гигантской к моему столу двинулся. Грозный, как разгневанный танк. Челюсть моя так и запыла в предчувствии зубодробительного удара. Страха во мне никакого. Бей, австрияк, вечер я тебе крепко испортил. У нас за это неизменно по морде бьют. Традиция такая. Подходит. Весь свет мне исполинским своим животом загородил. Бей, австрияк! Я сопротивляться не буду. Бей, не милуй! Рука его тяжелая, пудовая на мое плечо левое легла и слегка сжала его. И по той руке вроде как человеческое участие потекло. Своей правой рукой стиснул я руку его. Сжал благодарно. В глаза ему не смотрю. Не знаю почему. Я голову над столом своим склонил. А он к выходу пошел, неуклюжий, не оборачиваясь. Чужой человек. Другой планеты существо. А ведь тоже человек. Добрый, добрее меня. Стократ добрее.

5

Что происходит со мной? Что за перемены? Что за скачки? Лучше мне. От пива, наверное. А может, от широкой мозолистой лапы, что меня по плечу потрепала, на краю пропасти удержала. Однако что же со мной было? Отчего свет белый для меня померк? Может, это было то, что слабые люди угрызениями совести называют? Нет, конечно. Нет во мне совести, не мучает она меня. И чего мучать? С какой стати? Младшего лидера я предал? Хороший он человек. Но не я его, так он бы меня на конвейер поставил. Работа у нас такая. Выдав Младшего лидера, я ГРУ от всяких случайностей оградил. За такие вещи в Центральном Комитете Кир спасибо говорит. Увезут Младшего лидера, нового пришлют. Стоит ли из-за этого расстраиваться? Если бы каждый волю своим чувствам давал, система давно бы рухнула. А так она стоит и крепнет. И сильна она тем, что избавляется немедленно от любого расслабившегося. От любого, кто своим чувствам волю дает.

Однако расслабился ли я? Несомненно. А видел ли кто меня? Возможно. Можно ли было со стороны мои переживания увидеть? Конечно. Если поза горемыки, если руки плетями, если взгляд потух, это могли обнаружить. Если австрияк понял, что плохо мне, то опытный разведчик, который мог следить за мной, и подавно понял. После эвакуации Младшего лидера Навигатор вполне мог за мной слежку поставить: как Сорок Первый себя ведет? Не расслабился ли?

Что-то случилось со мной, и на несколько часов я потерял контроль над собой. Если Навигатор об этом узнает, то ночью меня ждет эвакуация. Очередной самолет будет только через три дня. Эти дни я в фотолаборатории в темноте проведу. Но сегодня ночью меня обязательно в эту темноту уволокут. Даже обыкновенный самолет, у которого иногда приборы управления отключаются, к полетам не допускают. А разведчика и подавно. Разведчик, теряющий контроль над собой, опасен. Его убирают немедленно.

Из пивной я к своей машине бреду. Если хочешь обнаружить слежку — побольше равнодушия. Почаще под ноги смотри. Успокой следящих. Тогда их и увидишь. Ибо, успокоившись, они ошибаются. Уже много лет я, как летчик-истребитель, все в заднее стекло машины смотрю. Назад смотрю больше, чем вперед. Профессия такая. Но не сейчас. Сейчас я даю возможность тем, кто, возможно, следит за мной, успокоиться и потерять бдительность. Машина моя идет ровно. Никаких фокусов. Никаких попыток уйти в переулки.

По берегу Дуная, через мост, опять вдоль берега. Я не спешу, не делаю рывков, не стараюсь уйти куда-нибудь к железнодорожному полотну. (Хорошо проверяться у железнодорожного полотна.) Я обхожу центр города. Я иду по широким улицам в потоке машин. Хорошо для тех, кто следит. И совершенно плохо для того, кто под слежкой. От Schwedenplatz я иду в направлении Asperplatz. Но вот резко ухожу в первый переулок налево к Hauptpost и вновь резко вправо. Тут меня светофор остановит. Это я знаю. А знает ли про этот светофор тот, кто следит за мной? Если кто-то следит, то он должен выскочить следом или потерять меня. А обойти меня тут невозможно по параллельным улицам. Тут я все знаю. Я все тротуары тут истоптал.

Я под светофором. Один. Улочка узкая да извилистая. А ну-ка, кто из-за поворота выскочит? Еще секунда и будет зеленый свет. Из-за поворота вылетает серый побитый «форд». Тормозами скрипит, молод водитель. Не знал, что светофор за углом. Не думал, что я под светофором стоять могу, его поджидая. А я уже плавно трогаюсь. Зеленый свет. Его лицо очкастое я одним взглядом накрываю — в автомобильное зеркальце. Да, брат. Знаю я твою очкастую рожу. Номер на твоей машине не дипломатический. Но ты — советский дипломат. Я тебя видел в делегации по сокращению вооружений в Европе. Не думал, что ты из нашей своры. Я думал, что ты чистый. Но зачем чистому дипломату в рабочее время по городу шнырять? Зачем из-за поворота на бешеной скорости выскакивать, штрафуют же!

Теперь я не спешу. Лицо свое я равнодушием умыл. Не замечаю ничего, не реагирую ни на что. «Форд» больше не появляется. А может и появлялся, да я не пытаюсь

его обнаружить вновь. Для меня и одного раза достаточно. Мне ясно, за мной следят. Ни капли сомнения в этом.

Водитель «форда» сейчас мучается, наверное: увидел я его или нет, узнал ли? Он, конечно, успокаивает себя, что рассеянный я, что совсем назад не смотрю, что не мог я его заметить.

Интересно, сколько за мной машин Лукавый поставил следить? Ясно, что не одну. Если бы только одна машина в слежке была, то в машине, по меньшей мере, два человека сидели. Если один человек в машине, значит, машин несколько. Это каждому ясно. Слежка может завершиться только эвакуацией.

И нужно понять командование ГРУ. Если человек теряет контроль над собой после пустякового происшествия, значит, он и в будущем может потерять контроль над собой. В самый ответственный момент. А может, он в прошлом уже терял над собой контроль? Может, враждебные организации воспользовались этим?

Заберут меня сегодня ночью. И если бы я был на месте Навигатора, то поступил бы точно так же: во-первых, немедленно после случившегося поставил слежку, во-вторых, убедившись в неблагополучии,— отдал приказ об эвакуации.

Я не еду в посольство. Посольство — это наручники и укол. Я еду домой. Мне нужно подготовиться к неизбежному. И встретить удар судьбы с достоинством.

6

Дверь своей квартиры я запер изнутри, а окно чуть приоткрыл. Если мне не хватит мужества встретить их лицом к лицу, я прыгну в окно. Ниже меня — семь этажей. Хватит вполне. Путь через окно — это легкий путь, но и его я обдумываю. Это путь для малодушных. Для тех, кто боится конвейера. Если в последний момент я испугаюсь, то воспользуюсь этим путем. Недавно гордый варяг из ГРУ ушел от конвейера именно так, прямо в центре Парижа бросился из окна на камни. Другой варяг ГРУ, из Лондона, работал в очень важном обеспечении в Швейцарии. Ошибся. На конвейер не захотел. Вскрыл вены. А вот борзой майор Анатолий Филатов конвейера не побоялся. И я не побоюсь.

А вообще-то, черт его знает. Хорошо зарекаться сейчас. И все же я не пойду через окно. Я встаю и решительно его закрываю. Это не для меня. На конвейер я не пойду и через окно тоже. Когда постучат, я открою дверь и вцеплюсь кому-то в глотку зубами.

Глянул я на часы. Похолодел. Уже за полночь! Тактику Аквариума я знаю. Эвакуация обычно начинается в 4.00. Аквариум свои удары на рассвете наносит. Самое время сонное. Могут, конечно, и раньше начать, а для этого расстановку людей они должны начать еще раньше. Так что я уже, наверное, опоздал. Вполне возможно, что двое уже ждут своего часа на лестничной площадке этажом выше. Еще пара где-то у выхода. Кто-то, конечно, и в гараже. Основная группа ждет где-то рядом.

Сейчас у меня только одна возможность — осторожно выйти из квартиры, спуститься на два-три этажа вниз и только тут вызывать лифт, а лифтом прямо в подземный гараж, а из гаража выезжать не через выходные ворота, а через входные, если, конечно, их удастся открыть изнутри...

Замок я открыл неслышно.

Тихо жму на ручку двери, главное, чтоб не скрипнула. Я вздыхаю глубоко и тяну дверь на себя. Полоса света из коридора на полу моей комнаты становится все шире. Затаив дыхание, я потянул ее сильнее, а она заскрипела тихо, тоскливо и протяжно.

Моя машина на солидном расстоянии от дома. Моя машина в тени, в гуще других машин на большой стоянке. Но свой дом я вижу отчетливо. Пока ничего подозрительного вокруг не происходит. Всё спит. Все спят.

Вдруг в 3.40 во всех окнах моей квартиры вспыхнул свет. Что ж, это именно то, что я предвидел.

Я в лесу. Холодный серый рассвет. Клочья тумана. Ледяная роса. Я еще никуда не бегу. Я тут только для того, чтобы подумать. Я не люблю, когда мои мысли прерывают внезапным настойчивым стуком или звонком в дверь.

Прежде всего мне предстоит выбор: вернуться, сдаться, добровольно пойти на конвейер или... В самый последний момент, оказавшись один на один с системой, миллионы людей такой вопрос себе задавали. Мне совсем не интересно, что подумают обо мне другие сейчас и позже. Посторонние меня все равно осудят, как осудили миллионы моих предшественников. В самом деле, если люди шли под коммунистический топор, не протестуя,— то их сейчас осуждают: рабские души, не способные протестовать, туда вам и дорога. Но если люди не шли добровольно на убой, они должны были или убегать или драться. Этих тоже осуждают: изменники, предатели, пособники врага! Если я добровольно сдамся — дурак, холуй, раб. Если не сдамся — предатель.

Считайте меня, братцы, преступником, холуем не считайте. Но и преступником меня считайте не очень большим. Все, кто окружал Ленина, оказались изменниками, предателями и шпионами иностранных разведок, включая Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина и прочих. Кто же тогда Ленин? Ленин — главарь шайки изменников, шпионов и террористов. Как же назвать всех тех, кто верой и правдой Ленину служил? Кто ему сейчас поклоняется? Со Сталиным то же самое получилось. И он был окружен врагами, шпионами, развратниками, антипартийцами. И сам оказался уркой. Как же назвать всех, кто выполнял приказы этого урки? Рано или поздно все наши лидеры войдут в число предателей, волюнтаристов, проходимцев, болтунов и развратников. Убежать от них — конечно, преступление. Оставаться и выполнять их приказы?

Холодно в лесу, зябко. Не привык я долго думать. И философия — не моя область. Но на один вопрос я обязан ответить сам себе: бегу я потому, что ненавижу систему, или потому, что система наступила мне на хвост? На этот вопрос я даю самому себе совершенно четкий ответ: я ненавижу систему давно, я всегда был против нее, я готов был рисковать своей головой ради того, чтобы заменить существующую систему чем угодно, даже военной диктатурой. Но. Если бы система мне на хвост не наступила, я бы не убежал. Я бы продолжал ей служить верой и правдой и достиг бы больших результатов. Не знаю, начал бы я протестовать позже или нет, но в данный момент я просто спасаю свою шкуру.

Ответ на главный вопрос получился четким и для меня неутешительным. Надо было, Витя, раньше начинать! Надо было бежать при первой возможности. А еще лучше, встретить западную разведку и передавать ей материалы об Аквариуме, как делали Пеньковский, Константинов, Филатов. Не очень хорошо, Витя, получилось. Можно ли ситуацию исправить? Нет. Поздно. А может быть, и не поздно. Если мне удастся вырваться из Аквариума, я буду жить тихо, не рыпаясь, или я могу... Что же я могу?

Я сижу неподвижно несколько минут, а затем формулирую сам для себя вывод: я предатель и изменник. Я заслуживаю высшей меры за то, что самовольно покидаю систему. Я заслуживаю той же высшей меры за то, что не боролся против нее. Сейчас я спасаю свою шкуру, но если я вырвусь из этого переплета, я начинаю борьбу против нее, рискуя спасенной шкурой. Если мне удастся бежать, я не буду сидеть молча. Я буду упорно работать. По многу часов в день. Если мне не удастся сделать что-либо серьезное, я хотя бы напишу несколько книг. По 15 часов в день буду писать. По одной книге в год. Но это второстепенное. Кроме этого я попытаюсь нанести им настоящий серьезный урон. Я знаю как. Они меня учили — как. Я буду смелым. Я буду рисковать. И шкурой своей я не очень дорожу.

Остается последний вопрос: куда бежать? Вопрос легкий: в Британию. Британия выгнала однажды 105 советских дипломатов. Резидентуры КГБ и ГРУ в полном составе. На такое никто, кроме Британии, не отважился. Раз они свои интересы могут защищать, может, они и мои смогут защитить. 105! Статистика в пользу Британии.

Теперь нужно решить, как связаться с правительством Великобритании. Путь один — через представителей этого правительства. Чем меньше бюрократических ступеней, тем решение будет принято быстрее. Но к послу меня не пустят. Итак, я иду к любому высокопоставленному английскому дипломату. У британского, американского, французского посольств меня наверняка ждут ребята из Аквариума. Значит, надо идти в частный дом. Лукавый, конечно, и это предусмотрел, но контролировать подходы к домам всех западных дипломатов высокого ранга он не сможет. Кроме того, я пойду пешком, спрятав машину в лесу.

7

Дом у английского дипломата большой, белый с колоннами. Дорожки мелкими камешками усыпаны. Сад роскошный. Я не брит. Я в черной кожаной куртке. Я без машины. Я совсем не похож на дипломата. А вообще-то я уже и не дипломат. Я больше не представляю своей страны. Наоборот, моя страна сейчас ищет меня везде, где только возможно.

В доме английского дипломата все не так, как в обычных домах. У него звонка нет. Вместо звонка на двери — блестящая бронзовая лисья мордочка. Этой мордочкой нужно об дверь стучать. Мне очень важно, чтобы появился хозяин, а не кто-то из его слуг. Мне везет. Сегодня суббота, он не на работе и слуг его в доме тоже нет.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Я протягиваю свой дипломатический паспорт. Он полистал его и вернул мне.

— Заходите.

— У меня послание к правительству Ее Величества.

— В посольство, пожалуйста.

— Я не могу в посольство. Я передаю это письмо через вас.

— Я его не принимаю.— Он встал и открыл дверь передо мной.— Я не шпион, и в эти шпионские трюки меня, пожалуйста, не ввязывайте.

— Это не шпионаж... больше. Это письмо правительству Ее Величества. Вы можете его принять или нет, но сейчас я буду звонить в британское посольство и скажу, что письмо правительству находится у вас... Я оставлю его тут, а вы делайте с ним, что хотите.

Он смотрит на меня взглядом, в котором нет ничего для меня хорошего.

— Давайте ваше письмо.

— Дайте мне конверт, пожалуйста.

— У вас даже нет конверта,— возмущается он.

— К сожалению...

Он кладет передо мной пачку бумаги, конверты, ручку. Бумагу я отодвигаю в сторону, из кармана достаю пачку карточек с названиями и адресами кафе и ресторанов. Каждый шпион всегда имеет в запасе десятка два таких карточек. Чтобы не объяснять новому другу место встречи, проще дать ему карточку: я приглашаю вас сюда.

Я быстро просматриваю все. Выбираю одну. И несколько секунд думаю над тем, что же написать. Потом беру ручку и пишу три буквы: GRU. Карточку вкладываю в конверт. Конверт заклеиваю. Пишу адресата — «Правительству Ее Величества». На конверте ставлю свою персональную печать «173-В-41».

— Это все?

— Все. До свидания.

Я снова в лесу. Вот моя машина. Я гоню ее дальше и дальше. Теперь встреча с местной полицией тоже может быть опасной. Советское посольство могло сообщить в полицию, что один советский дипломат сошел с ума и носится по стране. Могут сообщить в Интерпол, что я украл миллион и убежал. Могут заявить протест правительству, сказать, что власти Австрии меня захватили силой и что меня нужно немедленно вернуть — иначе... Они умеют делать громкие заявления. Теперь мне нужна телефонная связь с британским посольством. Я должен объяснить ситуацию, пока какой-нибудь деревенский полицейский пост не остановил меня и не вызвал советского консула. Тогда будет поздно объяснять что-нибудь. Тогда после первой встречи с консулом у меня вдруг пойдет обильная слюна, я начну смеяться или плакать и за мной пришлют специальный самолет. Пока слюна еще не пошла, я буду пытаться... Укромные телефоны у меня на примете есть.

— Алло, британское посольство, я направил послание... Я знаю, что меня не соединят с послом, но мне нужен кто-то ответственный... Мне не надо его имя, вы сами там решайте... Я направил послание...

Наконец они кого-то нашли.

— Слушаю... кто говорит?

— Я направил послание. Тот, с кем я его направил, знает мое имя...

— Правда?

— Да. Спросите его.

Трубка молчит некоторое время. Потом оживает.

— Вы представляете свою страну?

— Нет. Я представляю только себя.

Трубка снова молчит.

— Чего же вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы сейчас вскрыли пакет и послание передали британскому правительству.

Трубка молчит. В трубке какое-то сопение.

— Я не могу вскрыть конверт, так как он адресован не мне, а правительству...

— Пожалуйста, вскройте пакет. Это я его подписывал. Я так подписал, чтобы его содержание не стало известно многим. Но вам я даю право его вскрыть...

Далеко в телефонных глубинах какое-то шептание.

— Это очень странное послание. Тут какой-то ресторан...

— Да не это... Посмотрите на обороте...

— Но и тут странное послание. Тут только какие-то буквы.

— Вот их и передайте...

— Вы с ума сошли. Послание из трех букв не может быть важным.

— Это будет решать правительство Ее Величества: важное послание или нет...

Трубка молчит. Какое-то потрескивание, не то шипение... Потом она оживает:

— Я нашел компромисс. Я не буду посылать радиосообщение, я перешлю ваше сообщение дипломатической почтой! — в его голосе радость школьника, который решил трудную задачу.

— Черт побери вас с вашими британскими компромиссами. Сообщение может быть важное или нет, не мне решать, но оно срочное. Через час, а может быть и раньше

будет уже слишком поздно. Но знайте, что я настойчивый, и если начал дело, то его не брошу. Я буду вам звонить еще. Через пятнадцать минут. Пожалуйста, покажите послу мое послание.

— Посла сегодня нет.

— Тогда покажите его кому угодно. Своей секретарше, к примеру. Может, она газеты читает. Может, она подскажет вам решение...

Я бросаю трубку.

Я меняю место. Я обхожу деревни. Я обхожу людей. Во мне звучит жутким ритмом страшная песня «Охота на волков». Совсем недавно я чувствовал себя затравленным зверем, но силы вернулись ко мне. Мертвой хваткой я вцепился в рулевое колесо, как летчик-смертник в штурвал своего самолета. Живым они меня не возьмут. Ах, расшибу любого, кто поперек пути встанет. А на крайний случай у меня отвертка огромная в запасе. Эх, кому-то я ее в горло всажу по самую рукоятку. Жизнь продаю! Подходи, налетай! Но дорого уступлю!

Звоню в британское посольство. Попытка вторая и последняя. Я редко кого дважды просил. А трижды никогда. И никогда впредь. Впрочем, немного мне осталось...

Я обещал позвонить через пятнадцать минут. Но вышло только через сорок три: у намеченного мной телефона людно было.

— Британское посольство?

— Да.— Но изменилось решительно все. Короткий ответ звучит резко и четко, как военная команда. Знакомый мужской голос:

— У вас все хорошо? Мы волновались. Вы так долго не звонили...

— Мое послание...

— Мы передали ваше послание в Лондон. Это очень важное сообщение. Мы уже получили ответ. Вас ждут. Вы готовы?

— Да.

— Адрес на карточке — это место, где вас надо встретить?

— Да.

— На карточке не указано время. Это означает, что вас надо встретить как можно быстрее?

— Да.

— Мы так и думали. Наши официальные представители уже там.

— Спасибо.— Это слово я почему-то произнес по-русски. Не знаю, понял ли он меня.

Александр КУШНЕР



Вдруг показалось на миг, что возможен, возможен роман.
Ведь ни Набоков, ни Пруст про советскую жизнь не писали.
Скомканный план.
Тем беззаветней любовь, чем в ней больше печали.
Сели на стулья, потом перешли на диван.

И никогда, никогда не уехать в Париж.
Ночью на пляже в Пицунде бредешь вдоль кипящей границы
Или сидишь
С тем, кого любишь, уступчивой, розоволицей.
Впрочем, румянец почувствуешь — не разглидишь.

Вдруг показалось на миг, что возможен сюжет.
Лозунги были смешны и доклады тоскливы.
Иммунитет
Образовался, да здравствуют паллиативы:
Чтенье, прогулки, стихи, разговоры, заезжий квартет.

Жаль на борьбу
Жизнь загубить с ней самой, простоватой и плоской.
Кто подарил нам такую страну и судьбу,
Всех причесавшую частой железной расческой?
Как я люблю твою жесткую прядку на лбу!

Где разводились еще так ужасно, как здесь?
Где целовались еще так печально и жадно?
Ночь, занавесь
Наши тела и дела, ты бессмертна, громадна.
Думал: умру, оказалось: умру я не весь.

В партию мы не вступили, свободная мысль —
Частная мысль, не научный доклад, не газета.
Нас привлекали, но мы не дались:
С нами — про то, мы как будто глухие — про это,
Спросят: как выжили? Скажем: любовью спаслись.

Пусть беллетрист,
С темой не справившись, дней промотает остаток.
Рифму в чужом языке позаимствуем: triste.
О, как печален роман ненаписанный, сладок!
Но и стихи ничего, под конец удались.



Ах, какие были вина:
«Ахашени», «Салхино»,
«Алазанская долина»,—
Где она и где оно?

«Тилиани», «Цинандали»...
По нарядным ярлыкам
Мы грузинский изучали —
Он легко давался нам.

Нас судьба тогда любила.
Растворялся он в крови.
Было что-то, что-то было
В этой дружбе и любви.

В этом шрифте виноградном,
В этом горном далеке,
Каменистом и прохладном,
В этой девичьей руке.

Радость с козьими глазами,
Невский ветер и подвал,
И, конечно, «Мукузани»
Я другим предпочитал.

Обольщало, обещало...
Но в разладе мы и врозь,
Жизнь споткнулась, вин не стало.
Все же кое-что сбылось!

✦✦✦

Понимать — это значит прощать, как сказала одна мадам
В восемнадцатом веке, на радость себе и нам,
До сих пор это помнящим и благодарным ей
За душевную тонкость и психологизм. Цепей
Было снято немало с тех пор и надето вновь.
Революция — благо, но лучше всего — любовь!
Это твердо усвоили мы в нашем веке. Жаль,
Что немецкий философ поправил мадам, на сталь
Ориентируясь крупповскую и стальную рать
И, безумец, сказал: Понимать — значит презирать.
А во что нам поправочка страшная обошлась,
Мы стремимся забыть, в одно кресло вдвоем садясь.
В старом кресле вдвоем; в тесноте — не в обиде; жгуч
Поцелуй; что такое презренье — не знаю; луч
Прозорлив и приветлив; людей презирает сноб,
Не прощая им слабостей; хочется скрыть озноб;
И решительней всех понимает людей палач,
Презирая надежду, любовь, состраданье, плач.



Провозвестница новых стихов,— загляделись, заслушались мы:
На три с лишним хватило бы зада затянутой в джинсы кормы.

С простоватым славянским лицом. Как схватила она табурет,
Как им трахнула об пол,— так вот кто здесь, точно, поэт!

Вырыванье страницы из книги есть творческий акт,
А еще можно сжечь, можно смять ее, съесть ее,— факт

Убедительный,— можно бумажных нарезать полос.
Визуальную лирику нюхают, гладят, целуют взасос.

И порвала, порвала, свой сборник порвала в клочки,
Не задумавшись, вдруг,— так что вздрогнули мы, новички.

«Так же думают в Мексике! Только еще горячей».
В Ейске будет поставлен когда-нибудь памятник ей.

Устарел авангард, позабыт и отброшен модерн.
Пишет письма Гофмайер, открытки ей шлет Моргенштерн.

Мы опять радикальнее, революционнее всех!
В Ейске гладят стихи против шерсти, как беличий мех.

«Слово лишнее как таковое»,— пылающий взор...
Ты, небось, не взойдешь, как она, за стихи — на костер!

✦✦✦

Вставанием усопшего почтили.
Не правда ли, какой-то конный способ?
И если б луч прорвался в зал, то пыли
Увидели бы облако... Вопросов
Нет. Стук сиденьев твердых, деревянных.
Побывших в вертикальном положенье.
И все? И все. Каких участник странных
Ты взрослых игр, умершим в утешенье!
Не говорили целую минуту.
Можно сказать, пожертвовали ею.
Теперь опять я вслушиваться буду
Во что? Не все равно ли? В ахинею.
Лишь бы не думать. Пусть на рассмотренье
Предложат список для голосованья.
И то сказать, мы больше чем мгновенье
Стояли молча, странные созданья.

Александр
СОЛЖЕНИЦЫН

МАРТ СЕМНАДЦАТОГО

(23 февраля — 18 марта)

202

— А что, проголодал?

— Нет, ты, рябой, погоди, ты сюда послушай! Сколько мы серую шинелку носим, да и ране,— когда нам такой почёт бывал, чтоб собраться, вот, во палаты — и тут бы мы...? Второй день так живём, не нахвалимся, на ученье — не надо... Только бы нам питанию наладить, питании нет. Пусть эти тут, чем речи держать, учредят кормёжку всех солдат!

— Ишь ты умный какой, кормёжку! Откуда тебе рабочие питанию возьмут?

— Так забрать, где есть!

— На складах и есть. У богатеев. Где-то есть провизия, куды ей деться? От нас прячуть.

— Вот и говорю: забрать! Выбрать таку Комиссию: шла бы, забирала подчистую.

— Чего Комиссию? А мы сами — безрукие, чо ль? Чем на етом Совете топтаться зазря — разойтись по улицам. И штыками прочёсывать. И забирать!

Уже который час нагнетался и нагнетался народ сюда, в большую комнату, где объявили *Совет*. И даже мало с мороза пришли, а сухонькие, тёпленькие, видать здесь и ночевали. В казармы идти боязно, а тут попоили барышни чаем и хлебу прикладали с колбасой,— а теперь чего будет, поглядеть. У дверей задерживали, требовали какой-ни-то бумаги иль хоть на словах бы доказал — от какой части, от какого завода. Одни и доказывали, а другие напирали и проходили гуртом, солдаты многие, кто и с винтовками, как из казармы ушёл вчера, а куда её денешь?

А в серёдке поначалу было вольготно, и даже зады рассаживали по стульям, по скамьям, а головка образованных из соседнего чуланчика, кому и грамота в руки,— та сидела за столом. Но и — пёрли, но и — пёрли новые и новые всё сюда,— и уже столько набралось народу стоячего, что сидеть стало невмоготу: ничего не видать, половины не слыхать, всё застали, да спинами в рожу давят,— так стали из сидки приподыматься. И — ещё стало тесней, так что все колена об те стулья пообдавливали, да переломать их к чертям или повыкидывать! Или вот что, кто поумней: на стул же тот и громоздись — во хорошо-то! во видать отсюда, хоть вперёд, хоть назад, хоть речь изрыгай, а хоть просто вылупляйся, диковинное сборище!

И на головку напирали, напирали — уже их в стену втиснули, ничего им не видать, и полезли они тоже на свой стол стоймя. И теперь уж их ни с какого стула не перевысить.

А внизу, в сжатьи, и папаху не везде сымешь, да и держать её несручно, так уж пусть голову парит. Зато — разбеседование, вот что! Где тесно, там солдату и место. За вчера, за сегодня тут на переходах перезнакомились из разных батальонов. И тут, кто по соседству оказался,— тоже беседа. С соседом поговорить — душе тепло.

— Такие девки хожалые, строганые ляжки, там уж и шерхебелем и рубанком пройдено...

— Да питерские девки на нас, грязнопятых, рази смотрят?

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 6, 7.

А со стола, руками размахивая, какой-то в кожаной куртке, из автомобильной команды:

— Товарищи солдаты! Вы заслоняете светлый горизонт революции такими несерьёзными рассуждениями! Сколько мы боролись с кровавым царизмом — об этом надо говорить! В девятьсот пятом году и в девятьсот шестом. И сегодня ещё идёт грозной тучей палач генерал Иванов, душить нашу свободу. И нам надо мобилизоваться и организоваться. А мы что делаем? А мы только в воздух пуляем.

— То не мы, то ребятишки.

— А кто их приносит, патроны? А кто их в костры?

— Да хва-атит тебе патронов! У нас этих патронов цейхауз полный. Это раньше их по счёту выдавали, а теперь — бери, своя рука.

А то на стол взлезал рыжебородый, здоровый как мясник. И читал по бумажке иль на память говорил, за что надо голосовать. Голосовать — значит пустую руку подымать, поднял, опустил, не тягота, это мы можем. Тоже как своя присяга тут. Отменить полицию — хорошо. Захватить все места, где деньги делают или хоронят,— лады. Трамваев не пускать — не надо, мы и так пешком ходим. Поголосовали, поголосовали — скончили.

А так-то подумать: что, эти учёные, умней нас, что ли? Просто — грамота, наторели. А наша доля — для их сторонняя. И слова у них какие-то-сь, нашему уху не милые.

— Вот только бы, братцы, брюхо набить — а то ведь ноне на свободе и заживём же мы, а?

Фуражки, папахи мохнатые, чёрные бескозырки с жёлтыми кругами выпушек, и безо всего открытые стриженые головы, у кого выгляд разомлевший, у кого пристигнутый, а тут и вольные в чёрной одёжке, они-то нас попривычнее, вот так сбираться да судачить, они нас и переговаривают:

— Товарищи солдаты! Вам ли пояснять, что победа народа должна охороняться! Враги революции готовят нам ужасное кровопролитие, а мы не видим ваших стройных революционных рядов.

Лево-руционных... И чтой эт'они все на левую руку больше налегают?

— Надо сокрушить гидру реакции — а что мы для этого делаем?

Но уже языки расплелись, ему и отзыв сразу:

— Погоди, я тебе расскажу. Значит, в нашей казарме...

Но у кого чего в нашей казарме — на это охотников со всех сторон, заслушаться. Как во всех батальонах побываешь, зараз. В пять голосов сразу.

А кто — и просто расповедать хочет, до чего теперь все стали радые да лёгкие. Уйтить отсюда не под силу, только брюхо подвело.

Тому, вольному:

— Эй, слышь! Животами слободу отстоять — мы могём. Да гуще бы подкармливали.

Тут — услышали все, и кричавшие и молчавшие: очередь пулемётная! Да близко! рядом!

И ещё — очередь!

Вот тут же рядом где-то со дворцом!

И — как ударило по народу! пулемёт!! — он не шутит!! Он — знает, чего говорит!

А их тут, в тесноте, хоть всех перебей, с одного пулемёту.

Затискались, заорали. То ль по нам стреляют, то ль от нас, но всё равно — бой!!

А винтовки-то наши иные — и без патронов. А кто-то и в коридоре посоставлял.

И — задёргались к выходу, тиснулись —

— Да тише-то штыком, чёрт, не коли! —

как через дверь распахнутую кто-то крикни:

— Казаки!

Ай, сердечко моё разнесчастное, попался под резак, сейчас нам тут всем головы и порубят!

И уж чего дальше творилось, никто не разбирал, а только куда глаза его ещё глядели: у одних и дверь, у других в стену, у третьих в пол, да и притиснувшись, а сверху топчут, а у тех — в окна: окна-то в сад, казаки-то с улицы в сад небось не заскачут?

И зазвенели стёкла! Уже и сюда бьют, мамочки!?

Ин это наши, прикладом стекло дробанули — а режет, не выскочишь — так ещё прикладом? — да и выскакивать на снег, а там дальше бегом?

Первые-то минуты тяжельше всего было, потом поразредилось. Но кто в залу выскочил — там тоже во все стороны давятся, куды выскакивать?

И наверно, все кричали, но ничьих голосов не слышали. Может кто и уговаривал, что пустое,— но после тех *Казаков!*

И пулемётных очередей ещё несколько было.

А наши, в ответ, вроде никто не стрелял.

Так оно, мал-по-малу, и утихло.

Утихло, осмотрелись: казаки не скачут, из пулемётов не секут.

Стали ворочаться — кто снаружи внутрь, через окна дроблёные, кто и опять на Совет: где ж и поговорить?

Головка тоже разбежамшись. Собиралась теперь.

203

После прихода Гучкова понял Масловский, что его время в Военной комиссии подходит к концу, а этот лицемерный Ободовский, забыв своё революционное прошлое, готов услуживать цензовым кругам. Большое упущение было для Совета терять свои позиции в штабе революции, важнейшем плацдарме управления и власти. И прав был прошлой ночью Соколов, когда не пускал сюда Энгельгардта,— но не хватило у Совета своих военных кадров, и слишком заняты были собственной организацией.

Теперь, может быть последние бесконтрольные часы здесь, надо было успеть сделать как можно больше важных распоряжений. И Филипповский, так и не свалясь за сутки, подписывал на бланке Товарища Председателя Государственной Думы (надо было такой блокнотик и утянуть) распоряжение за распоряжением, почти каждые пять минут.

Оказалось, что винтовки, свезенные в Государственную Думу,— кончились, и надо было привезти ещё откуда-то хоть полтысячи, так быстро они расходовались. И при снаряжении команд многие добровольцы вызывались идти без винтовок. И надо было в здание Думы привезти побольше револьверных патронов. (И как-то надо бы отделять особые запасы Совета.) Затем надо было овладеть запасным броневым дивизионом, откуда все офицеры разбежались,— к счастью, нашёлся такой капитан Халиль-Беков, который брался водворить там порядок. Один из братьев Шиманских, студентов, уже успешно арестовал Штюрмера утром, теперь другого брата Шиманского послали наводить порядок в Гвардейское экономическое общество, где грабили солдатские банды.

Теперь надо было вскрыть контрреволюционный нарыв в Павловском училище. И лейтенант Филипповский, выписывая потщательнее буквы, особенно заглавные, которые тут были почти кряду и в том весь смысл, написал всё на том же важном думском бланке распоряжение генералу Вальбергу:

„Начальнику Павловского училища. Именем Временного Комитета Государственной Думы сдать вверенное Вам училище в распоряжение Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы и ожидать дальнейших распоряжений Военной Комиссии, для чего явиться в означенную Комиссию".

Распоряжение послали в двух экземплярах (на одном расписаться и вернуть) с бойким прапорщиком и лихими солдатами на двух мотоциклетах. Филипповский не рассчитывал, что генерал явится, лишь бы без боя сдал училище.

И продолжал собирать над бланками лоб, где ещё что взять или охранить, или поданить. В комнате Военной Комиссии, несмотря на охрану в коридоре, была обычная толчея, всё время неруководимые, неизвестно с чем и зачем пришедшие люди, — и появился Керенский, тоже кого-то куда то потребовать, взять, послать.

И в этот момент совсем близко ко дворцу, но с другой стороны здания, раздалась отчётливая гулкая пулемётная очередь! И ещё одна! И ещё!

Пулемётный звук не требует разъяснения, особенно военным людям! Кто-то прорвался, и бой идёт у самых стен Думы!

Все заметались! Все вдруг оказались не в твердыне штаба, но без оружия и в ловушке, откуда не так просто выскочить.

Окна Военной комиссии выходили в сквер — и там, в неразберихе автомобилей, мотоциклов, пушек, лошадей, людей,— возникла сумятица, всё завертелось водоворотом, куда-то хотело выскочить или выехать, автомобили заводились, не заводились, расталкивали и отпихивали друг друга, кричали — и только стрельбы не было, и видно было по скверу, что сами они противника не видят.

Даже из сквера нельзя было выбраться, а отсюда пробиваться ещё до сквера через коридор, через вестибюль — невозможно! Через каких-нибудь пять минут сюда могла ворваться расплата, ружья на изготовку — и застигнуты, арестованы, потом и петля!

Безумно затосковал и заметался Масловский — ведь уже 40 лет, и совсем не военный... Всё ясно! — протопоповские пулемётчики сошли с крыш и пошли в атаку. Теперь тут верная гибель! — или захватят в плен — и на каторгу. Ах, как ему не хотелось вчера сюда! и жена отговаривала, а Капелинский застиг! И как его тянуло под утро исчезнуть на свою квартиру — но удержало ложное чувство революционного стыда.

Из этих неназванных офицеров, которые тут толпились,— кто стал выталкиваться из комнаты.

А пулемётная очередь — снова! и снова ещё одна! — невероятно близко, просто вот тут же, под самыми стенами дворца!

И не известно, чем бы кончилось всё тут, в Военной комиссии, если бы среди них не было Керенского.

Но он был — тут! И все те же опасения, и все те же мысли, но только с ещё большей быстротой, решительностью и ответственностью за всю судьбу революции, а не только за себя, пронеслись и в его голове — и он тут же принял решение, а верней — исполнил его, потому что у него исполнение всегда было быстрей самого решения: Керенский взлетел от пола, как на невидимых крыльях, и вот уже стоял на подоконнике, одной рукой держась за ручку шпингалета, другою распахнув форточку, вникшись в обрез её рамки, а узкую прямоугольную голову свою — втискивая туда, туда, в саму форточку, она вполне входила.

И глядя на водовертное безумие сквера — он кричал туда в форточку своим голосом, таким прославленно звонким, резким на трибуне — а сейчас несколько осипшим:

— Все — по местам! Все — по боевым постам!.. Защищайте Государственную Думу!.. Это говорит вам — Керенский! Государственную Думу — расстреливают!!!

Этот ужасный исторический рок, трагический конец новой революции кошмарно предстал перед побледневшей Военной комиссией. Таврический дворец уже тонул в крови!

— Государственную Думу — расстреливают!!!.. Это говорю вам я, Керенский!.. Защищайте вашу молодую свободу! Защищайте революцию! Все по местам! Оружие к бою!..

Но — неизвестны были каждому свои места, и оружие не у каждого, и не каждый знал, как с ним обращаться. Да и той суматошной панике, криках, мате, фырчаньи и рёве вообще никто не слышал и не заметил, что какой-то человек кричал из какой-то форточки.

Но здесь в комнате все слышали — и на военных смелость Керенского произвела неадекватное впечатление. Кто-то нетактично заметил, что эта команда через форточку могла произвести эффект, обратный мобилизации. Керенский, уже спорхнувший с подоконника на середину комнаты, убравши крылья и лопатки, взглянул на дерзкого осиятельно гневно, ещё не вполне вернувшись от своего взлёта к простому хождению, и закричал с пронзительными нотками:

— Я прошу — не делать мне замечаний!.. Я прошу каждого выполнять свои обязанности — и не вмешиваться в мои распоряжения!

Если бы то был реальный налёт на Таврический — пулемётной команды, пехотной полуроты или четверти казачьей сотни — не известно, как пошли бы мировые события и многие ли спаслись бы из-под революционных руин. Но больше не раздалось пулемётных выстрелов, и никаких других, и ни казачьего гиканья — и постепенно стало успокаиваться в сквере, и в Екатерининском зале, и в коридорах, и в самой комнате Военной комиссии — а Александр Фёдорович получил беспрепятственную возможность унестись дальше по своим делам.

А причина стрельбы скоро выяснилась: какая-то революционная команда в Таврическом саду проверяла, насколько хорошо бьют доставшиеся ей пулемёты. А казаков — и вовсе никаких не было.

Хотя скоро уже почти сутки Военная комиссия непрерывно совершала только самые необходимые дела и распоряжения — теперь тут должны были признать, что все принятые меры совершенно неудовлетворительны и вот Таврический дворец никак не готов к обороне.

Не была готова и вся столица: все эти полки, притекающие из окрестностей приветствовать Петроград во славу революции,— куда-то сразу же после приветствий растекались, терялись, им всем нужно было только где-то питаться и спать, а на защиту революции этот поток не добавлял ни одного взвода.

Филипповский схватился и написал приказ:

„Командиру 9 запасного кавалерийского полка.

Н е м е д л е н н о привести возможно большее число эскадронов в полном боевом вооружении и пулемётную команду — для охраны Таврического дворца, при надлежащем количестве офицеров.

Председатель Военной комиссии".

Сам просился командовать — пусть теперь отрабатывает.

Даже если он весь кавалерийский полк приведёт — это никак не будет много для защиты Таврического.

Советская и буржуазная часть Военной комиссии дружно искали ещё резервов.

„Подпоручику Постригалову,— писал Энгельгардт,— организовать охрану Государственной Думы, выслать патрули".

А Ржевский хлопотал: куда же подевался преданный Думе Преображенский батальон? вот недавно утром приходил приветствовать — а батальона нет, и ни одной операции совершить он не может. И писалось срочное приказание:

„Прапорщику Синани с двумя автомобилями — ехать на Миллионную № 33 в казарму Преображенского полка, и привести с собой всех офицеров этого полка",—

с их полковником Аргутинским, хоть и насильно. Полезли обещать, так пусть же служат. И разобраться: почему они не приходили с солдатами? И что там у них в полку делается?

Впрочем, вся эта паника в Таврическом показала и другое: насколько же у царского правительства не осталось никаких сил.

204

* * *

На главном шпиле Петропавловской крепости поднялся красный флаг. Все смотрят, радуются, передают, кто не видел. Воодушевление! Главная твердыня царизма!

Раскидистый каменный крепостной многогранник над Невой пытал умы: сколько же обречённых политических узников томится там? Толпа возбуждалась перед воротами, требовала выдать арестованных. Наконец впустили депутатов-понятых осматривать камеры. И те убедились, что все бастионы-равелины пусты. Вышли к толпе, покричали „ура", стали расходиться.

* * *

После ухода правительственных войск из Адмиралтейства его постепенно затоплял сброд. Стали грабить морской генеральный штаб и мастерские. Новая забота для морского министра Григоровича: стал просить у Родзянки караул для охраны.

* * *

На воротах и решётках Зимнего дворца орлы и вензеля кое-где завешивают кусками красной материи.

А по городу взяли новую манеру: рвут трёхцветные флаги.

* * *

Громили дом графа Фредерикса на Почтамтской, толпа бушевала внутри, со второго и третьего этажа выбрасывали в окна и с балкона мебель, убранство. Большой рояль с тяжёлым звоном разбился о мостовую. Потом подожгли, и большая толпа не давала пожарным тушить, а только отбивать соседние дома, чтоб не загорелись. (Рядом был и почтамт, с новой телеграфной аппаратурой.)

Графиня Фредерикс впала в паралич, хотели поместить её в английский госпиталь, но было отказано. Очевидно, английский посол Бьюкенен не хотел делать демонстративного шага в пользу старого режима.

* * *

Мимо Летнего сада брёл, одетый в штатское, один из эфиопов, бывало охранявший в золотом наряде и в тюрбане вход в кабинет императора. Вид у него был жалкий.

* * *

Одного прохожего арестовали за то, что у него толстая рожа (городовой?). Другого — что слишком быстро шёл по улице (хочет скрыться?).

* * *

По Театральной площади две образины тянули маленькие санки, и к ним привязанный труп городового на спине. Из встречных останавливались и со смехом спрашивали, как „фараон" был убит. А двое мальчишек лет по 14 бежали сзади и старались всадить убитому папиросу в рот.

Трупы убитых городовых сбрасывали и в помойные ямы.

* * *

На Николаевском вокзале напирала, напирала солдатня на буфет, требуя закусок. Потом вломились, разогнали поваров, что можно — съели, перебили все тарелки до последней, а столовое серебро и бельё унесли. Говорили: в Думу.

Приходят поезда — на перроне солдаты не дают носильщикам работать, вместо них таскают вещи пассажирам, зарабатывают. И какие-то типы тоже таскают, иногда исчезая вместе с багажом.

* * *

Ораниенбаумские пулемётные полки входили в город через Нарвскую заставу несколько часов, полдня, так растянулись. Чтобы пулемёты не замёрзли — несли их обмотанными войлоком. Ленты с патронами,— крест на крест, крест на крест поверх шинелей. И воротники шинелей, усы и бороды обелились от путевого дыхания.

А вошли — как же пулемёты в дело не пустить? — да вот, говорят, городовые с крыши стреляют. Постреляли у Нарвских ворот.

У Путиловского завода — встреча с рабочими. Объяснили пулемётчикам, что надо в Думу идти. Но туда ещё путь долгий, и устали, и надо же всех своих дождаться.

* * *

Образованные петербуржане — как в возбуждённом бреду, в сомнениях, страхах, радостной решимости. Целый день кто-нибудь сидит у телефона и собирает телефонные слухи. (Вот, говорят, Михаил Александрович в Петрограде. Вот, говорят, и Николай Николаевич приехал.)

А домашней прислуге, если не стара, больше всего беготни: побежит по улицам, что-нибудь высмотрит, узнает, прибежит господам расскажет и опять убежит. Да почти у всех ворот кучки-клубы.

Постоянно поддерживается самовар в окружении снеди — для приходящих знакомых и полузнакомых. Разговоры сладкие: переворот — самый респектабельный, Государственная Дума дала своё имя. Теперь у нас, очевидно, будет монархия английского типа. Уж раз Дума взяла власть, то всё пойдёт гладко, и война скоро кончится.

Впрочем — где он, царь? И войска его ведь идут на Петроград?

Против Думы? — не посмеют.

А если сменится царь — деньги в банках не пропадут?

* * *

Уже после „Известий Совета Рабочих Депутатов" и малочисленней их появилась и как бы настоящая газетка — просто „Известия" комитета петроградских журналистов. Тут — новости: перерыв Думы, письма Родзянки царю, взятие Арсенала, „Крестов", разгром охранки, арест Щегловитова, создание думского комитета — да всё уже и так известное.

А вот про царские войска, идущие на Петроград, нигде не напечатано — а только слухи, слухи.

* * *

А на улицах во многих местах — марсельеза! И оркестры играют, и хором поют — и всё это изуродованно, неумело,— но снова, снова, всё шире и без конца.

И в этой марсельезе — ощущение стихийного, бесповоротного сдвига.

Стали вывешивать красное и на воротах домов.

* * *

Резкий долгий рожок, чтобы все разбежались. Длинный синий роскошный автомобиль с золотыми императорскими орлами на дверцах, с красным флагом у руля, весь наполнен вооружёнными матросами. Кричат, машут.

* * *

С середины дня уже не осталось никакого „противника", никаких военных действий. Не осталось и „неприсоединившихся" частей — все до мелких теперь присоединились: шли к Таврическому дворцу или слали депутации.

Но и возрастал громёж магазинов и складов.

* * *

Стройно идущая с барабанным боем часть — вдруг рассыпается от случайного выстрела сзади.

Солдаты без офицеров!.. (Офицеры — по квартирам.)

* * *

Революционные солдаты — многие без поясных ремней, в расстёгнутых шинелях. Лица радостные, но и растерянные. Как украшенье на многих — пулемётные ленты: вкось через плечо, и по поясу, и просто в руках носят, безо всяких пулемётов.

Вот солдат с ружьём на ремне, а к дулу привязаны две искусственных белых розы (вынес из чайной). Вот студент ведёт за собой сквозь густоту тротуара десяток солдат — какая-то ясная у них цель, дружно идут. Вот солдат трясёт револьвером над головой и выкрикивает угрозы. Вот юноша лет 17 несёт над головой, гордо трясёт, всем показывает — обнажённую офицерскую шашку с георгиевским темляком (отняли у георгиевского кавалера).

У одного из волынцев на штыке болтается трофей — разодранный жандармский мундир. Кричит во весь голос:

— Конец фараонам! Довольно нацарствовали!

* * *

По Лиговке к Знаменской площади валит толпа — много солдат, чёрных штатских, мальчишек — сопровождают захваченного высокого жандарма в форме. И ещё, и ещё со всех сторон к толпе лезут, останавливают. Крики.

Позади жандарма подымается винтовка прикладом вверх и медленно тяжело опускается ему на голову. Шапка с жандарма слетает. И второй раз отмахивается та же винтовка — и опускается второй раз, по голой голове. В кровь. Жандарм оглядывается, что-то говорит и крестится. Его бьют ещё в несколько рук, он падает.

* * *

В правление Путиловского завода ворвалась куча вооружённых: „Выдайте кассу!" Отказ. Схватили военного директора завода генерал-майора Дубницкого: „Едем в Думу!" Его помощник генерал Борделиус: „Я вас не оставлю, вместе служили..." От Нарвской заставы генералов высадили: „Нечего кровопийц возить!" Погнали штыками до Балтийского вокзала, избивая,— и утопили под лёд Обводного канала.

* * *

У Николаевского вокзала — два бронированных автомобиля с пулемётами и несколько пеших воинских отрядов. Вдруг из одной гостиницы револьверный выстрел — и вмиг опустела едва не вся площадь: и толпа разбежалась, и солдаты, или полегли. Второго выстрела нет — и солдаты в беспорядке, покинув свою позицию, бросились обыскивать гостиницу.

Затем винтовочный выстрел с другого конца площади — и вся солдатская масса бросается туда, наудачу обстреливая заподозренный дом.

* * *

На многих улицах предупреждают: „Дальше не идите, там стрельба!"

На углу Невского и Морской вдруг вся публика шарахается и разбегается. Говорят: „Там спрятались!"

* * *

Это называется — *снимать фараонов*. По заподозренному дому бьют из пистолетов, из винтовок, из пулемётов, лупят и в стены, и выбивая стёкла. С охотой и весельем бьют сразу из ста ружей. (И с охотой позируют потом для фотографа: солдаты в папахах, солдаты в фуражках, автомобилист с очками, поднятыми на козырёк, и штатский в мягкой шляпе.)

А с кем там перестрелка? Лезут по лестницам на обыск, по пути проверяя и все квартиры: не прячутся офицеры? а может где оружие? (Или часы, или портсигар.) Взбираются на крыши, ещё оттуда руками машут, по карнизам ходят — и только *фараона* никто нигде ни разу не снял и не нашёл. До того неуловимые.

Говорили: в каком доме найдут пулемёт — будут тот дом сжигать.

* * *

Выводят из подъезда арестованного генерала — присутствующие солдаты по привычке отдают ему честь.

Автомобиль, везущий его арестованным, по улицам встречают радостными криками.

А при входе в Таврический уже и в спину толкает генерала кто-то.

* * *

Министра Барка арестовал собственный лакей и глумился над ним.

Член Государственного Совета Кауфман-Туркестантский был задержан молодёжью на улице и приведен в Думу как „фараон".

* * *

В здании Думы группа гимназистов под начальством студента-политехника М. присваивала себе личные вещи и деньги приводимых чинов полиции (как потом жаловались арестованные).

* * *

Уличный сбор на питательный пункт для солдат. Стол покрыт белой скатертью, ящик для монет, и две курсистки зябнут, руки в муфтах.

* * *

По Невскому летит автомобиль, в нём — офицер с серебряными погонами и большой красной перевязью на рукаве. Значит: *присоединился*.

Проскакала верхом женщина без шляпы, с обезумело радостным лицом. Отвевались её волосы.

* * *

Один автомобиль застрял посреди улицы, другой, с корреспондентом, на него налетел. Поездка окончена, репортаж тоже.

* * *

Военные мотоциклисты! Они кажутся людьми будущего, людьми нового формирования. Их одежда особенная, долгие кожаные перчатки на руках и кожаный ремешок фуражки под подбородок. Они самоуверенны, могучи!

И разве угадаешь, что скрывается за их вихрем? Один лётчик всё носится на мотоциклете: на Жуковской у него дом отца, а в „Астории" снимает номер для любовницы.

* * *

Толпа замечательна и тем, кого в ней н е т. И вчера, и сегодня на улицах совсем не видно священников. В храме отслужат службу — и по домам.

Только на крыльце Таврического среди дня показался отец Попов 1-й, член Думы. Он вышел благословлять вооружённые войска: „Да будет памятен этот день во веки веков!" Но революционные войска не очень нуждались в его благословении. Предложенного креста не тянулись целовать.

* * *

Жуткий момент у Таврического: пулемётная стрельба! переполох! Автомобили, выезжавшие из сквера, попятились назад. И со Шпалерной толпа хлынула прятаться в сквер. Иные солдаты залегли в цепи и отстреливались в разные стороны. Разведчики побежали через пруд Таврического парка и проваливались в нём.

Потом — разные были объяснения, а пуще всего: городовые с водонапорной башни, но — скрылись, и пулемёт унесли.

* * *

Выпить и опохмелиться! — только б найти где. Пьяных — всё больше в толпе.

Пьяные матросы флотского экипажа в Коломне врываются в квартиры домов, грабят. Военных арестовывают, увозят на грузовиках.

* * *

Шайки подростков с револьверами и винтовками, солдатскими шапками. Много стреляют.

У 18-19-й линии на набережной маленький щуплый парень в чёрной лохматой папахе полчаса терроризировал всех прохожих. В одной руке у него была шашка наголо, в другой револьвер. Перед всеми проходившими солдатами он брал „на караул", всем обывателям преграждал дорогу и приказывал сворачивать на Большой проспект, „присоединяться". Убеждали прохожие, что на Большом и без них народу полно, юнец кричал:

— Без рассуждений! Стрелять буду!

И всех поворачивал. И в воздух стрелял иногда.

Потом два дюжих солдата-финляндца подошли к нему, попросили револьвер „посмотреть", и забрали.

* * *

Дворник в жёлтой дублёнке с чистым фартуком подбирал деревянной лопатой комья кровяного снега. От снега шёл лёгкий пар.

205

Нелидовского хозяина звали Агафангел Диомидович, и это имя тоже почему-то внушало безопасность.

Он пришёл звать к завтраку — после уличной проходки, свежий от морозца, крепкий, а уже с большой залысью, и тёмен годами и металлической пылью. Никакой радости он не выражал, как те вчерашние, с красными тряпками. Щёки его были сильно впалые, подбородок и взгляд твёрдые. Сказал из-под чёрных длинных усов:

— Не-ет, ваше благородие, и думать вам нечего идти: сегодня кипёт пуще вчерашнего. А вы не стесняйтесь. Только что теснота, не бессудьте. Отдыхайте.

Позавтракали — варёная картошка с подсолнечным маслом, капуста да солёные огурцы, пост. Кружка чая без сахара.

И опять хозяин ушёл, но не на завод — работы-то везде остановились.

И капитан Нелидов остался в своей крохотной комнатке с одним окном. Когда хозяин утром отнял ставню — открылся закуток неширокий перед чужой кирпичной стеной, замётанный грязным снегом, с фабричной сажей. И всё. В городе могли кипеть, перемещаться и кричать толпяные волны — здесь свисали с застрехи две сосульки, тоже уже грязные, не капало таяньем, не шевелился ветер, не залетал воробей,— ничто.

А Нелидов проснулся сегодня рано, ещё в темноте,— и сразу потерял сон, в отдохнувшей голове зароилось, зароилось: что происходит? И почему он сам не действует? И что за положенье у него — пленного? интернированного? раненого? дезертира? Ни одна категория не подходила, ни на что не было похоже.

Снова и снова его прожигало вчерашнее. Не опасность погибнуть — но от русских солдат! И после такой сцены — как оставаться офицером? И в чём смысл погонов? И всей армии? Армия разваливается, даже если не исполнено одно приказание,— а если солдаты убивают офицера?

Если б он был здоров — он конечно бы тут не улежал, он помчался бы в батальон глухой ночью, когда толп нет, где-то бы прорвался или отстреливался. Но он — пригвождён был своей онемевшей ногой, он и четверть воина не был.

День кажется был солнечный, но в этом закутке за окном не проявлялся. И теснота убогой чужой квартиры, как будто не в двух верстах от казармы, а где-то в другом городе, и говорить не с кем, никого своего, и бездействие,— такая тоска обняла Нелидова, не представить, как этот день протянуть.

Кроме кровати, комода, грубо обделанного мягкого кресла и простого стула, тут и мебели не было, не помещалась. На подоконнике малого окна, разделённого переплётом ещё вчетверо и без форточки, стоял горшочек с геранью. В углу висела небольшая тёмная икона Божьей Матери, под простым дешёвым окладом. А на комоде поверх белой кружевной дорожки стоял перекидной календарь на двух плитах, календарь-то насажен Семнадцатого года, а всё устройство — к трёхсотлетию дома Романовых: на левой плите изображён был Михаил Фёдорович, а на правой — нынешний Государь.

Вот и всё в комнатке, и книги ни одной. Да и не читалось бы.

Никогда Нелидов в тюрьме не сидел, но за этот день испытал тюремное: почти повернуться негде и смотреть не на что. И лежать тошно, и сидеть тошно. И в душе жжёт. Может быть, тогда тюрьма особенно и тяжела, когда сам себя держишь?

И даже не от тишины могильной была тоска, нет,— а от того, что за тонкой стеной всё время напевала квартирантка хозяев, молоденькая швейка. Когда работала машиной, то замолкала, и только слышалось постукиванье. Но как работа у неё была без машины — так тут же и напевала. Иногда песни простые, это ничего. Но то и дело запевала что-то революционное — Нелидов и песен таких не знал, но нельзя не догадаться.

Пыльной дорогой телега несётся,
В ней по бокам два жандарма сидят.
Сбейте оковы,
Дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить!

И как привяжется к такому мотиву. А бодро напевала, с настроением. При малом оконце в кирпичный закуток — этот денёк, видно, светлый праздник был у неё, и упорхнула б она на улицу, если б не срочная работа, так добирала пеньем.

Этот весёлый голос и слова бунтовские через стенку — добавляли тоски.

Но и тем она не удоволилась — а стала оббегать и в комнатёнку к капитану.

— Ну как, капитан,— называла она его развязно.— Кончились старые времена?

И льняной локонок спадал на незамысловатое глуповатое личико.

Сперва Нелидов понял так, что она издевается, и что она может сейчас побежать и привести сюда толпу на расправу. (Не боялся, как-то стало всё равно.) Но нет, она ему зла не желала, и не издевалась вовсе — это она хотела общей радостью поделиться, и удивлялась его бесчувствию. Растаращивала глазёнки и рассматривала как диво, да странно и выглядели его золотые погоны в этой убогой квартирке.

— А это что у вас? — дотрагивалась до синего косого креста на груди, Андреевского гвардейского.— А что это за буквочки тут, не наши?

На концах креста стояли: SAPR — то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae,— а кто это знал латынь? для кого писали, правда?

— Святой Андрей, покровитель России.

— А кто это тут на коне?

— Георгий Победоносец.

— А почему?

— А это герб Москвы.

— А почему Москвы?

— А потому что наш полк стал Московским за Бородинскую битву. Перед самой наполеоновской войной император Александр Павлович построил наш полк из Преображенского батальона, но сперва он назывался Литовский.

Швея взвизгнула радостно, как что-то поняла, убежала — и тут же вернулась с большим фасонным бантом из ярко-красной бязи:

— А вот вам, дайте я приколю.

Он в кресле сидел, недвижный, а она совалась приколоть бант рядом с Андреевским крестом, и хихикала.

Нелидов отводил, отводил её руку и всячески объяснял, что нельзя, что не может.

Красный бант был ему как жаба.

Швея обижалась, убегала за стенку — и снова весело пела:

А что силой отнято́ —
Силой выручим мы то!

И снова, как ни в чём не бывало, впархивала и пыталась прикалывать капитану бант, глупенькая что ли.

И кто ей это всё в голову вложил?

Надрывала тоску, по нервам пилила. Старался не слушать её пения.

Потом кончила шить — и ушла прочь, облегчила.

Когда становился у комода — смотрел на календарь. Рассматривал темноватое озабоченное лицо Государя.

У Михаила Фёдоровича были, конечно, свои заботы, но всё это отодвигалось в картинку историческим боярским костюмом. А Николай Александрович совсем как живой выступал из календаря.

И подумал Нелидов: он, всего лишь капитан, и то опустился в эту комнату чудом, странно сияли его погоны здесь. А Государь — был естественно, запросто вхож в каждый убогий дом. Вот был он свой и этому старому рабочему.

Почему-то же дал он прибежище офицеру. Рабочий и в рабочем районе перехоронял его!

А что ж? Рабочие — они серьёзные люди. Нелидов вспомнил, как в начале войны перед погрузкой с Варшавского вокзала отпускал своих мобилизованных питерских рабочих ещё раз попрощаться с семьями — и все до одного вернулись в срок. „Нешто не понимаем? — братьев сербов идём защищать от германца". Они и воевали отлично. Они — верные люди, но вот дали их растравить.

Часы тянулись, часы тянулись, такая тоска, будто и себя потерял, и всю жизнь потерял, и никогда уже ничто не вернётся. Уже хотелось любого худшего, только прорвать бездействие и плен. Не мог капитан Нелидов так закисать! В батальоне он хоть объяснениями помог бы порядку.

К концу дня вернулся Агафангел Диомидович — и сразу пришёл к гостю. Ещё вчера в привратницкой он явился такой чужой, из другого мира,— а сейчас, вот сел на кровать, в тёмной суконной косоворотке, простоватая стрижка его, грубые волосы, большие залысины и укоренелая твёрдость, не поддающаяся возрасту и годам труда,— смотрел Нелидов на него с уважением и уже деля с ним общую часть. Как разгорожены и разделены сыновья одного и того же народа. Отчего?

Агафангел Диомидович исходил весь город, и Литейный, и Невский, и дальше, всё смотрел. Бушуют. Властей никаких не осталось во всём Питере. Хоть грабь кого хочешь. Пожары, расправы, беспорядочная глупая стрельба, шальными тоже убивают.

И никакая радость от виденного не освещала его.

— Ох, неладно будет.— И подумав.— Ох, настрадается народ.— И подумав.— Чего делают, никто не разумеет.

А как, с чего это началось? — хотел понять Нелидов.

— Поди не забастуй,— говорил хозяин.— Так выбьют гайкой глаз, мы сами их боимся. Их — кучка, а всем верховодят. Кто дерзок, тот и верх берёт, это завсегда. Ишь, чего удумали — всякую власть прогнали. Будто без властей жить можно.

Как же Нелидову выбраться?

Сказал хозяин: и думать нечего, разорвут в клочки. Сегодня ещё ярей народ, чем вчера, крови отпробовал. И казармы Московского уже всё равно сдались. А вот другие казармы, при конце Сампсоньевского, те отстреливаются. (Самокатный, сообразил Нелидов.)

Но не может же их батальон перестать существовать, и значит — не может там не быть офицеров. И — нужно Нелидову туда.

Ладно, вечером после обеда послал хозяин соседского мальчишку — поискать в Московском батальоне старшего и шепнуть.

Поздно мальчишка вернулся: капитан Яковлев велел капитану Нелидову с утра прибыть в казармы.

— Ладно,— смекал Агафангел Диомидович.— Есть у меня тут ломовик знакомый. Запряжёт да отвезёт вас с утра потемну. А я вас в свою шубу укутаю до казарм.

206

Ещё по пути на Петербургскую, пока ехали, Пешехонов раздумывал, в каком же помещении устроить ему комиссариат. Это должно быть просторное помещение, с лёгким входом и выходом (он уже предвидел скопление как в Таврическом),— и в самом центре Петербургской стороны. И выбрал он кинематограф „Элит" — рядом с квартирой своей, на той самой площади, где с Каменноостровским пересекаются Большой проспект и Архиерейская улица — там, где вчера вечером в новизне возбуждения он в толпе встречал первые революционные автомобили.

Но сегодня этих автомобилей уже столько и по столько раз пронеслось по стольким улицам столицы, что вслед за восторгами стали они вызывать у жителей недоумение и даже раздражение. И когда автомобили нового комиссара подъехали к „Элиту" (он оказался заперт, ещё дворника искать и слать за владельцем),— увидели они, что Каменноостровский дальше вперёд к островам запружен такими автомобилями, утыкались один в другой и так стояли со всей своей празднично-революционной публикой. Прохожие сказали Пешехонову, что там впереди кто-то не пускает и проверяет.

Это понравилось Алексею Васильичу — и вот было сразу первое применение его военному отряду, пока всё равно делать нечего. Он подозвал прапорщика Ленартовича и сказал ему:

— Голубчик, пойдите со своим отрядом вперёд туда и помогите этому славному делу. Ведь со вчерашнего дня любая компания приходит к любому владельцу, требует ключ от гаража и шофёра, якобы для революционных надобностей,— и отправляется кататься по городу. Ещё и барышень с собой прихватывают, очень приятное занятие. Ну, куда, в самом деле, они сгрудились, все на острова — что там делать? Так вот — помогите силой. Надо проверять у каждого удостоверение, и у кого нет настоящего права — тут же ссаживать и автомобиль отбирать. Именем комиссара Петербургской стороны. Кстати, и у нас появятся лишние автомобили.

Хотя это задание не шло вровень со вчерашней задачей взять Мариинский дворец и с сегодняшней возможностью атаковать Инженерный замок, но тоже в нём был большой революционный смысл, который Саше понравился. И он тут же звонко позвал свой десяток солдат, выстроил его в две колонны в затылок, винтовки на ремень,— и повёл за собой, иногда громко командуя своим, иногда командуя впереди разойтись. За все годы своего пренебрежения военными командами и строем он брал насладительный реванш именно сейчас — когда все вокруг стали строем пренебрегать, ходить врассыпную, даже расстёгнутыми, и таскать винтовки как лишние палки.

И с изумлением Саша заметил, какую силу имеет военная дисциплина против распущенности: тут были сотни солдат, на Каменноостровском, в этом заторе и на тротуарах, а Ленартович вёл всего десяток,— но им давали дорогу и смотрели с уважением. А когда они дошли до переда, то их появленье сразу изменило всё положение: там был какой-то настойчивый штатский с красной повязкой на рукаве (потом оказался с удостоверением Военной комиссии останавливать и отбирать бездельные машины), и был подпор публики, раздражённых автомобилями, среди них и отдельные солдаты, может быть из зависти,— но у автомобилистов численность была больше, глотки сильней, и было что терять, они и матюгались сильней и размахивали кулаками и штыками и, наверно бы, вот-вот-вот прорвали, если б не отряд Ленартовича. Он же, быстро оценя обстановку, ввёл свой отряд в самую гущу, в линию перед первым задержанным автомобилем, звонко скомандовал своей второй колонне выйти в продолжение первой (команды он точно не помнил, но солдаты поняли его), повернуться, взять ружья на изготовку — и так образовать цепь от сугроба до сугроба.

И хотя их было всего одиннадцать, но решительность офицера и безусловная подчинённость невзбунтованных солдат сразу оказали действие: кулаки убрались, штыки отвелись, забияки снизили голоса, стали пятиться, сперва сами, потом и с автомобилями, ругаться уже друг на друга, но не так легко было разманеврироваться и разъехаться этой шумной и трусливой ватаге. А Ленартович с тем штатским спешили проверять документы, ссаживать гуляющих, а шофёрам вручать клочки бумаги — „в распоряжение Военной комиссии", „в распоряжение комиссара Петербургской стороны".

Тем временем Пешехонов дождался хозяина кинематографа. Это был бельгийский еврей. Достаточно второй день видя петроградскую обстановку, он уже хорошо понял, что много не поспоришь, а тут действовали именем Совета рабочих депутатов,— и бельгиец без уговоров согласился бесплатно предоставить комиссару свой кинематограф, на произвольное число дней,

добавляя, что он, как гражданин свободной и дружественной страны, рад послужить, чем может, делу русской свободы.

Итак, группа комиссара вошла в пустое помещение и за первым же столом устроила совещание, как ей действовать. По сути — всё в распаде и брожении, и они тут — единственная власть, ближе Таврического нет другой власти. В кинематографе есть телефон — это хорошо.

Очевидно, надо было разделить направления работы и каждому стать начальником отдела. Эпизод на Каменноостровском подсказывал создать автомобильный отдел, недостатки продовольствия — продовольственный отдел. Кто-то будет делать объявления населению — значит, отдел публикаций. (Его захватил социал-демократ, смекнув, что можно будет вести агитацию.) Итак, все начальники отделов будут называться товарищами комиссара и носить на шапках кокарду из красной материи.

Достать письменных принадлежностей? Все лавки закрыты. Однако увидав автомобили возле кинематографа, уже заходили любопытствующие — и скоро были доставлены чернильницы, перья, карандаши, бумага. Какие-то дамы соорудили из красных лент кокарды, накололи и Пешехонову на каракулевую шапку. Одна дама сбегала домой, притащила простыню, и, палочкой обмакивая в чернила, стали крупными буквами выводить: К о м и с с а р и а т.

А Пешехонов сел писать объявление, что он, комиссар Петербургской стороны, имеет задачу водворить здесь свободу и народную власть, и аресты и обыски могут производиться только по его письменному распоряжению.

Тут откуда ни возьмись подъехал броневик — попросить у автомобилистов бензина. Объявили броневик мобилизованным для революции и назначили посылать его против грабежей.

207

Великий князь Павел Александрович, младший сын Александра II, с двумя детьми от греческой принцессы, рано овдовел — а через 10 лет после того пожелал жениться на замужней Ольге Пистолькорс, вследствие чего тогда же был устранён Государем от командования гвардейским корпусом, даже лишён личного имущества (так строго — чтоб удержать от недостойного брака его племянника Кирилла),— и вынужден был выехать за границу, детей же его, Дмитрия и Марию, взялась опекать царственная чета. Разрешено ему было вернуться в Россию лишь с войною, рвался в гвардию, но Государь медлил с назначением, а когда Павел вновь получил гвардейский корпус, то стал болеть — и был переведен в положение генерал-инспектора гвардии, уже не связанного с её дислокацией на фронте, жил в Царском Селе, где вместе со своею супругой, теперь продвинутой в „княгиню Палей", устроил и свой дворец, с богатыми коллекциями искусства.

Императрица Александра Фёдоровна, перезнакомясь, перебравши и постепенно отвергнув всю многолюдную династическую семью, кроме государева брата Миши, которому благоприятствовала (не без надежды восстановить отношения со свекровью), и бесхарактерного воспитанника Дмитрия, теперь запутавшегося в убийстве Божьего Человека,— в сердце всегда делала исключение ещё для Павла, выделяла его из династии. После смерти своих братьев он был старшим в роде. Его нейтральность в семейных конфликтах вызывала уважение всей династической семьи, отчего, правда, фамильный совет и поручал ему выступать перед Государем с ходатайством об изменении политики, уступках думской банде, увольнении Штюрмера и Протопопова. Но сам Павел при этом никогда не интриговал, был искренен, не помнил зла, не обижался за своё семейное неравенство, был лоялен Государю, ничего не искал для себя, а честно хотел только служить России. И если отчасти иногда вмешивался, то в пользу двуличного Рузского, то прямо против влияния Друга императорской четы,— то это уравновешивалось его постоянным противостоянием Николаше, всегда за Государя, да и к Другу он не выказывал прямого недоброжелательства, а его льстивая супруга, надоедавшая своими выражениями преданности в надушенных письмах, выпрашивала прощение у императора также отчасти и через Друга. Среди великих князей даже было обвинение Павла в принадлежности к партии Григория. Когда Павел год назад сильно болел, испытал разлитие желчи, потерю веса, ему грозила смертельная операция,— государыня жалела его и для посещения больного даже переступала не вполне достойный порог дома княгини Палей.

После вспышки первого гнева, теперь-то стало ясно, что Павел никак не ответственен за действия своего сына Дмитрия — даже не больше, чем сама царская чета отвечала за него как за своего воспитанника. И несправедливо было приписать Павлу ответственность также и за другую соучастницу — падчерицу Марианну, ненавистницу Друга. (А ещё Марианна распространяла по Петрограду слух, что Государыня спаивает Государя. Не было меры всем клеветам, изрекаемым в двух столицах.)

Перед сегодняшними обстоятельствами отступали второстепенные обиды.

Шестидесятилетний Павел, с прирождённым достоинством вида, вошёл в гостиную. Он был строен, высок, импозантен, даже обворожителен,— молодой красивый старик под седыми волосами, в стильных высоких английских сапогах, ещё стройнящих его длинные тонкие ноги.

За прошлое — царица запретила себе держать зло. Но за сегодняшнее — не могла встретить его иначе, как сурово. Генерал-инспектор гвардии, военный человек — что же смотрел он, когда его гвардейские батальоны бунтовали в Петрограде и даже были в смятении уже здешние, в Царском Селе? Который уже день мятеж — и что ж он предпринял? Выезжал ли он к войскам?

Сели за круглым столиком в её бледнолиловом кабинете. В вазочке держались совсем засохшие цветы.

В лице Павла выражалась и общая романовская породистость и личная порядочность, и даже мужественная готовность, и он волновался перед императрицей, хотя пытался это скрыть. Но ничего разумного не мог ответить.

Что, к сожалению, генерал Чебыкин, командующий петроградской гвардией, оказался в Кисловодске. Что это вообще не гвардия — то, что сейчас в Петрограде.

Это ясно было, что не гвардия. В начале февраля Государь приказывал перевести в Петроград из Особой армии две кавалерийских дивизии — но командующий Округом отказался найти им место в Петрограде или даже в окрестностях. Да и Государь не настаивал, чувствительный к тому, чтобы армия не обижалась на гвардию. Тогда и перевели Гвардейский экипаж в Царское Село.

Но и явно было, что Павел плохо понимал, что и где происходит в городе. Государыня спрашивала его о подробностях, а он ответить не мог — он все эти дни просидел со своей женой в своём дворце! (А княгиня Палей сумела и двух своих сыновей выпросить с фронта в тыл...)

Ах, сколько раз сама царица смотрела гвардейские парады! Каким несокрушимым оплотом виделись эти все герои! — и куда ж они все подевались в грозную минуту?

— Так почему же нет у вас настоящих полков?! — воскликнула она в отчаянии.

— Не распорядился Государь...

Необъяснимо: по какой случайности, недоговорённости, среди пятисот важных государственных обстоятельств — упустили, не довели до решения это пятьсот первое? И сама она упустила настоять.

— Так почему не вызвать гвардию сейчас?!

— Ваше Величество, это не в моих правах. Как генерал-инспектор я заведую только хозяйственной частью гвардии.

Да, вот, он носил великолепный гвардейский мундир, и состоял на службе, и был отроду военный человек,— а которые сутки спокойно оставался в Царском Селе?

— Так езжайте на фронт! Так передайте им и привезите сюда преданные полки! — властно воскликнула государыня. Она ждала мужской поддержки — но Павел сидел благородно-опечаленный, и мужская сторона опять оставалась за нею.

Павел ответил, что было бы непростительным своеволием ему ехать на фронт за войсками, для этого есть Ставка.

Но на лице его выражался стыд — и бессилия, и непонимания событий, да может быть и слабости возраста.

И государыня, позвавшая его с импульсом прощения, сейчас опять испытала укол обиды. И сказала величаво:

— Если бы императорская фамилия поддерживала Государя, вместо того чтобы давать ему дурные советы,— то этого бы не произошло!

Павел выпрямился, сидя, и отчётливей проступила породистость его благородного лица:

— Ни Государь, ни вы не имеете оснований сомневаться в моей преданности и честности. Но время ли вспоминать старые размолвки? Сейчас надо добиться скорейшего возвращения Государя.

— Государь — возвратится завтра утром,— холодно ответила Александра Фёдоровна.

— Так я встречу его на вокзале! — с пылкой готовностью воскликнул Павел.

Это правда, он обожал Государя. Это правда, он был лоялен.

И только.

Ещё и суетливость была за ним.

Его можно было и не вызывать.

Отпустила.

Но — на кого же ей опереться?

Ведь все покинули, и никто даже не телефонирует.

Настроение во дворце падало. Волновалась свита, волновалась прислуга.

Как дождаться завтрашнего утра!

Пришёл доктор Деревенко из лазарета, рассказал, что по Царскому бродят без строя растрёпанные солдаты, фуражки на затылок, руки в карманы,— и хохочут. (Да несколько казаков могли бы их разогнать!) Но офицеры жмутся или прячутся. А все железные дороги захвачены революционерами.

И непонятно, как приедет Государь.

Но тут доставили от него телеграмму.

Из Вязьмы.

„...Надеюсь, вы спокойны. Много войск послано с фронта..."

Ну, слава Богу, выручка идёт! Переждать несколько часов.

Дворец был сильно защищён постами и патрулями.

А погода над Царским была изумительная: лучезарное солнце, голубое небо, безмятежный снег.

В такую погоду не может совершиться злодеяние, Бог не допустит.

208

Межрайонцы — оказалась самая боевая, деловая, напористая партия изо всех социалистических. Она возникла шесть лет назад как протест, что честолюбивые вожди в несколько раз раскололи, развалили нелегальную социал-демократическую партию. Возникла — как „3-я фракция", „объединенка", объединить партию снизу, принимать в себя желающих и большевиков и меньшевиков, кто признаёт нелегальные формы работы, отметать только ликвидаторов. Признать все решения партии до 1910 года — и отсюда повести к будущему съезду. Конечно, межрайонцев сейчас же и упрекали, что они только углубляют партийный раскол. Конечно, им пришлось яростно бороться за районы города с другими фракциями, особенно с большевиками, перехватывать у них, при их арестах, рабочие массы. Межрайонцы не гнались за звучным названием, ни за многотысячностью рядов (было их всего человек 150, хотя в плане имели стать всероссийской организацией), не имели даже своего ЦК, но зато — великие задачи. Для того, чтобы делать большие дела — и не нужна многолюдная партия, а — энергичная. Всё заводили свои журналы, с ними обрывалось, хотели перекупить „Современник" у Суханова, деньги были, но он не отдал, хотя симпатизировал. Очень укрепились, когда в партию вошёл Карахан, с его помощью искали связей с эмигрантскими вождями, с особенной симпатией отнёсся к ним Троцкий, и он, и Мануильский, и Дридзо-Лозовский, и Антонов-Овсеенко присылали для их журнала корреспонденции, да лопнул журнал. И в Копенгагене их поддерживали, уже в войну.

Вся организация межрайонцев была надёжно пропитана революционно-интернационалистическим духом, и от начала войны их лозунг сразу был — борьба с оборончеством, „долой войну" — без „долой войну" задушат в империализме,— а затем и „превратим империалистическую в гражданскую". Так что получалось даже, что в лозунгах у них с большевиками и противоречий особых нет — но не хотели податься их расслабленному Петербургскому комитету и призрачному швейцарскому ЦК. Вместе с большевиками боролись и против главных врагов — гвоздёвцев, предателей рабочего класса, и в этой борьбе блокировались и с Инициативкой на интернациональной почве, последние месяцы и с эсерами-интернационалистами,— но со всеми ими неслиянно.

Так что когда Матвей Рысс этой осенью перешёл от большевиков к межрайонцам — он не испытал никакой измены лозунгам, а только была эта организация побоевей (хоть и про большевиков не скажешь, что растяпы). Правда, во главе её Кротовский-Юренев никак не был светило, даже совсем слабая голова, и суетлив, но хорош был общий энтузиазм и деловитость межрайонцев, хорошо поставлено типографское дело, много листовок, умели забастовки устраивать и деньги для них находить. Да как раз в те дни и большая группа студентов-психоневрологов повалила к межрайонцам, друзья Матвея: „вдохнём неврологический дух!". Все они обожали рабочий класс.

Девиз межрайонцев был: качай, качай — когда-нибудь и раскачается. Одной из главных задач они считали — вести пропаганду в армии, и проникали в разные части, расквартированные в Петрограде, а с Кронштадтом имели постоянную хорошую связь.

В институте на лекциях Матвей не густо бывал, как и его приятели,— да институт был частный, руководство либеральное и зажмуривалось, чем там студенты на самом деле заняты. От месяца к месяцу этой зимы всё больше овладевало Матвеем нетерпение действовать. Эта внутренняя страсть-нетерпячка изжигала его изнутри, и была бы в Петрограде партия ещё боевей — он перескочил бы туда. Этой зимой Матвей вошёл в такое состояние, что ненавидел всякую обычную жизнь, всякий кусок обычной жизни воспринимал как примиренчество с треклятым режимом. Он дошёл до такой неистовой грани, что если не возникнет народного движения, то он должен сделать что-то сам или с ближайшими друзьями — хотя индивидуальный террор считал занятием бесперспективным, не это он имел в виду, он сам не знал что. Но такие тяжёлые общие тучи разочарования и озлобления нависали над столицей, и такая например всеобщая радость от убийства Распутина,— всё это не могло пройти бесследно, он надеялся на что-то крупное!

А пока писал, писал листовки, вкладывая в них всю страсть: „Пируют во время чумы народного бедствия!" — „Ваша смерть нужна буржуазии для увеличения её прибылей!" — „Стройным хором отвечают нам лакеи буржуазии...". И единственные, кто выпустили листовку к „женскому Первому Мая" — к 23 февраля,— были межрайонцы, и именно Матвей накатал её: „Сама царица торгует народной кровью и распродаёт Россию по кусочкам", „долой преступное правительство и всю шайку грабителей и убийц!".

Большевики притрушивали и советовали женщинам 23-го февраля с работы не уходить, меньшевиков тех и вовсе не слышно никогда, а межрайонцы — звали женщин на забастовку,— и неплохая получилась (удачно прицепили хлебный вопрос) — и Нюта Иткина в тот день с успехом выступала на женском митинге в Народном доме Паниной. Да с того-то дня всё и покатилось! — и работа агитационной группы при межрайонном комитете стала уже вовсе лихорадочной. 26-го выпустили ещё две листовки — одну к рабочим, одну к солдатам, правда не к восстанию.

Все дни февральских волнений Матвей Рысс носился — и не столько по поручениям Кротовского, который изрядно сдрейфил и не верил в успех движения, и предлагал умерить пыл рабочих,— сколько по собственной инициативе: то снимал рабочих на забастовку, то сколачивал демонстрацию, то из толпы на тротуаре, как бы из городской публики, кричал оскорбления полицейским, бросал в них камни, а один раз и сам выстрелил из маленького

карманного револьвера. Попеременно с другими молодыми межрайонцами выступал и с речами (он говорил почти так же легко, как писал) с постамента Александра II на Знаменской, и с парапета у Казанского собора, а когда разгоняли — бежал в толпе, и было весело. Он выкрикивал всё те же лозунги: дайте хлеба! дайте мира! долой войну! долой правительственную шайку! долой царя! — и всё же до воскресенья вечера никак не думал, что дело разовьётся, а только понимал как раскачку для будущего. А когда узнал о волнении павловцев — кинулся проникнуть в их казарму, но уже она была оцеплена войсками.

И к волынцам тоже посылали листовки в казармы, и какие-то волынские унтеры пару раз приходили на пропагандные занятия, но никакого особенного внимания им, кажется, никто не уделял,— и то, что они выступили и повлекли за собою других — это был просто подарок судьбы.

26-го вечером Матвей допоздна ещё писал и отправлял в типографию новую листовку — ко всеобщей стачке протеста, „царь накормил свинцом поднявшихся на борьбу голодных людей". И так выдохся за все эти дни, что утром 27-го как раз и заспался на отцовской квартире, на Старо-Невском. Никто его не разбудил, он почти полдня и проспал, пока уже начали очень сильно стрелять, и поблизости. Очнулся, умылся и, едва позавтракав, побежал в события. А события-то раскатались ого-го! И он из первых разгадал буржуазных подсыльных, зовущих революционную толпу повернуть с приветствиями к Государственной Думе. Ещё чего! Безо всякой связи в этот час со своей партией отлично понял Мотя Рысс всё коварство этого приёма: не-е-ет! уж сметать будем одним ударом вместе — и царское самодержавие и Государственную Думу!

И он кричал до надрыву, спорил — и две больших группы отговорил, повернул от Думы прочь.

А тут сгустилась перестрелка с правительственным отрядом на Литейном, и Матвей поспешил туда, как раз при неудачной автомобильной атаке революционеров. Правительственный отряд крепко держался много часов под командой высокого полковника с чёрной бородкой, много раз в него стреляли, да всё промахивались. По ту сторону командовал полковник, а по эту — никто отдельно, и всё зависело — кто на каком участке что сообразит. Матвей так понимал, что военный перевес всё равно у отряда, поскольку у них единое командование. А у нас перевес в агитации, и агитацией мы их сломим, каждого, кто с винтовкой против нас стоит,— надо кричать-агитировать. И своего горла он не жалел, и других призывал, были и другие студенты,— и каждый довод и каждая насмешка ослабляли солдатские сердца в строю. (А межрайонцы кое-кто собрались днём на квартире Глезарова, и посылали его и Крошинского в Волынский полк, и написали новую листовку, присоединились и эсеры: ко всеобщему восстанию и созданию рабочего правительства! Но и смелей сделали: пошли и без сопротивления захватили типографию „Нового времени".)

Через несколько часов, к темноте, пересилили тот отряд на Литейном, он сломался и спрятался в здании Красного Креста. Теперь надо было довести победу до конца и выгнать их оттуда, а главное — схватить и перед всеми на улице расстрелять этого зубра-полковника. Повстанцами — никто не командовал, командовал всякий, кто хотел, а слушался тоже только кто хотел, потому и разброд получался. Но всё же, после выхода оттуда солдат, обложили этот дом с нескольких сторон на всю ночь, установили посты и дежурства — и новым подходящим Матвей объяснял, какой тут зверь сидит, которого надо выловить. Сам он на несколько часов уходил поспать, и опять пришёл к утру. Кто ночью дежурил — уверяли, что никак ускользнуть не мог. Но когда утром собрали силы и вошли в дом с обыском — оружия много нашли, а полковника не оказалось. Значит, ускользнул, переоделся. Жаль.

Так почти за одной этой осадой на Литейном и провёл Матвей едва не всю революцию, ехали мимо автомобили, автомобили с рёвом и флагами,— он их как не замечал. Полезнее стоять на посту и делать своё дело.

А вот досада, что упустили!

После этого отправился он сегодня на явочную квартиру в Свечной переулок — уже теперь расконспирированную — спросить Кротовского, что ему надо делать. Он слышал, что студенты создают городскую милицию, но и сам понимал, что это вздор, в буржуазных руках. Кротовский, хотя и шёл в Таврический на заседание совета депутатов, но жался: не рано ли создали Совет? только поставим себя под удар. А Рыссу сказал:

— Товарищ Рысс! Поведение ваше было правильным. Главная задача вырисовывается: борьба с офицерством и особенно с активным. Мы можем углубить и продолжить революцию, только если подорвём офицерство. А иначе у нас не останется солдатской массы, она опять подчинится им. Поэтому надо срочно дать — сильную листовку против офицерства, так чтоб им выбивали зубы и кололи штыками. Такая листовка — сейчас всего важней. Займитесь, вы лучше всех пишете.

Это было и лестно, и правда. И хотя жалко было даже на несколько часов оторваться от живого вихря революции, но чтоб он вертелся ещё огненней — надо было посидеть над листовкой.

Квартира на Свечном была тесная, да приходили-уходили для связи — Матвей пошёл домой, на Старо-Невский. Отец его был присяжный поверенный, квартира была из многих комнат, и родители давно привыкли к самостоятельной жизни сына, не вторгались, не мешали.

Уже по пути он чувствовал, что — сочиняет, что в нём поднимается то яркое чувство, которое нужно для листовки.

Особенно — для её вступительной части. В каждой листовке должна быть вступительная часть, которая сдирает кожу с нервов у читателей — и после этого они уже более восприимчивы к лозунгу. И главный талант — написать вот эту вступительную часть, вот это умеет — редко кто, а самый-то лозунг поставит любой партийный комитет.

Начать так: Товарищи Солдаты! (и Солдаты — с большой буквы). Свершилось!!! Восстали вы, подъяремные... Даже сам вздрогнул от этого замечательного слова — подъяремные, закабалённые, крестьяне и рабочие восстали! — и с треском и с позором рухнуло самодержавное правительство!

Хорошо, прямо как разрыв снаряда! Остановился и в записную книжку записал, а то забудешь, пока дойдёшь. Поправил кашне, забрался к шее мороз, пошёл дальше.

Ну, конечно, шайка слуг царского самодержавия — это тоже не упустить. Но поскольку солдаты — большей частью крестьяне, надо развивать крестьянскую тематику. А крестьянская мечта известна: чтобы было где пасти корову и курицу. Итак: в то время, как казна и монастыри (антиклерикальная струя всегда должна присутствовать) захватывали землю, в то время, как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь,— многомиллионное крестьянство пухло от голода: курицы некуда выгнать обезземеленному мужику! Эта курица, от Толстого, очень тут пришлась: так пронзительно, жалостно звучит. Записал. Длинная фраза, пальцы тоже мёрзли.

В увлечении он шёл, не замечая уличного. В нём совершалось важней. „Паны-дворяне" надо ещё раз повторить, это будет наилучший подход к офицерской теме: Солдаты! Будьте настороже, чтобы паны-дворяне не обманули народ! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба...

Ах, хорошо станут и хвост, и зуб!

И надо будет уже ударить по цензовым: но до сих пор вы не слышали ни от Родзянки, ни от Милюкова ни одного слова о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. Надежда плохая!.. Вот эта „надежда плохая" — очень простонародно звучит и берёт за сердце.

Горничная сказала Матвею в прихожей, что восстановился телефон и с тех пор два раза звонила ему Вероника.

— Ладно,— ответил он. Велел подать обед ему в комнату и пошёл работать.

209

Молодые офицеры-самокатчики находились в состоянии паралича соображения: им крикнуто было, что их расстреляют, и это не вызывало у них

сомнения: при обстоятельствах, как взяли их, при всей слышанной ярости толпы. И первые минуты они ехали в грузовике, мало оглядываясь и не соображая, что делается вокруг: это уже не касалось их жизни, революция или не революция, это уже был другой, остающийся мир.

Тот их спаситель, амурский казак, с ними не поехал, а везли их матросы и студенты. И матросы спорили, что нечего того прапорщика слушать, нечего везти их в Государственную Думу, а хлопнуть тут, на пустырях Выборгской стороны. А студенты возражали, что должен быть справедливый революционный суд.

И действительно, везли их совсем не в центр, а улицами окраинными, меж пустырей. Значит, брало мнение расстрелять.

А привезли — в Политехнический институт, здесь завели в комнату с наружным часовым. Пришли курсистки-медички и подпоручику Левитскому перевязали раненый бок. Всё-таки перед расстрелом это не делается. Ещё через час курсистки же принесли поесть. Над едой очнулись: ведь не ели 36 часов. Приободрились. Стали думать, что и никуда больше не повезут.

Но ещё через час пришли несколько студентов с винтовками — а матросов уже не было. Студенты держались сумрачно, на вопросы не отвечали, посадили их в грузовик — и опять повезли.

Конечно, это была настоящая охрана, но мысль о побеге как-то не поднялась, устали, ещё гудело в ушах от утренней стрельбы.

Шофёр гнал совсем по-сумасшедшему, иногда резко тормозя. Стали появляться костры, заставы, многие люди — с флагами, штыками, пеньем, кричали „ура" — и преобразившиеся студенты отвечали им криками.

У самого Таврического было полное столпотворение: стояли орудия, автомобили, горели костры, играли оркестры, толпились солдаты, произносились речи.

Как не радовала эта чужая радость. Даже как особенно горько умирать при всеобщем ликовании.

В самый дворец долго не могли их ввести: разгружались два грузовика — один с мясными тушами, другой — с несгораемыми кассами, и всё это таскали внутрь дворца штатские и солдаты.

А тут из толпы, видя арестованных офицеров, угрожающе кричали, и легко могли смять неопытный студенческий конвой. Уж хотелось, чтоб ввели скорей внутрь.

Ввели. Пробивались через толпу, мимо наваленных штабелей ящиков, по видимости оружейных, мимо столов, за которыми сидели барышни при брошюрах.

А дальше — под сильной охраной рабочих-красноповязочников стояла группа офицеров-самокатчиков, из Сампсоньевских казарм. Одни были сильно избиты, другие — в солдатских шинелях, видимо переодевались, чтобы скрыться.

Пока толклись, стесняемые людскими течениями, перебросились с ними несколькими фразами. Узнали, что Балкашин убит, и ещё 8 офицеров и много самокатчиков. Те тоже сказали, что есть приказ Родзянки — их расстрелять.

Упали сердца, угроза не пустая. Боже, как тоскливо!

Теснились дальше. Вошли в огромный зал со многими колоннами, студенты растерялись, куда их дальше вести.

И вдруг увидели и узнали сразу — и конвоируемые, и конвоиры — по газетным портретам: Милюков! Шёл, тоже пробивался, мимо.

Его твёрдо-круглому лицу, усам и очкам обрадовались как родному. И в один голос воскликнули два подпоручика:

— Павел Николаич!

Остановился.

— Правда, что нас расстреляют??!

— За что? Кто вы такие?

— Офицеры самокатного батальона...

Покачал, покачал головою с седоватым зачёсом набок:

— Господа, господа! Как же так? Почему же вы так упорно сопротивлялись новой власти? Пролили столько крови! Все части гарнизона сразу признали новую власть, а вы...

— Да Павел Николаевич! — с надеждой и радостью возражали самокатчики, просто уже полюбили его за эту минуту.— Мы же не знали, что тут делается — в центре, в Думе. Откуда мы знали? Сообщение всякое было прервано. А мы — военные люди, мы на службе... Как же мы можем сдаваться неизвестным лицам?

— Так ведь мы же к вам посылали депутатов Думы объяснить обстановку.

— Никаких депутатов мы не видели!

— Не может быть. Я выясню, может не дошли? Во всяком случае, расстреливать вас никто не собирается, кто это вам сказал?

— Тут наши товарищи стоят под конвоем, говорят: приказ Родзянки.

— Да ну, что за чушь. Где стоят?

— Вон! Что ж нам теперь делать, Павел Николаевич?

— Если вы даёте слово, что не выступите с оружием против новой власти, то вы, господа, свободны.

— Ну конечно, не выступим! Ну конечно, даём!.. Спасибо, Павел Николаевич!.. Так отпустите и наших товарищей.

— Хорошо, сейчас посмотрю. А вы получите охранные пропуска у коменданта дворца.

Вместе с подружневшими студентами пошли искать коменданта. Долго искали. Это оказался в терской казачьей форме, с лихим заносчивым видом депутат Думы Караулов. Он подписал им пропуска.

Однако куда же деваться? Казармы все разбиты. Появляться там нельзя — всё равно расстреляют.

Но теперь студенты пригласили их в Политехнический институт:

— Будете обучать нас военной службе.

210

Прошлую ночь Андозерская плохо спала, всё вламывалось в сон кошмарами, выпирающими углами. А утром рано к ней прибежала Ниночка Кауль — и с блистающими глазами, в возбуждённом, лихорадочном состоянии жаловалась, что мама не пускает её поехать в Ставку, к Государю!

— Да зачем же, Ниночка?

— Его никто не защищает! Ему надо помочь!!

— Да у него же там конвой, все войска, да что ты!

— Нет! Ему надо помочь! Я так чувствую!

— Да чем ты ему поможешь?

— Не знаю, там увижу! Я чувствую, что он в ужасном состоянии! И — никто не защищает его! Пусть сядет на белую лошадь и въедет, как его прадед!

— Да откуда ты взяла? Да он — в центре своих военных сил! Он — и въедет!

— Ах, нет! — металась Нина, и из причёски её под узел беспомощно подевичьи выбивались всегда плохо держащиеся пряди, завернулся манжет рукава.— Нет, я уверена, что он ничего не знает!

— Да как же он может не знать? На это теперь есть телеграф.

— Ах нет, наверно не знает! Здешнего ужаса! А почему ж ничего не... ? Ему, наверно, плохо докладывают!

Её стремило, чуть не по воздуху: она там нужна! вот она поедет! — и прорвётся к царю! И — убедит! Но — для этого прежде надо убедить маму! А это может сделать только Ольда Орестовна одна!

Девятнадцатилетняя Нина окончила Смольнинский Александровский институт для детей средних офицеров, совсем не знать, и была теперь медичкой-курсисткой. Ольда Орестовна хорошо знала всю семью. Отец Нины, подполковник, был убит в прошлом году на войне, брат уже на фронте, Нина осталась вдвоём с матерью.

Как будто что вселилось в неё, дающее силу неежедневную. Она уже сейчас тут, наперёд, высказывала, как выскажет Государю, что бунтует только

чернь, и надо скорей применить крутую власть! И прямо сейчас утром Нина бы выехала, к вечеру была бы в Могилёве. Курсы прекратились, все зовут помогать революции — вот бы и она! Но мама...

Ольда Орестовна была отзывно и укорно тронута. А — что же? а — да?.. А разве не так проповедывала и она: слаб по рождению? — усилим его нашей верностью?.. Но она брала Нину за руки и удерживала её, усаживала за стол, вливала чаю. Девушка была в таком взлёте, что не могло бы опустить её просто „нет" — надо было постепенно представить ей все трудности и невозможности.

Она же — видела этих распущенных солдат? Они же, наверное, и на вокзалах, они и в поездах,— как же можно ехать одинокой барышне, обидят! И — разные патрули будут её задерживать. И — в самом Могилёве. Но даже если доедет благополучно — кто же пустит её в Ставку? А к самому Государю — и никак не пустят! Почему можно надеяться, что он её выслушает? Так не бывает.

У Нины было к Государю почти личное. Когда-то отец её, кончая петергофскую стрелковую школу, представлялся царю. Там их была сотня офицеров, а за годы тысячи таких представлялись. Но вот в войну брат Нины, ещё тогда кадетик, разгружал раненых на псковском вокзале, подошёл царский поезд, Государь спросил фамилию и сразу: „А твой отец кончал петергофскую школу в таком-то году? Будь как твой отец". И мальчик заплакал. А сестра верила теперь, что и её узнает.

Ольда Орестовна сдвигала, сдвигала горы препятствий вокруг девушки — та гасла, никла. И заплакала, уронила голову на стол.

Убрела разбитая, мёртвая.

Жалко было Нину — но и презренно жалко саму себя. Что сама она, имея больше сил и ума, тоже не может ничего сделать. Что эти три дня? Только разговаривала со знакомыми по телефону да сокрушалась. Увлечь курсисток по пути и чувствам Нины? — не только было невозможно, а, позорно сказать: Ольда Орестовна боялась своих курсисток, собранных вместе, в массе, почти как этих развязных уличных солдат. На своём-то университетском месте она меньше всего могла и сделать. Да Бестужевские курсы и рассыпались вчера.

Стала сегодня звонить Маклакову. В самом центре вихря и с его проницательным взглядом, он должен вернее всех понимать ситуацию. С четвёртого раза нашла — не дома, не в Думе, а в министерстве юстиции. Устал, торопится, неловко и задерживать.

— Василий Алексеевич, но есть ли надежда, что вы удержите движение в руках?

— Стараемся. Надеемся. Поручиться, однако, нельзя.

Если и о н и не удерживают...

Да что ж за заклятое такое положение, когда никто — ни понимающий, ни сильный — никак не может отвратить роковой ход? Вот это она, стихия, самое неизученное в истории.

Силы порядка вне Петрограда — огромны, несравнимы со взбунтованным городом. Но уважая загадку стихии, но уже помня мгновенные параличи Девятьсот Пятого года — можно реально опасаться, что и силы порядка ничего не сумеют? Шестой день волнений, второй день настоящей революции — а что же Государь?

И это — при войне! При — войне!!

На Петербургской стороне вчера ничего не случалось, лишь вечером прорвало сюда. Сегодня же — разлилось. И Андозерская выходила по Каменноостровскому, сворачивала и на Большой.

Великие события, больно не вмещаясь в отдельное человеческое сознание, чаще всего, вероятно, и кажутся отвратительны.

Поражала даже не мгновенная распущенность солдат, но, при тысячах красных клочков, всеобщий слитно-радостный вид. В этой внезапно достигнутой всеобщности чудилась бесповоротность.

Хотя — как могла бы свершиться бесповоротность? Куда же в два дня могла бы деться вся сила вековой державы?

Стояла на краю тротуара, глядя на беснование разнузданных машин,— рядом высокая сухая дама с беличьей муфтой сказала тихо, как бы для себя, но и для соседки:

— Умирает Россия...

Отдалась в глаза и слёзная горечь её.

Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:

— Dum spiro, spero. Пока живу — надеюсь.

Но — сражена была её словом. Уходя прочь с этих улиц, где осуждающий вид, и без красного банта, были особенно заметны, горячо перекатывала в голове: крайне выражено. И — неверно! Но и — очень верно.

Действовать надо всегда до последнего. Но и: действовать терпеливо и неуклонно надо было гораздо-гораздо раньше, в эпохи мирные.

Дано было нам — триста лет.

И дано было нам — последних двенадцать лет.

И, значит, мы упустили их.

И наши сановники. И наши писатели. И наши епископы.

А уж сегодня — и вовсе их нет никого.

И что в этом безумии могла сделать Ольда Орестовна? Унизительно сидеть дома и узнавать по телефону о новостях.

К вечеру, однако, революция сама пришла в квартиру к Андозерской. Раздался одновременно резкий дверной звонок и резкий стук, значит в несколько рук. И едва горничная открыла, как, не спрашивая, а скорее толкая дверь, вошли несколько: два солдата, вооружённый рабочий — но и прапорщик, совсем с не зверским, открытым лицом, и даже весьма хорош собой.

Вошли — и дальше шли — и Ольда Орестовна вынуждена была поспешить, чтобы преградить им дорогу в комнаты. Все, конечно, были с красными бантами, и прапорщик тоже. И не снимали шапок.

— Чем я обязана? — спросила Андозерская ледяно, она и одета была не по-домашнему, а строго.— Почему вы входите без разрешения?

Все они были выше неё ростом — да кто не выше! — и настолько грубо сильней и уже в движении, даже странно, что она могла их задержать. Прапорщик с чуть закинутой головой спросил:

— Это не из вашей квартиры стреляли? Мы должны обыскать.

— Вы не имеете права,— с холодным возмущением совсем тихо сказала Андозерская.

— Революция не спрашивает права! — звонко ответил прапорщик, упоённый собой, своими обязанностями и звуком голоса.— Она его берёт. Из этого дома очевидно стреляли, и мы должны найти виновника. У вас прячется кто-нибудь?

Её холод и гнев не производили впечатления, оттенков её выражений как и не слышали. Уже обтекали её или оттесняли, пошли в гостиную, в столовую. Уже были сумерки, сами поворачивали выключатели, кто умел.

Андозерская не воскликнула пустого — „как вы смеете?", она уже видела, что сила их, а захотелось ей как-нибудь ударить этого заносчивого прапорщика, он единственный ещё стоял перед ней, и она спросила его снизу вверх, с презрением:

— Как же вы, офицер, и перешли на сторону бунтовщиков?

Нисколько это не ударило его, он даже с победной весёлостью ответил:

— Не бунтовщиков, а народа, мадам! Моё офицерское положение как раз и обязывает меня — помочь народу, а не быть с его давителями.

Но лицо у него было умное, и стоило ещё сказать ему:

— Давители, гасители — в истории этим слишком много бросались. Не будьте чрезмерно уверены, не пришлось бы вам когда-нибудь пожалеть об этих днях.

Стоило сказать, но его молодые уши ничего этого не слышали.

Прошли с ним кабинет. Прапорщик среди выставленных игрушек, безделушек, картин кажется серьёзно искал чего-то крупного — спрятанного человека или винтовки. И когда она заступила ему дверь в спальню, он сказал непреклонно:

— Разрешите. Я должен.

С отвращением впустила его.

И тут он тоже искал человека или винтовки, но не открывал шкафа и не заглядывал под кровать. А увидел на стене фотографический портрет Георгия в форме, который Ольда этой зимой увеличила с карточки.

— О! Этого полковника я знаю! — сказал.

— Не можете вы знать! — осадила Андозерская.

— Нет знаю! — веселовато настаивал прапорщик. Он очень легко держался, будто не вломился в дом, а был приглашён как гость.— Его фамилия — Воротынцев?

Андозерская обомлела. И почувствовала, что краснеет. Она презирала этого прапорщика, а он как будто застал её тут с Георгием — и странно, что ей стало как-то приятно.

— Это ваш муж? Вот встреча!

Дерзкий враг, но причастностью к Георгию стал как будто знакомый. И такое счастливое чувство, что назвал его мужем, не ожидала сама.

— Откуда вы его... ? — новым тоном спросила.— У него служили?

— Он — вывел нас, группу, из окружения в Восточной Пруссии. А где он сейчас?

— Вы много хотите знать,— потвердела она.

— Да нет, я что ж...— легко взмахнул он рукой.— Я только: если он будет противостоять революции и нам опять придётся с ним встретиться...

Вернулись в гостиную, где столпились обыскивающие.

— Ничего?

— Ничего.

— Пошли в следующую. До свиданья, мадам, извините.

Ушли.

Горничная кинулась ещё проверять. Как она с них глаз ни спускала, в столовой хотели серебро смахнуть в карман. Стала смотреть и Ольда Орестовна и обнаружила: в кабинете на столике пустой наклонный деревянный футлярчик — а часики с брелком исчезли из него.

Наверное и ещё что-нибудь.

Нюра бросилась догонять их в соседнюю квартиру.

„А где он сейчас?.."

Так поспешно, обрывисто уехал. Так плохо кончилось в этот приезд.

Продолжение следует

Владимир МАКСИМОВ

Макушка лета

Так вот она — макушка лета!
Глухая полночь. Лес притих.
И только в зарослях глухих
Пред ним —
Сиятельным рассветом,
Над спящей глубоко рекой
Как будто старый леший охал...
И я вздохнул:
Какой покой!
И ночь ответила мне вздохом.

Лодка

Над Волгой, безмолвно и кротко,
В тени тополей, за углом,
Лежнт позабытая лодка,
Темнея чешуйчатым дном.
Моторки взревели под вечер,
Зазывно всплеснула река —
Покажется вдруг человечьей
Той старенькой лодки тоска.
Отплавала гордо н смело,
Но в памяти встанут светло
И парус, и девушка в белом,
И мальчик, держаший весло...

Кукушка

Нв рассвете,
В раннем сннем саете,
Кликами сводя меня с ума,
Все грустит,
грустит она о детях,
Что чужим подкинула сама.
И теперь — теперь она рыдает...
Этот голос нз глубин лесных!
Нет, кукушка не лета считает,
А скликает кукушат своих.

Вдова

Она из дома выйдет рано
И, тихая, как детский сон,
Подслеповато чуть и странно
Глядит в лазурный небосклон.

Остался где-то во вчерашнем
Путь от невесты до вдовы...
Все тот же лес, все та же пашня,
И запах неба и трааы.

Зарубцевалась вроде рана.
Вздохнув, она сжимает рот,
И в дом дорожкой самотканой
Как будто в прошлое, войдет.

Нарежет хлеб, нальет из кринки
В стакан граненый молока.
Здесь все осталось по старинке:
Добротно, ладно — на века...



Удивленно, изумленно —
До чего ж знакомо! —
Слышу голос патефона
С ближнего балкона.
По пластинке давней-давней
Шарканье иголки...
Открывали, помню, ставни —
И неслась по Волге
Эта песня: «Ах, Самара...»
Замирали волны.
Где тот вечер в доме старом,
Ковшик браги полный?
Где ты — в платьице из шелка,
С запахом хвоинки?
...Слоано в сердце мне — иголка,
Та, что на пластинке!..

Александр
КРЕСТИНСКИЙ

ТРИЛИСТНИК — СЕРГЕЮ ДАВЫДОВУ

1.

Я твой «Суровый праздник»
купил сегодня в лавке,
Но в книгу вникнешь разве
в подземной душной давке?
Все друг на друге виснут,
и в, как все, вишу.
Согражданами стиснут,
пощады не прошу.
Вот справа жмет соседка,
а слева давит ёрник,
Кого-то кроет едко,
а я листаю сборник.
Претензий не имею —
чепниковый вагон.
И книжечку — старлею
кладу я на погон...
Но вот строкв задела,
засела, зацепила,
И в сердце зазвенела
ритмующая сила.
Не то вагон качает,
не то качает стих,
В качание включает
попутчиков моих...
С хрустящих тех страничек,
как бы со взлетных полос,
Свободный от кавычек,
слетал твой сиплый голос —
Как будто втиснул рядом
тяжелое плечо,
Повел шалавым взглядом
и дышишь горячо...

2. *Артист*

«Нам с музыкой-голубою...»
Осип Мандельштам

Артист Василь Васильевич
На свете белом жил.
Ты где, Василь Васильевич,
Голову сложил?

Где очи закатилися,
В какой, брат, стороне?
То ли на Васильевском,
То ли в Купчине?..

Тебя я помню прежнего,
Такого добряка,
В рубахе цвета нежного
Куриного желтка.

С женой да с иждивенцами,
Вразвалочку, с ленцой...
А голос был с коленцами,
С веселой хрипотцой.

Был голос как бы с трещиной,
Со свистом озорным.
Ох, нравился ты женщинам,
Певал, бывало, им...

Ни басом и ни тенором
Тебя не назовешь.
Ты был, Васильич, кенаром,
И этим был хорош.

Пусть время вопиющее
Змеюкою ползло —
Нас тешило поющее,
Клюющее тепло.

И детский пух на темечке,
И чуткий птичий сон...
Васильич, хочешь семечки?
Нам выдали талон.

3. *Ода старому городу*

О, проходные дворы,
Города потные поры!
Здесь молодые воры,
Старые воры.

Уши закладывал свист,
Сыпался карточный домик,
Пел а преисподней артист,
Шулер и комик.

Здесь ваш занюханный кров,
Здесь вы росли из асфальта,
Юные шмары дворов —
Райка и Файка!

Словно прилив и отлив,
Труб толстощекая медность.
Вот он — твой праздник в разлив,
Ушлая бедность!

Дул на Неве геликон,
А отзывалось на Пряжке.
Ревом приветствовал он
Файкины ляжки!

Щурил под кепочкой глаз
Вражеский Васинский остров.
Жалко, что ты не за нас,
Васинский отрок.

Все впереди — и стихов
Гул восходящий, вулканный,
И настоящих врагов
Говор чеканный.

Разум мой тверд и тверез,
И не закапает крантик.
Плачу давно уж без слез,
Старый романтик.

Пепел костра ворошу,
И на свиданне с нами,
С теми, иными, спешу
Вспять — проходными дворами.

Там, где с утра ни копья,
Там, где орел или решка,
Где проходная твоя
Черная пешка.



Трамвай, летящий в Стрельну
На крыльях золотых,
Тебя я снова встречу,
Но не среди живых.

Ты в ауре бездонной
Возникнешь близ меня,
Сумятицей вагонной
Бликуя и дразня.

Завидев деревеньку,
Ты сбросишь скоростя,
Вскочу я на ступеньку,
По-школьному свистя.

Та-ри-та, ра-та, та-та —
Послышится напев,
Играют два солдата,
На лавочку присев.

Гитара и гармошка
Победный славят год,
А позади бомбежка,
Обстрел и недолет...

А рядом два матроса,
Фасонные клеша,
И крутятся колеса,
И краля хороша.

На крале модный штапель...
— Солдатик, подыграй!
Плывет, плывет корабль,
И правит, правит в рай!



Пора учиться заново любви,
Азы ее упорно постигая.
О сердце, дар терпения яви,
Из атомов молекулы слагая!

Себя забыть! Забыть себя дотла,
В самоотдаче чтоб душа окрепла.
Я знаю, не отмыться добела,
Не возродиться заново из пепла.

Хотя б один-единственный рассвет
Внезапно встретить легкостью раздачи
Долгов старинных. Не отмыться, нет.
Омыть бы душу в горечи и плаче.

Юрий
СЛЕПУХИН

ЧАС МУЖЕСТВА

Роман

Глава 21

Командир полка, как Дежнев и предполагал, от его просьбы пришел в неистовую ярость. «Разлакомились, душа с тебя вон!! — орал он, наливаясь кровью.— Какие еще к боговой маме могут быть у офицера во время войны „личные дела"?! Да во время войны офицеру врага положено бить, а не жениться!» Гвардии капитан стоял навытяжку и преданно ел глазами начальство, дожидаясь, пока оно отбушует.

— Товарищ подполковник,— сказал он, улучив минуту,— одни сутки всего, а? Ну, на дорогу еще двое-трое суток, если с фельдсвязью получится — у редактора дивизионки знакомый в управлении воздушных перевозок — долететь до Москвы, а там с Ленинградом сообщение вполне уже нормальное, мне говорили, «Стрела» даже ходит...

— Все пять суток и наберутся, а если тем временем приказ выступить на передовую? Ты что, не видишь, что фронт на Будапешт пошел!

— Да не будет нам приказа, товарищ подполковник, мы же месяц из боев не вылезали, пополнение только сейчас начали принимать — куда нас теперь на передок? Да и догоню я в случае чего, маленький, что ли...

— Выходит, маленький, если ума хватило такой безобразный рапорт подать. Нашел, понимаешь, время! Хватит, и слушать тебя не хочу, вот кончится война — женись хоть на трех сразу, как татарин. А покудова делом надо заниматься, а не котовать!

— Пока война кончится, убить могут,— возразил Дежнев,— я ведь только из этих соображений. Ребенка жалко, товарищ подполковник, в случае чего останется безотцовщиной, та́к хоть фамилию мою мог бы носить...

— А вот об нем раньше надо было думать! — Прошин снова стал свирепеть.— Раньше, покуда не заделали! Ну, чего молчишь? Думал ты об нем раньше, когда блудил?

— Никак нет, товарищ подполковник!

— То-то, что нет. И ты не думал, и она не думала, мамаша новоиспеченная... У-у-у! — Прошин потряс кулаком.— Недаром я этого бабья в армии на дух не переношу... Знаю, зачем они сюда лезут, блудливые вертихвостки!

— Товарищ подполковник,— выговорил сквозь зубы Дежнев,— рапорт мой вы можете порвать, но оскорблять жену свою я вам запрещаю...

— Что-о-о?! Ты в своем уме, капитан? Как это ты мне запрещать что-то можешь, а? Хотел бы я увидеть, как ты запретишь своему командиру!

— Ну так увидите! — уже не помня себя, пообещал Дежнев, пальцами подбираясь к кобуре.— Скажите про нее еще слово, и увидите!

— Мальчишка! — взревел Прошин.— Ты на кого хвост задираешь, а? Хочешь, чтобы я автоматчиков сейчас вызвал? Ну, совсем очумел — за пистоль уже хватается, гляньте вы на него. Нале-во кру-гом! Уйди с глаз, котяра бешеный!..

Черт, все испортил, все, повторял про себя капитан, сбегая по лестнице. Хорошо, если закатает под арест, а то ведь и хуже может быть... Черт, как не удержался, надо же, сам все испортил! Строго говоря, конечно, в чем-то старик прав, можно было бы подождать до конца войны; можно было бы, но он чувствовал, что ему ждать нельзя. Боялся передумать, что ли? Нет, не то, не то... Паша написал — «трудная дилемма», а она, в общем-то, не такой уж трудной и оказалась — да какая тут вообще «дилемма», есть, что ли, другой выход? Ну, допустим, сделал бы вид, что не было этого письма, что он ничего не знает, ни о чем не догадывается,— и что же? Дождаться конца войны, разыскать Таню, жениться — и жить-поживать, добра наживать? Зная, что где-то мыкается Елена с его сыном (он почему-то уверил себя, что сын),— черт, да этого же врагу своему не пожелаешь, не то что себе...

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 6, 7.

...Можно, конечно, послать ей заверенное полковой печатью заявление в загс — вроде бы кто-то говорил, что есть сейчас и такая форма регистрации брака. Но ведь она, получивши такую бумагу без всяких объяснений, попросту ее порвет; а объяснять... нет, нечего и думать, письма у него никогда не получались, тем более, когда дело такое тонкое. Что тут напишешь? Она, ясное дело, боится, чтоб он не подумал, что ребенком этим захотела его поймать; это как дважды два, иначе не скрывала бы. Как напишешь, чтобы она поняла правильно? Не выйдет, и думать нечего, здесь надо приехать и поговорить. И то, можно сказать заранее, не сразу еще и согласится. Если согласится вообще. Да нет, вообще-то должна, это ведь не только ее личное дело. Можно подумать, его это не касается! А ребенок? О ребенке она думает? Его вдруг обожгло: а сам-то он думает — о Тане? Не о себе, оказавшемся перед таким выбором, а о ней; ведь это и Танина судьба сейчас решается, а не только его собственная, Елены и ребенка. Чем вся эта история обернется для Тани? «У-у, кобель»,— простонал он.

На квартиру Дежнев вернулся почти уверенный, что за ним уже пришли. Федюничев сказал, однако, что нет, никто не приходил.

В этот день так и не пришли, а утром прибежал писарек из полковой канцелярии — сказал, чтобы приходил за отпускным свидетельством и проездными документами.

На третьем этаже он сразу увидел дверь с литой медной табличкой «№ 8» и, уже не помедлив, позвонил. Открыли не сразу, вышла, опираясь на палку немолодая полная женщина, глянула на него вопросительно.

— Я извиняюсь,— Дежнев приложил пальцы к козырьку,— Сорокина Елена не здесь проживает?

— Здесь, где же ей еще проживать,— женщина посторонилась, пропуская его в квартиру, он вошел, снял фуражку, сбросил с плеча вещмешок.

— Раздевайтесь, шинель вот сюда можно... и проходите пока на кухню, сейчас она выйдет...

Дежнев, ступая почему-то осторожно, словно разбудить кого-то боялся, вошел в кухню. Над плитой висели пеленки, он ухмыльнулся, глядя на них, и почувствовал себя увереннее: в этих тряпочках была какая-то самоутверждающаяся реальность, зримое и осязаемое доказательство правильности принятого им решения. Он даже протянул было руку — потрогать, убедиться,— но в коридоре послышались быстрые шаги, Дежнев обернулся и увидел Елену.

Она так изменилась, что он даже не узнал ее в первый миг — вместо привычной гимнастерки на ней было темное бумазейное платьице какого-то детдомовского вида, оно и уродовало ее, и в то же время молодило, делало непохожей на взрослую женщину, вдову и мать. Она сильно похудела, он сейчас впервые обратил внимание, какие у нее большие глаза, и глаза эти смотрели на него с каким-то недоверчивым недоумением, почти испугом.

— Здравствуйте, Сережа,— сказала она негромко.— Какими судьбами? Вы что — после ранения?

— Типун тебе на язык! Привет, Лен. А чего это ты на «вы» вдруг со мной, а? Вернулась в свой Питер и сразу стала гранд-дамой, ты бы еще реверанс сделала, сержант Сорокина! Ну, ты учудила — затаилась, в подполье ушла, я такие новости должен от других узнавать...

— От кого? — спросила она настороженно.

— Слухом земля полнится...

Он говорил что-то не то и не так, и сам понимал это, но не находил других, нужных и правильных в этой ситуации слов. Он не продумал заранее этого разговора — несколько раз пытался еще в пути, но ничего не получалось, и тогда он вообще перестал пытаться, положившись на авось: ладно, начнем говорить, а там само получится... Но «само» не получалось, слов не было, и не было их потому, что не было четких мыслей, которые должны были этими словами выразиться. Ни четких мыслей, ни определенного чувства, кроме, пожалуй, одного — ясного ощущения, что иначе поступить не может и не должен. Именно потому не может, что не должен. Но как об этом сказать?

— Ну как, входишь в роль мамаши? — спросил он и снова запоздало сообразил, что вопрос дурацкий, его можно было бы задать женщине, которая только что обзавелась первым ребенком; окончательно смешавшись, он пальцем указал на пеленки над плитой: — Твое хозяйство?

— Мое, чье же еще.

— Показала бы, раз уж не удалось в тайне сохранить.

— Покажу, конечно, только он спит сейчас.

— Он, ты сказала? Пацан, что ли?

Она кивнула, слабо улыбнувшись.

— Совсем здорово! — воскликнул он искренне, действительно испытав вдруг неожиданную радость от мысли, что у него появился сын.— Нет, я не в том смысле, что

девчонки хуже, но — сама понимаешь, это все-таки по-другому как-то... Для отца, я хочу сказать.

— Наверное,— согласилась Елена.

— А ты сама кого больше хотела?

— Мальчика.

— Видишь, значит, и для матери тоже!

— Нет, дело не в этом...

— Ну пойдем, все-таки, посмотрю на него. Не разбудим, не бойся! Как назвала-то?

— Богданом...

— Ну-у! — Дежнев изумился.— В честь Хмельницкого, что ли? А, ничего, я его Борькой звать буду!

Богдан, он же Борька, спал на большой кровати в гнезде, устроенном из книг и скатанного валиком одеяла. Лицо его удивило капитана Дежнева размерами — не больше кулака — и хмурым выражением, словно младенец был уже чем-то озабочен или недоволен. Сначала он показался ему некрасивым, но потом капитан нашел, что сын не так плох. Особенно, когда разглядел крошечную родинку возле угла брюзгливо поджатого ротика; оглянувшись, он подошел к зеркальному шифоньеру и поглядел на себя — выставив подбородок и скривив губы, как делал, когда брился.

— Точно! — объявил он очень довольным тоном.— На том же месте, только у меня справа, а у него слева.

— У тебя тоже слева,— сказала Елена.

— Ну как же,— он поднял руку, чтобы удостовериться, и рассмеялся.— Ну ясно — зеркальное отражение, а я не сообразил!

— Тише, разбудишь...

— Да, да,— он понизил голос до шепота: — А потрогать его можно?

— Потом, когда проснется. Идем пока...— Они вышли, Елена осторожно прикрыла дверь и без улыбки глянула на Дежнева.— Но ты как все-таки сюда вырвался, командировка какая-нибудь? Надолго?

— Завтрашний день смогу еще пробыть. Отпуск мне дали, представляешь? Сначала, конечно, Носорог ни в какую, потом вдруг сменил гнев на милость. Вообще-то он хороший мужик. Тут, главное, еще и обстоятельства так сложились удачно — мы ведь сейчас на отдыхе, в армейских тылах околачиваемся, а иначе и заикнуться было бы нельзя. С передка кого же отпустят! Но вообще, расскажи — не поверят, чтобы офицеру могли дать отпуск по такой причине...

— По какой?

— Я думал, ты и сама поняла! Я ведь расписаться с тобой приехал.

— Расписаться — со мной? — ошеломленно спросила Елена.— Как тебе это вообще в голову могло прийти?

— Да очень просто! По-моему, этот товарищ,— Дежнев кивнул на дверь,— все уже за нас решил. Разве не так?

— Кроме него, есть еще и я! Наверное, все-таки сначала надо было меня спросить...

— Когда? Я узнал-то обо всем этом неделю назад! И как было спросить, если ты адреса не оставила? Ну хорошо, спрашиваю сейчас! Или — так, наверное, будет правильнее — предлагаю тебе руку и сердце!

— Спасибо, Сережа,— тихо сказала Елена,— но не надо об этом. Я вообще не хотела, чтобы ты знал про Данечку... Хотя, наверное, была не права. И раз уж так получилось, то оно и к лучшему. Если со мной что случится, обещай мне не оставить его. А насчет брака — не надо, несерьезно это, ты сам должен видеть...

— Почему несерьезно? Несерьезно бывает, когда встретились, приглянулись друг другу — и давай в загс. Вот это действительно может оказаться несерьезно. А нас с тобой такое связало, что уж серьезнее не бывает.

— Нас с тобой, Сережа, связал случай.

— Допустим,— согласился он.— Назови так, если хочешь. Только от «случаев» вся наша жизнь зависит, кто же на фронте этого не знает? Вон, Паша Игнатьев если бы не оказался случайно на улице, когда этот псих...

Он осекся, вспомнив вдруг, что решил не говорить ей пока о гибели Игнатьева; но было уже поздно, она не пропустила сказанного мимо ушей.

— А что такое? — спросила она встревоженно.— С ним что-нибудь...

— Убили его. Не хотел тебе сегодня говорить, да что уж там...

Елена вся как-то сжалась, опустила лицо в ладони.

— Господи,— проговорила она глухо,— еще и он... Как будто последнюю ниточку оборвало... Когда это случилось?

— Неделю назад. Он легко умер, сразу.

Она долго молчала, потом спросила, не поднимая головы:

— Это ты от него узнал... про меня?

— Да. Он... письмо оставил с твоим адресом. В штабе оставил на мое имя, на случай если убьют. Как предчувствовал.

— Господи, бедный Димка — только нашелся, и уже сирота...

— Там вроде есть кто-то?

— Да, родственница есть, но тетка ведь отца не заменит...

— Правильно,— сказал Дежнев.— Сама понимаешь, что без отца мальчишке нельзя.

Елена сидела, как оглушенная всем свалившимся на нее внезапно, обвалом. И это странное сватовство, и известие о гибели Павла Дмитриевича, все сразу... Чужой, в сущности, человек, ну просто хороший знакомый, Мишин приятель,— но почему-то смерть его действительно воспринялась сейчас ею как окончательный разрыв последней, призрачной хотя бы, связи с прошлым. Не стало последнего человека, который бывал в этом доме, когда все были еще живы, который помнил их довоенную жизнь, с которым у нее было столько общих воспоминаний... Не стало человека, на чью поддержку она могла бы рассчитывать после войны. Об этом она тоже подумала, не могла не подумать. Ведь когда Мишу убили, он сам об этом написал: всегда, что бы ни случилось, она может рассчитывать на него, пока он жив...

И еще ей подумалось, что после войны, возможно, Павел Дмитриевич сделал бы ей предложение. Она нравилась ему, чувствовала безошибочным женским чутьем, что нравится, хотя сам он ни разу не выдал себя ни малейшим намеком. Она была почти уверена, что он и к появлению Данечки отнесся бы с пониманием. Но даже если бы и осудил ее за второго ребенка и отказался от мысли о женитьбе, то все равно остался бы другом — в этом Елена не сомневалась. Думая о том, как жить дальше, как растить ребенка после войны, она нередко ловила себя на успокоительной мысли, что, если окажется очень уж трудно, всегда где-то неподалеку будет Павел Дмитриевич Игнатьев...

А теперь — вдруг — вот этот, совсем другой вариант. Она, прикусив губы, вскользь глянула на Дежнева, тот сидел согнувшись, опираясь локтями на колени, хмуро разглядывая носок сапога. Хороший, честный человек. Человек долга: узнав о своем отцовстве, тут же является с предложением руки и сердца. Впрочем, о «сердце» мог бы не говорить, это уж просто вырвалось привычным словосочетанием; и хорошо, что ограничился таким избитым штампом, не стал кривить душой, подыскивать другие, вымученные слова, которые прозвучали бы неправдой. Сказал ясно и четко: без отца мальчишке нельзя, в этом все дело.

Осознав вдруг, что рассматривает полученное предложение лишь в свете практической для себя пользы на будущее, Елена испытала острый укол стыда. Но как иначе можно его рассматривать? Ведь не любит же она этого человека! Не любит и никогда не любила, относится с симпатией — да, с доверием — несомненно; он ей не неприятен, иначе не случилось бы того, что случилось. Но чтобы выйти замуж? — нет, нет...

А собственно, почему так уж определенно «нет» — тем более, что речь идет об отце твоего ребенка. Девять женщин из десяти (если не девяносто девять из ста) сказали бы: дура, чего тут раздумывать. Но как же не раздумывать, если он-то ее тоже не любит, а делает это из чувства долга — не к ней даже, а к ребенку. Она в данном случае просто привесок. Наверное, будь это возможно, обошелся бы усыновлением, но ведь не оторвешь ребенка от матери...

Предложение, в сущности, унизительное, она это понимает. Как понимает и то, что придется, наверное, его принять. Не ради себя — ради ребенка. Какой, однако, странный закон тут действует: один раз ошибешься, преступишь,— и зло идет кругами, все расширяясь и расширяясь. Круг за кругом. Погубила Мишеньку, погубила стариков, теперь сломает жизнь еще двоим... Наверное, сломает, ну или испортит, во всяком случае. Если та девушка — как её, Таня? — если она жива, если уцелеет и вернется после войны... Ведь Сергей ее любит, она это поняла в тот вечер в Энске. Любит, хотя и поверил отчасти тому, что о ней услышал. Не мог не поверить, она ведь осталась с немцами — разве этого не достаточно? На каждом политзанятии твердят, вдалбливают в голову — не доверять побывавшим в плену, в оккупации, в окружении, все они или уже предали, или готовы предать в любой момент (достаточно наслушалась этих призывов к бдительности, когда работала в дивизионной газете)... Сергей, наверное, потому и остался с ней в ту ночь. Чтобы заглушить главное, чтобы не думать. Ему просто не справиться было с этим подсознательным конфликтом — между любовью и готовностью допустить виновность любимой. Теперь из-за этого жениться на нелюбимой, на случайной. А она — случайная, ненужная — не может отказаться, потому что дело не в ней, не в ее женском самолюбии, дело в Данечке, которого она действительно не имеет права оставить без отца...

Дежнев тем временем продолжал ругать себя за то, что не сумел правильно повести разговор, все сказал не так. Теперь она, наверное, прогонит его, и будет права. Чтобы не сидел тут и не молчал. Жених нашелся! Но что он мог сказать — «Лена, я тебя люблю, давай поженимся, не могу без тебя»? Нет, зачем врать, он ее не любил. Жалел — да; у него сейчас сердце сжималось от жалости, когда он смотрел на нее, такую неухоженную и усталую на вид, в этом приютском платье, когда представлял себе ее трудную

одинокую жизнь. Хотя, конечно, если судить беспристрастно, жалость эта отчасти и надумана. Все-таки она с мальчонкой, значит, не так уж одинока, находится в тылу живая и здоровая, руки-ноги на месте, а что до трудностей — так кому теперь легко?

Но судить совсем беспристрастно он тоже не мог, это ведь мать его сына! Вроде бы уже что-то свое, родное. Поэтому и приехал — закрепить, узаконить это родство, иначе зачем бы... Только вот ей, похоже, не очень-то это надо. Другая бы обрадовалась. Но Елена не «другая», и это хорошо, что она не такая, как другие. Об этом он тоже думал с того момента, как узнал, и это помогло его решению. Но что его решение? Теперь решать ей. Он поймал себя вдруг на мысли, что втайне надеется на отказ. Все может еще обойтись; вдруг она скажет, что у нее кто-то есть, что этот «кто-то» готов взять ее и с ребенком,— тогда все останется по-старому, можно будет опять думать о Тане. Он запретил себе думать о ней в тот день, когда прочитал Пашино письмо, думать и вспоминать о ней стало нельзя, он просто не смог бы ничего решить. А решать было надо. С какой стороны ни глянуть, он не видел возможности уйти от этого выбора. Да, умеет судьба подшутить, ничего не скажешь. Мог ли он представить себе еще год назад, что вот так — добровольно, никем не понуждаемый...

— Что же ты молчишь? — спросил он охрипшим голосом.— А, Лен? Понимаешь ведь, что иначе нам нельзя...

— Я не знаю, Сережа,— отозвалась она не сразу.— У меня нет уверенности, что это выход.

— А в чем можно быть уверенным во время войны? Будешь ли завтра жив, и то неизвестно. Я ведь еще и из этих соображений — Борька ведь, в случае чего, даже без фамилии отцовской окажется... Я уж не говорю про пенсию, о таких вещах тоже приходится думать.

— Не надо сейчас «о таких вещах»,— попросила Елена,— ни думать не надо, ни говорить, ты не представляешь, какой я последнее время стала суеверной...

— Да это не ты одна. А говорить и думать приходится,— повторил он,— и тебе в первую очередь, если ты мать. Дело-то в нем, понимаешь, не в нас с тобой...

Елена горько усмехнулась. «Если ты мать»! Риторический оборот речи, употребленный им, наверное, безо всякой задней мысли прозвучал безжалостным напоминанием. В тот раз она матерью стать не сумела, провалилась страшно и преступно, пожертвовав ребенком в угоду своему личному, не материнскому — женскому... Если ты мать — откажись от всего своего, забудь, что у тебя в жизни может быть что-то другое, кроме интересов ребенка. Все правильно: дело не в нас, не в наших чувствах. Что чувства! Однажды она им поддалась, закрыла глаза на все, лишь бы поступить так, как звало сердце. Богдану, конечно же, нужен будет отец — или хотя бы память об отце, если война не пощадит и его. Нужен, чего же тут не понять. Если бы еще можно было и почувствовать!

Глава 22

Вскоре после Нового года Ридель пришел с новостью: кому-то надо возвращаться в Дрезден.

— Боюсь показаться свиньей и эгоистом,— сказал он,— но все-таки, наверное, ехать лучше мне.

— При чем тут свинство и эгоизм? — возразил Болховитинов.— Мне уезжать отсюда нельзя, и ты знаешь почему.

— Именно об этом я и подумал. Хотя, конечно, оставлять тебя здесь в канун большого наступления союзников мне не хотелось бы. Дрезден сейчас, похоже, единственное безопасное место во всей Германии, и я невольно чувствую себя дерьмом, которое удирает в тыл, бросив товарища в окопе.

— Не говори ерунды, какой тут «окоп»! Русские дойдут до Дрездена раньше, чем англичане до Калькара. Я вообще не верю, что они когда-нибудь начнут наступать.

— Увидишь, начнут, и начнут именно из-за русских,— сказал Ридель.— Ясно, воевать они не рвались, но сейчас подходит время делить пирог, который называется «Германия»; пирог, правда, с душком, довольно червивый, но это уж какой есть. Надо подобрать тебе какое-нибудь занятие, которое бы тебя как-то легализовало здесь на ближайшее время, но при этом держало не слишком на виду. Я что-нибудь придумаю...

Когда Ридель обещал «что-нибудь придумать», он обычно придумывал. Так было и на этот раз — Болховитинов получил предписание возглавить некую «ремонтно-восстановительную команду», возлагавшее на него ответственность за исправное состояние шоссейных дорог и мостов в западной части административного округа Клеве.

Сначала Болховитинов решил, что речь идет о синекуре, поскольку дороги в округе были хорошие, асфальтированные и обсаженные старыми ивами, а «мосты» представляли собой обычные бетонные мостики — там через узкий канал, там через ручей; поддерживать все это в исправном состоянии не требовало, казалось бы, вообще никаких усилий — разве что время от времени освежать белую предупреждающую окраску на стволах придорожных ив.

Это оказалось не совсем так. После Арденнского сражения штурмовая авиация союзников начала свирепствовать во всей прифронтовой полосе. «Мустанги» осами крутились в воздухе с раннего утра до заката, действуя в режиме свободной охоты; стоило показаться на шоссе грузовой или даже легковой машине, как тут же охотник ястребом кидался вниз, расстреливал свою добычу из пулеметов и для верности высыпал серию легких бомб. Воронки от них получались мелкие, диаметром в метр, но поскольку бомбы ложились прямо вдоль шоссе, то дорожное покрытие оказывалось исковырянным на большом протяжении. Вот тут-то и должна была оперативно действовать ремонтно-восстановительная команда.

«Мустангов» было много, а команда — одна, и состояла она из шести стариков на велосипедах и запряженной старым гнедым мерином фуры со щебнем. Болховитинов, в своей черно-коричневой форме тодтовца, ехал обычно на фуре рядом с ездовым — велосипеда у него не было. Найдя поврежденный участок шоссе, старики доставали с фуры совковые лопаты и трамбовки, не спеша забивали щебнем каждую воронку и трогались дальше.

Болховитинов чувствовал, что начинает уже дуреть от всего этого — от бесцельной работы, от бессмысленной отчетности, требующей ежедневных рапортов с указанием числа и местонахождения засыпанных воронок, количества затраченного труда в человеко-часах, количества использованного материала (щебня) в кубометрах; а главное — от бесплодного ожидания новостей. Ежедневно звонил в Калькар, но у Анны никаких сведений не было, голландка больше не появлялась — да и как она могла появиться? Фронт, такой неопределенный в сентябре, за это время стабилизировался, оброс заграждениями, проникнуть на ту сторону было теперь практически невозможно.

В один из последних дней января, поздно вечером к Болховитинову пришел незнакомый парень и с голландским акцентом объявил, что зовут его Яан и что он от Виллема.

— А... что с девушкой? — решился спросить Болховитинов, отбросив осторожность.— Вы ведь с той стороны?

— Никакой девушки я не знаю,— сказал Яан, не отвечая на второй вопрос.— Виллем говорит, что вам можно доверять. Это так?

— Ну... надеюсь! Хотел бы, во всяком случае, чтобы доверяли.

— Хорошо. Вы здесь занимаетесь дорогами?

— Латаю дырки, да. Медленнее, чем их делают.

Парень достал из-за пазухи и развернул на столе потрепанный лист крупномасштабной карты, изданной (как можно было понять из надпечатки в углу) картографическим управлением Нидерландской королевской армии.

— Посмотрите сюда,— сказал он.— Через неделю... карандаш есть? Спасибо. Через неделю вот в этих местах — смотрите... здесь... здесь... и здесь, видите? — дороги должны стать непроезжими.

— Каким образом?

— Здесь мосты, смотрите.

— Какие это мосты? Обычные мостики через канавы!

— Не совсем канавы — четыре, пять метров ширины, глубина до полутора. Если мосты уничтожить...

— То можно объехать стороной, это не проблема.

— Объехать сможет только гусеничная машина, но не колесная. Здесь будет все затоплено.

— Затоплено?

— Да, это нетрудно сделать — шлюзы. А по затопленному грунту не пройдет даже гусеничный транспорт.

Болховитинов подумал, пожал плечами.

— Ну, допустим.

— Я же сказал. Вам все передадут, сумеете заложить заряды?

— Никогда этим не занимался, хотя у нас был специальный курс подрывных работ. Но попытаюсь, если надо.

— Нет, «пытаться» нельзя. Надо сделать. Тогда придется так...

Утром мальчишка из усадьбы, где была реквизирована фура с гнедым мерином, как обычно, в восемь часов привел упряжку к дому, где квартировал Болховитинов. Один за другим стали подъезжать на велосипедах и старики.

— Господа, у меня для вас хорошая новость,— объявил он, когда все пятеро были в сборе.— Записываю вам полный рабочий день, и можете быть свободны. Мне тут надо съездить, кое-что привезти, так что вы мне сегодня не понадобитесь.

Старики обрадованно зашушукались — погода была собачья, ранняя весна пришла на Нижний Рейн дождями, ледяными ветрами с побережья, пронизывающий холод ощущался сильнее, чем в декабре при минусовой температуре. Питер, бывший в

команде за старшого, спросил, не разгрузить ли фуру — в ней оставалось еще полкузова щебня — и не понадобится ли господину инженеру кто-нибудь на подмогу, чтобы разгрузить-погрузить.

— Нет, там все сделают,— ответил Болховитинов.— И щебень пусть останется, к чему завтра делать лишнюю работу — грузить его обратно. Я ничего громоздкого везти не буду, места хватит.

Старики, довольные, разъехались. Болховитинов забрался на козлы, поднял воротник шинели, поглубже натянул на уши отвороты форменного кепи.

— Н-но! — крикнул он, шевельнув вожжами, и тронул хворостиной массивный гнедой круп.— Пошел, холера!

Через полчаса он подъехал к обычной с виду крестьянской усадьбе из небогатых. В воротах, скособочившись и посасывая трубочку, стоял человек; завидев упряжку, он поднял руку, показал жестом — заезжать, и сам похромал в ворота. Болховитинов заехал, вошел в дом, его провели в жарко натопленную кухню. Ян сидел у стола.

— Привет,— сказал он.— Холодно?

— Собачья погода.

— Это хорошо, меньше шансов встретить какого-нибудь знакомого...

Тем временем подъехало еще трое на велосипедах, на этих тоже была обычная для здешних мест рабочая одежда — деревянные сабо, какие-нибудь толстые брюки в заплатах, вылинявшая от стирок синяя саржевая куртка, надетая поверх свитера, пестроклетчатый шарф вокруг шеи, а на голове — кепка или потерявшая форму шляпа. Выехав за ворота, Болховитинов оглянулся на велосипедистов и подумал, что сейчас никто, встретив команду дорожников, не заметил бы перемен в ее личном составе.

За весь день, впрочем, никто из знакомых им не встретился. Чтобы не вызвать подозрений, они засыпали несколько небольших воронок по пути к первому из обозначенных на схеме мест; у мостика Ян попросил остановиться, Болховитинов натянул вожжи и крикнул «хальт», реагировать на русское «тпру» мерин упрямо отказывался. Сзади захрустела разгребаемая щебенка, потом двое полезли под мост с каким-то свертком и возились там минут двадцать, звякая и постукивая.

— Вот и готово,— сказал Ян,— осталось еще три.

Болховитинов скептически хмыкнул.

— И вы думаете, это чему-то поможет?

— Что значит — поможет? Вызовет задержку, хотя бы на пару часов. Иногда и один час играет роль.

На ферму кривобокого вернулись уже в сумерках. Ян предложил зайти поужинать — это было кстати, Болховитинов так замерз, что у него уже зуб на зуб не попадал. В той же кухне молчаливая неприветливая женщина подала им пивной суп, картофель с кровяной колбасой и подливкой из красной капусты; Ян выставил глиняную бутыль.

— Я вот о чем подумал,— сказал Болховитинов, когда выпили по второй.— Ян, когда все это взлетит на воздух — немцы сразу сделают мне капут, а ведь отвечаю за состояние дорог...

— Конечно, сделают,— согласился Ян.— Но мы постараемся заранее вас предупредить.

— И что тогда?

— Спрячетесь где-нибудь.

— Где, конкретно, я могу спрятаться? И за кого себя выдать? Я ведь даже не говорю на платт-дойч.

— Что-нибудь придумаем,— пообещал Ян.— Вы пока не собираетесь никуда отлучаться?

— Нет, никуда.

— Вот и хорошо. Вам тогда скажут.

— Хорошо бы не забыли,— с сомнением сказал Болховитинов. Все это, конечно, очень осложняло положение. Его спрячут, а Таня будет думать, что он здесь, так ведь и потерять друг друга недолго...— Скажите, вы не знаете, где живет мать Виллема?

— Зачем она вам?

— В сентябре я отправил туда одну девушку, ее надо было спрятать. Если бы можно было потом как-то с ней связаться, просто сообщить, что со мной...

— Если будет возможность — сообщим.

Прошло еще четыре дня. Болховитинов со своей командой таскался по дорогам, засыпал свежие выбоины и воронки, хотя теперь эта работа потеряла вообще всякий смысл — в Голландию, на Арнем, каждую ночь проходили танки, и покрытие размолотило до такой степени, что асфальт отлетал целыми пластами — особенно на поворотах шоссе.

Пятый день пришелся на воскресенье. Накануне старики жаловались, что давно уже не имели выходных, даже в кирху сходить не удается, и он дал им день отдыха. Утром — он еще был в постели — в дверь постучали. Отворив, он увидел давешнюю неприветливую женщину, что кормила их на ферме.

— Меня Ян послал,— сказала она, глядя в сторону.— Велел сказать, чтобы к вечеру были готовы.

— Сегодня вечером?

— Ага, как стемнеет...

Одеваясь и укладывая в чемоданчик свои пожитки, он торопился, как будто времени оставалось в обрез, лишь потом спохватился — впереди-то целый день! Он позавтракал, сходил на почту и позвонил в Калькар сказать, что уезжает по делам службы и неизвестно, надолго ли; от Тани никаких вестей не было.

— Анечка,— сказал Болховитинов,— вы-то сами никуда не собираетесь?

— Да что вы, Кирилл Андреич, куда ж мы можем собраться?

— Ну, а если фронт приблизится?

— Тю,— жизнерадостно воскликнула Анна,— да что нам этот фронт! Не-е, мы тут будем. При немцах жили, а уж при англичанах подавно проживем.

— Таня после этого может дать о себе знать. Если меня еще не будет, скажите, чтобы ждала у вас. Понимаете? Пусть без меня никуда не трогается.

Анна заверила, что никуда ее не отпустит. Отчасти успокоенный на этот счет, Болховитинов вернулся домой. Время тянулось медленно. Вечером, уже в сумерках, возник кривобокий — влез в дверь без стука и, ухмыляясь, поманил пальцем.

В легкой рессорной одноколке они долго ехали узкими проселочными дорогами, между огороженными туго натянутой проволокой выпасами — «вайдами». Наконец завернули в ворота нежилой на вид усадьбы, кривобокий взял чемодан Болховитинова и, посвечивая фонариком, повел его в кромешной тьме куда-то вверх по скрипучей лестнице; потом отворил дверь, пошарил рукой по стене. Тусклая пятнадцативаттная лампочка осветила крошечную чердачную каморку — перекосившаяся железная койка с соломенным тюфяком, столик, стул с плетеным из камыша сиденьем. Кривобокий бросил на койку чемодан, выставил кверху большой палец и одобрительно перекосил рожу — убежище, мол, первый сорт, надежнее не бывает!

Утром Болховитинов обнаружил в доме двух полуглухих стариков, которые кормили его на кухне, но явно ничего не понимали, когда он пытался заговорить. Да, подумал он, тут и спятить недолго, если прожить недельку-другую; неужто британцы так и не раскачаются?

Опасения оказались напрасными. На третью ночь его разбудил дикий грохот — врезанное в скошенный потолок его чердачной каморки окно светилось красным, он вскочил, поднял раму и высунулся. Впереди (расстояние трудно было определить) разгорался огромный пожар, ослепительными вспышками полыхали разрывы, а прямо над пожарищем — совсем низко, как ему показалось, чуть ли не на бреющем полете — пронесся с чудовищным ревом четырехмоторный бомбардировщик. Огненно освещенный снизу, он казался горящим, Болховитинов так и подумал — сбит, падает, но за ним пролетел еще один, и еще, и еще; оказывается, они просто бомбили что-то с малой высоты, он еще в жизни такого не видал, чтобы эти громадные «ланкастеры» действовали как самолеты тактической авиации. Но удивляться было некогда, он опрометью кинулся вниз по лестнице — чем черт не шутит, если вторая волна заберет чуть правее...

Старики уже сидели в погребе, с опаской поглядывая на потолок. Вверху что-то трещало, сыпалась пыль. Спрятали, называется, подумал Болховитинов. Бомбежка, впрочем, скоро прекратилась, стало тихо. Он собрался уже было выбраться наружу и полюбопытствовать, что там делается, как вдруг где-то неподалеку часто забухала скорострельная пушка. Похоже, что зенитка, но самолетов не было слышно, по ком же она стреляет? И звук был странный, что-то напоминал — потом Болховитинов сообразил: у французов в сороковом были такие автоматические «бофорсы» шведского производства. Похоже, да. Но у немцев он их не видел...

Постреляв, загадочная пушка умолкла, потом заработала снова — «ду-ду-ду-ду-ду», но уже дальше, видимо, сменила позицию. На самоходном лафете, вероятно, но знать бы — чья... Вся эта кутерьма продолжалась довольно долго, к сожалению, он забыл наверху свои часы. Стреляли, потом мимо дома с шумом прошли какие-то машины — шум тоже был непривычный, непохожий на звук двигателей немецких грузовиков, на танки тоже было непохоже, те ревут громче. Стало тихо. Старики, сморенные ночными страхами, уже спали, Болховитинов тоже стал дремать, сидя на ящике с картофелем. Наверху послышались голоса, он вскочил, прислушиваясь. Дверь в погреб распахнулась, вниз ударил ослепительный луч света, лестница тяжело заскрипела под чьими-то настороженными шагами. В луче фонаря угрожающе высунулся вороненый ствол автомата в круглом дырчатом кожухе — у немцев таких не было.

Подвал освещался ацетиленовым велосипедным фонариком, но карбид был на исходе, горелка едва светила, и разглядеть вошедшего было нельзя — тем более, что его фонарь сразу ослепил Болховитинова. Обладатель фонаря спросил что-то, явно не по-немецки; Болховитинов порылся в памяти и сказал:

— No Germans here, I mean — no soldiers, civilians only!

Англичанин ответил невнятным междометием, обвел лучом все углы, осветив проснувшихся стариков, потом подошел к Болховитинову вплотную и что-то скомандовал, ткнув стволом ему в живот.

— Please,— светским тоном сказал Болховитинов, и поднял руки. Обыскав его, англичанин буркнул еще что-то и стал подниматься по лестнице.

Выждав еще несколько минут, Болховитинов тоже вылез из подвала. На дворе было свежее весеннее утро, пахнущее дождем и гарью. Перед домом, въехав прямо на газон, стояли три маленькие открытые танкетки. солдаты в обмундировании цвета хаки и плоских шлемах, обтянутых маскировочными сетками, вносили в дом какие-то ящики, оружие, ранцы с пристегнутыми скатками одеял; у крыльца присел на сошках ручной пулемет, его торчащий вверх, изогнутый магазин походил на собачий хвост. Двое солдат, стоя в кузове танкетки, рылись в поклаже, один брился, пристроив зеркальце на борту. У некоторых поверх коротких, вроде лыжных, курточек были надеты коричневые кожаные безрукавки. Подкатил с треском мотоциклист в такой же кожанке, но на нем были бриджи, высокие, шнурованные до колен ботинки и шлем другой формы, поглубже. Спросив что-то, он махнул рукой и, круто развернувшись, умчался к шоссе, по которому вереницей шли десантные амфибии.

Вот и дождались, подумал Болховитинов. Он вошел в дом — солдаты, занятые на кухне стряпней, не обратили на него никакого внимания — поднялся к себе в мансарду. В чемодане, похоже, рылись, оставленные на столе часы исчезли. Часов было жаль — подарок отца. Как это сказала Анна? — жили при немцах, как-нибудь проживем и при англичанах. Он усмехнулся, посмотрел на календарь: было восьмое февраля, четверг.

Глава 23

В первые два дня англичане забрали и увезли нескольких немцев-военнослужащих, оказавшихся в деревушке, на остальных же мужчин — в гражданском — не обращали никакого внимания и ни у кого не проверяли документы. В крестьянских домах солдаты его величества устраивались по-хозяйски, немцев на это время попросту выпроваживали вон, если места не хватало, а если хватало — сосуществовали рядом, никак не общаясь.

Кривобокий приехал за ним неделю спустя.

— Здорово, Распутúн,— осклабился он,— ты еще живой? Яан сказал, что тебя надо отвезти, только не сказал куда.

— Да, да, в Голландию! Где мать Виллема — знаешь?

— Э, вот это не выйдет — граница,— сказал кривобокий и добавил, что он к тому же не знает ни Виллема, ни его матери.

— Ну, в Калькар тогда...

Из деревни их выпустили беспрепятственно. Скоро началась зона затопления, или наводнения, вызванного весенним паводком, Болховитинов так и не сумел выяснить это у кривобокого. Дорога, как все асфальтированные дороги в этих местах, проходила по невысокой насыпи, и вода подступала к самым обочинам — мутная, стоячая, с торчащими из нее кольями разделяющих пастбища проволочных оград и опрокинутыми отражениями ракит, цепочками которых были обозначены затопленные проселки. Болховитинов подумал, что минирование тех мостиков было не такой уж вздорной затеей, как тогда ему показалось.

Когда выехали на другую дорогу, более широкую, он узнал шоссе, по которому ехал с Риделем из Клеве в Калькар после кратковременной отсидки в гестапо. Сейчас здесь шла техника — невиданная им, обильная и разнообразная. Впрочем, двухместные английские танкетки были знакомы еще по сороковому году, но за это время появилась и масса нового, особенно много было здесь разного рода амфибий — маленькие лодки-автомобильчики размерами не крупнее немецкого «кюбеля», и огромные трехосные корыта, и еще более громоздкие корыта на гусеничном ходу, и плавающие танки с какими-то странными брезентовыми сооружениями вокруг башни, а вперемешку с ними — бензозаправщики, артиллерийские тягачи, походные мастерские и кухни, понтонные парки, штабные фургоны и пулеметные «джипы» с триплексными щитками вместо ветрового стекла — все это ревело, скрежетало, дымило, непрерывно сигналило разноголосыми клаксонами и, облепленное солдатами и навьюченное всяким военным снаряжением, валом валило в одну сторону — на восток, к Рейну.

Калькар, еще недавно тихий и сонный, почти безлюдный, тоже был теперь забит войсками и техникой, тесно — впритык — стоящей по обеим сторонам улиц. Городок, видно, тоже пробомбили, но разрушений оказалось не так уж много; «Цум Риттер», во всяком случае, уцелел. И Анна оказалась на месте — она уже бойко объяснялась с английским рыжеусым офицером, кокетливо стреляя глазками и повторяя «йес, йес». Болховитинов, войдя в вестибюль, оказался единственным штатским среди одетых в хаки постояльцев.

— Кирилл Андреич, ну наконец-то! — воскликнула Анна, отделавшись наконец от своего рыжего собеседника.— Я уж так переживала, прямо ужас, и главное от Таньки тоже ничего нету...

— Рано еще, пожалуй,— сказал Болховитинов,— сама она побоится сюда ехать, да и не пустили бы ее, скорее всего... Да, Аннушка, скоро теперь домой поедете.

— Куда это? Я и так дома!

— Да нет, я говорю — совсем домой, в Россию.

— Тю-у,— протянула Анна,— чего я там не видела, в этой России! Еще были б кто из родичей живы, да и то сказать... Не-е, мы с Надькой никуда отсюда не тронемся, от добра добра не ищут. Да и хозяйка не отпускает — оставайтесь, говорит, тут, а помру н — все ваше будет, и гастхауз на тебя отпишу... А чего? Я ей верю, главное дело — у ней тоже никого из своих не осталось, была замужняя сестра, так их в Гамбурге убило, а племянники обое на Восточном фронте пропали. То есть не пропали, а точно убитые, похоронки на них были. Так что почему бы ей не отписать? Она и удочерить вроде согласная, чтобы потом никаких не было придирок по закону...

— Ох, Аня, Аня, пожалеете когда-нибудь,— сказал Болховитинов,— от родины ведь отказываетесь, не от пары туфель.

— А чего мне жалеть! — закричала Анна с неожиданным озлоблением.— Чего я хорошего на этой вашей родине видала? Как себя помню, и жизни-то сытой было, может, года четыре — уж перед самой войной! А в тридцать третьем году у нас мертвяки по улицам валялись — в школу бежишь, бывало, а навстречу дядька с грабаркой, оттуда руки-ноги торчат, каждое утро ездили, подбирали. После, как карточки отменили, продукты появились, так из одёжи ничего было не достать, за парой галош по трое суток в очередях стояли, платья нам с Надькой мамуся, знаете, с чего шила? — карты географические покупали, они на миткаль наклеены, вот их отстирываали, а с миткаля шили — многие так делали, так еще попробуй карту эту купи, все умными стали! Я, может, только здесь, в Германии, и человеком-то себя почувствовала! Ну чего, чего вы меня уговариваете, чего вы вообще в нашей жизни-то понимаете?

— Я далек от мысли вас уговаривать,— возразил Болховитинов,— но просто хотел бы предостеречь... Все-таки некоторое представление о жизни в Советском Союзе я имею, хотя бы по рассказам, а вы эмигрантской жизни не знаете совершенно, и даже представить себе ее не можете...

Уговаривать ее, конечно, было бы бессмысленно; ему вспомнился давний разговор с офицером-власовцем, подсевшим к нему в ресторане. Можно ли было переубедить такого человека? Можно ли сейчас внушить этой глупой девчонке, что не только категориями благополучия, сытости и комфорта исчерпывается то, что получаем мы от своего отечества, как раз этим-то Россия никогда не была склонна широко одаривать своих детей... Даже и в этом ему трудно найти с соотечественниками общий язык. Но ведь без общего языка — или, точнее, без какой-то общей системы нравственных координат — можно ли судить, можно ли осуждать? Или надо осуждать условия, которые размыли эту координатную сетку, сделав возможным появление подобного образа взглядов — не очень-то, скажем прямо, типичных для прежнего типа русского человека?

А впрочем, что он — изгой — знает об этом «прежнем типе» ...Да, были капитаны Тушины, был матрос Кошка, но были московские студенты, отправившие японскому микадо поздравительную телеграмму по поводу Цусимы, были «пораженцы» и после четырнадцатого года. Конечно, существенная разница заключается в том, что тогда подобными настроениями были затронуты лишь определенные круги образованного общества, в народе их не наблюдалось; теперешние же власовцы, или разного рода каратели и «полицаи» — это все идет из самой что ни на есть гущи народной...

Несмотря на перенаселенность отеля военными постояльцами, Анна нашла ему комнатку и даже притащила хозяйкин приемник — та все равно им не пользовалась. Это оказалось кстати, у приютивших его стариков радио не было, и он за это время потерял всякое представление о том, что где происходит. Впрочем, о том, что происходило уже окончательное крушение «тысячелетнего рейха», можно было догадаться и не слушая сводок.

А если говорить о деталях, то за это время новостей накопилось много, но все они касались Восточного фронта. Советские войска овладели Будапештом, вышли к Моравской Остраве, вели бои под Кенигсбергом и на рубеже Одера; в Крыму завершилась конференция «Большой Тройки»; немецкое радио сказало по этому поводу, что теперь плутократы окончательно договорились с большевиками об уничтожении Германии и насильственном переселении всех немцев в Сибирь. На Западном же фронте опять установилось затишье.

Однажды Болховитинов услышал о тяжелом налете на Дрезден, повлекшем огромное число жертв. К сожалению, бедняга Ридель был прав, когда говорил, что хрен редьки не слаще. Неужели попал под эту бомбежку? Не обязательно, конечно, мог быть и в отлучке, вообще-то он из везучих — в таких бывал переделках, что другой бы не выкарабкался...

Зашевелился наконец Западный фронт — двадцать третьего американцы перешли в наступление с линии Юлих — Дюрен, нацеливаясь на Кёльн. Началось какое-то движение и на здешнем участке, от пальбы расположившихся рядом гаубиц в «Цум Риттере» вылетели последние стекла, и Болховитинов полдня помогал Наде заделывать окна игелитом. По ком палят, было совершенно непонятно, потому что с той стороны давно уже никто не отвечал.

Как-то сразу и неожиданно пришла настоящая весна — солнечная, безоблачная, с теплым южным ветром, от которого ломило в висках и сохли губы. Деревья еще стояли голые и по ночам бывало холодно, но луг за гостиницей, где недавно стояла канадская батарея, ярко зазеленел. Лейтенант из Монреаля, с которым Болховитинов успел познакомиться здесь, в гостинице, сказал, что все идет formidablement bien, разведывательные авангарды уже вышли к самому Ксантену и находятся не так далеко от Форт-Блюхера, а это значит, что скоро можно будет осуществить «большой прыжок» через — тут Лапорт приложил палец к губам, а другой рукой изобразил в воздухе букву «R». Выдав военную тайну, лейтенант сказал, что хорошо бы потом съездить вместе в Париж, и стал расспрашивать о тамошних злачных местах. Затем поинтересовался, понизив голос, правда ли, что все парижские «курочки» участвовали в Сопротивлении.

— Поголовно, а ты что думал. В Париже мы с тобой когда-нибудь побываем,— сказал Болховитинов,— но у меня сейчас другая проблема, более актуальная. Понимаешь, жена моя осталась еще с осени в Голландии — здесь совсем рядом, но пока никак туда не выбраться. Ты не мог бы как-нибудь посодействовать? Может, посадишь на машину, которая идет в ту сторону?

Лейтенант задумался, пощипывая усики.

— Тебе в один конец или туда и обратно?

— Зависит от того, смогу ли я найти там жену. Вдруг разминемся? Я поеду туда, а она тем временем вернется.

— Сейчас это маловероятно. Из Голландии — сюда? Не думаю,— Лапорт покачал головой.— Ты знаешь такой город — Гок?

— Да, только по-немецки это Гох.

— Черт с ним. Его все равно больше нет, осталась куча мусора, но там монастырь, где сейчас собирают иностранцев для отправки в Голландию. Самый простой вариант — я тебя завтра отвезу в этот самый Гок, и ты присоединишься к перемещенным...

Утром Болховитинов распрощался с сестрами, пообещав непременно звглянуть на обратном пути вместе с Таней, если будет такая возможность.

Лапорт оказался точен — подкатил на «джипе» ровно в одиннадцать, как и обещал. Через час они были уже в Гохе, от которого действительно ничего не осталось, такого тотального разрушения Болховитинов еще не видал — городок словно пропустили через камнедробилку. Расположенный чуть в стороне монастырь, однако, оказался цел. Его трехэтажное современное здание с большими широкими окнами скорее напоминало больницу, обширный двор был полон народу, стоял разноязычный гвм, в стороне молча жались перепуганные немки с детьми и чемоданами — видно, сюда же привезли и эвакуированных.

Высматривая соотечественников, Болховитинов побродил по двору, а потом стали подгонять грузовые машины, и началась круговерть, от которой в памяти остались потом лишь какие-то отдельные несвязные картинки и сцены; круговерть, полностью вознаградившая его за нудное ожидание последних недель. Дороги, забитые военной техникой, с белеющими вдоль обочин широкими матерчатыми лентами, которыми английские саперы обычно обозначают границу разминированного участка; местами почему-то дымовая завеса над затопленной равниной; мотоциклисты в тех же кожаных безрукавках и шнурованных до колен ботинках, лихо обгоняющие колонну на бешено ревущих «энфилдах»; развалины, голые решетки стропил, с которых посбивало черепицу, в щепу изодранные осколками огрызки древесных стволов, почти вертикально торчащий посреди затопленного луга обгорелый фюзеляж, груды искореженного железного лома, снова развалины... Вечером, уже в сумерках, колонна прибыла в Неймеген, лагерь — или какой-то эвакопункт — размещался в школе, украшенной флагами держав-победительниц и тремя огромными портретами: посередине Сталин в маршальской форме, а справа и слева — чуть ниже и наклонно, в виде римской пятерки — Рузвельт и Черчилль. Сразу повели в столовую, потом на санобработку и медосмотр. Санобработка состояла в том, что санитар с каким-то приспособлением вроде огромного шприца вдувал в рукава и за пояс брюк едко пахнущий порошок. При медосмотре прежде всего смотрели — нет ли эсэсовской татуировки.

Утром не было никакой побудки, вставали, кто когда хотел, шли в столовую — на завтрак были те же консервированные сосиски, яичница из порошка, белоснежный и почти безвкусный хлеб, апельсиновый джем, кофе. Никого ни о чем не спрашивали, не составляли никаких списков, не заставляли ничего заполнять. Персонал, полностью из военных в английской форме, был с «перемещенными» вежливо-равнодушен, но действовал споро, без суеты.

Вечером их снова куда-то повезли. Новый лагерь тоже размещался в школе, среди персонала было больше женщин-военнослужащих, сухопарых и строгих на вид; в коридоре висел плакат: фотография человека с усиками и шрамом через щеку, с Рыцарским крестом между отворотами эсэсовского мундира. Подпись на пяти языках призывала немедленно сообщить военным властям малейшие сведения о возможном местонахождении СС-оберштурмбанфюрера Отто Скорцени.

Здесь «перемещенных» рассортировали по национальной принадлежности, пока лишь приблизительно, отделив голландцев от бельгийцев с французами и от всех восточноевропейцев. Первых оставили, остальных наутро снова посадили в машины. Эта часть Голландии почти не пострадала от военных действий, пастбища были ухожены так, будто по ним ежедневно проходились граблями, деревни радовали глаз той же неправдоподобной чистотой, что поразила Болховитинова полгода назад в Арнеме — первом увиденном им голландском городе. Таким же чистеньким и вылощенным оказался и Тилбург, куда их привезли во второй половине солнечного, совсем уже полетнему теплого мартовского дня.

Этот лагерь сильно отличался от других. Персонал здесь был уже полностью гражданский, все делали местные добровольцы — скауты старших возрастов, медсестры. Было среди них несколько монахов-францисканцев в коричневых рясах, молодых и жизнерадостных. Жизнерадостность и какую-то особую приветливость излучали и медсестры, и скауты, это особенно замечалось после английских военных лагерей; голландцы прямо светились радостью — еще бы, весна освобождения! — и готовы были разделить ее с каждым. Радио не умолкало ни на минуту, в кантине, украшенной гирляндами флажков и плакатами с призывом освободить Индонезию, по столам были разложены газеты, разного рода информационные бюллетени, образцы листовок, сбрасываемых в эти дни на Германию («Немецкий солдат, бросай оружие, фронт рушится от Эммериха до Карлсруэ...»), изданные Канцелярией его величества иллюстрированные брошюры типа «Война и Британское содружество». Когда наступало время еды, литература убиралась и скауты с медсестрами проворно расставляли приборы. Ели они вместе с «перемещенными».

Все это было хорошо, но неясным оставалось главное: как отсюда выбраться, чтобы разыскать Таню. Лагерь, похоже, открыт для всех желающих, но что делать без документов в чужой стране, да еще не зная языка,— этого Болховитинов пока себе не представлял.

На второй день пребывания в Тилбурге францисканец в пышной, несмотря на молодость, каштановой бороде подошел к нему и по-французски спросил — не бельгиец ли он, и если да, то из каких мест.

— Я вчера слышал, как вы разговаривали с моими соотечественниками,— пояснил он, и сел рядом, источая благоволение.

— Нет, я учился в Париже, но я русский.

— О-о! — Францисканец понимающе закивал.— Великая страна, великий народ. Печально, что русские сейчас так разобщены. Вы ведь эмигрант?

Болховитинов пожал плечами.

— Эмигрантами были мои родители, относительно же себя я...

— Да, это затруднительно. Но я думаю, сын мой, эта война многое изменит. Вы чем-то озабочены?

— Да, я действительно... в некотором затруднении,— сказал Болховитинов.— В свое время один голландец, с которым я познакомился... при не совсем обычных обстоятельствах, дал мне адрес своей матери — на случай, если вдруг что понадобится. Осенью я отправил по этому адресу свою жену, которой пришлось срочно покинуть Германию, и вот до сих пор...

— Я понял,— сказал монах.— Адрес с вами?

— Да, он у меня.

— Давайте, мы найдем способ связаться. В какой это части страны?

— Где-то неподалеку от Неймегена, мне говорили,— сказал Болховитинов, роясь в бумажнике.— А, вот! Пожалуйста.

Монах прочитал адрес и сделал озабоченную мину.

— Гельдерланд! Не очень благополучное место, там шли бои... Но будем уповать на милосердие Господа нашего, я сегодня же сделаю запрос.

— Почта уже работает?

— Вообще да, но, думаю, не очень еще надежно. Проще сделать это через нарочных — как в старину, скауты в таких делах незаменимы. На велосипедах от деревни к деревне, получается очень быстро. У нас ведь маленькая страна! Вас, наверное, должны удивлять здешние масштабы.

— Иногда мне думается, что в маленьких странах людям жить куда легче,— сказал Болховитинов.— Представьте себе, насколько иной была бы судьба немцев... а теперь уже приходится говорить о судьбе всей Европы... если бы Германия так и осталась в своем добисмарковском состоянии.

— Вы высказали очень верную мысль,— согласился францисканец.— Церковь всегда, еще со времен гвельфов и гибеллинов, боролась против чрезмерного усиления светского государственного аппарата, хотя в этой борьбе — смиренно признаем это — ею подчас руководили соображения корыстные. Но не всегда! Может быть, она уже тогда провидела опасность тоталитарного этатизма, когда государство становится ненасытным Молохом, требующим кровавых жертвоприношений...

— Ну, едва ли она была так дальнозорка,— заметил Болховитинов.

— Не скажите! Всю меру ее дальнозоркости мы начинаем постигать лишь сейчас. Почему, вы думаете, церковь в эпоху Возрождения столь рьяно оспаривала естественно-научные открытия того времени? Причем оспаривала заведомо безуспешно, прекрасно понимая, что теряет авторитет в образованных кругах общества. Среди самих князей церкви, кстати говоря, не так уж много встречалось невежд, большинство получало превосходное образование; что же вы думаете, они всерьез верили, что Земля неподвижна и является центром нашей Солнечной системы? Это при их-то знании астрономии! Кардинал Николай Кузанский опередил Коперника на добрую сотню лет, и уж поверьте — в небесной механике они разбирались. Но безудержная страсть к эмпирическому познанию мира их пугала, ибо уже тогда они видели, до чего это может довести... Вы, простите, кто по образованию?

— Инженер, строитель.

— Стало быть, тоже имеете отношение к точным наукам. Я, видите ли, после богословского факультета кончил еще и физико-математический, в Лувэне. Вы слышали что-нибудь о предвоенных работах по расщеплению атомного ядра?

— Помню, что расщепляли, но кто и когда...— Болховитинов развел руками.

— А известно вам, что в Германии занимались проблемой военного использования ядерного распада?

— Первый раз слышу. А что, это возможно?

— В принципе, да. Попытайтесь только представить себе, что было бы, успей немецкие физики довести исследования до практической фазы... Поэтому не стоит смеяться над средневековыми богословами, усматривавшими некую связь между познанием и дьяволом. Что касается вашей мысли о том, насколько положительным можно считать — с точки зрения интересов человека, личности — процесс срастания небольших государственных образований в огромные сверхдержавы, тут я с вами согласен. В конечном итоге это процесс вредный, он не только создает гоббсовых Левиафанов, но и калечит сознание людей, делает его агрессивным. Подданные сверхдержавы проникаются сознанием собственной исключительности, сознанием того, что их стране позволено больше, нежели всем прочим. Это то, что древние обозначали термином hybris, а мы называем гордыней. Одним из смертных грехов,— добавил он с улыбкой, вставая.— Рад был побеседовать, а насчет поисков вашей жены не волнуйтесь, мы сделаем, что сможем...

Они действительно сделали, и очень быстро: Таня приехала на другой же день.

Болховитинов услышал ее, прежде чем увидел. Радио только что сообщило о захвате моста в Ремагене одним из передовых подразделений 1-й американской армии, потом Шарль Трене начал было медовым тенором хвалиться, что у него есть солнце, молодость и любовь, а больше ему ничего от жизни не надо; не допев первого куплета, он поперхнулся и умолк, и — Болховитинов решил, что это звуковая галлюцинация,— Танин голос назвал его фамилию, имя и отчество, по-русски оповестив весь лагерь о том, что его просят зайти в административный корпус, в комнату...— тут в микрофоне зашуршало, видимо, Таня прикрыла его ладонью, спрашивая в сторону, и добавила:

— В комнату номер четыре.

Это, несомненно, был ее голос, ее манера говорить — чуть распевно на «а», слегка грассируя, что, по его мнению, придавало выговору этому какое-то особое очарование; конечно, это она, если только он не рехнулся окончательно и не спит наяву...

А потом он ее увидел, когда ворвался в комнату номер четыре, и узнал в первый миг только по волосам, потому что она стояла спиной к двери, разговаривая с Виллемом. Виллема он узнал сразу, хотя тот был в английской военной форме, а Таню — только по цвету волос, она тоже была в чем-то военном, в брюках и мешковатой американской штормовке. Услышав, как он распахнул дверь, она оглянулась и вся просияла, словно озарившись изнутри. Бросив своего собеседника, она кинулась к нему и повисла у него на шее.

— Господи, как я рада вас видеть, Кирилл! Хотя мне уже вчера сказали, что вы здесь и у вас все хорошо, но увидеть вот так...

— Танечка, а я ведь ничего ровно о вас не знал, и вдруг такой шок — представляете, услышать вдруг ваш голос — я решил, что схожу с ума...

Таня расхохоталась.

— Ну да, я так и знала, что вы удивитесь! Нарочно так придумала — мы с Вилли приехали, он говорит — «сейчас будем искать, лагерь большой, надо будет объявить по радио», ну я и решила сама сказать! А то ведь, думаю, переврут так, что вы свою собственную фамилию не распознаете, где уж им произнести правильно. Кирилл, мне просто не верится — ну расскажите, как вы все это время...

— Сейчас, минутку...— Болховитинов отошел поздороваться с Виллемом, тот, улыбаясь, протянул руку.

— Рад видеть, господин инженер,— сказал он по-немецки,— я надеялся на такую встречу.

— Спасибо вам за жену.

— Это вам спасибо, если бы не вы тогда... С этого все и началось.

— Да, кто бы мог подумать. Дома у вас благополучно? В тех местах, кажется, шли бои.

— Оказалось немного в стороне. Ну, не буду сейчас вам мешать, мы еще поговорим.

— Да, да, непременно...

— Вилли! — окликнула Таня, когда он уже выходил из комнаты.— Ты не забудешь про бумагу?

— Не беспокойся, все будет сделано,— ответил Виллем.

— Главное, чтобы побольше подписей и печатей, понимаешь?

— Да, я понял. Ну, счастливо!

— Вы с ним, я вижу, уже на «ты»,— сказал Болховитинов, ощутив вдруг укол ревности.

— Еще бы, вместе прятались! С вами, кстати, нам тоже давно пора бы уже перейти на «ты» — скоро будет три года, как мы знакомы, к тому же вы, как-никак, мой муж. Не смейтесь, я так часто — говоря о вас — повторяла «мой муж, мой муж», что сама в это поверила. Может быть, рискнем?

— Ну... давай! — храбро сказал Болховитинов.

— Какой ты у меня послушный! — Таня, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку.— Нет, мне и в самом деле трудно было последнее время говорить тебе «вы».

— Какое последнее время — в Энске?

— Нет, вот теперь. Я ведь часто с тобой разговаривала — мысленно. А ты не слышал?

— Боюсь, что нет,— признался он честно.

— Ну, это просто мы еще не на одной волне. Но расскажи, как там у вас все было! Говорят, бомбили страшно. Что в Калькаре?

— Анна и Надежда живы-здоровы, кланяются тебе. Потом расскажу; ты-то как все это перенесла?

— Я? — Таня пожала плечами.— Просидела как у Христа за пазухой, они все так обо мне заботились — вообще семейство удивительное, как из романа какого-нибудь. Молодые баронессы эти, сестры Вилли — одна моя ровесница, другая старше,— они за всю жизнь ни разу не выезжали никуда, ничего не видели, на меня смотрели вот такими глазами — ты, говорят, такая счастливая, столько всего повидала, у тебя такая интересная жизнь! Еще бы, говорю, особенно интересно было в Эссене... С младшей, Вильгельминой, чистим мы раз коровник...

— С баронессой?

— А что, мы там все делали сами! У них нет ни одного работника, они ведь жутко бедные, сестры от приданого отказались, чтобы послать брата в университет...

— Кстати, о какой бумаге ты ему напоминала?

— Ну, это насчет тебя. Насчет твоего участия в Сопротивлении!

— Какого еще «моего участия»? Что ты придумала?

— Ничего я не придумала! Вилли рассказал, как ты устроил ему побег, и как потом помогал минировать какие-то дороги...

— И это ты считаешь участием в Сопротивлении?

— Да, я считаю,— с вызовом сказала Таня,— и хочу, чтобы другие тоже считали!

— Да как ты не понимаешь, что уже одной просьбой — насчет бумаги — поставила меня в идиотское, постыдное положение!

— В какое это, интересно, положение?

— В положение человека, который примазывается к чужой победе, вот в какое! Тебе непонятно?!

— Нет, мне непонятно! Ты что хочешь делать после войны — сидеть у себя в эмиграции или ехать домой?

— Ты прекрасно знаешь, что я намерен ехать домой.

— А кто тебя туда пустит — об этом ты подумал? Эмигранта, который служил у немцев! Тебе необходимо какое-то подтверждение того, что ты был здесь связан с антифашистами! И это никакая не ложь, ты ведь был связан — ты еще в Энске нам помогал, правда, я не знаю, сможет ли теперь хоть кто-то — кроме меня — это подтвердить, но здесь ты тоже помогал голландцам — не все ли равно, чем, в какой форме, важно, что помогал! Так что ты со мной не спорь, я знаю, что делаю. Так вот, здесь нам оставаться нет смысла. Отсюда всех отправляют в Бельгию или во Францию, там уже будут наши советские представители, а они с эмигрантом и разговаривать не станут.

Значит, надо уйти из лагеря, временно осесть в этих краях, а потом — когда союзники войдут подальше в Германию — пробираться на восток, самим пробираться, понимаешь? Там уже совсем будет другое дело, среди своих — да, может, я и Дядюсашу разыщу, почем знать? А через Германию мы проберемся, там теперь такая будет неразбериха, начнут возвращаться беженцы, эвакуированные, неужели не проскочим? Но, конечно, документы какие-то необходимы, я почему и сказала Вилли насчет этой бумаги! Он все сделает. Ой, ну я так рада, Кирилл, ты просто не можешь себе представить! До сих пор кажется, что это все во сне, я ужасно соскучилась по тебе за эти полгода — подумай, ведь полгода уже прошло, а кажется, будто все это совсем недавно было, когда Анна с Риделем меня на шоссе похитили... Он тоже там, в Калькаре?

— Нет, уехал в Дрезден, и я боюсь, что с ним плохо.

— Почему?

— Дрезден ведь разбомбили в прошлом месяце, он уже был там.

— Бедняга,— сказала Таня,— надо же — под самый конец. А что сестры-разбойницы?

— Ты не поверишь, но они решили не возвращаться, вообще хотят жить в Германии.

Таня не выразила удивления.

— А это многие теперь,— сказала она,— я разговаривала в лагерях, так примерно половина не хочет ехать. Боятся! А я вот ничего не боюсь,— объявила она беззаботно.— Главное, что мы теперь вместе, выкрутимся как-нибудь... Ой, ну я так по тебе соскучилась! А ты вспоминал обо мне хоть немножко?

— Таня,— сказал Болховитинов.— Неужели ты... до сих пор ничего не заметила? Я ведь люблю тебя — с самого первого дня, и я думал, что ты еще там, в Энске, это поняла...

Она придвинулась к нему совсем близко и, опять привстав на носки, тронула губами где-то возле уха.

— Я все поняла и все знаю,— шепнула она,— только не надо об этом, милый...

Глава 24

Нет, не суждено было «сестрам-разбойницам» остаться в Калькаре наследницами так полюбившегося им гастхауза. Вскоре после отъезда Болховитинова по городку был расклеен приказ, обязывающий всех иностранных рабочих в недельный срок переселиться в лагери Союзнической администрации помощи беженцам, откуда будет осуществляться их организованная отправка по местам довоенного проживания.

Анна, прочитав это, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она представила себе возвращение в Краснодар, соседок, завистливо шипевших на нее с Надькой за «непыльную» работу на немецкой кухне, вспомнила, как два года назад мглистым ростепельным деньком торопливо закидывала узлы с пожитками на высокий борт пятнистого вермахтовского грузовика, а змеищи злорадно глазели изо всех окошек... Хотя какой теперь Краснодар? Кто их теперь туда пропишет, на какую такую жилплощадь?Хорошо если дадут прописку где в райцентре, а скорее и туда не пустят, загонят в станицу подальше, в самый что ни на есть нищий задрипанный совхоз — жить в саманном катухе, вкалывать на винограднике или в полеводческой бригаде, до конца жизни без прав и без паспорта...

В гостинице в этот день было тихо, Надька повезла хозяйку к соседнему бауэру по каким-то обменным делам, постояльцы не докучали — накануне съехала последняя орава канадцев, а новых еще черти не принесли. Анна вдоволь наревелась у себя в комнате, а потом отчаяние сменила злость: ладно, поглядим еще, много вас тут таких начальничков! Раскомандовались, паразиты, кому куда ехать и где кому проживать...

Выбрав в кладовке окорок из тех, припрятанных, до которых еще не дознулись освободители, она затолкала его в сумку и побежала к своему приятелю вахмайстеру. Тот, однако, на подношение не соблазнился, сразу испуганно замахал руками — нет, он тут ничего сделать не может, не то время, сам теперь бессилен и бесправен! Относительно статуса охранной полиции нет пока никаких инструкций, неизвестно вообще, не отнесут ли ее оккупационные власти к категории подлежащих роспуску нацистских организаций, хотя нацистов среди шупо было мало, даже он, вахмайстер, никогда не принадлежал к этим «партайгеноссен» — чего не было, того не было...

На прощание, правда, толстяк дал полезный совет: не надо падать духом, сказал он, и главное — не терять головы. Тут им сейчас ничего не добиться, страна оккупирована, и нарушать приказы новых властей слишком опасно. Другое дело в Голландии, куда их повезут,— там нет оккупационного режима, и удрать из сборного лагеря легче; просто улизнуть и устроиться работать в любом крестьянском хозяйстве. Рабочие руки, заверил вахмистр, всюду в цене.

Совет был хорош, но оказался не очень-то выполним. Через неделю, после слезного прощания с хозяйкой, взявшей с них слово вернуться при первой возможности, сестры действительно очутились в Голландии, но без бумаг, без знания языка и, главное, без малейшего представления о том, как действовать дальше. Хотя Анна считала себя ловкой и предприимчивой (да в какой-то степени и была таковой), но это больше по мелочам, а к действиям серьезным, требовавшим обдуманного подхода, она не была приучена совершенно. Им с Надькой до сих пор мало что приходилось решать самим, за них решали или обстоятельства, или — чаще всего — просто другие люди, обладавшие властью. Единственный случай, когда выбор зависел от них, был там, в Краснодаре, с устройством на работу в столовке; да и то сказать — из чего там выбирать-то было: фрицам прислуживать или голодать с больной матерью на руках. Ну, а уж потом, при отступлении и дальше в Германии, они только делали то, что им приказывали. Это просто повезло,что попали в калькарскую гостиницу, могли ведь и на военное производство...

А теперь, в Голландии, в этих английских лагерях (они скоро потеряли им счет, переезжая из одного в другой), надо было решать свою судьбу самим и решать срочно, а что тут решишь? Главное, и посоветоваться не с кем. Вчерашние «остарбайтеры», освободившись, сразу сделались какими-то другими, словно бы пришибленными, стали осторожничать в словах. Из них, правда, в первые же дни выделилась группа активистов — эти, наоборот, шумели, вызывающе громко распевали «Широка страна моя родная», «В бой за Родину, в бой за Сталина», требовали, чтобы каждый советский человек надел красную повязку или вырезанную из жести звездочку, и уже готовили какое-то культурное мероприятие, чтобы достойно отметить День Парижской коммуны. Но этих было меньше, остальные сидели тихо и явно опасались друг друга — пожалуй, что и не без оснований, поскольку активисты уже поговаривали угрожающе, что не все в фашистском рабстве вели себя как подобало советским людям, и теперь кое-кому придется держать ответ перед Родиной.

Что ответ держать придется, Анна не сомневалась. Может, горлопаны эти потому и лезут из кожи, проявляя сознательность, что у самих душа не на месте,— заранее хотят выслужиться. Да только этим у нас хрен выслужишься, думала она злорадно, там спрос будет со всех один. Сама она боялась до обмирания, хорошо еще Надька не ныла, подбадривала — ладно, мол, выкрутимся как-нибудь. Что с нее взять, с дуры лупоглазой, привыкла, что за старшей сестрой не пропадешь. А как тут теперь не пропасть?

Кроме страха за будущее, Анне еще и виды окружающей действительности надрывали сердце. Частые переезды из лагеря в лагерь совершались в открытых армейских грузовиках, вся страна была напоказ — сказка, а не земля. Люди, что ли, здесь, какие-то из другого теста? У нас ли дома не работали, только ведь и слыхать было про стахановские рекорды да трудовые победы, а весь век из грязи и нищеты не вылезали... Германия, конечно, поначалу тоже всех удивила богатством и чистотой, но немцы — известное дело! — всю Европу ограбили, потому и живут буржуями; а кого грабили голландцы? В школе, правда, Анна учила что-то про колонии, да ведь на колониях этих все-таки, наверное, купцы и капиталисты наживались, разные там плантаторы,— а не эти трудяги со своими лоскутными полосочками полей и огородных грядок. Нет, колониями тут было не объяснить, голландские единоличники вкалывали на своих приусадебных участочках без дураков, с раннего утра до позднего вечера, благо весна разгулялась уже вовсю, дружная и ранняя. А хаты у всех — загляденье, та кирпичная, та оштукатуренная в темном переплете брусьев на немецкий манер, под красной, чисто промытой черепицей (здесь, казалось, и пыли-то обычной нет), все в подстриженной по линеечке зелени. Рай, не земля! Анна готова была на любую работу, лишь бы разрешили остаться тут.

С некоторыми она все-таки постепенно разговорилась, те тоже не рвались домой — никто их там не ждал. В одном из лагерей начальница англичанка, немолодая и с лошадиным лицом, понимала по-немецки, и они у нее решились спросить — будут ли отправлять домой всех подчистую или только тех, кто захочет. Англичанка долго не могла сообразить, чего они хотят, потом наконец до нее дошло — нет, нет, сказала она, показывая устрашающие зубы, насильно никого никуда отправлять не будут, свобода выбора места проживания есть неотъемлемое право человека в демократическом мире, ради этих прав союзники и вели войну. Услышав это, Анна и две другие депутатки почувствовали себя спокойнее.

А на следующее утро они нашли свои имена в вывешенном у канцелярии очередном списке отъезжающих (куда и зачем везут, обычно не сообщалось). Колонна грузовиков тронулась в путь около полудня, несколько часов они катили теми же ухоженными краями — игрушечные поля, каналы, ветряные мельницы, кое-где богатая помещичья усадьба в уже подернутом легким зеленым дымком молодой зелени парке, тесно скученные городки, переходящие один в другой. Оказавшийся в их машине грамотей сказал, что это уже вроде и не Голландия — только что бельгийскую границу переехали.

А уже под вечер стала заметной близость большого города: пошли задымленные фабриками предместья, заводские трубы, эстакады над железнодорожными путями,

решетчатые мачты электропередач, тесно застроенные краснокирпичными домами улицы постепенно расширялись, становились просторнее и наряднее, уже тут и там под стрижеными деревьями гуляли с собачками на цепках хорошо одетые буржуи. Солнце уже совсем было спряталось за крыши, когда машины стали тормозить на широком тенистом бульваре, где за низкой чугунной оградой по зеркалу неподвижной воды плыла, как на картинке, пара белоснежных лебедей. Анна так загляделась на них, разинув рот, что не заметила, как к заднему борту грузовика подошел офицер в невиданной форме, с широкими, как дощечки, золотыми погонами на плечах.

— Здравствуйте, товарищи! — гаркнул он весело.— От имени командования поздравляю вас с освобождением из фашистской неволи и благополучным прибытием на родную землю! Это, конечно, не совсем еще наша советская земля, но поскольку данное место временно выделено советской репатриационной миссии в Брюсселе, то это, так скзать, считается все равно что территория дипломатического представительства Союза Советских Социалистических Республик. Так что освобождайте транспорт, вещи с собой, и оргвнизованно, культурно заходьте во двор. Чувствуйте себя как дома, товврищи!

«Родная земля» оказалась обширным двором, отделенным от бульвара высокой узорчатой решеткой, с крвсивым трехэтажным зданием посредине, похожим на школу. Внутри было чисто — просторный вестибюль, широкая лестница наверх в актовый зал, большие светлые комнаты, уставленные новенькими деревянными койками в два этажа. Столовая размещалась в актовом зале, там их накормили ужином из тех же привычных по прежним лагерям американских продуктов, а потом провели политзанятие.

Еще раз поздравив освобожденных, лектор скввал, что в неволе некоторым пришлось прожить долго, почти всю войну, и не исключено, что кое-кто мог за это время подпасть под влияние вражеской пропаганды; таких, сказал он, надо выявить для их же собственной пользы, чтобы помочь снова стать сознательными, полноценными советскими гражданами. Все долго хлопали, потом выступил с почином один активист, родом из Ворошиловграда, предложил уже сейчас начать запись добровольцев для восстановления донецкой промышленности, порушенной фашистскими извергами. Ему тоже похлопали, но лектор сказал, что записываться не надо, вопрос трудоустройства репатриантов решится на месте — там видно будет, кого куда направить.

Сестры в эту ночь глаза не сомкнули от страха (даже дуру Надьку наконец-то проняло, ревела потихоньку в подушку) — всё гадали, заложила их вчерашняя стерва-англичанка или не заложила. Могла ведь, кобылища зубастая, и сопроводиловку какую-нибудь с ними прислать: допытывались, мол, не позволят ли им остаться на Западе...

Похоже, все-таки Бог миловал и сопроводиловка не пришла, потому что в последующие два дня их ничем не выделяли из остальных и не вызывали для отдельного разговора, даже вместе с другими выдали пропуска для выхода в город, если кто захочет познакомиться с бельгийской столицей. Столица эта интересовала сестер, как прошлогоднее дерьмо, но на бульваре у школьной ограды все время толклись вежливые немолодые граждане, по-русски заговаривая с освобожденными соотечественниками; ясное дело, белогвардейцы, за версту видно, но они оставались теперь единственной надеждой — тут уж было не до разборчивости.

Высмотрев пару чистеньких старичков, которые все расспрашивали, нет ли здесь случайно кого-нибудь из «Петербурга», Анна наконец отважилась и отозвала их в сторонку. Автобиографию свою она для пущей убедительности слегка подправила: папусю, мол, сперва раскулачили, а в тридцать седьмом посадили, следом и мамусю забрали, хорошо еще им с Надькой удалось бежать из детприемника НКВД — натерпелись такого, что не приведи Господи...

Старички поужасались, поахали и сказали, что постараются выяснить возможности. И действительно, за неделю все устроилось: сестер поселили где-то в мансардной комнатушке, другой белогвардеец — помоложе — свозил их в полицию, где они получили временные (на три месяца) «разрешения на проживание»; что временные, объяснил он, так это ерунда, формальность, их продлевают автоматически, а потом выдадут шестимесячные — с теми еще проще.

Уладилось и с работой. Анну устроили в монастырскую школу-интернат нянечкой при младших воспитанницах, пообещав учить языку. Они и Надьку соглашались взять, но та не захотела, побоялась — монастырь все-таки, еще возьмут и постригут насильно в монашки, в одной книжке про такое читала.

Поэтому она предпочла место прислуги в богатой бельгийской семье, где говорили по-немецки. И предпочла, как оказалось, себе на беду. Не проработав и месяца, она в один из своих выходных дней решила посмотреть город и, ясное дело, заблудилась — ходила-бродила, глазея на витрины, потом села не на тот трамвай и вообще заехала к черту на кулички. Перепугавшись, потеряв голову, обратилась к какой-то прохожей, та отвела ее к полицейскому, полицейский тоже ничего не понял и повел за собой.

В помещении участка она просидела часа три, пока, наконец, не увидела в дверях офицера в советской форме.

— Ну что, еще одна? — спросил он.— И куда вас носит, чего бегаете, как малахольные, все равно ведь никого из вас тут не оставят. Американцы-то хотели бы, ясное дело, им на плантациях дарован рабочая сила во как нужна... Ладно, ладно, нечего реветь, скажи спасибо, что нашлась! Ты что же думаешь, наше правительство о своих гражданах не позаботится? Мы этим союзничкам вполне авторитетно заявили: будете препятствовать репатриации, силой удерживать здесь советских людей, так от нас тоже ни один ваш пленный домой не вернется. А мы-то их много уже понаосвобождали, шутка ли, почти пол-Германии пройдено. Вон, сводка была — войска Первого Украинского Шпрею форсировали, слыхала? А Шпрея эта, она ведь через самый Берлин протекает, так что полный капут теперь гадам, скоро домой поедешь. Идем, и тут с машиной...

Глава 25

17 апреля командующий фронтом Конев прибыл на наблюдательный пункт генерал-полковника Николаева, выдвинутый к самой переправе. Командарм, с красными от бессонницы глазами, одетый в защитный комбинезон без знаков различия, немногословно доложил обстановку. Корпуса 7-й гвардейской танковой армии пошли через Шпрее сразу после полудня, форсировав ее с ходу и вброд. Был солнечный безветренный день, слегка мглистый от дыма горящих лесов, и сизый газойлевый чад стоял над неширокой — в полсотни метров — мирно поблескивающей под солнцем рекой. Леса горели и там впереди, за Шпрее, и сзади, где вчера танковые дивизии СС «Богемия» и «Лейбштандарте» пытались задержать нашу ударную группировку, проломившую Нейсенский оборонительный рубеж.

Пытались — и не смогли. Два с половиной часа артподготовки и непрерывные удары штурмовой авиации вывели из строя всю систему управления и нарушили запланированный противником поэтапный ввод оперативных резервов; к концу первого дня нашего наступления «Линия Матильда» была взломана на ширину тридцати километров.

Сегодня здесь, на Шпрее, дело шло удивительно гладко. Стреляли с левого берега как-то не по-немецки вяло, а потом огонь и вовсе прекратился, как только туда добрались первые наши танки. «Тридцатьчетверки» шли через реку не задерживаясь, швыряя из-под гусениц сверкающие сдвоенные фонтаны и волоча за собой синеватые шлейфы выхлопных газов. Через два часа после начала переправы понтонеры навели первый мост, по нему уже катили грузовики и бронетранспортеры с мотопехотой, а рядом спешно достраивался второй, шестидесятитонный, для тяжелых танков и самоходок. «Ну, добро,— сказал маршал, не оборачиваясь к стоящему за его плечом командарму,— у тебя как всегда порядок...»

Когда командующий фронтом уехал, Николаев тоже решил вернуться в штаб — делать здесь было пока нечего. Он попрощался с командирами корпусов и вышел к своему «виллису»; позади взревел, тяжело взбираясь по песчаному откосу, транспортер с автоматчиками охраны. Скоро машины достигли места вчерашних боев — кое-где еще горел редкий сосняк, вернее, оставшиеся от него уродливые, посеченные снарядами жердины стволов, между которыми тут и там чернели сожженные, в копоти и окалине, или разворученные взрывом туши «ягд-пантер» и «тигров», исковерканные каркасы грузовиков, раздавленные противотанковые пушки, запрокинувшийся в воронку колесно-гусеничный тягач, днище и вывернутый вперед неправдоподобной толщины лист лобовой брони «фердинанда» с огромным стволом орудия, зарывшегося в землю дульным тормозом. И дымный воздух над этим местом побоища, над свалкой железной падали, содрогался от рева и лязга другой техники — живой и победоносной. Навстречу «виллису» командарма по разъезженной лесной дороге перли на полной скорости танки и самоходки, грузовики с понтонами и ящиками снарядов, бензозаправщики и громоздкие автофургоны походно-ремонтных мастерских — сквозь проделанную вчера брешь в прорыв вводились войска второго эшелона, техника и живая сила. Последняя, еще по-зимнему в ватниках и ушанках, ехала в заваленных воинской поклажей кузовах «студебекеров», сидела на броне, упираясь ногами в прикрученные вдоль бортов бревна, кто покуривал в кулак, кто деловито шуровал ложкой в котелке, усатый немолодой автоматчик с удалью рвал меха баяна, устроившись на крыше зарядного отделения. Николаев тронул водителя за плечо и, когда «виллис» послушно замер на обочине, вышел из машины. Прихрамывая, он поднялся на пригорок. Здесь дорога была видна до самого поворота, грузовики выкатывались оттуда, неторопливо переваливаясь на выбоинах, а потом опять пошли «зверобои» — новые СУ-100. Одна за другой, через одинаковые интервалы, установки с ревом вырывались из-за поворота, притормаживали, рывком крутнувшись на правой гусенице — так, что из-под левой хлестало песком и камнями,— и снова, раскатисто заревев на перегазовке, устремлялись вперед уже по прямой, окутанные синим туманом дизельного перегара, ныряя на

ухабах разбитой лесной дороги, тяжко и угрожающе раскачивая поднятыми на предельный угол возвышения, словно звнесенными для удара длинными стволами пушек. Николаев узнал пополнение 2-го мехкорпуса — тускло отсвечивающие свежей заводской окраской брони, еще без язвин от осколков и электросварочных шрамов, которые отличают побывавшую в бою технику, установки эти какую-нибудь неделю назад вышли из сборочных цехов где-то за Уралом; и потом — сутки за сутками — гремели по рельсам колеса тяжелых четырехосных платформ, и гулким железным грохотом взрывались под ними пролетающие мосты, и зелеиые семафорные огни летели навстречу как трассёры, и проносились мимо полустанки и узловые станции с отведенными на запасные пути пассажирскими составами, кружились вокруг пустынные приволжские степи и клочья паровозного дыма оседали а зеленеющих уже березовых перелесках Подмосковья; а литерные эшелоны летели с воем и грохотом все дальше и дальше — через Смоленщину, через Белоруссию, через Польшу,— и сейчас, здесь, на размолоченной гусеницами фронтовой дороге между Нейсе и Шпрее, каждую из боевых машин, казалось, продолжала гнать вперед неукротимая инерцин движения, накопленная ими за весь этот трехтысячеверстный путь на Запад...

Вернувшись а штаб армии, расположившийся в чудом уцелеашем поместье какого-то барона, Николаев решил отдохнуть, пока позволяет обстановка; неясное чувство тревоги говорило ему, что она может измениться с часу на час. Попытался поспать, но не удалось, на душе было беспокойно. Он встал, вышел в комнату, где работали офицеры оперотдела. Общая картиив остаалась прежней — передовые бригады продвигались в иаправлении Дребкау, противник оказывал упорное сопротивление только на правом фланге, в секторе Котбуса.

Командарм долго стонл над картой, поигрывая никелированными ножками циркуля. Странно — все шло пока без помех, и однако его ие покидало тревожное ощущение внутренней напрнженности, словно предчувствия какого-то. Он попросил заварить чаю покрепче, снова вызвал по рации командира 6-го корпуса — его танки должны были вот-вот перерубить железную дорогу Котбус — Финстервальде — и спросил, нет ли на том участке чего-нибудь нового. Нет, ответил комкор, признаков усиления противника не наблюдается. «Кто его знает, куда он вообще подевался,— пропищал в наушниках голос комкора-6,— так, глядишь, и до самой Эльбы проскочим. А что, хорошему кобелю сто верст не крюк...» Адъютант принес чай, Николаев машинально посмотрел на часы — было уже около двадцати трех. Он не успел допить первого стакана, как позвонил командующий.

Трубку аппарата ВЧ Николаев взял в полной уверенности, что вот сейчас-то предчувствие и оправдается — преподнесет начальство сурпризец. И действительно, не ошибся.

— Вот что, Александр Семеныч,— начал маршал, и сделал весомую паузу.— Я тут говорил с Верховным... Жуков, похоже, крепко увяз на тех высотках,— в голосе Конева послышалось нескрываемое удовлетаорение.— Вторые сутки шурует, а толку с гулькин нос... тактическая зона еще не пройдена! А ить у него там артиллерийская плотность до трехсот стволов на кило́метр фронта, это ж, понимаешь, неслыханное дело, чтобы с такой огневой поддержкой двое суток на одном месте дрочиться... Как там у тебя, кстати?

— Изменений в обстановке нет, тоаарищ маршал. Армия выходит в оперативное пространство.

— Добро, добро... Значит, такое вот дело: все-таки с юга Берлин будем брать мы. Ну? Чего притих,— ворчлиао сказал комфронта,— недоволен, что ли? Или не ожидал, что выпадет и твоим орлам такая, понимаешь, высокая честь — добить зверюгу в его логове?

Ожидать-то ожидал, именно этого втайне и опасался; но все же была надежда, что не пойдут на это, что здравый смысл возобладает.

— Нет-нет, я просто подумал,— торопливо отозвался Николаеа, и сказал первое пришедшее в голову: — Мы ведь таким образом вторгаемся а полосу соседа, не получилось бы путаницы...

— Да никуда мы не аторгаемся, не бойся! Линия-то разграиичительная сам знаешь докуда была доаедена — до Люббеиа только...

Да, Конев две недели назад не удержался, похвастал — добился-таки своего: на совещании в Ставке разграничительную линию между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами Верховный собственноручно исправил, оборвав ее юго-восточнее Берлина, что означало возможность взаимодействия обоих фронтов в предстоящей операции. Коневу только это и надо было, ему давно не давала покоя мысль, что всю славу перехватит Жуков. Но маршальские амбиции — ладно, дело житейское. Хуже было другое: участие 1-го Украинского имело смысл только в том случае, если Берлин решат брать в кольцо. В худшем из всех аозможных вариантоа.

— Так точно, товарищ маршал,— сказал он, овладев собой.— Что ж, поздравляю вас с доверием Ставки. Но Жукова Зееловский рубеж задержит от силы еще на сутки; следовательно, чтобы нам поспеть не к шапочному разбору, армию придется повернуть немедленно, сегодня же ночью...

— Довернуть только,— поправил командующий.— Ты сейчас куда нацелен — на Виттенберг, верно? А пойдешь на Лукеивальде — Барут — Бухгольц, доворот-то всего... каких-нибудь пятьдесят градусов. Неужто не поспеешь к утру? Со связью и управлением в твоем хозяйстве всегда полный ажур, я вон тебя даже другим в пример ставлю. Словом, генерал-полковник, давай связывайся немедля с корпусами, директиву получите через три часа — уже готовят. Теперь главное! График у тебя будет такой: девятнадцатого ты должен быть в Баруте, двадцатого — в Цоссене и к вечеру выйти на рубеж Тельтов-канала; а двадцать первого — ни днем позже! — в самом Берлине. Значит, жми изо всех сил! Бригады разворачивай веером — и жми, о флангах ие думай, это не твоя забота. Вперед и только вперед! Главное, чтобы через трое суток ворваться а Берлин...

Положив трубку, командарм шепотом выругался — длинно, витиеаато и для себн непривычно. Ему вспомнился давеший лихой усач с баяном и еще другой солдат, молоденький, соасем мальчик в съехавшей набок большой не по размеру каске, который трясся на борту «тридцатьчетверки», неловко вцепившись в приваренную к броне скобу и придерживая на груди автомат. Он еще подумал тогда — ну, эти-то, Бог даст, и вернутся домой; до Эльбы рукой подать, а когда соединимся с амернканцами — не исключено, что противник и пардону запросит, что ему делать останется с рассеченным стратегическим фронтом...

А теперь, значит, их всех напоследок в мясорубку — и баяниста, и мальчонку в каске, и того, что по-крестьянски сосредоточенно хлебал из котелка, примостив его в коленях, и многих, многих других. Всех, кто могли бы вернуться домой, но теперь не вернутся, потому что Конев не хочет делиться славой с Жуковым, а Сталин — с Эйзенхауэром, и из-за этого эндшпиль решено разыграть самым испытанным из всех возможных способов: чтобы побольше крови. Просто и надежно. А главное — освящено традицией.

...Что вокруг Берлина затевается какая-то нечистая игра, он стал догадываться неделю назад, когда американцы остановились на Эльбе севернее Магдебурга — меньше чем в сотне километров от западных предместий столицы. Дошли туда практически без боев — и остановились. Почему? Была, значит, соответствующая договоренность на высшем уровне? 1-й Белорусский фронт в это время заканчивал приготовления к решающему удару с Кюстринского плацдарма; расстояние до Берлина было примерно то же, до начала операции оставалось четыре дня — достаточно, чтобы согласовать действия с американцами, ударить одновременно отсюда и оттуда. А если бы времени и не хватило, если бы выяснилось, что к 16-му союзники не успеют создать на Эльбе ударную группировку нужной силы,— так почему именно 16-го? Что мешало отсрочке иа неделю, да хотя бы и на две? Какие *военные* соображении могли этому препятствовать? Как раз в чисто военном аспекте такое решение было бы самым верным: вынужденный обороняться против нас под Зееловом и против американцев под Бранденбургом, берлинский гарнизон попросту растаял бы, сдаваясь в плен нашим союзникам...

— Стратеги, вашу мать,— пробормотал командарм, и залпом допил остывший чай. Концентрический штурм «логова» обойдется кровопролитием, какого не было со времени Курской битвы. Там ведь собрана последння элита вермахта и СС — в окружении они будут драться до конца, как смертники. Зато мы окажемся единственными победителями! Зато будет чем порадовать советских людей Первого мая, шарахнув над Кремлем какой-нибудь невиданный доселе салют и разослав по стране лишнюю сотню тысяч похоронок...

Он вызвал начальников штаба и оперативного отдела, сообщил новость. Оба помолчали, потом начштаба сказал:

— Ну что ж, это, конечно, почетное длн иас задание... Выходит — так я понимаю — Берлин будем окружать?

— Правильно понимаете,— кивнул Николаев.— Но окружать его будут другие, общевойсковые армии, а наше... почетное, как вы изволили выразиться... задание состоит в том, чтобы проломить южный фас берлинской обороны.

— М-да... Вообще-то не очень это разумно — перекрыть им пути отхода на запад. Все-таки гарнизон в двести тысяч...

— Я думаю,— сухо сказал командарм,— что еще неразумнее обсуждать решения Ставки. Да еще вслух. Итак, попрошу вызвать командиров корпусов, это первое. Второе — всем подразделениям, действующим...— он нагнулся к разложенной по столу карте, водя над ней сомкнутыми ножками циркуля,— действующим к северу от линии... Ренсдорф, Грайфенхайн, Притцен... немедленно радировать «стоп». Паузу использовать для проверки матчасти, дозаправки, пополнения боезапаса. Тем, что действуют южнее указанной линии, предельно ускорить темп продвижения и не позднее пяти тридцати выйти в район Альтдоберн — Липтен. В шесть ноль-ноль всем подразделениим армии радировать приказ: «Вперед, на Барут»...

К трем часам ночи, когда в войсках была получена новая директива фронта, сложнейший маневр поворота огромной танковой армады уже начал осуществляться. Экипажи двух бригад 6-го корпуса, вырвавшихся далеко вперед и внезапно остановленных на линии Котбус — Дребкау, над причиной задержки не задумывались. Стали подходить груженные бочками и ящиками «студебекеры», поступил приказ взять дополнительное — сверх комплектв — боепитание, пополнить запас горючего, погрузить в танки продовольствие из расчета трех суточных выдач. Ладно, стоять — так стоять, заправляться — так заправляться; устало перешучиваясь и по привычке кроя бронебойным гвардейским матом всех на свете, начиная от кровавого гада Адольфа и кончая чмошниками-интендантами, танкисты из рук в руки — по цепочке — перекидывали тяжелые скользкие цилиндры 85-миллиметровых унитаров, пулеметные диски и коробки лент, под завязку набивали вещмешки хлебом и консервами, бережно рассовывали по укромным местечкам внутри машин фляги с трофейным вермутом, полученным в качестве спецдоппайка. Перемазанные солидолом механики, посвечивая переносками, копались в раскрытых люках моторных и трансмиссионных отделений, подтягивали, смазывали, регулировали, заливали газойлем запасные баки, проверяли натяжение гусениц...

А южнее — там, где, подгоняемые нетерпеливыми радиоприказами, выходили в рвйон перенацеливания батальоны и бригады двух других корпусов,— одуревшие от бессонницы офицеры связи тряслись в «виллисах» по разбитым лесным дорогам, надрывно выли перегруженными моторами вязнущие в песке автоколонны, и танки со включенными фарами врывались в узкие улочки брошенных жителями городков. Слепящие конусы света вспышками вырывали из мрака памятник посреди тесно обставленной домами площади, засыпанные стеклянным крошевом пустые витрины, ярко белеющий лист какого-то воззвания с простершим крылья черным имперским орлом в заголовке, намалеванный аршинными буквами на красной кирпичной стене лозунг «Sieg oder Sibirien», брошенную со сломанным колесом повозку. Безлюдный городок сразу окутывался чадным сизым туманом, от неистового рева дизелей и бешеного железного грохота гусениц по булыжнику дрожали стены и неслышно звенели уцелевшие еще оконные стекла, а мусор на мостовых — свидетельство поспешного бегства — обрывки газет, солома, письма и фотографии из семейных архивов, перинный пух, листовки, пепел сожженных в последнюю минуту документов — взвихривался и крутился за проносящимися как торпеды «тридцатьчетверками». Потом опять становилось тихо, медленно рассеивался дым, оседала пыль, и где-то в ночи постепенно смолкал шум двигателей — там, на западе, в сторону Альтдоберна...

А громыхающие стальные коробки танков продолжало бросать и раскачивать по исковыренному мелкими воронками асфальту, по мягким проселкам, по ухабам лесных дорог. Незадолго до рассвета прошел небольшой дождь, посвежало, пахнущий сыростью и древесной гарью ветер врывался в распахнутые люки. Механики-водители со слезящимися от напряжения глазами, держа натруженные руки на рычагах фрикционов, гнали машины чуть ли не вслепую, ориентируясь лишь на тусклые в дыму кормовые огни впереди идущего. Экипажи были измотаны до предела, но сейчас они держались уже словно на «втором дыхании» — какая-то бесшабашная лихость овладевала в эту ночь людьми, уже третьи сутки не выходившими из боев. Вчера на Нейсенском рубеже они дрались с «ягд-пантерами» элитной дивизии СС из персональной охраны фюрера — а сейчас, не видя противника, осуществляли этот странный марш-бросок через пустоту, глубже и глубже вгоняя танковый клин в неразведанное пространство. Через несколько часов им предстояло повернуть свои машины на север — на направление главного удара.

В ночь на двадцать четвертое апреля генерал-полковник Николаев, его начальник штаба, член Военного совета армии и еще несколько офицеров стояли на плоской крыше восьмиэтажного фабричного здания в Тельтове. Отсюда почти весь Берлин был виден как на ладони; вернее, был бы виден — днем. Сейчас он только угадывался во мраке своей огромной протяженностью, багрово озаренной пожарами. На их раскаленном фоне тут и там черными силуэтами просматривались отдельные здания покрупнее, шпили кирок, фабричные трубы окраин, рваные очертания руин; правее Тиргартена что-то горело позади высокого многоэтажного фасада, его пустые оконные проемы светились рядами ярких квадратиков, словно дом был празднично освещен изнутри. Особенно много пожаров было в северо-восточных и центральных районах города, оттуда непрерывными раскатами тяжкого обвального грохота доносился гул канонады — дальнобойная артиллерия Жукова уже вторые сутки громила правительственные кварталы.

Офицеры на крыше молчали, смотрели, слушали. Николаев, держа руки в карманах кожаного реглана — ночь была холодной, и здесь на высоте дул резкий северный ветер, пахнущий гарью и тлением,— вышел вперед к самому парапету. Внизу, в редких слючайных отсветах, тускло поблескивала черная вода канала. Фабричные корпуса на том берегу (он долго и подробно рассматривал их днем) казались покинутыми, но это впечатление было обманчивым. Все выходящие на канал окна были замурованы, заложены мешками с песком, заделаны броневыми щитами; и из каждой смотровой щели, из каждой амбразуры глаза невидимых наблюдателей следили за южным берегом. Вся эта заводская окраина Берлина была превращена в сплошную крепость — прочные, добротной старой постройки кирпичные здания, сложная сеть подземных коммуникаций, установленные на перекрестках бронеколпаки и снятые с танков орудийные башни. Да, нетрудно себе представить, во что обойдется прогрызание такой обороны...

Командарм смотрел на мрачную, фантасмагорическую картину огромного горящего города, и ему как-то не верилось, что перед ними действительно Берлин, что они действительно дошли сюда, доломали эту войну. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Да нет, уже доломали... Хотя еще поогрызается, попьет еще кровушки.

Безумное, преступное дело этот штурм. Но, к сожалению, вполне закономерное. Вся война от первого ее дня была настолько преступной и безумной, что и не могла завершиться ничем иным. Как чума, заразительны безумство и преступление — вот почему обе стороны оказались зачумленными. Каждая в своем роде. Нет, речь не о солдатах, с солдвта какой спрос; те, что руководили войной, вот кто сравнялся в жестокости и безумии. Просто одни зверствовали над чужими народами, а другие — над своим собственным. Кому что по душе.

Да, Великая Отечественная — самая засекреченная война нашей истории... Такой и останется — надолго, очень надолго. Хотя ни о какой другой не напишут столько, все будет лживо и приблизительно. Все будет не то. Писать *то* просто нельзя — и не потому даже, что никогда не разрешат; правда об этой войне останется ненужной и вредной, взрывоопасной. Сегодня эта правда непосильна даже нам, видевшим ее настолько близко, что теперь остается одно: поскорее забыть, заслониться придуманным, приемлемым, лестным; но полную правду об этих четырех годах не примет и второе поколение, сегодняшние военные сироты, уже воспитанные (к счастью для себя) в святой убежденности, что отцы отдали жизнь за победу Добра над Злом...

Командврм непроизвольным движением снял фуражку. Ночной ветер над Берлином, отравленный запахами войны — трупным смрадом, пылью истолченного кирпича и бетона, дымом пожарищ и едким перегаром тротила,— доносил сюда ее звуки: отдаленный грохот непрекращающейся канонады, рычание моторов и осторожный скрежет и лязг по брусчатке здесь внизу, где на набережной уже занимала огневые позиции самоходная артиллерия, и танки первой штурмовой волны накапливались в поперечных каналу улицах.

Картина двухлетней давности вспомнилась вдруг Николаеву: закат жаркого июльского дня, когда он летел на «кукурузнике» вдоль грейдера, по которому его части шли на соединение с бригадами Ротмистрова — под Прохоровку. С высоты, хотя и небольшой, движение растянувшейся на километры колонны казалось неторопливым; лишь присмотревшись, разглядев, как на неровностях почвы за левым кюветом быстро изламываются горбатые тени танков, можно было определить, что водители газуют километров под шестьдесят, не меньше. Перегнувшись через борт открытой кабины в хлещущий из-за исцарапанного целлулоидного козырька горячий ветер и глядя на вереницу красновато-бурых от закатного уже солнца коробочек, он представил себе тех там, внизу, на брезентовых сиденьицах в дымной громыхающей полутьме, пропахшей газойлем, пóтом, оружейной смазкой и близкой уже смертью, неминуемой для многих. Он знал, что их — обреченных — много, знал приблизительно их число, вероятностный анализ потерь в предстоящей операции ему доложили накануне, и цифры эти ужаснули даже его, давно отвыкшего ужасаться чему бы то ни было...

Но потери потерям рознь. Те, тогдашние, были необходимы — сложившаяся к тому времени обстановка обусловила инвариантность оперативных решений, не оставив никакого выбора. Таранный удар панцерных корпусов Гота, ринувшихся в обход Обояни, требовалось погасить *любой* ценой, слишком многое было поставлено на карту. Судьбе не одного только Курска предстояло решиться там, на шестикилометровом пятачке между Псёлом и линией железной дороги Марьино — Беленихино. И это понимали не только в Ставке, не только командующие фронтами и армиями; тогда это понимал — нутром чувствовал! — каждый механик-водитель, каждый башнер.

Поэтому у него, командарма, совесть в тот день была чиста. Он мог бы приземлиться там в степи и, остановив колонну на марше, поговорить с любым экипажем — из тех, что по его приказу шли на смерть. В тот день у него нашлось бы что сказать чумазым ребятам в замасленных комбинезонах, с черными от пыли лицами. Всегда находилось, и всегда его понимали, он это чувствовал; поняли бы и накануне побоища 12 июля.

...А вот сейчас он не смог бы заставить себя говорить с экипажами. Не отважился бы. И не потому, что боится услышать вопрос, на который не найдет ответа; это исключено, в армии хорошо знают, о чем можно и о чем нельзя спрашивать генералов. Более того, никаких вопросов, как ни странно, пожалуй, и не возникает сейчас у тех, кому

скоро придется умирать здесь, в Берлине, накануне мира. Они не спрашивают себя, действительно ли это так нужно, считают это нужным, правильным. Как тогда, под Прохоровкой, как под Сталинградом, как под Москвой. Многие, наверное, даже искренне воодушевлены, гордятся своей «почетной» ролью участников битвы за вражескую столицу. Может, так оно и лучше. Конечно, лучше. Куда труднее было бы им сейчас, знай они, какую грязную политическую игру решено оплатить здесь их жизнями...

Глава 26

Гвардии майор Дежнев узнал о падении Берлина на следующий день после вступления в должность коменданта австрийского населенного пункта Терезиенталь. Неделей ранее, в горах на правом берегу Дуная окончился боевой путь 441-го гвардейского мотострелкового полка. Лейтенанты, которые до последнего дня еще надеялись, что их перебросят на решающее направление, чувствовали себя обокраденными: так буднично, где-то в глуши, заканчивать эту великую войну, не повидав развалин рейхстага, не снявшись на фоне Бранденбургских ворот! Они жадно слушали и перечитывали каждое сообщение о ходе битвы за Берлин, а вокруг была тишина, безоблачное небо сияло над цветущими яблонями, и на лугах, мирно позвякивая колокольчиками, паслись неправдоподобно ухоженные коровы.

Майор Дежнев этих лейтенантских переживаний не разделял, ему тишина казалась естественной и, главное, заслуженной. Ведь ради нее и воевали они эти долгие четыре года — ради тишины и мира, ради неба, куда можно смотреть без опаски, ради того, чтобы земля пахла травой и яблоневым цветом, а не кровью и горелым железом...

Комендантские его обязанности были несложны. В крошечном городке с шеститысячным населением возникало не так уж много проблем, а когда был утвержден временный состав муниципального совета, все местные дела перешли в его ведение и функции коменданта ограничились как бы общим контролем; непривычная должность уже не казалась такой трудной, он чувствовал, что начинает с нею справляться. Ставший начальником гарнизона полковник Прошин был доволен своим комендантом и благосклонно принимал его ежедневные доклады.

Пятого мая восстала Прага. Трое лейтенантов по этому поводу зверски напились и орали перед комендатурой, что их — боевых офицеров! — маринуют здесь хрен знает зачем, а рядом погибают братья-славяне! Разбушевавшихся «гусаров» препроводили на гауптвахту, но на этот раз майор Дежнев вполне им сочувствовал. Граница проходила в каких-нибудь пятидесяти километрах, и невыносимо было думать, что там, на чешской земле, еще косят людей эсэсовские автоматы.

Восьмого Дежнев вместе с Козловским не отходили от приемника — в кабинете у коменданта стоял роскошный, огромный, как комод, «Блаупункт». Козловский, знающий английский язык, крутил ручки настройки, переходя с одного диапазона на другой.

— Ничего не понимаю,— говорил он.— Все западные станции сообщают о капитуляции Германии. Приснилось им, что ли? Говорят, капитуляция подписана в Реймсе, вчера в два пятнадцать утра...

Подумав и почесав в затылке, Дежнев позвонил начальнику гарнизона.

— Я тебе что-нибудь сообщал? — строго спросил Прошин.— Нет? Значит, ничего и не было. Сейчас, знаешь, всякие провокации могут иметь место. Понимать надо, майор!

— Чертовщина какая-то,— сказал майор, положив трубку.— А ну, давай снова Москву...

Но Москва о капитуляции молчала. Сообщалось лишь о ликвидации бреславльской группировки, о взятии Дрездена, о салюте по этому поводу, об освобождении Оломоуца, о действиях отдельных частей 1-го и 4-го Украинских фронтов. Война, похоже, продолжалась. Дежнев ничего не мог понять — сепаратный мир, что ли, заключили немцы с западными союзниками?

Неизвестно, какими путями новость распространилась и среди бойцов, те поверили ей сразу, начали собираться группами, кто-то совсем рядом с комендатурой засадил в воздух автоматную очередь. Никаких официальных сообщений с нашей стороны все еще не было. Лишь поздно вечером коменданту сказали, что полковник Прошин вызывает к себе офицеров гарнизона.

Когда явились к полковнику, там уже был накрыт стол. Прошин, при всем параде, сияя орденами и ослепительно выбритой головой, сообщил им, что сегодня в полночь вступает в силу акт о безусловной капитуляции всех вооруженных сил Германии, церемония подписания которого происходит сейчас в Карлсхорсте под Берлином.

— Товарищи офицеры,— сказал он сиплым и задушенным от волнения голосом,— поздравляю вас с победоносным окончанием Великой Отечественной войны. Ура!

Сказанное полковником не было неожиданностью ни для кого, все ждали этого и все догадывались, для чего вызвал их к себе начальник гарнизона; и все же после слов

Прошина, на секунду-другую, в комнате стало очень тихо. Просто никто не смог сразу освоиться с мыслью, что это действительно произошло, что Победа стала реальностью и что после сорока шести месяцев войны действительно наступил мир.

Потом все закричали «ура». Полковник, стоя навытяжку во главе стола, поднял налитый до краев фужер.

— Выпьем же, товарищи офицеры, за тех, кого сегодня нет с нами,— сказал он тем же сдавленным голосом.— За тех, кто не дошел, кто остался там — под Москвой, и под Сталинградом, и под Курском... За тех, кто ратными своими трудами добыл победу и не увидел ее, за всех наших павших боевых товарищей. Вечная им память и да будет им... земля... пухом...

Он плакал теперь, это все видели. Грубый и не очень образованный служака, которого молодые лейтенанты называли «носорогом», Прошин едва договорил свой тост и теперь стоял перед ними, как на смотру выкатив увешанную орденами грудь и крепко зажмурившись, и слезы медленно выдавливались у него из-под век и сбегали по щекам к выскобленному до красноты подбородку. Он выпил водку истово и неторопливо, грузно опустился на стул и оттолкнул подсунутый кем-то бутерброд, не поднимая головы.

Так начался мир.

Дежнев плохо представлял себе его. Пока он еще не мог освоиться с ним настолько, чтобы начать строить планы мирной жизни. Думать о ней мешало не только суеверное опасение, что вот, мол, размечтаешься, а тут тебя по боевой тревоге снова в эшелон и — куда-нибудь туда, к Тихому океану (среди офицеров ходили упорные слухи, что мы примем участие в военных действиях против Японии). Больше мешало другое: он — муж, отец — совершенно не представлял себе, как будет жить с женой и сыном: сын еще слишком мал, а жена... Что ж, он трезво, без иллюзий, признавался себе в том, что Елена для него, в сущности, незнакомка. Наверное, так начинается всякий брак — даже если знакомы были давно, да хоть и вместе росли (расти вместе — одно дело, а вот строить вместе семью — задачка посложнее); но тут уж и вовсе. Не то чтобы он сомневался в каких-то ее человеческих качествах, его доверие к ней было полным. Уже одно то, как она тогда исчезла, скрыв от него беременность, говорит само за себя — ведь если бы не письмо покойного Игнатьева, он до сих пор не знал бы, что у него растет сын! И все же, все же...

Насколько все было бы проще, будь в живых мать. Поселились бы они все вместе и, пока он еще в армии, успели бы притереться друг к другу — уже образовалась бы семья, потом и ему легче было бы в нее войти. Теперь надо хоть Зину к ней отправить, так и Елене будет легче справляться с уходом за Борькой, да и Зине лучше учиться в Ленинграде, чем сидеть в Туле у тетки. Если захочет, конечно. Мать писала как-то, что становится Зинка упрямой и своевольной, так что может и не захотеть. Тетка человек добрый, к тому же всю войну прожили вместе — такое сближает. Да, а вот ему, пожалуй, уже сестренку и не узнать вовсе...

И что вообще теперь делать? Раньше всегда думалось: кончится война, сразу в институт. А теперь не получится — семья, трое иждивенцев, Елене ведь какое-то время работать будет нельзя, не отдавать же мальчишку в ясли.

Да, будущее представлялось туманным. Единственное, в чем Дежнев был почему-то совершенно уверен, — это что не сегодня-завтра отыщется Татьяна. Теперь, когда уже слишком поздно, возьмет и отыщется.

А жизнь в Терезиентале шла своим чередом. Появились в комендатуре новые офицеры, специалисты по вопросам экономики, сельского хозяйства и даже промышленности (хотя в городке было всего четыре полукустарных предприятия), в компетенции коменданта оставались теперь вопросы гарнизонной службы и охраны порядка, но порядок обычно не нарушался, а служба шла как положено. Служба, как известно, идет даже, когда солдат спит.

Второго июня, поздно вечером, позвонил Николаев. Генерал-полковник поздравил его с окончанием войны, сказал, что находится в Вене, и пригласил приехать позавтракать с ним завтра утром. Следующий день был воскресеньем, комендатура не работала. Дежнев доложился начальнику гарнизона, получил разрешение и в половине девятого выехал в Вену на своем «опель-капитане».

Утро было солнечным, тихим, дорога — отличной, на лугах уже начинался сенокос, и встречный ветер обвевал лицо сладким ароматом свежескошенных трав. Гнать не хотелось, он вел машину одной рукой, выставив левый локоть в открытое окошко. Скорее всего, подумал он, у Александра Семеновича новости о Тане, и новости хорошие, потому что голос генерала звучал по телефону весело и жизнерадостно; странно только, что сразу не сказал в чем дело. А может быть, эта жизнерадостность звучала немного наигранно?

Ему вдруг захотелось отдалить момент свидания с Николаевым. Впрочем, было еще рано, они договорились на одиннадцать. Майор остановил машину на обочине, заглушил мотор и вышел. Возможно, ему не показалось, что наигранно. Почему бы нет?

Почем знать, как восприняла Таня известие о его женитьбе; в ней за это время могло все перегореть, а ведь могло и сохраниться...

Но тут уж ничего не поделаешь. Кысмет, как говорил Ахмедулин, когда у него посреди дороги кончался бензин или запаска оказывалась спущенной. Кысмет, судьба, рок. Значит, и впрямь не суждено им было, мать как в воду глядела — «чует мое сердце, сынок, не будет у тебя с Танечкой счастья».

Ровно за пять минут до назначенного времени Дежнев подкатил к большому отелю, реквизированному Военной администрацией. Лифт не работал, и он взбежал на четвертый этаж одним духом, прыгая через ступени. Перед дверью номера остановился, переводя дыхание, поправил фуражку, одернул китель. На звонок изнутри ответил знакомый голос, пригласивший входить.

Николаев обнял его и троекратно облобызал, похлопывая по спине.

— Да, брат,— сказал он,— все-таки мы ее доломали, эту войну, а? И дожили ведь, чтобы увидеть своими глазами, вот что самое удивительное... Ну, дай хоть взгляну на тебя — сколько времени не виделись — ну, герой, орденов-то, орденов, батюшки... Я, кстати, тебя и со вторым просветом еще не поздравил — словом, прошу к столу, у меня, как видишь, тут уже полная боеготовность, сейчас за все сразу и выпьем. Прошу!

— Слушаю, товарищ генерал! — шутливо отчеканил Дежнев.

— Да, подумать только, майор,— Николаев покачал головой, разворачивая жестко накрахмаленную салфетку.— Вспоминаю первую нашу встречу на фронте — в Белоруссии, в августе сорок первого... Ты тогда таким общипанным был птенцом, как сейчас вижу... Да, под огнем люди растут быстро. В армии мирного времени, брат, тебе до майора ох как долго пришлось бы лямку тянуть... Ну, что ж!

Они выпили, закусили, еще выпили. Николаев позвонил, белокурая горничная в крахмальной наколке вкатила низкий столик на колесиках, уставленный судками и блюдами под крышками. Почуяв вкусные запахи, Дежнев ощутил голод — перекусить в Терезиентале он не успел.

— Тебе, кстати, еще один человек шлет поздравления,— сказал Николаев, когда начали есть.— Поздравления, всяческие приветы. Догадайся кто, думай, а я пока налью. За это тоже следует выпить.

Дежнев ждал этого, был почти уверен, и все-таки его оглушило. Он помедлил с вилкой в руке, потом, не поднимая головы, спросил негромко:

— Вы нашли Таню?

— Сама нашлась! Я ее только вытащил из всяких там фильтрационных комиссий, а нашлась она сама — явилась откуда-то оттуда, с Запада, последнее время, кажется, была чуть ли не в Нидерландах — поверить нельзя, тысяча и одна ночь...

— Я рад, Александр Семенович,— так же тихо сказал Дежнев.— Поздравляю вас, и Таню тоже поздравляю... с возвращением.

— Спасибо, брат. Ее поздравления я тебе уже передал — с миром, с женитьбой. Она тебе желает много счастья.

— Вы... сказали ей?

— Ну естественно, что же тут скрывать! Тем более, что она ведь тоже — некоторым образом — замужем.

— Некоторым образом?

— Да, там история совершенно фантастическая, я тебе говорю — никакой Шехерезаде не выдумать... Вкратце изложу, только ты ешь, ешь энергичнее, а то смотри — захмелеешь, коньяк высокооктановый...

Дежнев ел, не разбирая вкуса, и слушал, не веря своим ушам. Впрочем, почему не верить? На войне, действительно, случается самое невероятное. Странно — он совершенно не ощущал хмеля, хотя выпил уже порядочно, а коньяк и в самом деле был силен. Эмигрант еще какой-то...

— Ну, так, а сейчас что с ним? — спросил он.

— Сидит пока.

— Сидит?

— Да, тут уж я бессилен,— Николаев развел руками.— Попытался, но мне дали понять, что вмешательство ни к чему. Разберемся, сказали.

— Они разберутся,— сказал Сергей с неопределенным выражением.— Но он, конечно, тоже хорош... Нашел путь возвращаться на родину — вместе с фашистами. А Таня, что же... любит его?

Николаев хмыкнул, снова взялся за бутылку.

— Сам не пойму,— сказал он не сразу, грея в ладони пузатую коньячную рюмку.— Тут сложнее, наверное, чувство... как-никак он ее спас. А с другой стороны... Брак-то, она говорит, все-таки фиктивный, значит, что-то помешало? Не пойму,— повторил он и, махнув рукой, выпил.— Да, жаль... что у тебя в жизни такой получился оборот. Я, честно говоря, когда получил от тебя письмо с этой новостью... Ну, что делать. Но — жаль! Сейчас все было бы по-другому.

Дежнев долго молчал, потом произнес негромко:

— Я... поеду, наверное. Разрешите быть свободным, товарищ генерал-полковник?

— Не разрешаю, майор. Обиделся, что ли? Поверь, у меня и в мыслях нет тебя упрекать. Я просто сожалею о случившемся, в свое время привык ведь думать о тебе почти как о... родственнике. Да и не во мне ведь дело, дело в Татьяне... не знаю, что с ней делать. Собственно, Сергей, я хотел просить тебя о помощи.

— Вы — меня? — изумленно переспросил Дежнев.

— Да. Мог бы ты с ней встретиться?

— Конечно,— ответил Дежнев не сразу.— Конечно, я приеду, надо только как-то это устроить...

— Зачем же. У тебя служба, а она человек свободный, ей проще будет приехать сюда.

— Прямо сейчас?

— Нет, когда пройдет все эти комиссии.

— Я рад буду, если Таня приедет. Наверное, нам действительно надо поговорить.

— Не о том, о чем ты думаешь. Вряд ли она захочет говорить о твоей женитьбе... Впрочем, не знаю, может, и захочет. Но тут еще другое...

Майор подождал продолжения, не дождался и спросил:

— А как она вообще... отнеслась к этому, когда вы ей сказали?

Николаев пожал плечами.

— Ну, как... Спокойнее, чем я боялся, но... Наверное, все-таки, это было для нее неожиданностью.

— Понятно... Так о чем вы хотите, чтобы я с ней поговорил?

— Я не знаю — как-то ее надо... образумить! Дело в том, что я для нее уже не то чтобы не авторитет, но... мы просто не можем больше говорить на одном языке, у нас не получается, я лучше понимал ее, когда она была школьницей. Она на все смотрит теперь какими-то не теми глазами... или не то видит, что видим все мы. Недавно мне, знаешь, что сказала? — Генерал-полковник понизил голос: — Если, говорит, Кирилла вышлют обратно, я уйду в американскую зону, ничто меня не удержит...

— Какого Кирилла? — ошеломленно спросил Дежнев.

— Ну, этого ее... супруга!

— А куда его могут выслать и почему?

— Он ведь не советский гражданин, и тут только два варианта: либо ему дают срок за сотрудничество с врагом, либо — если повезет — высылают по месту довоенного проживания.

— Елки зеленые... Куда же она раньше смотрела?

— При чем тут «раньше»,— досадливо сказал Николаев.— Никуда не смотрела — случайно познакомились, случайно потом оказались рядом в Германии... Важно, куда она смотрит сейчас, вот что меня пугает. Поэтому и подумал — возможно, вам легче будет найти общий язык. Со мной у нее этого общего языка не находится, понимаешь! Можно подумать, от нас в какой-то степени зависит... ну, я имею в виду все эти фильтрационные комиссии и прочее. Да и потом надо же понимать — вообще без проверки действительно нельзя, ведь это сотни тысяч, миллионы людей оттуда, совершенно никому не известных, мало ли кто среди них может оказаться! Я понимаю — да, недоверие обижает, но нельзя же с закрытыми глазами доверять всем без разбора. Словом, попытайся с ней поговорить, мне уже бесполезно. Неделю назад был в Москве на этом правительственном приеме, так она мне, когда я вернулся, знаешь, что заявила? Собрался, говорит, весь генералитет, и ни у кого не хватило смелости поднять этот вопрос, рассказать хотя бы, как с пленными поступают,— ведь можно было к самому товарищу Сталину обратиться... Ненормальная, честное слово, ненормальная! Ладно, давай выпьем.

— Насчет того, чтобы к американцам уйти, это она не всерьез, я думаю,— сказал Дежнев.— Так, сгоряча сболтнула...

— А я вот, представь себе, не уверен. То есть, конечно, всерьез у нее таких планов быть не может, но под влиянием этого своего супруга... Впрочем, он-то как раз в обратную сторону стремился, дурень. Но то, что с ним произошло, на Татьяну подействовало ужасным образом, поэтому я и опасаюсь, как бы под горячую руку чего не выкинула... Благо они там все эти зоны вдоль и поперек успели исколесить.

— Домой бы вам ее поскорее отправить.

— Я уж думал. Но, во-первых, до окончания фильтрации никуда ее не пустят, да и потом — куда ехать, к кому? Здесь она все-таки при мне, а там с ее нынешними настроениями такого может натворить, что...

— Я попробую с ней поговорить, Александр Семенович,— сказал Дежнев.

— Попробуй, да. Хотя не уверен, что из этого что-то получится. У тебя-то самого какие теперь планы?

— Пока никаких, служу вот...

— Семью думаешь выписать?

— А что, разве есть такая возможность?

— Да, офицерам оккупационных войск будет разрешено жить с семьями, есть уже такое решение. Надо только будет подумать, где тебе лучше — здесь продолжать служить или, может быть, в Германию перебраться.

— Мне все равно,— сказал Дежнев.— Хотя, если так подумать, здесь все-таки лучше, наверное... народ другой. К нам отношение хорошее, ничего не скажешь. Это они во время войны были вместе, в вермахт не разбирали ведь, кого призывать,— немец там или австрияк. Но сейчас уже чувствуется разница...

На столике в углу зазвонил телефон. Николаев подошел, не торопясь снял трубку.

— Не сейчас,— сказал он, послушав.— Минут через двадцать перезвоните, сейчас я занят.

Дежнев, тоже встав из-за стола, украдкой посмотрел на часы.

— Сиди, ничего срочного,— сказал генерал.— Четверть часа у нас еще есть. Значит, договорились? Присылать к тебе Татьяну?

— «Присылать», может, не стоит, но если она сама захочет приехать, я буду рад... повидаться.

— Естественно, сама. Под конвоем я ее отправлять не собирался. Послушай, ты все-таки выпил — может, отдохнешь здесь у меня? Или дам тебе водителя, отправишь назад попуткой.

— Нет, спасибо, и отдыхать не буду, и без водителя обойдусь. Я и не чувствую уже, что пил. Александр Семенович, а как же все-таки там, в Энске,— так все и осталось невыясненным?

— Где? А, там! Нет, там все выяснилось. Часть архива была найдена в Ровно, в том числе копия докладной записки того чиновника из Берлина, с которым Татьяна ездила, когда ее арестовали. В записке он подтверждает, что сам отправил в Энск арестованную переводчицу в сопровождении украинского полицейского. Кстати, нашелся и человек, из-за которого провалилась группа Криаошеина. Если помнишь, у Татьяны перед войной были неприятности по комсомольской линии — так вот, тот бдительный товарищ, который ее тогда «разоблачал», он и выдал.

— Шибалин — из горкома? Ах, сволочь... Так он, что — нарочно остался сотрудничать?

— Я, брат, с подробностями не знаком. Кажется, он в свое время тоже не успел эвакуироваться, скрывался где-то в селе, а летом сорок третьего до него добрались. Ну, остальное можно себе представить...

За рулем майор если не трезвел, то во всяком случае умел загнать хмель куда-то внутрь, подавить усилием воли. Так было и на этот раз. Выбравшись из Вены и благополучно миновав контрольно-пропускные пункты, он выжал педаль акселератора до упора и гнал так минут двадцать. Потом поставил машину на обочине, перепрыгнул через кювет и побрел от шоссе. Свежая трава шелестела под сапогами, было жарко, в солнечной дымке высились на юге зубчатые горы, пестрые, словно в ломаных линиях камуфляжной раскраски — сиреневые, коричнево-зеленые, лиловые. Где-то в небе пел невидимый жаворонок. Немецкая каска, уже тронутая ржавчиной, зазвенела и откатилась в сторону — еще месяц назад здесь шли бои.

Дежнев бросился в траву и закрыл глаза.

С ним творилось что-то странное — было ощущение, что именно сегодня он окончательно потерял Таню. Оттого, что она нашлась? Бред какой-то, и тем не менее это так. Как будто не найдись она, останься лишь бесплотным воспоминанием — она осталась бы с ним навсегда и неотъемлемо, независимо ни от каких поворотов его судьбы в этом реальном, ощутимом мире. Нелепо, но тем не менее. Иначе откуда бы это ощущение потери?

Лучше бы не приезжала. Но ведь не мог же он сказать: не надо, не хочу, боюсь. В атаки — не боялся, а тут боишься? Или, наоборот, лучше все-таки повидаться, поговорить, может быть, так и надо, чтобы уже до конца, сразу, без остатка. Раз и навсегда. Может быть. Нет, «сразу и без остатка» все равно не получится, ничего не выйдет.

Воспоминания все равно останутся. Уж этого-то у него отнять не смогли, и никогда не смогут, это будет всегда. С ним, здесь.

Он стиснул зубы, крепко зажмурился, но слезы все равно просачивались из-под век, обжигающе стекали куда-то к вискам. Всегда это будет с ним, до конца,— осень тридцать девятого года, и сентябрь сорокового, и весна сорок первого. Та ночь в парке, и голубой рассвет на проспекте Урицкого, и долгие зимние вечера в библиотеке, и та проклятая во веки веков ночь — самая короткая в году, когда серые граненые танки уже выходили на исходные рубежи, и пылили к границе машины с мотопехотой, и «юнкерсы» заправлялись на полевых аэродромах,— а они, ни о чем не догадываясь, бежали, взявшись за руки, по безлюдному предрассветному бульвару, и целовались, прячась в подворотнях, и с хохотом бежали дальше — все дальше и дальше, прямо в войну, до которой оставались считанные минуты...

Глава 27

Со следователем ему просто не повезло. Болховитинов не был уверен, впрочем, что этот человек действительно следователь и имеет юридическое образование, так же как и не имел ясного представления относительно самого себя — находится ли под следствием или просто проходит какую-то до нелепого затянувшуюся проверку.

Все это было не ясно да в конечном счете и не существенно. Хуже было то, что с человеком, которому эту проверку (или следствие) поручили вести, ему оказывалось все более затруднительно найти общий язык. Следователю, наверное, тоже было с ним не просто, Болховитинов это признавал. Начать хотя бы с того, что бедняга явно не знал, как к нему обращаться: «гражданин», как положено, не скажешь, поскольку подследственный — эмигрант и апатрид — не является гражданином СССР, а называть его «господином таким-то» следователю, надо полагать, мешала классовая гордость. Поэтому он либо вообще обходился без обращения, либо обращался примерно так: «ну что, фашистская проститутка, ничего больше не вспомнил?»

Этот же привычный вопрос задал он и сегодня, заменив лишь эпитет более кратким и выразительным, сугубо отечественного происхождения. Болховитинов попросил уточнить, каких, собственно, воспоминаний от него ждут.

— А вот это ты сам должон знать,— сказал следователь, роясь в папке.— Я, что ли, буду тебе подсказывать? Я твоих дел не знаю, ты ими занимался, ты и вспоминай. Когда с немцами-то первый контакт установил?

— В мае сорокового, они нас догнали под Аррасом. Ну, это только так говорится — «контакт с противником», нам и дня продержаться не удалось. Пикировщиками как долбанули, а у нас были сенегальцы — они этого совершенно не переносят...

— Воевал, что ли? У французов?

— Да какое там «воевал», разве это была война. Потом вообще попал в плен, очень скоро.

— Ясно,— с удовлетворением заметил следователь.— И по этой линии, выходит, оказываешься прямой изменник Родины. А еще бывший дворянин!

— Почему же «бывший»,— Болховитинов пожал плечами.— Дворянство не должность и не имущественное положение, конфисковать его нельзя, сместить с него — тоже.

— Упразднить зато можно. Дворянство мы в семнадцатом году упразднили, не слыхал до сих пор?

— Ну, это не так просто сделать,— возразил Болховитинов.— Завтра вам стукнет в голову упразднить псовые породы, так что же — дворняги превратятся в борзых?

— Поговори мне еще, поговори! Ты передо мной хуже самой поганой дворняжки, поскольку ты есть немецкая овчарка. И не заговаривай мне зубы насчет того, где и когда ты с ними воевал. Скажи лучше, когда служить к ним пошел!

— Вот так бы и спросили. Служить к ним я пошел осенью сорок первого года.

— Выбрал же момент, паскуда,— следователь покрутил головой, глядя на него даже с каким-то восхищением.— Ждал небось, что задавит он нас, да?

— Ждал — нет, я этого боялся. Я действительно думал тогда, что Красная Армия не выдержит, но дело не в этом. Просто для меня это была возможность попасть в Россию, и я ею воспользовался. Согласен, это было не очень разумно.

— Ну, и что они тебе поручили делать? Давай, давай, не тяни резину!

— Я уже об этом неоднократно и говорил, и писал — что строили, где, когда...

— Что и где ты строил,— перебил следователь,— на это я, знаешь, ложил с прибором. Меня интересует узнать, когда и от кого ты получил задание завербовать генерал-полковника Николаева. И я это узнаю, даже если мне с тобой еще месяц тут придется чикаться. Не бойся, не таких раскалывал.

— Завербовать? — переспросил Болховитинов, когда к нему вернулся дар речи.— Николаева? Помилуйте, да я только здесь, на этой стороне Эльбы, впервые услышал, что есть такой генерал-полковник! Или нет, нет, погодите, если уж быть точным: об этом человеке я знал и раньше, но...

— Сам же себя на каждом шагу больше запутываешь. От кого узнал, когда?

— От его племянницы Татьяны Викторовны, летом сорок второго.

— При каких обстоятельствах познакомился с Николаевой Татьяной Викторовной?

— Совершенно случайно — зашел во двор одного полуразрушенного дома, просто захотелось сфотографировать на память, и тут она вышла из подъезда...

— А говоришь, сука, будто знакомство было случайным. Ты в каком доме с ней встретился?

— Ну, как я узнал позже, это был дом, в котором она жила до войны.

— Правильно узнал,— кивнул следователь.— Только узнал ты это не «позже», а раньше, и именно поэтому туда и пришел. Следил за ней, подождал, пока она войдет в дом, а тогда зашел на двор и разыграл это представление с фотографией.

— Все, что вы говорите,— самый дикий вздор. До того дня в июне сорок второго года я не знал о существовании генерала Николаева и его племянницы!

— Так-таки и не знал?

— Так и не знал.

— И ни от кого не слыхал эту фамилию?

Болховитинов попытался вспомнить, не было ли каких-нибудь Николаевых среди его пражских знакомых. Или, может, в Париже?

— Ну что, молчишь теперь? Прищемили тебе, скорпиону, хвост?

— Нет, не могу припомнить среди моих эмигрантских знакомых никакого Николаева...

— При чем тут твои .... эмигрантские знакомые?! — заорал следователь.— Ты что мне хреновину порешь? Делаешь вид, что не понял, о каком Николаеве тебя спрашивают? Ты тогда сколько в Дрездене кантовался, перед отъездом на оккупированную советскую территорию?

— С октября сорок первого года по май сорок второго.

— Та-ак,— с удовлетворением протянул следователь, разглядывая грани карандаша.— Зиму, выходит, провел там? И с кем же ты в этот отрезок времени там встречался? Из русских, я имею в виду.

— По правде сказать, почти ни с кем. Иногда виделся с бывшим одноклассником Дмитрием Извольским, но потом он из Дрездена уехал...

— А с кем из советских граждан, находившихся тогда в Дрездене?

— Ни с кем, потому что возможности общения не было. Они жили в своих лагерях, никаких строительных работ в самом Дрездене наша фирма тогда еще не вела, так что общаться с остарбайтерами мне просто не случалось.

— Не все советские граждане в лагерях жили, и ты это не хуже меня знаешь. Ладно, к этому мы еще вернемся. Кого из немцев знал в ту первую зиму?

— Ну, это... надо подумать, припомнить. Были ведь и такие немцы, с которыми встречался раз-другой по какому-то делу, могли и выпасть из памяти...

— Пусть лучше не выпадают, а то вправлять придется,— сказал следователь и через стол сунул ему лист бумаги и карандаш.— Давай вспоминай, пиши, и чтобы все тут были. Полчаса хватит?

Взяв с собой папку, он вышел. Болховитинов озадаченно смотрел на чистый лист — поди их теперь всех вспомни! Ну хорошо, Ридель, Верникe, еще полдюжины сослуживцев тогдашних, первая квартирная хозяйка... Жаль, нет под рукой дрезденской телефонной книги, пусть бы этот маньяк потом разбирался. Завербовать генерал-полковника Николаева? — в белой горячке не выдумаешь, честное слово...

К возвращению следователя на листе выросла уже солидная колонка немецких фамилий. Он взял список, стал изучать, водя карандашом, потом заглянул в свою папку.

— Штольница не вижу,— сказал он угрожающе.— Куда Штольница девал?

— Какого еще Штольница?

— Сам знаешь, какого. Иначе чего бы ты его скрыл, если бы не знал?

— Среди знакомых мне немцев человека по имени Штольниц не было! — крикнул Болховитинов, теряя уже терпение.

— А я говорю — был!! — следователь грохнул по столу кулаком.— Долго ты мне еще юлить будешь, блядь белогвардейская, или с тобой другой язык нужен?!

— Вы уж хотя бы для себя решили, какая я блядь — фашистская или белогвардейская! Все-таки разные вещи!

— А для меня один хрен. Помнишь в Дрездене такой адрес: Остра-аллее, дом семнадцать?

— Остра-аллее? — Болховитинов подумал.— Улицу знаю хорошо, там главный вход в Цвингер. А дом семнадцать... нет, этот адрес мне ничего не говорит.

— Ясненько. Такой, значит, ты избрал себе метод защиты — от всего отнекиваться, ничего не признавать. Так ведь метод-то никуда не годный, это только дураки поначалу за него хватаются. Да тут такие абверовские волки кололись — не тебе, говнюку, чета! Ты даже не соображаешь, какие даешь против себя показания. Ну вот что ты тут написал насчет сидения в гестапо? Голова у тебя на плечах есть? Макитра у тебя на плечах, а не голова. Сколько времени ты тогда просидел?

— Два дня, если не ошибаюсь. Да, семнадцатого сентября арестовали, а выпустили девятнадцатого, во вторник.

— Ну, и кто ж тебе после этого поверит, что ты не дал подписки? Других насмерть забивали, а этого субчика через два дня — пожалте на солнышко, извиняемся, что доставили неудобства...

— О какой подписке вы говорите?

— А о той, которую ты им дал! В том, что сотрудничать согласен!

— Послушайте,— Болховитинов уже чувствовал, что и сам перестает понимать что бы то ни было,— вы хоть разберитесь во всей этой галиматье, которую тут наворотили! Зачем я в сентябре прошлого года должен был соглашаться на сотрудничество с гестапо, если, по-вашему, оно мне уже зимой сорок второго года дало задание найти в Энске племянницу генерала Николаева?

— Это не от гестапо было тебе задание.

— А от кого же, черт вас дери? От Второго бюро?!

— Нет, вы гляньте на эту гниду,— следователь покрутил головой, вздохнул.— Он же меня еще спрашивает, от кого имел задание. Хорошо, разъясняю: задание это ты имел от абвера. В списке твоем, кстати, еще одно лицо отсутствует. Почему Юргенс не записал, а?

— Какой еще Юргенс?

— Не какой, а какая! Юргенс Гертруда, агент абвера, которая вывела тебя на Николаеву! Ну что, вспомнил, вражина? Так вот — абвер твой в начале сорок четвертого накрылся, и всю ихнюю агентуру гестапо начало прибирать к рукам. Быстро это не провернешь, дураку понятно — проверки там разные, то, другое, вот до тебя только в сентябре очередь и дошла. Для чего я все это говорю, карты перед тобой раскрываю? А для того, чтобы ты сам убедился, что мы про тебя все насквозь знаем...

На подобные собеседования уходила обычно чуть ли не половина ночи, заснуть потом удавалось не сразу, а только заснешь — уже побудка. Хорошо, хоть водили на работу, а то еще если бы днем сидеть, ничего не делая, так вообще можно было бы рехнуться.

Работа, правда, тоже была бредовая, под стать фантазиям следователя: демонтировали какой-то заводишко, надо полагать — в порядке репарации, потому что оборудование тут же увозилось на станцию железной дороги; но в каком виде! Если заржавевшая гайка не поддавалась ключу, пускали в ход кувалду, анкерный болт могли срезать автогеном вместе с проушиной станины, разрозненные части станков заколачивались в ящики безо всякой маркировки и никого не беспокоило, как потом будут разбираться со всем этим там, на месте. Контрольные приборы срывали со стен ломом, руководившие работой военные требовали одного: темпов, поскорее, давай-давай! Кто-то объяснил, что идут споры между нашими и англо-американцами, кому что достанется; вот мы и гоним успеть как можно больше, пока нет четкой договоренности.

Болховитинова странный метод демонтажа поначалу поразил, но потом он перестал поражаться чему бы то ни было. Даже узнав, что ему было дано задание завербовать генерал-полковника Николаева, он воспринял это чуть ли не с юмором: сама вздорность обвинения мешала воспринимать его всерьез. Он куда больше тревожился за Таню, чем за себя; при такой маниакальной подозрительности — не припомнят ли ей и работу в энском гебитскомиссариате? А почему бы не сделать ее соучастницей в деле вербовки собственного дядюшки? Впрочем, достаточно и того, что она вернулась вместе с ним и даже (весьма компрометантная деталь!) официально как его жена...

С тем, что ему придется какое-то время отсидеть, он уже внутренне смирился и даже находил это чуть ли не оправданным в некоем высшем, метафизическом смысле: раз уж не довелось ему приобщиться вместе с соотечественниками к ратному труду войны, то теперь будет только справедливо разделить с ними тяготы иного рода.

Несколько ночей его никуда не вызывали, он отоспался и чувствовал себя бодрее. Потом опять вызвали, следователь был уже другой, постарше и почти интеллигентного вида. Он опять стал расспрашивать о Дрездене, кого там знал, с кем общался. Болховитинова это уже стало интриговать. С кем, в самом деле, мог он там встречаться? Может быть, сам забыл — виделся когда-то, и забыл. Но с кем?

Так он ответил следователю и на этот раз: припомнить не может, но в принципе, конечно, не может и с абсолютной уверенностью отрицать возможность того, что забыл.

— Хорошо,— сказал следователь.— Вам будет устроена очная ставка, возможно, это поможет вспомнить...

Подняв трубку телефона, он негромко что-то спросил, встал и сделал знак Болховитинову. Они прошли по коридору, у одной из дверей следователь остановился и сделал приглашающий жест, посторонившись. Болховитинов вошел, в комнате сидела за пустым канцелярским столом молодая женщина в форменном, со спороттыми нашивками кителе эсэсовки. Очень красивая и — как показалось Болховитинову — отдаленно ему кого-то напоминавшая, женщина сидела боком к двери совершенно неподвижно и не повернула головы, когда они вошли.

— Сядьте вон там,— следователь указал на стул по другую сторону широкого стола. Когда Болховитинов сел, он обратился к женщине по-русски: — Посмотрите внимательно. Где, когда, при каких обстоятельствах вы встречались с этим человеком?

Эсэсовка с полминуты смотрела на Болховитинова отрешенно и равнодушно, потом шевельнула спекшимися словно от жара губами и ответила тоже по-русски, без малейшего акцента:

— Этого человека я никогда не видела.

— Посмотрите хорошо, подумайте. Речь может идти о встрече, имевшей место два-три года назад.

— Нет, у меня хорошая память на лица. Не знаю и никогда не видела.

— Вы,— следователь обернулся к Болховитинову.— Посмотрите внимательно и постарайтесь вспомнить, где и когда вы могли видеть эту женщину.

— Н-нет,— отозвался он не совсем уверенно.— Не припоминаю...

Неуверенность появилась от странного ощущения: все-таки она кого-то напоминала, очень отдаленно, едва уловимо. И кого? Видеть ее вот так прямо он никогда не видел и уж, конечно, никогда с ней не разговаривал, но... действительно, откуда же тогда это едва ощутимое — как прикосновение паутинки,— но совершенно отчетливое чувство deja vu. Он еще раз глянул на нее, анфас она была так же хороша, хотя левую сторону лица уродовал багровый рубец ожога, идущий от уха к шее и, видимо, заставляющий ее держать голову чуть наклоненной к плечу. Взгляды их опять встретились, и он тут же испуганно отвел свой — словно невзначай заглянув туда, куда заглядывать нельзя,— столько боли и опустошенности было в ее глазах...

— Вы, похоже, не уверены,— безошибочно догадался следователь.

— Нет, я просто... пытался припомнить,— сказал Болховитинов.— У меня как раз память на лица не очень... Но нет, нет!

— Ну, нет так нет,— согласился следователь.— Тогда идемте.

После этого случая ночные вызовы вообще прекратились. Сосед по барачной койке, человек бывалый и с небольшим зэковским стажем еще довоенных времен, сказал, что — скорее всего — следствие по его делу окончено, и теперь его или освободят (что маловероятно), или будут судить.

— Ну, как «судить»,— добавил он в пояснение,— это ведь только считается, что суд. Они и вызывать не станут, за глаза приляпают срок, и хорош...

Срок так срок, подумал Болховитинов. Своя судьба его уже как-то не очень и волновала, но все тревожнее делалось за Таню: он теперь видел, что при здешних порядках «пришить», как выражается сосед-зэк, могут что угодно и кому угодно. Тот следователь-гестаповец в Клеве вспоминался ему теперь как олицетворение правосознания и логики: проверил, убедился в невиновности и отпустил. Будь на его месте какой-нибудь здешний маньяк, наверняка стал бы допытываться, не ехал ли с намерением продать англичанам чертежи противотанкового рва. Страх за Таню почему-то (хотя никакой логической связи тут не было) постоянно усугублялся воспоминанием о странной очной ставке; он все не мог забыть глаз той несчастной. Она, конечно, могла быть кем угодно, эта русская в униформе СС,— шпионкой, осведомительницей гестапо, сотрудницей разведки, наконец, секретаршей какого-нибудь бонзы из КОНРа, ее речь свидетельствовала о принадлежности к интеллигентным кругам. Но все это было несущественно, стоило ему вспомнить ее глаза (а забыть такое невозможно) и вопрос вчерашней виновности как-то лишался смысла: сейчас это были глаза человека, низвергнутого на самое дно отчаяния — глубочайшего, последнего, где уже нет ни надежды, ни желания ее обрести. Кто была эта несчастная, какова ее вина, что довело ее до такого состояния, он никогда не узнает, и лучше всего было бы ее забыть; но он уже знал, что не забудет, и этой короткой встрече суждено остаться в его памяти одним из самых тяжелых воспоминаний...

А время шло, население в бараке менялось, одни исчезали, вместо них появлялись новые — большинство прямо с Запада, передаваемые союзными властями нашим репатриационным миссиям. Заводишко доконали, взялись за полуразрушенную силовую подстанцию. Однажды — кончался уже июнь — Болховитинова на работе послали отрезать муфту в кабельном туннеле, здесь было хорошо, прохладно, и можно было прокантоваться до самого обеда — станцию разбирали уже без спешки. Не допилив толстый кабель и до половины, он услышал бегущие шаги, обернулся и в слабо освещенной редкими пыльными лампочками перспективе туннеля увидел Таню.

Первой его реакцией было изумление — всегда она появляется внезапно и неправдоподобно, как галлюцинация, и не сразу веришь, что это на самом деле. Он и сейчас не мог поверить — прижимал к себе ее судорожно вздрагивающие плечи, шептал что-то на ухо, пытался успокоить какими-то пустыми словами,— и ему казалось, что это во сне, а она продолжала плакать отчаянно и беззвучно, уже насквозь промочив слезами его рубаху.

— Ну не надо, ну что ты,— повторял он,— ну ничего же не случилось, видишь — оба мы живы-здоровы, все будет хорошо, все будет хорошо... Ты как вообще сюда-то попала?

— Через дырку какую-то,— она всхлипнула и шмыгнула носом,— я с одним сержантом договорилась... Ой, Кирилл, ну как ты тут, чего они от тебя хотят?

— А, ничего серьезного, ерунда всякая. Спрашивают о том, о другом — ну, обычное дело. Ты-то прошла фильтрацию?

— Да, у меня вроде все в порядке, но сейчас дело не во мне. Кирилл, ты напрасно думаешь, что «ничего серьезного», с тобой как раз серьезно — Дядясаша наводил справки. Они, конечно, и ему толком ничего не говорят,— но тебе нужно бежать, понимаешь, я потому и пришла — сказать — ты не совсем отдаешь себе отчет...

— Помилуй, куда бежать? О чем ты?

— Здесь есть лагерь французов, понимаешь, освобожденных французов, их скоро будут отправлять домой, ты должен попасть в этот лагерь, выдать себя за француза, понимаешь? Я тебе говорю: это сейчас единственный для тебя выход, надо бежать и немедленно, а я перейду межзональную границу в Берлине, там это просто...

— Так ты что,— он рассмеялся,— тоже решила эмигрировать?

— Ой, ну что значит «эмигрировать» — просто уехать на время, переждать, пока эти здесь не опомнятся!

— Наши это начиная с Константинополя твердили: «Мы здесь ненадолго, должны же большевики образумиться». Не надо иллюзий, Танечка, если эта власть за двадцать пять лет не образумилась...

— О чем ты? Я не понимаю тебя,— ошеломленно сказала Таня,— при чем тут власть? Кто не образумился за двадцать пять лет? Ты советскую власть, что ли, имеешь в виду? Скажи еще, что это товарищ Сталин приказал подозревать в каждом изменника!

— А это меня, знаешь, мало волнует, кто лично приказал — товарищ ли Сталин, или товарищ Молотов, или товарищ Берия...

— Берия, кстати,— с жаром перебила Таня,— перед войной массу военных выпустил, которых посадили при Ежове!

— Да, я слышал, слышал. Возможно, он и прекрасный человек, это в данном случае несущественно. Существенно то, что есть определенная «установка», как у вас говорят... И поэтому совершенно неважно, кто конкретно поставил свою подпись под конкретным приказом. Отношение к нам определяется принципом, а он у большевиков остается неизменным, начиная с восемнадцатого года: всякий подозрительный является потенциальным врагом, а значит, и подлежит соответствующему обращению...

— Ты просто начитался всякой белогвардейщины!

— Вот уж нет. До войны я был скорее не склонен верить всему, что писалось о Советах... но когда побывал дома и поговорил с людьми, когда представил себе, как вы жили в те годы — эти бесконечные бессмысленные аресты, террор... Такого ведь даже здесь при Гитлере не было, согласись. Я только когда вот этой зимой с голландцами спутался, стал опасаться, что вдруг гестапо пронюхает; а раньше — все-таки три года проработал у Вернике, в чем угодно могли подозревать — русский, как-никак! — и ничего, дико даже было себе представить, что могут вдруг взять и посадить... «Просто так» в Германии не сажали, если не говорить о евреях, но их ведь лишили гражданских прав. Точно так же, как у нас после революции сделали «лишенцами» дворян, священников. Видишь ли, в любом государстве... ну, скажем, такого типа... всегда есть бесправная категория людей, с которыми власть может сделать что ей заблагорассудится — отнять имущество, выслать куда-то, бросить в лагерь. А по какому признаку эта категория определяется — по социальному или по расовому,— несущественно.

— Тут рядом никого нет? — понизив голос, спросила Таня, оглядываясь.

— Нет, если кто-нибудь войдет в туннель, услышим издалека.

— Хорошо, тогда я тебе вот что скажу! То, что ты против советской власти, меня не удивляет...

— Я не против советской власти,— возразил Болховитинов.— Если бы я был против, я бы боролся, а этого у меня и в мыслях нет. Бороться с советской властью бессмысленно, поскольку народ ее принял и поддерживает. Поэтому я ее тоже принимаю — как неизбежность. Это, однако, вовсе не значит, что я должен любить этот строй или закрывать глаза на его... странности. Если тебя обидело сравнение с нацистским строем — прости; я понимаю, такое тяжело слышать. В Энске я, если помнишь, вообще никогда не говорил с тобой на эти темы... хотя сказать мог бы многое.

— Ладно, не будем отвлекаться — сейчас надо решать, и решать быстро. Я бы еще поняла, если бы ты сказал, что не можешь дня прожить без советской власти...

— Без нее-то прожил бы, мне без России не прожить.

— Да в Россию тебя сейчас все равно не пустят — разве что под конвоем! Поэтому я и говорю — давай уедем пока, Дядясаша слышал в Москве, что эмигрантам будут возвращать советское гражданство, тогда — пожалуйста, но сейчас-то зачем?

— Хотя бы затем, что, если я сейчас сбегу, они решат, что действительно в чем-то виноват. Ты прекрасно понимаешь, что это значило бы себя обесчестить.

— Перед кем? Перед этим хамьем, которое вообще не знает, что такое честь?

— Мы-то с тобой знаем,— спокойно возразил Болховитинов.— Бесчестный поступок остается бесчестным независимо от того, перед кем он совершен.

— Да что же тут «бесчестного» — уйти от незаслуженного наказания?

— Наверное, все зависит от обстоятельств. В данном случае обстоятельства таковы, что уйти мне нельзя. Просто потому, что это еще больше убедило бы их в том, что всякий человек оттуда действительно в чем-то виновен. Ну что ты, глупышка?

— Что, что! — выкрикнула она сквозь слезы.— Ты хоть понимаешь, что тебя могут засадить надолго?!

— Если очень надолго, ты меня ждать не будешь, вот и все.

— Не смей говорить глупости! Прекрасно знаешь, что буду ждать, сколько надо, непонятно только, как можно так спокойно ко всему этому относиться!

— А иначе и нельзя, я думаю,— помедлив, отозвался Болховитинов.— Помнишь, я как-то пытался объяснить тебе разницу в мироощущении человека верующего, и... не придающего значения этим вопросам. Все дело в том, как понимать жизнь... Или это путь без цели и смысла, и надо только постараться пройти его, не причиняя никому зла, и чтобы зла не причиняли тебе... ни зла, ни особых неудобств. Или это все-таки осмысленный путь какого-то целенаправленного труда над самим собой... Нравственного труда, я хочу сказать. Тогда все эти неудобства... зло, всякие утеснения, которым тебя подвергают... все это, понимаешь, становится таким второстепенным... Важно только одно: как ты сам на это реагируешь, как все это влияет на твою душу. Самое главное — не озлобиться, вот это уже значило бы, что испытания ты не выдержал. Конечно... заранее про себя сказать трудно — выдержишь, не выдержишь...

— Да ты-то выдержишь! — Таня с отчаянием высморкалась.— А мне что делать? Обо мне ты подумал? Господи, и угораздило же тебя тогда приехать, сидел бы сейчас спокойно в своем Париже...

— Не дай Бог,— он улыбнулся.— Единственное оправдание моей глупости со службой у немцев, это то, что я благодаря ей попал в Энск и встретил тебя. Иначе полнейшая была бы бессмыслица, в жизни так не бывает.

— В жизни не бывает бессмыслицы? Да сколько угодно, на каждом шагу!

— Это только так кажется. Смысл есть всегда, только его не сразу разглядишь. Понимание приходит потом, рано или поздно.

— Интересно, когда приходит твое «понимание», если человеку свалился на голову кирпич и убил на месте.

— Как раз в этом случае — очень скоро,— Болховитинов рассмеялся.— Словом, договоримся так: бежать я никуда не намерен, поэтому успокойся и не строй, пожалуйста, никаких монтекристовских планов. Все будет хорошо. За меня не переживай, у меня хватит и сил, и терпения, я ни о чем не сожалею. Хотя нет, «ни о чем» — это неправда. Жалею, что наш брак остался фиктивным, наверное, я был дураком там, в Голландии...

— При чем тут ты,— сказала Таня.— В таких делах решает женщина. Но тогда я не могла, правда, я ведь не знала, что Сергей женился. Это... нехорошо было бы. Хотя мне так хотелось, чтобы у нас с тобой все было по-настоящему... Сейчас я тоже жалею, ты... представить себе не можешь, как мне горько. Не надо только говорить, что брак фиктивный, я твоя жена и буду ждать, что бы ни случилось. А что у нас с тобой ничего не было, так разве это главное... И потом, по твоей теории, какой-то смысл должен быть и тут?

Она обняла его, прижавшись лицом к груди, он стал гладить ее плечи, спину, несмело провел пальцами по ложбинке вдоль позвоночника, сильнее и сильнее прижимая ее к себе; и страшное, безысходное отчаяние охватило его вдруг от внезапной мысли — не мысли даже, а неосознанной до конца догадки, сомнения, вопроса — не сделал ли он какой-то непоправимой ошибки в главном, не принес ли в жертву надуманной химере неповторимый подарок судьбы... Ведь можно было быть по-обыкновенному, по-человечески счастливым, можно было сделать счастливой Таню, наверняка он смог бы, сумел...

А впрочем, как знать, действительно ли сумел бы. Переделать сознание не так просто, надо перестать быть самим собой, отречься от порожденных ностальгией мифов, удовольствоваться данностью, а этого-то мы никогда не умели. К несчастью, вероятно. Поэтому остается одно: быть тем, что мы есть, продолжать верить в давно не существующий Китеж, верить вопреки всему, несмотря на очевидность — позорную, страшную, не оставляющую места надежде.

— Я буду тебя ждать,— шептала Таня, прижимаясь к нему еще теснее, словно пытаясь согреться,— буду ждать сколько придется, что бы они с тобой ни сделали, ты только верь, что я жду, верь...

Глава 28

Она приехала, когда Дежнев уже перестал ждать: возвращался из гарнизонной столовой, услышал позади легкие торопливые шаги и женский голос окликнул его по-русски:

— Простите, вы не скажете, как пройти в комендатуру?

Он остановился и замер, потому что сразу узнал ее по этому особенному, по-московски «акающему» и слегка картавому выговору, из-за которого ее поддразнивали еще в десятом «Б». Потом медленно обернулся и увидел перед собой молоденькую женщину с чемоданчиком в руке, в сандалиях на босу ногу, в американской гимнастерке с большими накладными карманами и подвернутыми выше локтей рукавами, заправленной в перетянутую английским брезентовым ремнем защитную юбку, какие носят наши регулировщицы и связистки. Он увидел ее лицо — чуть мальчишеского склада, сильно загорелое, с коротким носом и редкой россыпью веснушек на переносице и под глазами, и это лицо стало вдруг бледнеть, а глаза потемнели и сделались еще больше.

— Ну, здравствуй,— сказал он.— Я уж думал, ты решила не приезжать.

Она ахнула и выронила чемоданчик. Крышка от удара отскочила, на плитчатый тротуар выпал сверточек в вафельном полотенце, банка консервов, мыльница, круглый целлулоидный футлярчик для зубной щетки; Дежнев опустился на колено и стал подбирать вещи.

— Ой, я сама, не надо! — Таня, присев рядом, схватила сверток, мыльницу, руки их соприкоснулись — она отдернула свои и быстро, искоса, глянула на Дежнева.— Господи, не могу поверить, что это действительно ты...

— Да, неожиданно как-то получилось, хотя и...

— Почему ты решил, что я не приеду?

— Я не то что решил, а просто — раньше ожидал, а тут прошла неделя, две, тебя нет, ну я и подумал, может, тебе не очень приятно меня видеть.

— Господи, что за глупость, как ты мог...

Он защелкнул замочек чемоданчика, встал и подал ей руку, помогая подняться.

— Ладно, идем пока ко мне, скажу хозяйке, чтобы приготовила тебе поесть. Или в нашу столовку сходим?

— Не надо, у меня консервы с собой — пусть разогреет...

Дежнев квартировал рядом — за углом. Войдя в комнату, Таня огляделась настороженно, но никаких семейных фотографий не увидела, простота обстановки была даже чуточку нарочитой: застланная серым казарменным одеялом узкая железная койка, небольшой платяной шкаф, радиоприемник на столе, простой письменный стол с вращающимся креслом, вместо чернильного прибора лежал плоский с изогнутым горлышком флакон чернил для авторучки, книги были сложены аккуратной стопкой: самоучитель немецкого языка, немецкая грамматика, путеводитель по Австрии, три книги по истории Австро-Венгерской империи и Австрийской республики, том Клаузевица и «Будденброки» — все на немецком языке.

— Сейчас все будет,— объявил Дежнев, входя в комнату.— Как доехала-то, без приключений?

— Нормально доехала. Дядясаша дал машину до Вены, а здесь уже попуткой. Красивые места у вас тут, и главное — никаких разрушений, словно и войны не было...

Наступило молчание. Здесь, в четырех стенах и с глазу на глаз оба вдруг почувствовали себя скованно. Он пробормотал что-то насчет хорошей погоды и спросил, какая погода в Германии. Она сказала, что там погода тоже хорошая, жарко; потом выразила соболезнование по поводу смерти Настасьи Ильиничны.

— Да, вот... не дождалась мать. Но хорошо хоть, не выпало ей и похоронку получить... вто, я думаю, для нее было бы хуже смерти. Ну, а в остальном все благополучно. Зинка седьмой класс заканчивает. Кончила уже, наверное.

— Я ее такой девчушкой помню... А — сын твой как?

— Ну, чего сын. Растет!

— Сколько ему?

— Семь месяцев уже, в ноябре родился. С Еленой — это моя жена — я встретился в феврале прошлого года, в Энске. Приехал узнать что-то о тебе...

В дверь осторожно постучали — вошла хозяйка, накрыла скатертью столик, откуда Дежнев убрал радио, быстро расставила приборы и удалилась, пожелав приятного аппетита «герр комманданту» и «фроляйн оффицир». Дежнев достал из шкафа бутылку.

— О, даже «Московская особая»,— улыбнулась Таня,— видно, у тебя знакомства с интендантами.

— В Вене,— подмигнул Дежнев.— Ну, за встречу...

Они выпили, не чокаясь. Таня перевела дыхание, закусила посоленной корочкой и нехотя взялась за вилку.

— Извини, я позвоню,— сказал Дежнев,— забыл совсем...

Встав, он подошел к письменному столу, набрал номер.

— Комендатуру мне... Козловский? Да, это я. Ну что там, никаких че-пе? Слушай, я не приду сегодня — дома буду, тут ко мне приехали... Да нет, старая знакомая. Одноклассница моя, говорю, учились вместе. В общем, если что — я здесь. Что? Буду, ясно, куда деваться... добро, передам. Ну, до вечера...

— Ты прямо с корабля на бал,— сказал он, положив трубку,— тут у нас сегодня небольшой сабантуй по случаю дня рождения одного из наших офицеров. Старик

будет, командир полка, увидишь — интереснейшая личность. Прост как мычание, за всю жизнь — по его собственным словам — одолел две книги: «Краткий курс» и «Боевой устав пехоты», зато обе знает наизусть. И при всем при том отличный мужик. Солдата жалеет, вот что главное, у нас это не часто... Ну что, еще по рюмке?

— С удовольствием.

— Ты только ешь, на меня не смотри — я пообедал уже. Давай нажимай, а то захмелеешь, приканчивай свое эн-зе.

— Пригодился-таки, это я по своей бродяжьей привычке захватила — в дорогу как же без еды...

— Да, Александр Семенович рассказал, как вы сюда пробирались. Через всю Германию, значит?

— Угу... Из английской зоны, через американскую.

— Ну, и что они собой представляют при ближайшем рассмотрении, эти наши доблестные союзнички?

— Да как тебе сказать,— Таня пожала плечами.— Англичане мне показались очень замкнутыми, недоверчивыми... Какая-то в них есть неприветливость. А вот американцы совсем другие. Гораздо общительнее, более открытый народ... приветливый, что ли. Зато среди них масса хулиганья, дебоширов, вечно драки какие-то.. Американцев я, признаться, побаивалась — если вот так вечером идешь одна...

— Ну, не очень-то, видно, побаивалась, если не прочь к ним обратно,— с улыбкой сказал Дежнев, решив воспользоваться случаем и перейти к обещанному в Вене разговору.

Таня вскинула брови.

— Обратно?

— Александр Семенович говорил, что ты вроде так ему сказала. В случае чего, дескать, уйду в американскую зону.

— Ах, это... Нет, теперь поздно уже, Кирилла увезли куда-то.

— Поздно? Неужели ты действительно смогла бы?

— Не задумываясь,— сказала Таня.— Только не надо проводить со мной политико-воспитательную работу, хорошо? А то я ведь могу такую с тобой провести, что ты не будешь знать, куда деваться.

— Ого! — сказал Дежнев, сохраняя на лице улыбку, теперь уже немного натянутую.— Ну валяй, если есть что сказать.

— Сказать я могу очень многое, уж поверь мне на́ слово... Но майору Дежневу это не понравится так же, как не понравилось генерал-полковнику Николаеву. Не будем портить встречу. Дядясаша что, просил на меня повлиять?

— Да... в некотором роде,— признал Дежнев, подумав, что скрывать тут нечего.— Ясно, что он обеспокоен... твоими настроениями, с какими ты оттуда вернулась.

— Оттуда? — с нажимом переспросила Таня.— Что вы знаете о тех настроениях, с какими мы оттуда возвращались! Первого красноармейца, который нас задержал на этом берегу Эльбы,— я просто повисла у него на шее и ревела как дура, если бы мне тогда сказали: нельзя, ступай обратно, сюда мы тебя не пустим, я бы скорее утопилась, чем вернулась на ту сторону! Так что, Сережа, нынешние мои настроения — это уж они здесь вызрели, под ласковым родным солнышком... Господи, какая дура, какая идиотка беспросветная,— простонала она, запустив пальцы в волосы,— как я могла не предвидеть всего этого, не посоветовать... Да что там, разве он послушал бы!

Дежнев молчал, опустив голову, вертя в пальцах свою вороненую стопочку. Зря пообещал тогда Александру Семеновичу, ничего не получится из этого разговора. Что он ей может сказать?

— Знаешь, налей-ка еще,— сказала Таня.— На вечеринку вашу я с тобой не пойду, так что посидим, а потом ты ступай. Мне отдохнуть хочется. Ты говорил, у хозяйки твоей есть комната?

— Комната давно приготовлена, только почему ты идти не хочешь? Успеешь отдохнуть, до вечера еще далеко.

— Нет, нет, спасибо. Я глупо себя чувствую в таких компаниях. Дядясаша там тоже пытался было ввести меня в общество своих офицеров. Много молодых, я бывала раз-другой, но... Всегда такое ощущение, понимаешь, будто по ошибке попала в гости к чужим. Сидишь как дура и вежливо улыбаешься, показываешь, как тебе весело и интересно. А самой реветь хочется.

— Да почему же?

— Ну не знаю, потому что чувствуешь себя чужой, пришлой какой-то, не такой, как все! Я уж не говорю, как на тебя посматривают все эти ваши... боевые подруги. Болталась там неизвестно где и с кем, пока мы родину защищали, а теперь явилась — не запылилась. Сколько во взглядах иронии, сколько осуждения! Как будто я сама, черт бы их всех драл, добровольно осталась в оккупации или по своей воле поехала в Германию! Единственное, что сделала по своей воле,— это вернулась сюда, чтобы какой-то свинорылый хам заставлял меня по десять раз переписывать одно и то же, одно и то же!

— Тише, тише, ну чего ты, Тань...

— А вот подумай сам, «чего я»! — Она залпом, по-мужски, опрокинула в рот свою рюмку и утерла глаза тыльной стороной руки.— У меня еще хватило ума написать в анкете, что была переводчицей в «Шарнхорсте»,— дура, нашла с кем откровенничать! — так эти гады такое вокруг этого развели, в такой грязи меня вываляли... Один все требовал, чтобы я созналась, будто спала с комендантом, чтобы получить эту должность, будь она проклята! Ну, они пусть,— Таня, словно защищаясь, выставила перед собой ладони,— в конце концов на их работе, наверное, других — нормальных — и не бывает. Но остальные-то? Откуда у всех вас эта — подозрительность, что ли, не знаешь как и назвать — настороженность, неприязнь ко всем, кто был в оккупации и в Германии? Я уж про пленных не говорю — их ведь там немцы *истребляли*, Сережа, неужели вы про это не слышали, их поголовно истребляли голодом, морили болезнями,— а теперь свои — свои! — гонят в Сибирь эшелон за эшелоном, без пересадки, и все считают это в порядке вещей! В Хемнице при мне один мерзавец в полковничьих погонах, знаешь, что заявил? «Сами, говорит, виноваты, не надо было в плену отсиживаться, другие воевали честно». И ведь никто не возразил, услышали такое — и ничего, ни слова! И это офицеры, Сережа? Да что же такое со всеми происходит, что с вами сделали? Во что вас превратили? Видел бы ты, как в других армиях относятся к своим пленным, которых вот весной этой освободили, какие им создают условия... А ведь они в плену тысячной доли не испытали того, что перенесли наши!

— Ну, это не только про пленных можно сказать,— хмуро возразил Дежнев.— Все эти «другие армии», они тоже не испытали тысячной доли того, что испытала наша. Наверное, у нас с ними по этой самой причине и подход ко многому очень разный. Ты помнишь, сколько у нас в классе было ребят?

— Половина, я думаю. Человек пятнадцать?

— Семнадцать, больше половины. А знаешь, сколько осталось в живых? — Он поднял два пальца, раздвинув их римской пятеркой.— Двое! Ты понимаешь, что это значит?

Таня слушала, не поднимая глаз. Нет, она не понимала, что это должно значить. Что война оказалась нечеловечески жестокой? Не надо доказывать очевидного, она сама видела войну с начала и до конца. Но ей всегда думалось — хотелось верить,— что люди, пройдя через все это, должны стать бережнее друг к другу... Добрее, что ли, жалостливее — если вспомнить давно вышедшее из употребления слово. «Жалость унижает человека» — да, уж что-что, а это усвоили крепко! «Сами виноваты, не надо было попадать в плен». Виноваты, что оказались в плену, что остались — были брошены — в оккупации, что угодили в Германию, что уцелели там под бомбами, что выжили, что вернулись...

— Да, недаром не хотелось мне начинать этот разговор,— тихо сказала она,— ты просто не понимаешь меня... Как и я, наверное, тебя не могу понять, оно ведь обоюдное — это наше непонимание. Поэтому оставим эту тему. Скажи лучше, что после армии-то собираешься делать? То есть я понимаю, что будешь учиться; но там же, где думал? Благо, теперь у тебя и прописка будет ленинградская.

— Нет, учиться не выйдет пока, какая там учеба. Я, наверное, в кадрах останусь. Мне теперь семью кормить надо,— добавил он наигранно-шутливым тоном,— трое иждивенцев, шутка ли. Что я смогу заработать на гражданке, без специальности? Ну, или освоив какую-нибудь попроще — слесарем, монтером — это рублей восемьсот. А знаешь, какие там сейчас на базаре цены? Литр молока — семьдесят рублей, кило масла — шестьсот, картошка — тридцать. Вот такие пироги!

— Да, пожалуй, тебе и в самом деле лучше пока не демобилизоваться.

— Сейчас не демобилизуют, если бы и захотел... Насчет Японии вон всякие разговоры идут, еще и на Дальний Восток могут зафитилить. А нет, так выпишу сюда своих, скоро будет разрешено.

Таня помолчала, потом спросила:

— Сережа, я... хотела спросить одну вещь, только ответь правду. Ты сказал, что с женой познакомился в Энске...

— Не познакомился, а встретился, знакомы мы с ней были раньше, так уж получилось.

— Я понимаю. Значит, встретился в Энске, когда приезжал узнать обо мне. Ты был на Пушкинской? Говорил с кем-нибудь из соседей?

— Да, там... была одна, напротив,— нехотя сказал Дежнев.

— И что же она про меня рассказала?

— Рассказала плохое, если уж тебе нужна правда. Конкретно излагать не буду, это не имеет значения.

— Значение это имеет очень большое, но конкретно не надо, ты прав. Сережа, мне вот что хотелось бы знать... То, что ты там обо мне услышал,— это в какой-то мере повлияло на... встречу, как ты говоришь, с твоей женой?

Дежнев медленно покачал головой, глядя ей в глаза.

— Нет, Таня. Это — не повлияло. Там совсем другие обстоятельства сошлись, а это — не повлияло. Потому что я ничему этому не поверил. Ты веришь мне?

Таня, зажмурившись, часто закивала головой, потом опустила ее, спрятав лицо в ладони.

— Спасибо, Сережа,— проговорила она глухо, не поднимая головы.— Я больше всего боялась именно этого... что ты услышишь обо мне плохое и...

— Нет,— сказал Дежнев. Ему очень хотелось сейчас рассказать про «другие обстоятельства», про Борькиного покойного братишку, про то, что была просто жалость, ничего больше, но рассказывать об этом ей было нельзя, об этом он мог бы рассказать другу, но не ей, сейчас, это было бы не по-мужски, было бы как попытка оправдаться, переложить на Елену всю вину за случившееся. Таня продолжала сидеть, опустив голову, он протянул руку — коснуться ее волос, плеча, — но не донес, отдернул, встал и прошелся по комнате, поскрипывая сапогами.

— Не знаю, впрочем,— сказала она вдруг, не глядя на него.— Может быть, наоборот, так было бы легче... понятнее, во всяком случае.

— Что было бы понятнее?

— Ну, если бы ты... поверил, подумал, что я действительно... По крайней мере, хоть какое-то объяснение, а так...

Она шмыгнула носом, по-девчоночьи утерев его рукавом, и отвернулась совсем, чтобы он не видел ее лица.

— Объяснение есть,— сказал Дежнев,— могу рассказать, если ты считаешь...

— Нет-нет, не надо! — Таня, не оборачиваясь, затрясла над плечом растопыренными пальцами.— Я ведь в общих чертах знаю — от Дядисаши. Одинокая женщина, вдова фронтовика, потеряла единственного ребенка, конечно, трагическая история, кто же спорит! Но меня, Сережа, ты все-таки предал, будем уж называть вещи своими именами.

Дежнев медленно обернулся от окна, оттягивая пальцем ставший вдруг тесным воротник кителя.

— Предал? — переспросил он тихо.— Насколько я понимаю, мы в приблизительно равном положении, тебе не кажется?

— О, нет! — она тоже повернула голову и теперь смотрела ему в глаза.— Не в равном, Сережа, у меня нет ребенка от Кирилла, нет и не могло быть, потому что я — представь себе — не была с ним близка. И вообще ни с кем, понимаешь! Потому что я иначе понимала то, что было у нас с тобой! Впрочем, ты не помнишь, конечно. Стоит ли таскать в памяти всякие глупости, например, как сидели тогда до утра в парке, а ты расспрашивал об Изольде — шиповник над могилой, смешно, правда?

— Откуда в тебе столько жестокости,— едва проговорил он побелевшими губами,— я все эти годы...

— Ах, конечно! Все эти годы ты был Тристаном, только обо мне и думал — жди меня и я вернусь — Боже, как трогательно. Ну, а то другое получилось как-то так, ну пожалел, а заодно почему бы и не развлечься, потом встал вопрос чести — все-таки офицер, еще бы, у вас ведь уже, кажется, и о гвардейских традициях поговаривают? Нет-нет, ты не подумай, что я тебя осуждаю, нет, все правильно, только так ты и должен был поступить. Мне просто понять хочется — я-то куда для тебя девалась на это время?

Он подошел ближе — ей показалось, что сейчас он ее ударит, и она поняла, что ждет этого, не просто ждет — жаждет; но глаза его приняли вдруг какое-то затравленное выражение, он сел, опустил голову на руки. И тогда она сорвалась с места и, обхватив его плечи, стала исступленно целовать в затылок, повторяя сквозь слезы:

— Сереженька, милый, я не хотела, прости меня ради Бога, я не то совсем хотела сказать, ну что ты, родной мой...

Утром он отвез ее в Вену. В пути барахлил мотор, они подзадержались, и когда приехали на КПП военно-автомобильной дороги, машина на Прагу и Дрезден уже была готова к отправке. Так что они и попрощаться толком не успели — обнялись, постояли молча, понимая, что неизвестно, когда и где теперь увидятся, и он подсадил ее через борт. «Студебекер» раскатисто рыкнул мотором и тронулся, словно только и ждал этой последней пассажирки.

Стоя в кузове, держась за дугу каркаса, Таня смотрела на Сергея, смаргивая слезы, пока могла различать его среди других офицеров на стояночной площадке. Уже набрав ходу, грузовик вдруг резко тормознул и она, потеряв равновесие, села с размаху на какой-то твердый предмет странной формы.

— Полегше, подруга,— тут же сделали ей замечание,— разбомбишь мне инструмент, опять чинить придется...

Голос — резковатый, с южным придыханием на «г», показался знакомым. Таня обернулась и не поверила своим глазам.

— Надежда? Ты что здесь делаешь?

— Танька, нехай я лопну! А я ведь издаля́ еще посмотрела — вроде, думаю, похожа, да нет, откудова ей тут взяться...

Калькарская Надька, тоже одетая в военное, в ладно пригнанной по фигуре солдатской гимнастерочке без погон, перелезла через поклажу и радостно ее облапила, удушив ароматом дешевой парфюмерии.

— ...Скажи, как родную, кого увидала, чесслово!

— Вы разве не там остались? — Таня все еще не могла прийти в себя от изумления.— Кирилл Андреевич говорил, что не думали уезжать никуда...

— Ясное дело, не думали! Так ведь заставили ж, паразиты, нехай бы им повылазило, тем канадцам. Наших оттудова геть всех повывозили до лагерей, это рассказать — сдохнешь, не поверишь, такое там было! Ты-то как, Кирилл Андреич где?

— Пока неизвестно, его, наверное, судить будут.

— Ой, мамочки! — Надька жалостливо взялась за щеку.— А может, ничего еще, обойдется. Ты-то сама прошла фильтрацию?

— Прошла, как видишь, если путешествую.

— Далёко едешь?

— До конца, потом еще дальше — в Хемниц. А ты?

— Не, я до Праги только, гастроль у нас там. Я ведь с ансамблем мотаюсь, тут в гарнизонах наших давали представления, сейчас в Прагу поехали. А меня аккордеон оставили забрать — поломался, не наш, трофейный, вот и отдали чинить австрияку, а тот в срок не управился. Лев Борисович мне и говорит — ты, говорит, оставайся, заберешь и догоняй на попутке...

— Это ты, что ли, на аккордеоне играешь?

— Тю, да откуда! Я там если сплясать чего, в заднем ряду, или в хоре подтянуть — ну, сама понимаешь, на подхвате.

— И Аня с вами?

— Ты что! — Надька сделала большие глаза.— Ее же беляки в Брюсселе похитили и монашкам продали за большие деньги!

— Какие беляки, кому продали? Ты что, с похмелья?

— Не веришь, так сама прочитай, на вот — у меня с собой...

Надька расстегнула офицерский планшет и достала изрядно уже потертую на сгибах газету. Осторожно, удерживая от ветра, развернув лист на коленях, Таня увидела крупный заголовок: «Верните мою сестру!» В статье рассказывалась жуткая история о двух сестрах, угнанных фашистами из родных мест. Испив в неволе всю меру унижений и издевательств (злобная хозяйка-немка за малейшую провинность заставляла часами стоять на коленях под портретом Гитлера), девушки были наконец освобождены войсками союзников, но попали, как оказалось, из огня да в полымя: в лагере для «перемещенных лиц» их стали склонять к отречению от Родины, требовали подписать заявление о нежелании репатриироваться. Но даже брошенные в карцер комсомолки оставались непреклонны, и в конце концов были переданы в Брюсселе представителям советской репатриационной миссии. Однако враг не отступался: с помощью белоэмигрантского отребья была организована подлая провокация, сестер похитили прямо на улице, и старшая бесследно исчезла в мрачных подземельях католического монастыря. Лишь чудом удалось спастись младшей... «Я гневно требую от бельгийских властей: верните Родине мою любимую сестру Анну!» — так заканчивалась статья, подписанная Надей Харченко.

— Ну, Надежда, тебе только романы писать,— сказала Таня, возвращая газету.— На самом-то деле что у вас там получилось?

— Что, что! — Надька опасливо оглянулась, но другие сидели далеко, в передней части кузова.— В Брюсселе мы из лагеря умотали — беляки эти и помогли, хорошие такие старички попались. Дура я, надо было мне с Анькой в монастырь устроиться, там и работы-то всего — за дитями приглядывать, а я не пошла, охота была в городе вольно пожить... Не была в Брюсселе?

— Нет мы прямо из Голландии сюда.

— Сами, что ль? Ну, придурки, чесслово! А я такого города, как Брюссель, сроду не видала — красотища, сдохнуть можно. Ну и долюбовалась, пока сцапали и назад в миссию. Нас там человек десять набралось, таких же пойманных, но ничего, обращение было неплохое, жаловаться не буду. После перевезли из Брюсселя в другой лагерь, в сельской местности, там еще с месяц продержали. А как война кончилась, посадили на машины — и сюда. Отправляли — ну чисто свадьба, машины все в зелени, разукрашены, через городки ихние проезжаем — люди кричат, радуются, флажками машут. Советских там любят, ничего не скажу, красные флаги всюду, а портретов товарища Сталина так больше чем ихнего этого, толстомордого, ну что с сигарой... А Эльбу переехали, тут уж нас сразу за проволоку, и давай выкладывай, где была, чем занималась, как Родину продавала... Да тебе-то что рассказывать!

— Да, опыт у нас одинаковый, я думаю. Расскажи лучше, как с газетой получилось.

— Ой, Тань, ну это так мне повезло, то есть не поверишь просто! Они ж меня до того там замакитрили с этой фильтрацией, что я вовсе как дурная стала, ничего уже сообразить не могу. Анька еще у голландцев в одном лагере ходила к начальству, узнать хотела — будут отправлять домой, кто не хочет, или только по желанию; я, дура, возьми об этом и расскажи. Хотя оно к лучшему вышло! Там еще один сидел, слушал все,— симпатичный такой мужчина, чернявый, то ли армянин, то ли еврей, видный из себя. Только носяра — во, как у того попугая. Он вдруг и говорит: «Девушка, а вы не путаете? Трудно поверить, чтобы комсомолка не хотела ехать на родину, может, это она не сама пошла к лагерному начальству, а ее вызвали, сами завели провокационный разговор?» Может, и так, говорю, наверное, кто ж их знает... А он и пошел тары-бары разводить, да так все поворачивает, что уже выходит, будто в Брюсселе это они нас из лагеря смазанули, а мы, дескать, ни при чем... Тут только до меня, до дуры, и дошло — он же, вижу, подсказывает, чтобы мне помочь, по-другому все это выставить...

— Да, тебе и впрямь повезло.

— Не говори! То есть мне за этого носатого по гроб жизни теперь Богу надо молиться... Целый день мы вот так с ним просидели, энкаведешник мой ушел — ладно, говорит, без меня тут разберетесь,— а носатый, когда уж мы все это дело с ним размотали, сам насчет газеты сказал. Почему бы, дескать, тебе а газету не написать, как они там над советскими людьми изгаляются, какие себе зверства позволяют... Тю, говорю, да какая с меня писательница, я в школе по сочинениям сроду больше «пос» не получала! А он смеется, это уж, говорит, не твоя забота. И точно, сам все написал, я его после даже ни разу и не видала. Ну, а у меня, конечно, как газета вышла, все сразу по-другому обернулось. Перед бойцами приходилось выступать, рассказывать, и отзывы были хорошие — так все за Аньку переживают. После вот в ансамбль взяли, обещают учиться послать, в это — как его — культпросветучилище...

— В какое училище?

— Культпросвет, это потом завклубом можно стать. Ну, не сразу, ясное дело! А на таком месте, сама понимаешь, мышь коту не позавидует... Я вот думаю, может, вам с Кирилл Андреичем тоже надо было чего написать, а? Уж он-то смог бы — человек культурный, образованный, языков сколько знает...

— Не догадались как-то, а носатого рядом не было — посоветовать.

— Ну ничего, не журись, все будет прима. Если уж у меня устроилось! — а мне ведь поначалу вообще измену Родине шили, это, знаешь... Теперь одна забота — не подзалететь бы, а то все прахом пойдет, и из ансамбля сразу попрут...

— В каком смысле — не подзалететь?

— В том самом, подруга,— Надька хохотнула.— Не знаешь, что ли, первый раз замужем?

— А-а...

— То-то, что «а»! Ты случáем рецепта какого не подскажешь?

— Веди себя прилично, вот и весь рецепт.

— Легко сказать! Тань, я что — такая неотразимая, да?

— Фигура у тебя хорошая, а лицо сама в зеркало видишь, не дурнушка ведь.

— Я почему спросила, ко мне ведь уже и в Калькаре фрицы липли, которые из постояльцев. Да там я их всех отшивала, опять же Анька рядом была — при ней попробуй себе позволь... Ридель этот, помнишь, приятель Кирилл Андреича, чего с ним, не знаешь?

— Погиб, кажется, в Дрездене.

— Ай-яй-яй! — Надька соболезнующе покачала головой.— Так вот Ридель этот, помню, раз меня в колидоре прижал, и аккурат Анька увидала — чуть с лестницы его не спустила. А мне спокойно так говорит — идем, белье с прачечной надо принесть. Прачечная у нас помнишь где была? В подвале, в самый конец, там кричи — не докричишься. Зашли, а она, змеища, дверь на ключ, и мокрой веревкой так меня по голой заднице выстрочила — до вечера присесть не могла, чесслово!

Таня посмеялась:

— Запомнить бы надо тебе, Надюша, такой урок.

— Запомнить-то запомнила, да что толку? Торчишь тут, как жердёла при дороге... кто захочет, тот и полакомится. Да нет, ты не думай, я, конечно, не то, чтобы с кем попало... Может, перекусим, а? У меня вермута есть бутылка — хороший, итальянский.

— Можно,— согласилась Таня.— Мне тут тоже всяких бутербродов в дорогу наготовили, на два дня хватит...

Они перекусили, прямо из горлышка, чтобы не оплескаться, запивая еду горьковато-сладким вином, и как-то за разговорами и воспоминаниями опустошили всю бутылку. Остальные трое попутчиков давно спали в другом конце кузова, у кабины. Надька вытащила откуда-то плащ-палатку и предложила тоже покемарить.

— До Праги всего триста километров, сотню уже наверняка отмахали, не проспать бы,— сказала она озабоченно.— А то таскайся потом с этим долбаным аккордеоном...

— Разбудят, у тебя путевка до Праги. Слушай, а когда вы попали в Брюссель?

— Не помню — апрель вроде уже был. Или в конце марта? Не, в апреле, точно. Ладно, давай спи...

Уснула она сразу, точно отключившись, а к Тане сон не шел, перед ее закрытыми глазами мелькали картины того незабываемого апреля. На побережье Атлантики весна началась раньше, она шла следом за ними, солнце сияло над забитыми военной техникой и толпами людей автобанами, зацветали яблоневые сады, и мокрая от коротких пробегающих дождей броня была облеплена бело-розовыми лепестками. «Шерманы» американцев мчались к Эльбе с раскрытыми люками, хотя война еще свирепствовала на Восточном фронте, на Западном уже не воевал никто, навстречу союзным армиям брели в тыл бесконечные колонны сдавшихся немцев, шли толпы освобожденных — одни на восток, другие на запад, и вместе с ними шли в поисках крова и пристанища жители разрушенных городов...

Это был какой-то сплошной Вавилон, великое переселение народов, все гражданские выглядели одинаково, полосатой одеждой и особой степенью изможденности выделялись «хефтлинги» из кацетов, а так немцев от иностранцев отличало лишь общее настроение каждой толпы — немцы шли молча, иностранцы шумели и распевали свои песни, размахивая национальными флагами. Пробраться вслед за наступающими армиями до советской зоны оказалось проще, чем она думала; до самой Эльбы у них, помнится, вообще ни разу не спросили никаких документов.

Зато потом началось! Сейчас, задним числом, Таня сама удивлялась, почему была так спокойна в те, первые дни, когда исчез Кирилл, почему так безмятежно верила, что все обойдется, хотя ее и убеждали в обратном. «Ты что же,— говорили ей,— рассчитываешь так и отделаться байками? Нам доказательства нужны, понимаешь, до-ка-за-тельства!» А доказательств не было никаких, кроме той полученной от Виллема бумаги, которая сразу же была расценена как филькина грамота и вообще липа. Таня, однако, упрямо продолжала напоминать о ней на каждом допросе. И с тем же упрямством требовала каждый раз, чтобы сообщили генерал-полковнику Николаеву (о том, что Дядясаша жив и командует армией, она уже знала). Это особенно возмущало одного из следователей, а конце концов он даже вышел из себя и наорал на нее. «Наглая дрянь,— кричал он, стуча по столу кулаком,— сама там с какими только абверами не путалась, еще и советского генерала хочешь втяпуть?!» Она тогда тоже потеряла самообладание, единственный раз за все время допросов, и тоже принялась кричать что-то, захлебываясь слезами...

Для нее-то тогда все кончилось благополучно — благодаря вмешательству могущественного командарма, которому все-таки сообщили. Но ведь Дядисаши давно могло не быть в живых. Что тогда? Или если бы он не командовал армией, бравшей Берлин, а был простым офицером? Ведь даже сейчас он ничем не смог помочь Кириллу...

Странно у нас получается, подумала она с горечью, будто нарочно все сделано для поощрения тех, кому ничего не стоит соврать, наговорить напраслину на кого угодно, что угодно представить в вывернутом наизнанку виде... Или это везде так? Возможно, в какой-то степени, но у нас особенно заметно. С Надьки что взять, это же одноклеточное, да и запугали ее до полусмерти, а «носатый», скорее всего, просто захотел помочь глупой девчонке. Но все равно, все равно... Состряпали это беспардонное вранье, дурацкое, наглое,— и, пожалуйста, сразу же готова награда, все устраивается наилучшим образом! А другой человек — честнейший, с твердыми убеждениями, с непоколебимыми принципами,— с ним теперь неизвестно вообще что будет. Именно из-за его твердости, из-за принципиальности. Как будто фильтры всюду какие-то поставлены, чтобы проскальзывали только те, кто половчее да поизвилистее. Да уж, естественный отбор — лучше некуда...

Глава 29

Генерал-полковник был не в духе и не считал нужным это скрывать. День выдался трудный, помимо прочего пришлось разбираться с кляузным персональным делом одного офицера, запутавшегося в каких-то махинациях с трофейным имуществом, и точило беспокойство за племянницу, необъяснимое, казалось бы. Что могло с ней случиться? Дороги спокойны, это не Польша, «вервольфы» (если где и были) давно угомонились... Все это было так, но на душе оставалось неспокойно, Николаев уже жалел, что отпустил ее одну в такую даль. Хотя, после всех ее приключений...

Он уже собрался ехать домой, когда его настиг неприятный телефонный звонок. В высшей степени неприятный. Звонивший — у него был негромкий, бесцветный какой-то голос — представился майором, назвал место службы и попросил быть вечером дома, он-де заедет выяснить один вопрос. Не спросил разрешения приехать, не осведомился даже — хотя бы приличия ради,— удобно ли именно сегодня; нет, просто поставил в известность, как будто разговаривал с подчиненным. И еще одна деталь; майору этому, естественно, следовало бы обращаться к нему либо по званию — «това-

рищ генерал-полковник», либо по должности — «товарищ командующий», но он сказал просто «Александр Семенович», явно подчеркивая этим, что для них там все должности и звания совершенно несущественны. Так оно, несомненно, и есть. Учреждение вроде бы всем хорошо знакомое, и в то же время совершенно загадочное, загадочное вплоть до своего официального, смахивающего на мрачный каламбур наименования, относительно которого так толком и неизвестно, из каких, собственно, слов сия аббревиатура образована.

Майор явился в назначенный час, и разговор начал с предупреждения о его строгой конфиденциальности.

— Этого можно было не уточнять,— сказал Николаев сухо,— я не имею обыкновения посвящать посторонних в мои служебные дела.

— Разумеется,— согласился майор бесцветным голосом. Он говорил совершенно без интонаций, негромко и невыразительно; он весь был какой-то невыразительный, неопределенный, и это, пожалуй, делало общение с ним особенно тягостным, Николаев предпочитал иметь дело с людьми, поддающимися классификации.— Я предупредил о нежелательности разглашения этого разговора именно потому, что он не имеет отношения к вашим служебным делам, и вы могли бы случайно, не отступая от своего обыкновения, кому-нибудь что-то сказать. Об этом не следует говорить никому, включая Татьяну Викторовну.

Николаев задрал левую бровь.

— Это имеет отношение к моей племяннице?

— Самое косвенное, Александр Семенович, а возможно, и вообще никакого...

Майор классификации не поддавался совершенно, он был весь какой-то усредненный, словно безликий и ненастоящий, или, точнее, не соответствующий внешнему обличью — начиная с общевойсковой эмблемы на малиновых петлицах, явно не соответствующей его, если можно выразиться, роду оружия.

— Слушаю вас, майор.

— Дело в следующем, Александр Семенович. В начале мая сего года, в полосе Пятой гвардейской армии генерала Жадова органами СМЕРШ была задержана некая Гертруда Юргенс — по документам немка, родившаяся в Советском Союзе, одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, член нацистской партии, окончившая специальную школу пропагандистов и работавшая в лагерях для вывезенных в Германию советских граждан...

— Так,— без интереса уронил Николаев. Он сидел, откинувшись в повернутом боком кресле, положив ногу на ногу, и легкими щелчками заставлял свои очки крутиться на зеленом сукне письменного стола.— Двадцать третьего года, говорите? Хм, когда же это она все успела. Активная, похоже, девица.

— На первом же допросе,— продолжал майор без выражения, словно протокол зачитывал,— Юргенс показала, что документы у нее фальшивые, а на самом деле она — Земцева Людмила Алексеевна...

— Кто, кто? — переспросил генерал, подавшись вперед всем корпусом.— Земцева, вы сказали? Людмила?

— Земцева Людмила Алексеевна, русская, уроженка города Энска, вывезенная на работу в Германию в порядке принудительного призыва осенью одна тысяча девятьсот сорок первого года. Вам знакомо это имя?

— Еще бы, это одноклассница и подруга моей племянницы, я при вступлении наших войск на территорию Германии обратился в соответствующие органы с просьбой выяснить судьбу обеих! Но племянница нашлась сама, а теперь, значит, и Люда? Ну, я рад, майор!

— Александр Семенович, здесь все очень не просто. В показаниях задержанной слишком много противоречий. Так, например, на вопрос, для чего ей понадобились документы на имя немки да еще нацистки, она сказала, что в Дрезден приехала из Баварии, по указанию тамошнего представителя оперативного руководства КПГ, для того, чтобы устроиться на одно из дрезденских предприятий в качестве переводчицы и осуществлять связь между коммунистами в городе и лагерным подпольем. Там же, в Мюнхене, ей вместе с направлением на работу якобы выдали и другие документы — о том, что она кончила спецшколу, всякие характеристики и тому подобное...

— Это правдоподобно,— сказал Николаев,— если ее направили на такую опасную работу — естественно, что должны были как-то подстраховать!

— Послушайте дальше. Экспертиза установила, что удостоверение личности задержанной изготовлено в той же спецтипографии абвера, где печатались и другие документы для их агентуры. Выходит, они и коммунистическое подполье снабжали своей продукцией? Когда задержанной было указано на это несоответствие, она «вспомнила», что летом прошлого года вступила в половую связь с офицером вермахта, участником событий двадцатого июля...

— Что это за «события двадцатого июля»?

— Неудавшееся покушение на Гитлера в Растенбурге и попытка путча в Берлине.

— Ах, это.

— Так вот,— продолжал майор,— якобы этот ее любовник заранее снабдил ее комплектом фальшивых документов на случай провала заговора...

— Так кто участвовал в заговоре — он или она? — Николаев действительно переставал уже что-либо понимать.— Почему в случае провала ей должны были понадобиться фальшивые документы?

— В Дрездене она жила прислугой в доме другого участника заговора, и в случае его ареста могли бы прихватить и ее.

— Позвольте — вы сказали, что в Дрезден она приехала уже с фальшивыми бумагами!

— Это уже потом. С фальшивыми бумагами она в Дрезден вернулась якобы по указанию подполья, а тогда, прошлой осенью, она бежала из Дрездена в Баварию.

— Странно, что направили именно туда, откуда она бежала,— заметил Николаев.

— Да, в этом деле вообще много странного. Скажем, личность ее любовника. На первый взгляд ничего особенного, обыкновенный капитан инженерных войск, но что под этим? Оказывается, он был физиком, в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году добровольно ушел в армию, имея ученую степень доктора. Ну, это примерно соответствует нашему кандидату. Принимал участие во французской и североафриканской кампаниях, затем на Восточном фронте попал в окружение под Сталинградом, откуда был по требованию абвера эвакуирован одним из последних воздушных рейсов. Подчеркиваю — одним из последних, когда гитлеровцы вывозили уже только высший командный состав.

— А как было обосновано требование абвера?

— Это была рекомендация отозвать такого-то из действующей армии для исследовательской работы в области новейших видов вооружения.

— Ну, это дело обычное, у нас тоже отзывали. А что с ним-то самим?

— По имеющимся сведениям, погиб во время путча.

— Да, действительно... тайны мадридского двора.

— Совершенно верно. И Земцева Людмила Алексеевна — если задержанная действительно она — запутана в этих тайнах, как говорится, выше головы.

— Вы сомневаетесь, что это действительно Люда Земцева?

— Мы обязаны сомневаться во всем решительно, тем более, если речь идет о таком неординарном случае.

— Но установить личность проще простого — у нее есть мать, устройте им свидание, и...

— Земцева Галина Николаевна умерла три года назад. Но дело, в конце концов, не в установлении личности, вероятно, речь действительно идет о Земцевой Людмиле Алексеевне.

— Что же вас тогда смущает? И чем я могу быть полезен в вашем... расследовании?

— Смущает нас, Александр Семенович, очень многое. В дополнение к вышеизложенному могу добавить, скажем, еще такой факт. В последние дни войны гитлеровские власти вывезли в Швейцарию и передали американцам небольшую группу заключенных из концлагеря Флоссенберг, среди которых находился один из участников заговора двадцатого июля, аплоть до этой даты тесно связанный с любовником Земцевой-Юргенс, а следовательно — можно предположить — и с ней самой. Сейчас, как стало известно, этот человек живет в Берне на вилле одного из немецких сотрудников американского Отдела стратегических служб. Или, попросту говоря, их военной разведки. Как видите, слишком уж много «совпадений» завязано вокруг этой молодой, но — как вы справедливо заметили — не по возрасту активной особы... чтобы можно было рассматривать этот случай не заслуживающим особого и самого пристального внимания. Ну, а к вам мы позволили себе обратиться вот почему...

Николаев смотрел на майора и думал о том, что человек этот не так уж, в сущности, «неопределим» и труден для классификации; просто отнести его приходится к очень странному классу — или виду, или семейству — существ в высшей степени загадочных, словно бы ночного или подземного образа жизни, которых на поверхности да еще при дневном свете можно встретить лишь мельком и случайно. Удовольствия, надо сказать, такие встречи не доставляют. Он с неприязнью покосился на руки майора, обхватившие верхний край немецкой кожаной, на «молнии», папки, которую тот держал, поставив ребром, у себя на коленях. Руки, как и лицо, были неестественной белизны, словно их никогда не касалось солнце.

— Хотелось бы знать ваше личное мнение о бывшей однокласснице и подруге Татьяны Викторовны,— продолжал майор своим ровным негромким голосом.— Она говорит, что до войны часто бывала у вас дома, следовательно, какое-то впечатление о ней у вас должно было сложиться?

— Ну, видите ли,— Николаев развел руками,— это было давно! Я не так уж часто ее встречал, больше знал со слов племянницы, та отзывалась... положительно. Люда прекрасно училась, была активной комсомолкой, и вообще — ну, такая, знаете ли,

примерная девочка из интеллигентной семьи. Я, пожалуй, даже больше знал ее мать — общались на партконференциях, иногда у общих знакомых... Кстати, при каких обстоятельствах умерла Галина Николаевна?

— В эвакуации, от инфаркта. Александр Семенович, вы вот сказали — «девочка из интеллигентной семьи». Семья действительно потомственно-интеллигентная. К сожалению, опыт показывает, что именно в таких семьях нередко сохраняются... не совсем правильные взгляды на окружающее, не четко классовый подход к тем или иным проблемам — ну, вы меня понимаете...

— Нет, не понимаю,— сказал генерал.— Я тоже не совсем пролетарского происхождения, вам-то это известно, однако взглядов на окружающее придерживаюсь, смею думать, вполне правильных.

— Александр Семенович, речь сейчас не о вас,— мягко, но с нажимом возразил майор, причем слово «сейчас» прозвучало у него почти как «пока».— От Земцевой Галины Николаевны вам никогда не приходилось слышать каких-либо высказываний, которые дали бы основание предполагать, что она могла внушить дочери не совсем правильные, не совсем наши взгляды? Может быть, в ее рассказах о том периоде, когда она работала за границей?

— Нет,— сухо сказал Николаев, и щелкнул по лежащим на столе очкам так, что они завертелись пропеллером.— О своей работе в Германии в двадцатые годы мне она не рассказывала, а я не расспрашивал — не было общих интересов.

Экая наглость, в самом деле, думал он с тягостным ощущением скованности, почти бессилия. Пришел, сидит и ведет форменный допрос. Можно, конечно, выставить, да что толку? От них ведь так просто не отделаешься, в следующий раз пригласят к себе...

— Но вы согласитесь, Александр Семенович, что человек, у которого мать проходила в Германии научную стажировку, а дед в той же Германии окончил университет,— у такого человека с самого начала могло быть к немцам несколько иное отношение, чем присущее большинству наших людей инстинктивное, классовое отталкивание от всего несоветского. Я не утверждаю сейчас, что оно было; но могло быть?

— В принципе — могло,— согласился Николаев.— Но что так было у Людмилы Земцевой, не думаю.

— Не думаете, что было? Или уверены, что не было и не могло быть?

— Не думаю,— повторил генерал.— Я только никак не могу понять, в чем, конкретно, ее обвиняют? Если даже представить себе, что она кем-то завербована, то не проще ли было уничтожить все эти фальшивые документы и явиться к нам под своим настоящим именем?

— Ее пока ни в чем не обвиняют. Мы лишь пытаемся разобраться в очень необычном случае, когда советская гражданка, будучи насильственно вывезена в Германию, попадает там в какие-то совершенно особые привилегированные условия, ее чуть ли не удочеряет семья видного немецкого искусствоведа, а затем она вообще оказывается в центре крайне запутанного клубка, откуда тянутся нити — судите сами — к оппозиции внутри гитлеровской военной верхушки, к абверу, к военно-исследовательскому ведомству рейха и, наконец, что самое серьезное — через ее любовника и его так заботливо спасенного союзниками друга — к американской военной разведке.

— М-да, действительно...

— Поэтому, естественно, мы хотим знать о Земцевой все. Включая отзывы тех, кто ее знал до войны. Спрашивать Татьяну Викторовну по некоторым соображениям нецелесообразно, поэтому решили обратиться к вам, поскольку вы имели возможность общаться и с ее матерью...

Николаеву почувствовалась вдруг какая-то ловушка. Такая же непонятная, впрочем, как и все «дело» Люды Земцевой. Непонятно, зачем им его мнение, они все равно будут основываться на своем собственном; тут что-то другое, их не так интересует сама Земцева (скорее всего, судьба ее уже решена), сколько его высказывания. Но почему? Так бывало на фронте, когда в ходе операции, разворачивающейся, казалось бы, вполне по плану, противник обнаруживал вдруг свой контрзамысел, непредвиденный и не принятый во внимание, и все вдруг повисало в неопределенности, исход операции, судьбы десятков тысяч ее участников начинали зависеть от того, успеешь ли разгадать хитрость противника, скорректировать свой план, пока не поздно, пока не случилось непоправимого...

— Александр Семенович, поставим вопрос в такой форме: позволяет ли тот объем информации, которым вы располагаете в отношении Земцевой Людмилы Алексеевны, утверждать со всей уверенностью, что она, находясь в Германии, не могла совершить каких-либо действий, наносящих прямой или косвенный ущерб интересам нашей Родины? Иными словами, ручаетесь ли вы за нее в этом смысле? Или же — в принципе — допускаете, что таковые действия могли быть ею совершены? Согласитесь, тут ведь либо одно — либо другое...

...Да, непоправимого, непоправимого и бессмысленного, потому что помочь ей он все равно уже не поможет, что бы ни сказал. Да и — строго говоря — что он действительно знает? Люди во время войны так меняются, попадают в такие переделки, что уверенным, конечно, нельзя быть ни в чем. Абсолютно уверенным. Тем более, что донкихотство может обойтись слишком дорого. Не ему, а той же Татьяне, тому же Болховитинову, которого все равно придется вытаскивать, а кто сможет вытащить, если не он...

Николаев рывком крутнул кресло, встал и, выйдя из-за письменного стола, пересек комнату по диагонали.

— Ручаться, естественно, я за Земцеву не могу,— сказал он, не глядя на майора.— Нужным для этого объемом информации никогда не располагал. Думаю, однако, что...

— Благодарю вас, Александр Семенович,— тот тоже встал, держа папку перед грудью.— Не буду больше отнимать вашего времени,— сказал он с каким-то полупоклоном, и этот полупоклон, и писарским жестом прижатая к груди папочка — после того, что майор так бесцеремонно прервал генерал-полковника, не дав себе труда дослушать фразу,— показались Николаеву почти глумливыми.

— Всего доброго.— сухо сказал он.— Будете проходить через приемную — пошлите ко мне порученца, он там сидит.

Майор вышел, тотчас вошел порученец, молодой подполковник Силантьев.

— Простите, что задержал вас,— сказал Николаев,— ступайте отдыхать. Татьяна Викторовна не звонила еще?

— Так точно, с контрольно-пропускного в Пирне, товарищ генерал-полковник.

— Встретили ее там, все в порядке?

— Встретили, так точно. Скоро будут здесь. Я сказал, чтобы ехали через Фрейталь и Вильсдруф, там дорога лучше.

— Спасибо, Силантьев, можете быть свободны...

Подойдя к шкафу, он достал початую бутылку и, налив полстакана, вытянул не отрываясь. Сейчас бы напиться, чтобы до утра — мертвым сном; но нельзя, надо же встретить, спросить, как прошло свидание. Теперь постоянно придется врать, она время от времени напоминает — неужели до сих пор ничего не удалось выяснить насчет Люси. Не удалось и не удастся, и глупо спрашивать! Людей или нашли сразу, или они не найдутся никогда. Мало ли наших пропало здесь от бомбежек! А вот Люсеньке Земцевой понадобилось уцелеть. Он брезгливо дернул щекой — «вступила в половую связь с офицером вермахта» — и торопливо налил себе еще, словно пытаясь коньяком смыть привкус омерзения. Такая была примерная девочка, еще Татьяне обычно ставил ее в пример...

...Аккуратненькая всегда, миловидная, косы этак — коронкой — вокруг головы. Помнится, в пионерском галстуке еще прибегала. Черт знает что, немецкий капитан какой-то, герр гауптман — физик, шпион, с путчистами путался... неудивительно, что СМЕРШ сделал стойку. И Людмила Земцева. Тьфу, мерзость... Может, наврал майор? Впрочем, какой смысл придумывать такое!

Да, год назад бледная погань держала бы себя иначе. Особенно-то эта братия и тогда не стеснялась, но все же по пустякам не усердствовали сверх меры. Ну, а теперь чего уж стесняться, теперь и вовсе их время настало...

Напиться бы, подумал он с тоской, и убрал бутылку в шкаф. До беспамятства, чтобы сразу долой из головы все — и белесый майор, и примерная девочка Люся, и генерал-полковник Николаев. Он-то в первую очередь! И нечего себя обманывать насчет того, откуда этот вкус омерзения; пытаешься ведь, делаешь вид, будто омерзение от рассказанного майором. Люда Земцева тут ни при чем. Вступила так вступила, вопрос сугубо личного характера и никого не касается. Не в Люде дело. И не в майоре, конечно, мало ли он повидал этой погани! Пора было привыкнуть. К себе не привыкнешь, вот что худо. К себе — каким стал, каким тебя сделали...

Покойный брат был человек редкостного везенья, даже умереть сумел оптимально — в тридцать шестом году (на самом пороге; годом позже, по всей вероятности, главный инженер Востсибмаша уже не удостоился бы некролога в «Социндустрии», мог фигурировать в публикациях совершенно иного рода). И со стороны может показаться, что везенье это он унаследовал от Виктора вместе с племянницей. От «ежовых рукавиц» его спасло то, что слишком засиделся в майорах; командующий его не взлюбил (вообще не переносил «интелихэнтов»), действительно не давал ходу, и в определенный момент это неожиданно сработало в его пользу. Шло уже великое «оздоровление кадров», Дом комсостава опустел на одну треть, а ему вдруг дали бригаду, наградили медалью «XX лет РККА», потом послали в Монголию...

Но даже получив Героя, он не обольщался относительно прочности своего положения (что́ «Золотая Звезда»! — других и маршальские не защитили), поэтому приходилось соответствовать. Приходилось оправдывать доверие. Где-то промолчать, где-то, наоборот, выступить — всегда, как правило, вопреки тому, что думал. А была ли возможность поступать иначе?

Возможность-то, положим, была — не было смысла. Ведь ни в одном случае — поступи он иначе — ничто не изменилось бы ни на йоту, а погубил бы он только себя.

Что тогда сталось бы с Татьяной? И кто стал бы командовать бригадой — очередной неграмотный болван из выдвиженцев? Как раз в те годы именно этот тип «командиров» попер на верха, словно прокисшее тесто из квашни...

Словом, оправданий всегда находилось предостаточно. Потом и нужда в них отпала, так привыкли. А остальное чувство стыда всегда можно было нейтрализовать этаким легким цинизмом — что ж, если армию и называют «школой мужества», то ведь отнюдь не гражданское имеется при этом в виду, и есть к тому же старое мудрое правило: коли угораздило попасть в волчью стаю, учись подвывать.

Так почему тогда взыграло вдруг самолюбие, откуда эта гадливость к самому себе? То, что он сделал сейчас, приходилось делать и раньше; никакое его «ручательство» не могло изменить к лучшему судьбу Людмилы Земцевой, точно так же проголосовал он когда-то за исключение из партии комдива Иващенко, обвиненного в буржуазном национализме; судьба комдива была решена, она ведь не изменилась бы, проголосуй один какой-то рехнувшийся майор «против»... Да, но это было перед войной! До войны это было, вот в чем все дело.

За четыре года, как-никак, поотвыкли. Конфликты с совестью возникали по вопросам чисто военным, это куда проще. Приказы не обсуждаются, получил — выполни, и совесть остается чиста: поступил по уставу. Да, на войне было проще. На войне было, в общем... хорошо. Погани было куда меньше. А как воевалось, подумал он с тоской, как воевалось! Особенно под конец. Прорыв под Цоссеном, например,— он видел его своими глазами, находясь в боевых порядках 2-го мехкорпуса; наблюдательный пункт был оборудован на полусбитой снарядами колокольне, на ее верхней уцелевшей площадке, и обзор был отличным. Экипажи действовали превосходно, такая безупречная слаженность была во всем ходе штурма, в четком взаимодействии родов войск, что он вдруг — странная аналогия! — ощутил себя дирижером, управляющим этим гигантским оркестром — артиллерией поддержки, идущими за огневым валом танками, ИЛами, которые точно по графику — минута в минуту — возникали сзади и, туго ударив звенящим ревом, уносились в косо освещенную закатом дымную даль, прожигая ее тусклыми короткими молниями ракетных трасс...

Устало поскрипывая сапогами, генерал-полковник пересек просторный кабинет, рванул створку застекленной от самого пола двери. В саду было темно и тихо, пахло дождем, мокрой зеленью, какими-то незнакомыми цветами. Цветы, тишина, мир — все это было незнакомо и непривычно, настораживало, таило угрозу. Да, подумал он опять, на войне было легче. Кощунственная мысль, но что толку обманывать самого себя? Мы еще будем вспоминать эти четыре года как лучшее, что было когда-нибудь в нашей жизни.

Глава 30

В Энск поезд пришел холодным октябрьским утром. Было воскресенье, на привокзальной площади шумела и орала патефонными голосами барахолка, пыльный ветер рвал выгоревшее кумачовое полотнище «Слава воинам-победителям!», рупоры на столбе ликующе громыхали маршем Дунаевского. Люди толпились и на трамвайной остановке, значит, трамваи уже ходят? Таню это удивило, она никак не ожидала увидеть трамвай, бегущий по улицам этого разбитого, разрушенного Энска. Трамвай был приметой довоенного благополучия, чего-то мирного, почти сказочного...

Неужели это возможно — опять войти в желто-зеленый вагончик, постоять на задней площадке, может быть, даже прижаться носом к холодному стеклу, чтобы совсем почувствовать себя там, в юности, в сороковом или тридцать девятом... Но сначала она пешком пройдет по знакомым улицам, чтобы ощутить под ногами каждый булыжник, каждую выбоину на асфальте, каждую неровность этих старинных, вымощенных красным кирпичом тротуаров, каких не видела нигде, кроме Энса... Пройти по улице Коцюбинского, мимо длинной решетчатой ограды биологического института... Как он тогда горел — после первого ночного налета! Увидеть снова эту ограду, потрогать рукой шершавые стволы акаций на Пушкинской, раскрыть ржавую калитку... Вдруг Люся вернулась? Да нет, вряд ли, давно бы уже написала.

Охваченная нерешительностью, Таня замедлила шаги у углового полуразрушенного дома. От здания остался один нижний этаж, внутри заваленный рухнувшими перекрытиями двух верхних, но веранда, на которой когда-то стояли столики (здесь было кафе-мороженое) уцелела, была даже расчищена для каких-то целей, и на ней стояла притащенная неведомо зачем облезлая садовая скамейка. Таня поднялась по ступенькам, села, поставив у ног чемодан. Пыльный смерч пересек трамвайные пути, закручивая вихорьком мусор и обрывки газет. Было необычно холодно для начала октября, но она сейчас не ощущала холода, ей было жарко от волнения — все-таки она дома, все-таки вернулась, видит наяву эту площадь, так часто снившуюся ей в Эссене, а потом в Аппельдорне... Она не могла понять логики этих снов — ей никогда не снился ни Дом комсостава, ни Пушкинская, и школа ни разу не приснилась. Всегда почему-то

эта площадь — иногда похожая на довоенную, иногда не имеющая с ней ничего общего, но даже в этом случае она всегда знала, что это привокзальная площадь в Энске; хотя как раз с этим местом не было связано у нее никаких воспоминаний, разве что одно-единственное, тот ее приезд из Москвы девять лет назад? Тогда был вечер, блестел мокрый асфальт, она стояла возле машины, куда водитель в черном танкистском бушлате засовывал чемоданы, и пахло бензином и прорезиненным Дядисашиным плащом, и дождь косо летел мимо белых молочных фонарей, и было детство. Все было тогда впереди, все, и знакомство с Сережей в энергетической лаборатории Дворца пионеров, и тот вечер первого сентября, и ушедший с сортировочной станции эшелон, и немцы, и Кирилл, фотографировавший развалины...

Скрежеща и пошатываясь, подошел трамвай — облезлый, в проплешинах ржавчины, с заделанными фанерой окнами. На остановке загомонили. Таня смотрела на гнущиеся под ветром полуголые уже деревья и вспоминала, как они с Людой говорили однажды о том, какой праздничной будет послевоенная жизнь, как преобразится мир, когда наступит в нем тишина. «Праздничной» они представляли себе жизнь после войны не в смысле изобилия, до такого их наивность все же не простиралась; разруху, трудности восстановления — все это они себе представляли хотя бы по аналогии с периодом после гражданской войны, знакомым по рассказам старших. Чего они не могли предвидеть совершенно, так это той душевной разрухи, которая останется после этой войны... И которая будет страшней материальных развалин.

А разве можно было предвидеть странное чувство, овладевшее ею сейчас? Это была чуть ли не тоска по недавнему прошлому — нет, не по довоенному, то как раз было давним, слишком давним, чтобы вообще восприниматься как живая реальность; сейчас ей вспоминались гораздо более близкие годы — сорок второй, сорок третий. Годы, когда чужой был врагом, а свой — другом, когда добро и зло были четко размежеваны, и надо было только сделать выбор. Когда и представить себе было нельзя, что люди, еще вчера служившие одному, казалось бы, делу, завтра обезумеют, все больше запутываясь в липкой отравленной паутине страха и подозрительности.

Володя, Леша, тысячи и тысячи им подобных — какой чистой была их жизнь, какой завидной кажется теперь их смерть! Может, и лучше, что не дожили, не узнали, не увидели... Леше пришлось бы объяснять, почему только он один уцелел из всего подпольного руководства, так ли уж «случайно» отлучился в тот день из города. Про Володю и говорить нечего — в армию призван не был, а в плен попал, сам, значит, напросился. А разве не поставили бы им в вину методы подпольной работы?

Ей прямо сказали, что это было чистой воды очковтирательство, по сути — скрытая форма пособничества врагу. «Листовочки они печатали,— издевательски говорила сотрудница фильтрационной комиссии,— а почему не убивали фашистов, почему машины ихние не жгли, почему не выполняли прямое указание товарища Сталина?» Хорошо хоть, сам факт признали, что подполье действовало...

На трамвайной остановке что-то случилось, загалдели и загомонили еще больше, баба истошно заорала: «Ой лышечко, тримайте його!». Пробежал милиционер, бухая сапогами и пронзительно вереща в свисток. «Признали»,— горько подумала Таня, глядя перед собой невидящими глазами. Может быть, потому только и признали, что речь, как-никак, шла о племяннице человека, который через две недели после Победы был в Москве на правительственном приеме — вместе с другими командармами и командующими фронтами...

Да от нее и не считали нужным скрывать, что в ином случае следствие шло бы совсем иначе; та же особа, что возмущалась «листовочками», однажды, будучи в дурном настроении, схватила ее за волосы и, отгибая голову назад, прошипела прямо в глаза: «Сучка ты, а не комсомолка, я бы с тобой по-другому поговорила...» Это был единственный случай, вообще следователи ничего такого себе не позволяли; но он запомнился. Гораздо больнее и унизительнее запомнился, чем те пощечины, которые она получала от шарфюрера Хакке.

...Может быть, это ее несколько особое положение косвенно повлияло и на приговор Кириллу? Все говорят, что пять лет — это вообще не срок, перед войной «пятаки навешивали» женам. Безо всякого обвинения, просто за то, что была женой. Хотя, конечно, пять лет — это невообразимый отрезок времени, это целая эпоха от перемирия с Финляндией в сороковом до падения Берлина в сорок пятом. Но ничего, ничего, она успеет закончить институт к его возвращению, а может быть, его выпустят и раньше, всякое ведь бывает. Некоторые из тех, кто в тридцать седьмом исчезали из Дома комсостава, вернулись в сороковом, а один даже в тридцать девятом... Если действительно выйдет указ о возвращении гражданства бывшим подданным Российской империи, то в связи с этим может быть объявлена частичная амнистия таким, как Кирилл,— уже получившим свое «советское гражданство» по суду...

Как здесь холодно! А ведь только начало осени — до войны, помнится, октябрь бывал еще совсем теплым месяцем, осень начинала чувствоваться перед Ноябрьскими... А *там*, наверное, уже настоящая зима. Господи, хоть бы не в Магадан, не на

Воркуту, есть же лагеря и ближе, где-то в Коми, а есть и в Средней Азии... там, наверное, совсем хорошо — тепло, и нет лесоповала. Но где же они тогда там работают? Ей вспомнились школьные уроки экономической географии: Балхаш, Караганда, Джезказган — уголь, медная руда... Рудники? У нее упало сердце. Может быть, все-таки, в лесу здоровее?

...Никогда себе этого не простит, что не остановила вовремя, не сумела убедить там, в туннеле, почему не нашла тогда ни слов, ни доводов, которые в таком изобилии приходили на ум уже потом, когда все стало окончательным и непоправимым? Да нет, для него ведь это были бы не доводы. Он знал, что делал, и делал это сознательно. В Тилбурге, когда все еще было так радужно впереди, так безоблачно, он однажды прочитал ей из книжечки, которую постоянно носил в кармане: «...может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, но твоей Голгофы не покину, от могил твоих не отрекусь...» — неужели он предчувствовал что-то, или это было просто одно из тех зловещих совпадений, которые иногда случаются? Как там было дальше... «пусть в кровавой луже поскользнусь иль на дне твоих подвалов сгину...» — о Господи, если Ты есть — спаси его, пусть у меня в жизни не будет больше ничего хорошего! — лишь бы для него прошли побыстрее эти пять лет...

Странно, но она уже научилась думать о судьбе Кирилла не то чтобы спокойно, но без надрыва первых недель, по-будничному привычно и деловито — как думают, смирившись, о каком-нибудь непоправимом обороте в собственной судьбе. Их судьбы уже слиты воедино, и надо принимать действительность такой, какой она оказалась. Именно это сознание единства, слиянности судеб помогло справиться, устоять; она теперь знала, что должна — обязана! — в стойкости, в мужестве, в терпении если не сравняться с ним, то хотя бы приблизиться, не оказаться слабой и недостойной.

Мысли о Кирилле могли уже не мешать другим заботам, другим мыслям, эти два потока текли рядом, не смешиваясь и не мешая один другому. Кирилла она — о чем бы ни думала — просто ощущала постоянно в себе, как второе Я. Как тайное обещание радости, как привычную боль, от которой не избавиться, но к которой притерпелась настолько, что уже не отвлекает от обычных мелких забот, от повседневных дел...

Где бы Кирилл ни оказался, писать он, если разрешат переписку, будет сюда, до востребования, как договорились. Значит, надо скорее получить паспорт, прописаться, окончательно здесь устроиться. И прежде всего побывать на Пушкинской, а вдруг... Встретить там Люсю она не рассчитывала, но, может быть, соседи хоть что-то знают, слыхали... Надо туда пойти, хотя и страшно — потому что, если и здесь от нее никаких вестей нет, то продолжать надеяться уже бессмысленно.

Вообще-то, если даже и Дядесаше ничего не удалось узнать о Люсиной судьбе, то скорее всего ее давно уже нет в живых. Сама Таня провела в Германии каких-нибудь полтора года и то сколько раз была на волосок от гибели; а Люсю ведь забрали еще осенью сорок первого, шансов уцелеть у нее было вдвое меньше, а с ее характером (такая ведь была идейная комсомолка!) она вполне могла попасть в один из этих кацетов, «лагерей уничтожения», о которых тогда толком никто ничего не знал, ходили только всякие слухи...

Но сначала надо устроиться с жильем. Хоть с этим пока проблемы не было — один из Дядисашиных офицеров, тоже отсюда, выписывал семью к себе в Эрфурт, и они договорились, что Таня поживет пока в их здешней квартире. Первое время придется вместе с ними, но у них, кажется, все документы уже оформлены, так что скоро уедут...

Адрес Таня помнила — это было недалеко, на Коминтерновском. Она шла медленно, время от времени перебрасывая чемодан из руки в руку, поглядывала по сторонам, находя то знакомый дом, то запомнившееся когда-то место — перекресток с огромной старой акацией, трансформаторную будку на углу, мостик у входа на стадион. Она смотрела, и у нее сжималось сердце — таким все это выглядело бедным, обшарпанным, убогим... Сколько же понадобится лет, чтобы город обрел свой прежний, довоенный вид? Или он всегда был таким, просто тогда это не замечалось?

Харитоновы встретили ее хорошо, объяснять ничего не пришлось, подполковник успел уже написать, так что ей даже комнатку приготовили. Крошечную, чуть больше вагонного купе (сразу вспомнилась Сережина, там на Челюскинской), но много ли ей надо, а потом в ее распоряжении окажется и вторая, побольше. Хозяйка, вся в волнении от предстоящего переезда в загадочную и жутковатую Германию, усадила Таню завтракать, засыпала вопросами — а как там с жильем, ведь вроде говорят, что все разрушено, и как с продуктами, и как ведут себя немцы — правда ли, что много недобитых фашистов и после темноты на улицу лучше не выходить... Удовлетворив наконец ее любопытство, успокоив и насчет квартирных условий нашего офицерского состава, и насчет вервольфов, Таня ушла «к себе», вытянулась на койке и долго лежала с закрытыми глазами. Надо было встать, идти на Пушкинскую, но какая-то страшная усталость навалилась вдруг на нее непонятно почему. Усталость и несвойственная ей апатия, упадок душевных сил. Пройдет, утешала она себя. Должно пройти, это просто

так... временно. Господи, каким безоблачным было все тогда в Голландии, как все казалось просто и достижимо!

Ничего, пять лет пройдут быстро. Набраться сил, терпения, это сейчас главное. Вот чего никто не предвидел — что столько мужества потребуется после войны. Может быть, даже больше? Ну ничего, у нее хватит всего — и сил, и терпения, и мужества.

Если бы только не этот холод. Почему здесь так холодно? Она все-таки заставила себя встать, одеться. Харитонова поинтересовалась, где она шила пальто, и как вообще с этим, и была приятно удивлена, узнав, что с этим в Германии сейчас очень просто — масса первоклассных портных сидит без работы и без заказов, в Эрфурте ей сразу все покажут, где, что...

Как Таня и боялась, на Пушкинской о Люсе ничего не знали. Даже всезнающая Катерина Ивановна, которая всплакнула при встрече — от души, как показалась Тане. И о Галине Николаевне ничего не слышно, сказала она, может, решила не возвращаться из эвакуации, прижилась там на новом месте? Дом-то ихний под приют отдали, стало быть не ждут, что хозяева вернутся...

Таня постояла у ограды — той самой, ржавой, некрашеной, наверное, с тысяча девятьсот четырнадцатого года. Странно, что до сих пор не забрали на утиль... а впрочем, металлолома теперь хватает — от Дона до Эльбы поля засеяны отгремевшим железом. Но как хорошо, что догадались отдать дом для маленьких; жаль было бы, разместись тут какой-нибудь «Химсбыт» или «Заготскот»; стриженые головенки маячили в окнах кабинета Галины Николаевны, Таня смотрела с умилением, удивилась, почему не гуляют, потом поняла: холодно, а с одежонкой-то у них, наверное, не очень...

Она вдруг сообразила, что Галина Николаевна и впрямь могла остаться жить в Средней Азии, или куда их тогда эвакуировали. Кстати, этому может быть самое простое объяснение: институт не так просто перевезти на прежнее место, у них ведь всякая аппаратура, скорее всего его действительно оставили там, а уж с лабораторией своей Галина Николаевна, ясное дело, ни за какие коврижки не расстанется! Но если она там, то и Люда, конечно, поехала туда. Так что нечего строить всякие мрачные предположения, надо просто узнать, где институт, и написать туда. В горисполкоме должны знать — вопрос использования этого дома они, надо думать, согласовывали же как-то с владелицей.

С Пушкинской Таня отправилась на улицу Либкнехта, навестить Сергея Митрофановича. Сережа говорил, что прошлой зимой, после освобождения города, у него были какие-то неприятности в связи с начальной школой, которую немцы открыли было в конце сорок второго, и где он проучительствовал два или три месяца. Интересно, преподает ли сейчас — учебный год ведь уже больше месяца как начался...

На стук ей открыла незнакомая женщина.

— Какие Свиридовы? — неприязненно спросила она.— Свиридовы уже год как здесь не живут!

— А куда они переехали, вы не знаете?

— Под землю Свиридов переехал, вот куда. Помер он! Посадили его, как наши вернулись, там и помер вскорости.

— Господи! — ошеломленно сказала Таня.— А... Ольга Митрофановна?

— А она выписалась и уехала, куда — не знаю...

Вот и навестила, повторяла про себя Таня, спускаясь по лестнице, вот и навестила... Бедный старик, в школу-то он пошел зря, Леша еще тогда ему говорил, но все-таки, чтобы из-за этого... И несчастная эта Ольга Митрофановна, для нее ведь вся жизнь была в брате, куда она теперь? Какие-то океаны горя вокруг, проклятая война, и если бы только от пуль и от бомб...

Слезы жгли ей глаза, она не хотела уже никого больше видеть, никуда идти, кроме одного только места, только одного. Она долго стояла у афиш «Ударника» — «Свинарка и пастух», трофейный фильм «Леди Гамильтон», открыта предварительная продажа билетов — и не могла заставить себя двинуться с места. Потом все-таки заставила. На бульваре Котовского работали пленные немцы, расчищали площадку на месте здания Обкома, выкладывая из битого кирпича аккуратные штабельки. Как в Дрездене. Там тоже эти штабельки — в море обгорелых руин. Дом комсостава высился такой же ободранной полуразвалиной, зияя пустыми оконными проемами; до него очередь еще не дошла, хотя два дома поодаль уже стояли в лесах. Помедлив, Таня вошла под арку ворот; двор тоже был меньше, чем представлялся в воспоминаниях, весь уже зарос бурьяном, посреди валялась перевернутая легковая машина — пустая ржавая скорлупа, с которой было снято все, что сумели отвинтить и унести. «Ханомаг», определила Таня, за последние месяцы перезнакомившаяся со всеми марками немецких машин. Кажется, такая была у Кирилла летом сорок второго года. Однажды они вместе проехали по трассе... А вдруг та самая? Кирилл, наверное, смог бы определить. Об этом никому не скажешь, но то лето осталось у нее в памяти чуть ли не как счастливая пора... Разрешат ли переписку? Кажется, если не разрешают, то это специально оговари-

вается в приговоре: «столько-то лет без права переписки»; у Кирилла этого вроде не было...

Она вдруг сообразила, что уже поздно, базар мог и закрыться — неизвестно, до какого часа теперь там торгуют. Да и есть ли цветы, хоть какие-нибудь? Все-таки октябрь... Она так спешила, что согрелась, пока прибежала на базар. Торговля еще шла, и даже цветы нашлись у одной бабуси — мелкие озябшие астры из самых, видно, последних. Таня забрала все, от них едва уловимо веяло горьковато-сладким запахом тления — сорванные утром, они уже успели привянуть в такой холодный день.

Проспект Фрунзе, бывшая Герингштрассе — главная улица при немцах, центр оккупационного «сеттльмента». Она и сейчас тихая, безлюдная — по старой памяти, что ли, продолжают горожане избегать этих недоброй памяти мест? Впрочем, может быть, тут размещены в основном учреждения, а сегодня воскресенье, выходной, поэтому никого и нет. Все-таки что-то осталось от деятельности фирмы «Вернике-Штрассенбау» — асфальт, разделительная полоса с газоном, елочки — заметно подросли за два года...

Не оглянувшись на выгоревшую изнутри коробку бывшего гебитскомиссариата, бывшего Дворца пионеров, бывшего Дворянского собрания, Таня медленно поднялась по широким гранитным ступеням. Сквер как сквер — флагштока нет, крестов нет, посредине обыкновенная клумба, вокруг скамейки, и гранитная низкая ограда — как ни странно — смотрится совсем неплохо. Словно всегда так было. Володя стрелял вот отсюда. Ей потом описали это совершенно точно, по показаниям одного пленного немца, присутствовавшего здесь в тот день. Со ступеней, почти в упор, двумя очередями сжег «мерседес» Кранца, а потом укрылся за этим гранитным кубом и отстреливался, пока хватило патронов и гранат. Последнюю приберег для себя.

Таня осторожно положила цветы к подножию квадратной глыбы и опустилась рядом. Володя, здравствуй...

Не открывая глаз, она приложила ладони к холодному граниту, прижалась к нему щекой. Какой ледяной холод, какое безмолвие, какая навеки недвижимая тяжесть... Ах, мальчики из десятых классов, выпускники сорок первого, как же расточительно, с какой безжалостной и бездумной щедростью распорядилась вами Родина! «Горькая детоубийца Русь», неужто не нашлось у тебя иной защиты, неужто и впрямь понадобилось выбить цвет целого поколения, пожертвовать лучшими из лучших, от кого не останется теперь ни следа, ни памяти, ни потомства...

Она долго сидела так, прижавшись к камню, потом поднялась и, не оглядываясь, стала спускаться по ступеням. Из-за облаков нерешительно проглянуло бледное, негреющее уже осеннее солнце, ветер гнул верхушки пирамидальных тополей, срывая с них последние листья. Жизнь, какая ни есть, продолжалась, и надо было продолжать жить — ждать, верить, надеяться.

Всеволожск, 1966—1988

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Владимир
ЖЕРИХИН

ИСКАЖЕНИЕ МИРА

Мир познанный есть искаженье мира.
М. Волошин

Положение науки в современном мире двойственно. С одной стороны, никогда еще она не занимала столь важного места в человеческой цивилизации, которая ныне не только материально полностью зависит от использования достижений науки, но и в духовной сфере насквозь пронизана ее влияниями. С другой стороны, отношение к науке делается более скептичным и недоверчивым. Если в эпоху Просвещения, с которой, собственно, и началась безудержная экспансия науки во все области культуры и обыденной жизни, возлагались надежды на открытие непреложных законов естественного права, естественной морали, естественной религии, то к нашему времени они развеялись. Более того, науку часто обвиняют в аморализме, видят в ней источник опасностей. Природа и задачи науки осознаются современной культурой искаженно, многие ходячие представления о ней — присущие не только массовому сознанию, но и научному сообществу — на поверку оказываются глубоко ошибочными. Отсюда иллюзии, непомерные надежды, а когда они не оправдываются — столь же непомерные разочарования и обвинения. Искаженное представление о науке опасно и для нее самой, и для общества; в этой сфере насущно необходима демифологизация, критический анализ укоренившихся стереотипов. Культура перестала осознавать свое единство. Представители естественных (а точнее — природоведческих) дисциплин нередко высокомерно третируют гуманитарное знание («есть науки точные, естественные, неестественные и противоестественные»), деятели гуманитарной культуры числят ученых порой чуть ли не воплощением мирового зла (вспомним «Колыбель для кошки» Курта Воннегута — блестящий памфлет на современную науку, хотя и не только на нее).

Все это и заставило меня, биолога, расширить и переработать свой доклад на Чтениях памяти А. А. Любищева в Институте философии АН СССР (апрель 1989 года), чтобы поделиться с более широкой аудиторией некоторыми мыслями о природе и предназначении науки. При этом я, естественно, обращаюсь прежде всего к наиболее знакомой мне области — эволюционной биологии, что потребовало краткого пояснения понятий и концепций, не знакомых неспециалистам; это окупается тем обстоятельством, что значение некоторых из них, на мой взгляд, выходит за пределы биологии. Я хотел бы посвятить эту статью памяти замечательного ученого и оригинального мыслителя, моего коллеги-палеонтолога Сергея Викторовича Мейена.

Начну с того, что само понятие «наука» зачастую трактуется неоправданно широко. Задачи науки — это познание природных и общественных закономерностей, описание и объяснение мира на языке рациональных понятий. Увы, напоминанием о таком смысле слова сейчас остаются, кажется, только еще не забытые стойкие конструкции типа «наука и техника». На деле познанию оставлено скромное (несмотря на внушительно звучащее название) место «фундаментальной науки», да и сюда уже протаскиваются контрабандой чисто технические проблемы. Но «нефундаментальная наука» — не наука, как «нетворческое искусство» — не искусство, как редактирование, издание и чтение книг — не литература. Позволю себе привести хорошо известную цитату из «Как делать стихи» В. Маяковского: «Человек, впервые формулировавший, что „два и два четыре" — великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом,— все эти люди — не математики. Это утверждение отнюдь не умаляет труда человека, складывающего паровозы... Но не надо отчетность по ремонту паровозов посылать в математическое общество и требовать, чтобы она рассматривалась наряду с геометрией Лобачевского. Это взбесит плановую комиссию, озадачит математиков, поставит в тупик тарификаторов». Здесь все верно — кроме, к сожалению, последней фразы. Давно уже отчетности по ремонту паровозов, составляющие по меньшей мере девять десятых того, что именуется «научными отчетами», никого не озадачивают. Невозможно перечесть «научно-исследовательские» учреждения так называемой отраслевой науки. Я не один год ходил на работу мимо скромной вывески «НИЛТара». Научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся разработкой тары. Понятно, что совершенствовать бочкотару надо — но какие, интересно, природные или соци-

альные закономерности, неизвестные науке, можно установить в этой специфической области знания?

Не говорю — в этом учреждении, ибо известно, что А. Эйнштейн разработал основы частной теории относительности, будучи служащим патентного бюро — но к деятельности самого бюро это отношения не имело, и «научно-исследовательским» оно не числилось.

А ведь помимо отраслевых учреждений и многие академические заняты разработкой более крупных, но столь же научных проблем. Наука превратилась в крохотный островок в неоглядном море технологии.

Разумеется, открываемые наукой закономерности могут и должны использоваться в прикладных целях технологией (включая сюда не только технику в узком смысле слова, но и агротехнику, практическую медицину, химическую технологию, биотехнологию и т. д.). Технология может и должна заказывать науке исследования (но именно научные исследования), в результатах которых она нуждается. Но объединять науку и технологию в рамках единого понятия бессмысленно — настолько различны их задачи, методы и психологическая ориентация специалистов. Смешение науки и технологии приводит к мысли — теперь уже прочно укоренившейся,— что наука существует именно ради своих приложений. При рассказе о той или иной научной задаче практически в любой аудитории, кроме узко профессиональной, в первую очередь слышишь вопрос: «А зачем это нужно?» («А к чему бы это служило на первый случай?» — как выражалась незабвенная госпожа Простакова). Этот убого прагматический подход, который сродни утилитарному отношению к искусству, отвергает саму идею бескорыстного познания, начисто отрицает его самоценность. С невежественным высокомерием он поучает науку, указывая, чем ей надлежит и чем не надлежит заниматься, требуя «обращения к потребностям жизни», «к практике». В наших специфических условиях это приобретало совершенно пещерные формы искоренения «мухолюбов-человеконенавистников», но и цивилизованный западный налогоплательщик относится к удовлетворению любопытства высоколобых за его счет без особого энтузиазма. В результате науке навязывается абсолютно неприемлемый, губительный для нее дух конъюнктуры, уродующий ее развитие, делающий ученых психологически непригодными к настоящей научной работе. Пресловутый пункт о «практической значимости» предусмотрен инструкцией ВАК в любом автореферате диссертации и в любом оппонентском отзыве на нее. Это приводит к анекдотам — скверным анекдотам. Недавно в автореферате очень хорошей диссертации я прочел дословно следующее: «Практическое значение работы связано, в первую очередь, с вкладом в эволюционную теорию». До каких пор мы будем привычно врать сами себе — неужели не противно?

Одновременно смешение науки с технологией порождает необоснованные претензии к ней — и по поводу якобы поглощаемых ею колоссальных затрат (хотя даже в развитых странах на науку тратятся в действительности жалкие гроши по сравнению с расходами на технологию), и по поводу губительных последствий технического прогресса (в которых виновна не столько давно предсказывающая и честно обнаруживающая их наука, сколько увлеченное технологией общество, всегда слышавшее только то, что хотело слышать, и финансировавшее то, что хотело финансировать). В результате невосполнимый ущерб наносится и науке, и технологии, и обществу. Теперь дело у нас дошло уже, кажется, до предела абсурда — до попытки воплощения в жизнь бредовой идеи о «переводе науки на хозрасчет». Ближайшим результатом этого упоительного новшества, буде его удастся осуществить, может быть только окончательное искоренение науки, и без того уже теснимой технологией по всему фронту, а более отдаленным — гибель победившей ее технологии и глубокий общественный кризис.

Итак, первый миф, с которым необходимо расставаться — миф об обязанности науки «приносить пользу». Целью науки является не повышение благосостояния, а познание мира, которое потом можно использовать, и для повышения благосостояния. Но по высшему счету культуры существование науки окупается самим удовлетворением жажды познания — одной из самых благородных и неистребимых потребностей человеческого духа.

Но что, собственно, представляет собой научное знание? Часто полагают, что посредством наблюдений, экспериментов и теоретических моделей наука устанавливает Истину (в каждом случае одну-единственную) и доказывает ее истинность. Допускается, что в данный момент эта Истина, быть может, еще не доказана или даже не обнаружена нами, но это, как говорится, факт из нашей биографии, со временем разберемся. Существование несогласных друг с другом научных школ признается законным и полезным, а монополия одной из них — нежелательной, но лишь по прагматически-перестраховочным соображениям: вдруг как раз она и не владеет Истиной? Проблема плюрализма в науке обычно понимается именно таким и совершенно недостаточным образом. Но дело обстоит сложнее: то, что нам неизвестна Истина — факт из биографии науки и самой Истины.

Современная наука использует богатейший арсенал методов исследования, в каждой ее области своих и детально знакомых лишь специалистам. Но есть один важнейший и вполне универсальный прием познания, лежащий в самой основе науки и используюшийся ею всегда. Этот прием — редукция, то есть выделение немногих аспектов предмета или явления, которые только и считаются существенными. Явление тем самым редуцируется до этих аспектов, условно сводится к ним; всеми прочими особенностями мы при этом пренебрегаем. Если речь идет, например, об электрических явлениях в каком-то проводнике, нас могут интересовать его электропроводность, химический состав, молекулярная структура, магнитные свойства, температура плавления, форма и так далее, но, как правило, нам безразличны его запах, цвет, история изготовления, происхождение его названия в русском, японском или финском языке. Наука не может интересоваться всем богатством мира одновременно; вместо этого она тщательно рассматривает его с каждой стороны в отдельности. Это — ее фундаментальное свойство, накладывающее на ее возможности фундаментальное же ограничение.

Правда, нередко можно услышать призывы к использованию и развитию нередуктивных методов и подходов. Но при этом редукция понимается в ином, более узком смысле; редуктивным считается только аналитический, атомистический подход, при котором изучаемое разлагается на составные части. Ему противопоставляется подход синтетический, системный, холистический (то есть ориентированный на целостность объекта). В действительности оба подхода в равной мере частичны, неполны, обеднительны и в этом смысле — редуктивны.

Неоднократно обсуждалась, например, проблема редукции (сведения) биологических явлений к физическим и химическим или социальных — к биологическим. Но можно задать и другой, обычно не возникающий вопрос: «сводимо» ли биологическое к биологическому, а социальное — к социальному? Несводимость «высшего» к «низшему» (если мы занимаем «антиредукционистскую» позицию) означает, что в социальных системах, например, работают некие закономерности, не свойственные биологическим, возникает новое качество, на котором мы и акцентируем внимание. Но вряд ли самый крайний сторонник несводимости возьмется утверждать, что за вычетом этого нового в системе нет ничего — никаких «старых» качеств. Но это и означает, что она (система) в равной мере не сводится ни к биологическому, ни к социальному. Говоря в общем виде, в одном случае мы абстрагируемся от особенностей системы как целого, концентрируясь на ее элементах, во втором — абстрагируемся от свойств элементов, редуцируя объект к его системности. Прием вполне симметричен. В рамках каждого из подходов осуществляются дальнейшие, более частные редукции — к эволюционной истории, к физиологии, к морфологии, к генетике, к экономике, к классовой структуре, к национальной специфике... Никакого иного, принципиально нередуктивного пути познания нет. Нередуктивная модель мира — первозданный хаос, работать с такой моделью невозможно, хаос необходимо упорядочить; эта операция упорядочения и есть редукция. Не какие-то философские соображения, а опыт науки приводит к выводу, что реальность, скорее всего, бесконечно богата.

Если каждая система обладает и системностью, и разложимостью на элементы (которые, в свою очередь, могут рассматриваться как системы), и связями с другими системами, а наука в состоянии оперировать лишь редуцированными, обедненными моделями, то получаемое научное знание неадекватно реальному миру. Не в данный момент несовершенно, а в принципе неадекватно.

Наука сама обнаружила эту неадекватность и нашла способ ее преодоления. Произошло это первоначально в физике — высоко формализованной научной дисциплине, шире других использующей строгий математический аппарат, что и позволило ей сравнительно легко убедиться в неполноте своих моделей. Квантовая физика установила, что излучение можно описывать и как последовательность волн, и как поток частиц. В связи с этим Н. Бор выдвинул принцип дополнительности — представление о том, что две различные и вполне строгие научные концепции могут не исключать, а дополнять друг друга. Часто встречающееся у популяризаторов физики утверждение, что квант есть «и волна, и частица», неточно: он обладает свойствами и того, и другого, будучи ни тем и ни другим, а неким третьим типом объектов. В зависимости от задачи мы вправе рассматривать его либо как волну (редукция к волновым свойствам), либо как частицу (редукция к корпускулярным свойствам).

Общее методологическое значение принципа дополнительности далеко выходит за рамки физики, что понимали многие ученые, начиная с самого Бора. В любой науке мы можем считать разные редукции дополнительными, признавая их равно справедливыми и равно неполными, и складывать из разных редуктивных моделей множественную, плюралистическую модель.

Однако в менее формализованных, чем физика, областях науки доказать корректность конкурирующих моделей несрав-

ненно труднее, потому и попытки отстоять справедливость одной из них и отвергнуть все остальные предпринимаются упорнее. В биологии я знаю целый ряд примеров длительных и давно бесплодных (каждая сторона повторяет, в сущности, раз за разом одни и те же аргументы, кажущиеся вполне убедительными ей самой, но не ее оппонентам) дискуссий вокруг концепций, являющихся, по-видимому, взаимодополнительными. Это, в частности, спор приверженцев сходственной и генеалогической (родственной) систем в биологической систематике, сторонников дарвиновского отбора с одной стороны и номогенеза — с другой — в теории эволюции [1]. Я уверен, что и экономический детерминизм исторического материализма является не ошибочной и не единственно верной, а одной из дополняющих друг друга концепций, и многие беды порождены упорными попытками открывать этим ключом все замки подряд, а не только тот, к которому он подходит.

Таким образом, вопреки широко распространенному мнению, науке органически и неизбежно присущ не монизм, а плюрализм моделей реальности, компенсирующий их принципиальную неполноту. Эта сторона научного знания дополнительна к его редуктивности. В сущности, она обеспечивает в науке гегелевское восхождение от абстрактного к конкретному: редукция — это и есть абстрактное в гегелевском смысле. Отсюда становится ясным огромное методологическое значение принципа сочувствия, выдвинутого С. В. Мейеном [2] и зачастую неправильно понимаемого как чисто этическая норма. Попытаться встать на точку зрения оппонента в научном споре требуют не только и не столько этические соображения, сколько сама природа научного знания. Эту идею развил ученик Сергея Викторовича С. В. Чебанов в своей концепции рефлексивного метода, выдвигающей рефлексию (осознание) точек зрения исследователей на изучаемый объект как обязательное требование к исследованию. К сожалению, эта весьма детально разработанная концепция до сих пор не опубликована в сколько-нибудь полном виде.

Мне кажется даже — хотя я не берусь это доказать,— что выдвинуть абсолютно вздорную, ни к чему не приложимую гипотезу едва ли возможно. Какую бы воображаемую геометрию мы ни изобрели, если она последовательна и не содержит внутренних противоречий — найдется такая поверхность, для которой она справедлива. Подбор ключа к научной загадке — увлекательнейшее занятие; но если ключ не подошел, можно еще поискать тот замок, который именно им и отпирается, и эти поиски должны быть не менее увлекательными; просто думать в этом направлении мы совершенно не привыкли. На меня сильное впечатление произвели случаи, когда мне самому пришли в голову сферы вполне осмысленного приложения таких моделей, которые до этого казались мне явной чепухой.

Одна из них — субъективно-идеалистическая модель мира. Принять ее одинаково трудно людям, воспитанным как в материалистическом, так и в религиозном духе, и поэтому субъективный идеализм никогда не пользовался особой популярностью. Между тем легко понять, что даже, если мир вполне объективен, его свойства — вплоть до весьма общих свойств пространства и времени — совершенно различны для разных живых организмов. Для ориентирующегося преимущественно по зрению человека геометрия пространства близка к эвклидовой; но для большинства других млекопитающих она должна быть совершенно иной, поскольку они ориентируются прежде всего по запахам, распространяющимся нелинейно. А геометрию пространства растения или прикрепленного животного, такого, как коралловый полип или губка, вообще трудно себе представить. Какую-то, хотя и очень приблизительную аналогию дает геоцентрическая вселенная Птолемея (еще одна давно и прочно отвергнутая модель). Для человека, суслика или крота почва — наземная среда; но многие мельчайшие организмы живут в капиллярной воде в почвенных порах, для них это — водоем.

Число подобных примеров можно умножать до бесконечности. Если же сформулировать все это в кратком афоризме, получим: всякое живое существо живет в мире, который есть его представление. Криминальное с привычно материалистической точки зрения высказывание, не правда ли?

Такие рассуждения могут показаться бесполезной умственной эквилибристикой. Но в рамках природных сообществ — биоценозов — сосуществуют тысячи различных видов организмов. Их по-разному организованные миры (умвельты, как назвал их выдающийся немецкий физиолог Якоб фон Икскюль) в рамках сообщества должны каким-то образом гармонизироваться; должны существовать законы их композиции, определяющие, какие умвельты совместимы, какие — нет, какие могут быть инкорпорированы в данное сообщество, какие отторгаются им, а какие разрушают его гармонию, и так далее. Отыскание таких законов представляется мне не просто важной, а центральной задачей современной экологии, в которой этот путь редукции до сих пор не реализован.

Нам удалось, таким образом, обнаружить область науки, в которой можно ожидать плодотворного использования редукции мира к субъективно-идеалистической модели. Но эта область — не единственная; изучение законов взаимодействия индивидуально структурированных миров не менее перспективно в общественных науках, а в литературоведении, например, оно проводится давно и с интереснейшими результатами: достаточно вспомнить блестящие работы М. М. Бахтина о литературно-художественном хронотопе. Обобщение опыта искусствоведения в этой области, создание общей теории субъективных миров будет иметь колоссальное значение для общенаучного прогресса, сравнимое, вероятно, со значением появления теории информации.

Второй пример связан с первым, но касается совсем уж одиозного предмета — единства организма и среды. Произнести эти слова в приличном обществе отечественных биологов невозможно по очень простой причине — к этому единству апеллировала так называемая мичуринская биология как к своему базовому положению. Однако для небиологов здесь, вероятно, необходимы некоторые пояснения.

Литературный успех «Белых одежд» В. Дудинцева многим напомнил о бесславной истории «советского творческого дарвинизма». Не будучи историческим исследованием, «Белые одежды» дают лишь крайне неполное и упрощенное представление об этом явлении; но из-за недостатка таких исследований это представление стало, по-видимому, господствующим. Оно заключается в том, что лысенкизм был с начала до конца навязан науке извне. В действительности дело обстояло куда сложнее: «мичуринская биология» была порождена взаимодействием специфической общественной атмосферы сталинской эпохи с научным сообществом. В. Дудинцева интересовала — это право писателя, и какие-либо претензии к нему в этом отношении невозможны — универсально-сталинистская сторона явления, то, что было общим для «борьбы» и с «вейсманизмом-морганизмом», и с «формализмом в искусстве», и с прочими «буржуазными явлениями» во всех областях жизни. В «Белых одеждах» лысенковщина редуцирована к сталинщине. В этом много правды: как социальный феномен она и была одним из проявлений сталинщины. Покаянные выступления и письма, административный разгром научных и учебных заведений, аресты нераскаявшихся ученых и многое другое было порождено социальными обстоятельствами. Но, как во всякой редукции, это — еще не вся правда. Числить всех сторонников «мичуринской биологии» либо не верившими ни на йоту в собственные рассуждения шарлатанами, либо незнакомыми с другими точками зрения невеждами — натяжка. И тех, и других было в избытке; но были — особенно поначалу — и вполне квалифицированные биологи, которым концептуальная альтернатива «творческому дарвинизму» — инетический редукционизм — представлялась неубедительной.

Главной причиной этого мне кажется привлекательность тезиса о единстве организма и среды для экологически ориентированного мышления — а экология тогда была у нас очень сильной и влиятельной частью биологии. Лысенкизм объявил представление о специфическом субстрате наследственности метафизическим (основные свойства этого субстрата были тогда предсказаны, и имелись серьезные основания считать, что он локализован в хромосомах, но сам он еще не был открыт). Вместо этого наследственность считалась свойством, присущим живому существу — точнее, образующему его живому веществу — в целом. Организм строится из материала, поступающего из внешней среды, и потому образует с ней неразрывное единство; с пищей, водой, воздухом он прямо усваивает (ассимилирует) условия внешней среды. Если он к этим условиям приспособлен — все в порядке, если же не вполне, то живое вещество (и существо) меняется; эти изменения, впрямую вызываемые ассимилированными условиями среды, имеют целесообразный, приспособительный характер. Если эти изменения захватывают воспроизводящие клетки, то вещество потомков такого организма оказывается с самого начала измененным, то есть приобретенное изменение наследуется ими. В результате в потомстве особи одного вида могут появиться особи другого, приспособленного к новым условиям.

Такие выверты, как порождение сосны елью и кукушки — пеночкой, остались, естественно, совершенно неприемлемыми для всякого минимально грамотного биолога; не говорю уже об этической невозможности для порядочного человека поддержать лысенковские методы «дискуссии». Но «центральная догма» — редукция к взаимосвязям организма и среды — многим представлялась более привлекательной, чем противопоставленная ей редукция к генотипу (так же, как режиссерские эксперименты В. Э. Мейерхольда отвергались и независимо от официально инспирированной травли «мейерхольдовщины»). А дальше, сказав «А», почему бы не счесть приемлемым «ассимиляцию

[1] Дарвинизм объясняет приспособительную эволюцию отбором наиболее удачных из множества случайно возникающих изменений. Номогенетики отстаивают существование закономерностей возникновения этих изменений.

[2] С. В. Мейен. Принцип сочувствия. Пути в незнаемое, сборник 13. М.: Советский писатель, 1977. С. 401—430.

условий среды», «концентрирование в наследственности внешней среды, ассимилированной в предшествующих поколениях» и уж тем более — наследование приобретенных признаков, существование которого допускали многие серьезные исследователи?

Но та самая вненаучная специфика, которой посвящены «Белые одежды», вскоре вытравила из лысенкизма всякие следы науки, и в истории вместо лысенкизма осталась лысенковщина — явление столь позорное, столь омерзительное, что чуть ли не кощунственным кажется упоминание о научной стороне дела: какая там наука! Не было там науки — нигде, ни у кого, ни грана! В результате понятие «единства организма и среды» превратилось в жупел. По себе знаю: очень трудно любыми рациональными доводами победить непроизвольную неприязнь к тому, кто мог не отвергнуть лысенкизм вместе с лысенковщиной сразу же, полностью и бесповоротно. Поэтому приводить примеры, называть имена не хочется — но без этого мои утверждения относительно вполне квалифицированных биологов могут показаться голословными. Ограничусь упоминанием одного имени — имени человека, репутация которого столь безупречна, что повредить ей такое упоминание не в состоянии. Приведу цитату из письма А. А. Любищева (на дух не принимавшего лысенковщину с самого начала) К. В. Беклемишеву: «Был ли спор 1948 года научным или политическим? Ни то, ни другое, а нечто третье, так как совершенно нелепо все сводить к политике, но так же нелепо устанавливать всегда „или-или"... Для тебя вопрос ясен: с одной стороны мракобесы, с другой представители света и, очевидно, если один из представителей света проронит даже слабое слово, что не во всем представители света правы, то этим он уже учинит как бы предательство правому делу. Для меня вопрос гораздо сложнее: добро и зло, свет и тень переплетены самым сложным образом и провести такое разделение очень затруднительно» [1].

Лысенкизм остался в прошлом. Неудовлетворенность генетическим редукционизмом, однако, не исчезла и продолжает порождать дополнительные к нему модели. Среди них есть и новые редукции к системному единству организма и среды — например, концепция энвиронов американского биолога Б. Пэттена[2]. Разумеется, твердо установленные биологией факты существования наследственного кода при этом не отрицаются, и, кроме исходного тезиса, эти концепции имеют мало общего с лысенковскими. Но если перейти от организма к другим живым системам — к биоценозам — то можно найти больше аналогий с лысенкизмом. Органические сообщества действительно прямо включают и видоизменяют («ассимилируют») элементы неживой среды — почву, воздух, водоемы, и эти элементы прослеживаются («наследуются») в живом покрове даже тогда, когда уже перестают существовать как таковые (например, заросшее сплавиной озеро долго еще выделяется среди окружающего ландшафта совершенно иной растительностью). Этот вариант единства живого и неживого признавал, например, такой непримиримый и последовательный противник лысенкизма, как В. Н. Сукачев, подчеркнувший его в своем термине «биогеоценоз».

Вообще многие развенчанные, отвергнутые и, казалось, навсегда похороненные наукой идеи впоследствии в ней воскресли. Совершенно неправдоподобно выглядят воззрения Эмпедокла на происхождение жизни: «Первые поколения животных и растений родились вовсе не цельными, но разъятыми на несросшиеся части; вторые — в результате сращения частей — фантомообразными; третьими были поколения цельнорожденных; четвертое поколение родилось уже не от элементов, как-то земли и воды, а друг от друга». Однако современные представления о добиологической эволюции сложных органических молекул и молекулярных агрегатов удивительно напоминают эту фантастическую картину. Популярнейшая некогда астрология исходила из представления о влиянии небесных тел на человеческую жизнь, возродившегося в гелиобиологии А. Л. Чижевского. Толкование снов обернулось важной областью психоанализа З. Фрейда. Пример превращения элементов, бывшего одной из главных целей алхимии и вернувшегося в науку после изгнания из химии через физику, настолько хрестоматиен, что его даже как-то неудобно напоминать снова. Конечно, всякий раз речь идет лишь о самой общей идее, а не о частностях, да и сама эта идея претерпевает при своем воскрешении не менее разительную метаморфозу, чем выводящаяся из куколки бабочка.

Похоже, что показать вздорность некоей концепции — только полдела; надлежит еще найти тот аспект Универсума, применительно к которому она перестает быть вздорной. Только тогда становится окончательно очевидным, что иное ее применение некорректно. Разумеется, остается недопустимым эклектическое смешение дополнительных концепций — всякая научная концепция нуждается в цельности и последовательности, и демонстрация ее внутренней противоречивости для нее фатальна.

Если эти рассуждения справедливы, то должно быть отброшено еще одно ходячее представление о науке — представление о ее принципиально безличном, внеличном, надличностном характере. Принято в этом отношении противопоставлять науку искусству: не будь на свете Рафаэля, не было бы и «Сикстинской мадонны», но Ньютонова теория тяготения возникла бы и без Ньютона. Но если научные модели плюральны, то выбор одной из них определяется прежде всего личным опытом, личными вкусами и склонностями и даже случайностями биографии ученого. Первоначальным толчком, приводящим к тому или иному из альтернативных решений, могут быть обстоятельства, вообще не имеющие отношения к науке. Знаменитое ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора...» справедливо не только для стихов, но и для научных гипотез. Правда, раз возникнув, гипотеза начинает проверяться, дополняться и видоизменяться множеством ученых и через некоторое время (нередко довольно быстро) становится до такой степени плодом коллективного творчества, что отпечаток личности автора на ней делается трудно различимым. Однако базовая редукция, легшая в основу исходной гипотезы, сохраняется; возникновению же альтернативных редукций сложившаяся парадигма весьма эффективно препятствует в течение длительного времени. Личные вкусы Ньютона («гипотез не измышляю») так сильно сказались на дальнейшем развитии физики, что историко-эволюционный стиль редукций, не удовлетворяющийся констатацией законов, а ищущий их объяснения, до сих пор по существу не затронул эту науку, хотя в биологии и в социальных дисциплинах обращение к истории оказалось весьма продуктивным. В физике оно, несомненно, также не столь бесперспективно, сколь непривычно.

Итак, плюрализм подходов необходим науке как способ компенсировать неизбежную неполноту каждого из них, как способ приблизить совокупность многочисленных «миров для нас» к единому «миру в себе». Однако все научные редукции имеют одну общую черту: наука сводит мир только к его рационально постижимым аспектам. Но «природа не делится на разум без остатка», рациональным знанием Универсум не исчерпывается, поэтому даже плюральная научная картина мира остается принципиально неполной. Точно так же можно редуцировать мир к эстетическому, как делает искусство, к прагматическому, как делает технология, к правовому, к этическому и т. д. Все эти пути равно законны, поскольку отражают определенные стороны бытия; все они равно неполны и взаимодополнительны. Это относится и к самым общим мировоззренческим, философским моделям. Отношением дополнительности связаны, например, традиционные восточные концепции, редуцирующие Универсум к его единству, неделимости, процессуальности и цикличной самовоспроизводимости, и западные, акцентирующие его атомистичность, структурность и способность к восходящему развитию. Для адекватного взаимодействия с миром обладателю совокупного знания — человечеству — необходима вся совокупность взаимодополнительных подходов, и чем эта совокупность плюралистичнее, тем реже человечество будет вступать в острое противоречие с теми или иными сторонами мира, тем реже такие противоречия будут приводить к кризисам. Надо сказать, что и этот принцип известен науке не один десяток лет. Один из основателей теории информации, У. Р. Эшби, назвал его законом необходимого разнообразия: разнообразию внешних воздействий система может противопоставить только разнообразие своих реакций на эти воздействия.

Реально равновесие дополнительных подходов устанавливается только на достаточно больших отрезках времени. В человеческой истории постоянно происходят блуждания, характер преимущественной ориентации культуры меняется. Разные социумы ориентируются на разные доминирующие стили редукции — религиозный, этический, эстетический, рационалистический, деятельностно-технологический. Можно выделять стили и по иным критериям — например, фаталистические, активные и оппортунистические, или интравертные и экстравертные, изоляционистские и экспансионистские и т. д. Эти классификации стилей опять-таки дополнительны, ни одна из них не является единственно верной. Но как бы их ни классифицировать, все стили односторонни. Когда возможности данного стиля и соответственно возможности ориентированной на него культуры постепенно исчерпываются, происходит — более или менее революционно — смена ориентации. Вследствие таких блужданий поддерживается в конечном счете некоторое равновесие между разными стилями, устанавливается компромисс.

Так ведут себя не только социальные, но и вообще любые способные к оптимизации системы, и связано это с основной закономерностью оптимизации — с невозможностью максимизировать одновременно более чем один параметр системы. Выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии; выигрывая в надежности, проигры-

---

[1] Любищев А. А. Каким быть. Основной постулат этики. Двух станов не боец. Партийность культуры. О морали, браке, любви. Ульяновск. 1990. С. 16—17.

[2] Энвирон — дуалистическое единство организма и его связей со средой, предложенное Пэттеном в качестве основной единицы экологии.

ваем в быстродействии; ни в чем не проигрывая, ничего не приобретешь — это тоже закон природы. Если требуется достигнуть оптимального соотношения нескольких параметров, ни в одном из них не проиграть слишком много, то оптимизация должна производиться по некоему интегральному параметру, являющемуся функцией (или попросту зависящему) от всех них. Так действует, например, естественный отбор на живые системы, он контролирует не защищенность от врагов, не плодовитость, не гибкость поведения и прочие особенности организмов порознь, а интегральный показатель, отражающий их взаимодействие — число размножающихся потомков [1]. В итоге организация любого живого существа оказывается насквозь компромиссной. Эта особенность живого особо акцентируется в концепции адаптивного компромисса, предложенной биологом-эволюционистом А. П. Расницыным. Он различает два варианта приспособительной эволюции — эвадаптивный и инадаптивный. Инадаптивный путь связи с оптимизацией немногих избранных параметров, эвадаптивный — с оптимизацией компромисса между частными оптимизациями. Ни одно живое существо не может только добывать пищу, только спасаться от врагов или только размножаться, не может обратить все свои ресурсы только на одну из этих функций, то есть быть абсолютно инадаптивным; столь же невозможна и абсолютная эвадаптация — полное, безупречное равновесие между удовлетворением противоречивых требований. Инадаптивный путь реализуется быстрее, дает быстрый, но односторонний выигрыш — но быстрее и исчерпывается, разрушая гармонию компромисса. Эвадаптивный путь часто менее выгоден тактически, на коротких отрезках времени, но выигрышен стратегически, в большем временном масштабе. Это и поддерживает в истории жизни баланс обеих стратегий, не позволяя ни одной из них за сотни миллионов лет вытеснить вторую.

Та же схема рассуждений приложима и к социальным системам. В них также быстрый прогресс в отношении обеспечения какой-либо функции системы возможен только за счет инадаптивных процессов. Социум, быстро усиливающий какие-то избранные свои параметры — все равно, будет ли это объем материального производства, распределение производимого продукта, мощность регулятора или внешняя защищенность,— с железной неизбежностью совершает это за счет прочих функций, а потому в более далекой исторической перспективе неминуемо проигрывает в соревновании с компромиссными, плюралистически организованными социумами.

Между тем аналогия между социумом и организмом, как всякая аналогия, частична. Общество менее целостно, его подсистемы обладают несравненно большей самостоятельностью и имеют тенденцию, развиваясь, абсолютизировать свою частную цель, максимизировать собственные параметры в ущерб остальным подсистемам (в организме это возможно только при злокачественном росте). Неизбежный результат — нарушение внутренней компромиссности социума в целом, его односторонняя инадаптивная специализация. На первых порах этому способствуют впечатляющие успехи такой гипертрофирующейся подсистемы — но лишь до тех пор, пока ослабление остальных подсистем и общий дисбаланс не слишком очевидны. Подмечая такие тенденции, многие мыслители демонстрировали их опасность, доводя их в условиях мысленного эксперимента до абсурда. Чаще всего это делалось в форме литературных антиутопий. В обществе, нарисованном Е. Замятиным («Мы»), максимизирована функция управления, в модели социума Р. Брэдбери («451° по Фаренгейту») — функция материального потребления, в обществе элоев и морлоков и обществе селенитов Г. Уэллса — внутриобщественная специализация. До известной степени эти тенденции реализовались — но лишь до известной степени, поскольку именно в силу совершенства решения в них одной-единственной задачи эти модели вообще не в состоянии воплотиться.

Антиутопии часто называют «предупреждениями». Но честно и последовательно сконструированная утопия, автор которой ставит перед собой прямо противоположную цель — создание привлекательной идеализированной общественной модели, объективно нередко достигает того же результата, хотя, загипнотизированные авторским отношением, мы не всегда это замечаем. Чаще всего инадаптивность утопических моделей воспринимается как их схематичность, наивность. Но не случайно утопии не бывают столь же ярки и выпуклы, как антиутопии. Антиутопия — карикатура, метко улавливающая отдельные легко узнаваемые черты; де-

[1] В связи с этим не могу не вспомнить письмо В. Тростникова «Научна ли „научная картина мира"?» («Новый мир», 1989, № 12) — очень интересное и во многом мне близкое, но предъявляющее науке тот абсолютный счет, который не может оплатить ни одна область человеческой деятельности. Критикуя дарвиновскую теорию эволюции, В. Тростников обоснованно отвергает эффективность отбора по отдельным признакам, но объект дарвиновского отбора — не признаки, а организмы, он отбирает разом всю организацию (в терминологии В. Тростникова — «идею вида»), лепит общий образ, а не набирает мозаику, поэтому критика бьет мимо цели.

монстрация инадаптивной природы изображаемой модели — ее цель. Утопия — попытка любовно написать портрет идеала; но такому портрету инадаптивность, дисгармония — противопоказаны, сконструировать же гармоничную общественную систему невозможно ни в литературе, ни в реальности; чтобы быть органичной, она должна сложиться естественно. Поэтому, если отвлечься от авторских симпатий, в утопических моделях нетрудно обнаружить не менее опасные нарушения равновесия, чем в антиутопиях. Утопии общественного равенства, например, рисуют картину деперсонализации. Помню свое двойственное отношение к «Туманности Андромеды» И. Ефремова, когда она появилась в свет (я тогда был еще школьником). С одной стороны — очень симпатичное, справедливое, счастливое общественное устройство. С другой стороны — универсализация каждого в этом обществе, смена занятий соответственно общественным потребностям. Мой собственный интерес к биологии тогда уже совершенно определился, представить себе переключение на сколь угодно важные и общеполезные другие дела без протеста я не мог — и посейчас добровольно-обязательные «подвиги Геркулеса» кажутся мне романтически облагороженным вариантом поездок на картошку. Позднее я понял, что не случайно персонажи «Туманности» так утомительно однолики в своей идеальности. В таком универсализованном обществе — антитезе уэллсовского общества селенитов — индивидуальность не может не обезличиться, при универсальной социализации люди неожиданно уподобляются друг другу так же, как члены одной касты селенитов. И дело здесь не в неумении фантаста создавать характеры, а в последовательности, продуманности его утопии: людям в ней места не осталось. Стоило тому же писателю взяться за антиутопию — «Час Быка» — она получилась гораздо живее.

Особого внимания заслуживает опасность, действительно возникшая сейчас в связи с появлением эффективных средств коммуникации, связавших практически все общества в глобальном масштабе. Этим чрезвычайно облегчилась мировая экспансия стилей; а быстрый выигрыш, достигаемый за счет инадаптивных стратегий, делает их очень привлекательными и резко повышает вероятность их глобализации. Это произошло на наших глазах, например, с максимизацией материального производства технологической цивилизацией. Она действительно небывало повысила жизненный уровень — но она же подвела человечество вплотную к роковой черте мировой экологической катастрофы. Этот случай чрезвычайно ярок и показателен как пример типично инадаптивного пути развития, в короткие сроки делающего систему неадекватной миру.

Именно поэтому невиданную ранее актуальность приобрело сохранение национальных культур. Культуры исчезали всегда, это естественный процесс. Множество народов «погибоша аки обры», оставив лишь туманный, трудно прослеживаемый след в культуре своих более долговечных соседей. Перестали существовать вятичи, кривичи, дреговичи, поляне — но возникли русские, украинцы, белорусы. Культурное разнообразие в общем поддерживалось на достаточно высоком уровне. Сейчас впервые возникла угроза всеобщей нивелировки культур; и хотя едва ли эта тенденция сможет развиться до своего логического завершения, можно опасаться, что потери будут беспримерно велики. Поэтому поддержание разнообразия культур ныне — далеко не благотворительность: оно обоюдовыгодно для спасаемых и спасающих.

Вопреки широко распространенной уверенности в интернациональной природе науки — еще одному массовому мифу — потери от культурного выравнивания угрожают и ей. Легко понять, как велико должно быть значение общекультурного контекста, если наука плюральна и выбор той или иной базовой редукции зависит от психологической ориентации исследователя. Возможно, например, что аналитический стиль мышления западной цивилизации во многом предрешен линейным фонетическим письмом, усвоенным всеми европейскими народами. При этом слово разлагается на звуки, звуки отождествляются с буквами или их сочетаниями, из которых вновь складываются слова; такая операция становится привычной и естественной и осуществляется вполне автоматически. Напротив, иероглифическая письменность приучает к схватыванию целостного образа. Ребенок, обучающийся читать и писать, заодно исподволь обучается и одному из этих стилей умственной работы. Современная западная цивилизация приучает к эффективности, надежности и безотказности техники. Соответственно все популярнее делаются и высоко формализованные подходы к традиционно слабо формализованным (и действительно трудно формализуемым) наукам. В биологической систематике, например, исключительно быстро распространились такие направления, как нумерическая таксономия и кладистический анализ [1]. Оба они сходны

[1] Нумерическая таксономия — направление сходственной систематики, основанное на количественной оценке уровня сходства классифицируемых групп. Кладистический анализ — направление родственной систематики, кладущее в основу системы наиболее вероятную очередность отделения этих групп друг от друга в их истории.

в том, что процедура построения системы в большой мере автоматизирована, а элемент ее обдумывания сводится к минимуму. У нас они мало популярны. Отчасти это объясняется, конечно, недостаточной компьютерной вооруженностью нашей биологии, но основная причина лежит глубже. Наш соотечественник прекрасно знает из повседневного опыта, что техника не является ни эффективной, ни надежной, ни безотказной, что от нее в любую минуту можно ждать подвоха; отсюда глубинное, обычно неосознанное недоверие к формализованным методам в тех науках, где они пока не вошли в плоть и кровь любого исследования. И мне кажется отнюдь не случайным, что именно у нас возникли концепции адаптивного компромисса, рефлексивный метод или принцип сочувствия — это результат развития науки в русской культурной среде, для которой такая расстановка акцентов, такие стили редукции совершенно естественны.

Почему же в конечном счете наука все же оказывается интернациональной? Потому, что объяснить уже созданную концепцию можно человеку любой национальной культуры. Таким образом, наука сотворенная интернациональна, национальна наука творимая; существует разделение труда производителей, а продукт производства общедоступен.

В той или иной степени это справедливо не только для науки, но и для остальных областей человеческой деятельности. Даже литературное произведение можно перевести на другие языки, обеспечив общедоступность, и даже характер технических изобретений зависит от культурной среды, в которой работает изобретатель. Поэтому объективно любой народ культурно заинтересован в сохранении культуры остальных народов, с которыми он прямо или косвенно контактирует, то есть в современной ситуации — всех народов. Исчезновение их культур неминуемо и необратимо обеднит его собственную культуру, увеличит риск ее деградации вследствие выбора инадаптивного пути.

Есть и другая сторона той же проблемы — оптимальный выбор направлений развития национальной науки. Если предыдущие рассуждения правильны, то рационально развивать в каждой стране в первую очередь те аспекты познания, которые наиболее соответствуют всему контексту национальной культуры, и с их позиций усваивать чужие достижения. Н. В. Тимофеев-Рессовский любил повторять по поводу особо кропотливых, особо детальных исследований: «Не следует делать того, что все равно сделают немцы» (действительно, немецкая наука прославилась безукоризненно тщательной, обстоятельной, капитальной проработкой многих проблем). Это вполне разумное правило обычно игнорируется — прежде всего из-за боязни отстать в технологии. Эта боязнь заставляет дублировать исследования, уже ведущиеся в других странах. В результате стили науки наиболее передовых в технологическом отношении стран, для них вполне органичные, заимствуются остальными, гораздо менее готовыми к ним странами. Если в обстановке «холодной войны» эту в общем обреченную (несмотря на частные успехи) гонку можно было еще оправдывать соображениями национальной безопасности, то теперь она окончательно превращается в абсурдный дорогостоящий анахронизм. Некоторое представление о том, с какой скоростью и решительностью исследовательские группы, не завершившие одни работы, перебрасываются на другие, уже начатые кем-то за рубежом, дает статья Е. Д. Свердлова «Неоконченная история с натрий-калиевой помпой» («Химия и жизнь» 1989, № 11). Подобная научная политика разорительна и безответственна. В нашей биологии, в частности, она привела к насаждению по западному образцу «современных» технизированных дисциплин, таких, как биохимия, биоэнергетика и т. д., в ущерб «устаревшей» классической биологии. Между тем их «современность» там определялась прежде всего соответствием господствующему в это время направлению западной научной мысли, ориентированному на физикалистский стандарт как на идеал науки вообще. По многолетней привычке, обнаружив свое (действительно несомненное) отставание в этих областях, мы ринулись догонять и перегонять заносчивую Вандербильдиху со рвением, достойным Эллочки Щукиной. Предстояло обеспечить в первую очередь «передовые» (сиречь уже процветающие «там») направления, а наиболее развитым у нас ранее, как «устаревшим», оставить лишь крохи с этого стола — и без того не слишком обильного, скорее приводящего на память федотовский «Завтрак аристократа», нежели голландское изобилие. Плоды применения такого остаточного принципа легко понять. Пока подстегиваемые специальными партийно-правительственными постановлениями «современные» отрасли изнемогали в гонке с западными конкурентами, задыхаясь от недостатка дорогостоящего оборудования, реактивов и подготовленных кадров, незаметно захирели оттесненные на задний двор блестящие традиции русской синтетической биологической — и, шире, натуралистической — мысли, прославленной на весь мир десятками замечательных ученых (назову хотя бы Н. А. Северцова, В. В. Докучаева, М. А. Мензбира, Г. Ф. Морозова, Г. Н. Высоцкого, В. И. Вернадского, Л. С. Берга, В. Н. Сукачева — этот список можно продолжать очень долго). Для России с ее природным разнообразием ландшафтно-экологический подход, характерный для перечисленных мной исследователей, был в высшей степени органичным. Он превосходно вписывался и в контекст ориентированной во многом на отношения человека с землей русской культуры вообще. Но голодный паек, предоставленный «отсталой» биологии, обескровил ее. Тем временем ситуация начала меняться. Обострение экологических проблем вызвало переориентацию исследований, перестановку акцентов в мировой науке. Теперь и открыть бы восхищенному миру исподволь скопленные сокровища экологической мысли, предложить бы — не без выгоды для себя — своих экспертов, своих блестящих специалистов, за которыми стоит с лишком столетняя традиция... Да где же они, ау? Оказывается, мы разорили свою сокровищницу, разрушили научную преемственность, потеряли свою дорогу и так и не вышли толком на другую...

Такова цена мифа об интернациональности науки.

Учет доминирования инадаптивных и эвадаптивных тенденций в общественном развитии исключительно важен для социального прогнозирования. Можно — а в критических ситуациях необходимо — стремиться к быстрым успехам, но нельзя им радоваться. Их высокая скорость — признак частичного улучшения, оздоровления частной ситуации, но одновременно всегда и симптом грозной опасности для системы в целом, оценивать которую совершенно необходимо трезво и заблаговременно. Иначе мы будем всякий раз сначала неумеренно восторгаться по поводу успехов индустриализации и превращения отсталой аграрной страны в мощную промышленную державу, потом судорожно искать новый, столь же инадаптивный выход из нового тупика, требовать немедленно бросить все средства на возрождение погибающего аграрного сектора, отобрав их у всех, у кого можно и нельзя — только затем, чтобы в следующий раз снова отдавать все кому-то из этих обобранных, чье катастрофическое положение, нами же и созданное, мы, наконец, осознаем. Сейчас у многих вызывает протест «очернительство» нашей истории — нельзя мазать все черной краской; были выдающиеся успехи, был массовый энтузиазм, было быстрое преображение всего облика страны... И трудно объяснить людям, действительно беззаветно вкладывавшим свои силы в это безоглядное обновленчество, что оно-то и было, может быть, самым страшным из всего, что происходило в те годы,— ибо именно оно надолго лишило наше общество внутренней гармонии, которая еще неизвестно когда восстановится; что малые шаги, кажущиеся робкими, непоследовательными и противоречивыми, создающие впечатление топтания на месте («шаг вперед — два шага назад»), стратегически куда более выгодны, чем грандиозные планы немедленного глобального переустройства. А мы все продолжаем требовать сиюминутных радикальных улучшений, решения проблем завтра, изуверившись в более далеких обещаниях. Но надо понимать: решение всех проблем к сегодняшнему вечеру — это Апокалипсис завтра наутро.

В связи с этим упомяну еще об одной концепции, возникшей недавно в нашей эволюционной биологии, но важной не только для нее — о теории возникновения новизны в самоорганизующихся системах, разрабатываемой А. С. Раутианом. Ее основные положения опубликованы, хотя и в очень кратком, конспективном изложении [1]. Поскольку масса и энергия неспособны ни возникать, ни исчезать, возникновение новизны (Раутиан называет его творчеством) не может быть массово-энергетическим процессом. Свойством сохранения не обладает информация, способная как исчезать, так и появляться. Приобретение новой информации и есть творчество; оно осуществляется путем закрепления (запоминания) случайного (то есть не предрешенного предшествующим состоянием системы, неожиданного для нее) выбора одной из нескольких возможностей. Важно то, что увеличение новизны выбора уменьшает преемственность, а тем самым — устойчивость системы. Иными словами, новизна для системы разрушительна, а потому не может быть сколь угодно большой; допустимая новизна всегда невелика по сравнению с общим объемом памяти, накопленной системой ранее, то есть с ее историческим компонентом. Если система пытается преодолеть этот порог новизны, она гибнет.

В итоге структура всякой достаточно сложной системы оказывается прежде всего материализованным воплощением ее истории, а сама возможность выбора одного из возможных изменений, то есть возможность творчества, ограничивается историческим опытом: творчество происходит только в рамках той или иной традиции. Такое представление почти самоочевидно для гуманитария, но нетривиально для биолога, которому позволяет по-новому взглянуть на уже упоминавшуюся дилемму дарвинизма и номогенеза. Основатель концепции номогенеза Л. С. Берг считал целесообразность выбора изначальным свойством живого. Для дарвинизма изначальная целесообразность неприемлема, он настаивает на отсечении нецелесообразных вариантов от-

[1] Современная палеонтология. Том 2. Методы, направления, проблемы, практическое приложение. М., Недра. С. 78—118.

бором. Но и в рамках дарвинистской модели допустима высокая вероятность появления целесообразных изменений за счет опыта, который с помощью того же отбора был накоплен ранее. Ситуации, с которыми живая система никак не могла столкнуться непосредственно, часто знакомы ей исторически, возможность приспособления к ним уже заложена в ней и потому реализуется неожиданно легко. Дарвинизм, таким образом, принципиально совместим с номогенезом, хотя концентрирует внимание на противоположном аспекте проблемы: на операции выбора, а не на его ограничениях, на элементах неопределенности, а не предрешенности.

Концепция творчества А. С. Раутиана тоже кажется мне вполне естественно возникшей именно на отечественной почве. Чтобы понять, сколь важна история, надо было оказаться на грани ее утраты так же, как, чтобы выяснить, необходимы ли растению, скажем, медь или магний, надо узнать, как оно чувствует себя без них. В культуру нации входит национальный опыт, и в особенности опыт горький (он чувствительнее) — а этого нам не занимать. Вклад в сокровищницу мировой культуры оплачивается дорогой ценой — тем более следует ценить уникальность каждого национального вклада.

И в заключение — несколько слов о политическом плюрализме. Мое отношение к нему, вероятно, уже понятно читателю. Ни одна общественная сила в отдельности — «прогрессивная» или «реакционная», «левая» или «правая», «патриотическая» или «космополитическая», «сепаратистская» или «централистская», выступающая за приватизацию или за социализацию и т. д.— не выражает и не может выражать интересов общества. Эти силы дополнительны и могут решить задачу оптимизации только путем компромисса друг с другом. Как только одна из них — все равно какая — возобладает абсолютно, она подминает под себя естественные плюралистические структуры общества, уменьшает его жизнеспособность и потому становится по существу антисоциальной. В связи с этим не могу отказать себе в удовольствии привести замечательную цитату из «Го юй» — древнекитайского памятника исторической и политической мысли, написанного, как считается, в IV веке до нашей эры: «...гармония, по существу, рождает все вещи, в то время как единообразие не приносит потомства. Гармонией называется уравнивание одного с помощью другого, благодаря гармонии все бурно растет, и все живое подчиняется ей. Если же к вещам одного рода добавлять вещи того же рода, то когда вещь исчерпывается, от нее приходится отказываться... Однако князь отвергает подобную гармонию и объединяется с лицами, взгляды которых совпадают с его желаниями. Небо лишило его мудрости, и даже не желая собственной гибели, он не сможет избежать ее!»

Жан-Поль САРТР

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ

Антисемиты правы, говоря, что еврей ест, пьет, читает, спит и умирает как еврей. А что еще ему остается? Они умело отравили его пищу, его сон и даже его смерть; как он может быть другим, когда он вынужден каждую минуту определяться в потоке этой отравы? А когда он выходит из дома и на улице ли, в обществе ли встречает людей, которых в одной еврейской газете назвали «те», он ловит на себе их взгляды, он чувствует в этих взглядах смесь страха, презрения, укоризны и братской любви, и он должен решить, согласен ли он перевоплощаться в персонажа, роль которого ему навязывают. И если согласен, то где намерен остановиться? А если отказывается, то отказывается ли он от всякого родства с остальными евреями или только от этнического? Что бы он ни делал, он уже направлен по этой дороге. У него есть выбор: он может быть храбрецом или трусом, может быть веселым или грустным, он может любить христиан или убивать их, но не быть евреем — такого выбора у него нет. Или, точнее, если он выберет это, если он заявит, что евреев не существует, если начнет насильственно и отчаянно отрицать в себе еврейские черты, то как раз этим и определит себя как еврея. Потому что мне, поскольку я не еврей, ничего не надо ни отрицать, ни доказывать,— если же еврей решит отрицать существование своей расы, то ему и придется *доказывать* это. Бросив его в ситуацию еврея, общество *отвернулось* от него, и он теперь должен отвечать перед собой — и отвечать собой за судьбу и за саму природу еврейского народа. Потому что никому не важно, что́ говорит и делает еврей, и не важно, имеет ли он ясное представление о своей личной ответственности или не имеет никакого. Все происходит так, словно он обязан каждый свой поступок поверять неким кантовским императивом,— так, словно он обязан на каждом шагу задаваться вопросом: «А если бы все евреи поступали так, как я,— как бы это отразилось на их жизни?» И на вопросы, которые он себе задает («Что, если бы все евреи были сионистами? — или, наоборот, если бы все обратились в христианство? — а если бы все они отрицали, что они евреи?» и т. д.), он должен отвечать в одиночку, без всякой помощи,— отвечать, выбирая, определяя себя.

Если мы согласимся с тем, что человек — это свобода выбора в заданной ситуации, то легко поймем, что эту свободу можно определить как аутентичную или неаутентичную, в зависимости от ее выбора самой себя в той ситуации, в которой она возникает. Аутентичность, по самому смыслу слова, предполагает способность трезво и адекватно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность, принимать опасности, которыми ситуация чревата, и с гордостью — или в унижении, а иногда — с ненавистью и страхом отстаивать свои права. Вне всякого сомнения, аутентичность требует большой смелости — и не только смелости, поэтому не может вызывать удивления то, что неаутентичность распространена значительно шире. Возьмите буржуа или христиан: в большинстве своем они неаутентичны в том смысле, что не позволяют себе жить в полном соответствии со своим положением буржуа или христиан, вечно скрывая от себя некие детали. И поскольку коммунисты записали в своих программах «радикализацию масс», а Маркс разъяснил, что рабочий класс *должен* развить в себе самосознание, то это может означать лишь то, что и пролетариат в массе своей поначалу тоже неаутентичен. Еврей не исключение из этого правила; для него быть аутентичным означает жить в полном соответствии со своей ситуацией еврея, а быть неаутентичным значит отрицать ее или пытаться от нее уйти. И неаутентичность для него несомненно более привлекательна, чем для других людей, потому что принимать такую ситуацию, в какой оказывается он, и жить в ней — просто мучение. Даже в ситуации человека социально наименее защищенного обычно отыскивается та ниточка солидарности, которая связывает его с другими людьми; так, экономические условия существования наемных рабочих в преддверии надвигающейся революции — или принадлежность людей к какой-либо, даже преследуемой, церкви уже изначально создают глубокую общность материальных и духовных интересов. Но, как мы показали, евреи не связаны общностью интересов и общей верой. У них нет общего отечества и нет никакой истории. Единственное, что их объединяет,— это враждебно-презрительное отношение к ним тех сообществ, в которых они живут. И аутентичным евреем будет тот, который утверждает себя в атмосфере окружающего презрения и — через это презрение. Ситуация, которую он хочет до конца понять и прожить, в периоды социального

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 7.

перемирия почти не поддается фиксации,— она в том, что витает в воздухе, в неуловимом ощущении лиц и слов, в прячущейся за безобидными вещами угрозе,— это какая-то абстрактная связь, соединяющая его с другими, в иных отношениях очень непохожими на него людьми. Напротив, с его точки зрения, все говорит за то, что он такой же француз, как все остальные: состояние его дел напрямую зависит от уровня жизни в стране; судьбу его детей обеспечивают мир и величие Франции; язык, на котором он говорит, и культура, в которой он воспитан, позволяют ему основывать все его расчеты и планы на принципах, общих для всей нации. Так что ему достаточно было бы расслабиться, и он забыл бы свое положение еврея, если бы не чувствовал, что везде (мы в этом убедились) разлита эта почти необнаружимая отрава — враждебность других. И не то удивительно, что есть неаутентичные евреи, а то, что пропорционально их меньше, чем неаутентичных христиан. Тем не менее, именно определенные поступки неаутентичных евреев послужили антисемитам источником вдохновения для сотворения их Мифа о еврее как таковом. В действительности, для неаутентичных евреев характерно то, что они проживают свою ситуацию, убегая от нее. Они выбрали отрицание своей ситуации — или ответственности или, наконец, отверженности, которая кажется им невыносимой. Это не обязательно означает, что они хотят уничтожить понятие «еврей» или что они определенно отрицают существующую «еврейскую действительность», но их реакции, их чувства и их действия неявно направлены на разрушение этой действительности. Одним словом, неаутентичные евреи — это люди, которых другие люди считают евреями, и которые, оказавшись в этой невыносимой ситуации, избрали бегство. Ситуации, возникающие в результате, различны и не встречаются все одновременно у одних и тех же людей; каждую из них можно описать как *дорогу бегства*. Антисемит сближает и соединяет эти различные, иногда несовместимые дороги бегства и таким способом изображает портрет чудовища, который выдает за портрет еврея как такового; в то же время, этот портрет изображает сознательные усилия бегства от мучительной ситуации в виде наследственных черт, запечатленных на самом теле израэлита и, следовательно, не поддающихся изменению. Если мы хотим добиться ясности, мы должны разделить притянутые друг к другу части и возвратить независимость «дорогам бегства», а не считать врожденным свойством то, что по своей сути является *действием*. Мы должны понять, что описания всех этих дорог могут иметь отношение только к *неаутентичному* еврею (термин «неаутентичный», разумеется, не несет в себе смысла морального осуждения) и что их необходимо дополнить описанием еврейской аутентичности. И наконец, мы должны проникнуться пониманием того, что, при всех обстоятельствах, путеводной нитью нам может служить только *ситуация*, в которой находится еврей. Если мы примем этот метод и будем строго его придерживаться, быть может нам удастся заменить грандиозный манихейский миф о еврее истиной, которая будет менее величественной, но более конкретной.

В чем заключается самая первая особенность антисемитской мифологии? Вот в чем: евреи, скажут нам, уж очень сложны, без конца занимаются самоанализом и мудрят. Их часто называют «чересчур умными», не задаваясь вопросом, как эта склонность к анализу и интроспекции совмещается с той страстью к наживе и с тем слепым карьеризмом, которые им в то же самое время приписывают. Мы, со своей стороны, готовы признать, что выбор бегства предопределяет для некоторой части евреев — как правило, интеллектуалов — довольно устойчивую позицию рефлектирующего созерцателя. Но нам надо еще раз отдать себе отчет в том, что эта созерцательность не унаследована, для еврея это тоже одна из дорог бегства,— и именно мы его преследуем.

Стекель и ряд других психоаналитиков говорят в этой связи о «комплексе иудея»; помимо того, многие евреи упоминают и комплекс неполноценности. Я не считаю неудобным употреблять это выражение, поскольку здесь подразумевается, что комплекс не приобретен извне, но что еврей *прививает себе этот комплекс*, выбрав неаутентичный способ проживания своей ситуации. В итоге, еврей позволяет антисемитам убедить себя и становится первой жертвой их пропаганды. Он соглашается, что *если еврей существует*, он должен иметь те черты, которые приписывает ему народное недоброжелательство, и, становясь мучеником в прямом смысле этого слова, старается *на себе самом* доказать, что «еврея» не существует. Его смятение часто приобретает специфическую форму — оно переходит в боязнь действовать и чувствовать по-еврейски. Медицине хорошо известны психастеники, мучимые страхом, что они убьют кого-нибудь, выбросятся из окна или произнесут неблагозвучное слово. С определенной мерой условности их можно сравнить с некоторыми евреями. Хотя тревоги еврея редко достигают степени патологии, но он позволяет отравить себя определенными представлениями, которые сложились о нем у других, и живет в страхе, что своими поступками подтвердит эти представления. Таким образом, мы, воспользовавшись снова термином, который недавно употребили, можем сказать, что его поведение постоянно внутренне переопределено. В самом деле, его поступки определяются не только теми мотивами, которые можно усмотреть в аналогичных поступках неевреев,— выгодой, страстью, альтруизмом и т. д.,— они еще продиктованы стремлением радикально отличаться от канонически «еврейских» поступков. Сколько евреев обдуманно добры, бескорыстны и даже расточительны *из-за того, что* евреев принято считать жадными. Сказанное, заметим, никоим образом не означает, что им при этом приходится бороться со «склонностью» к скупости. Нет никаких причин априори считать иудея более скупым, чем христианина. Скорее, это означает, что их великодушные порывы отравлены решением быть великодушными. Спонтанность и обдуманный выбор смешаны здесь нераздельно; здесь преследуется цель одновременно и достигнуть некоего результата во внешнем мире и, в то же время, доказать самому себе, доказать всем, что не существует такой «еврейской натуры». Поэтому-то многие неаутентичные евреи и играют роль *неевреев*. Многие из них рассказывали мне о своей занятной реакции на перемирие 1940 года. Известна выдающаяся роль, которую евреи играли в Сопротивлении: именно они составляли его главные силы до того, как в действие вступили коммунисты; в эти четыре года они проявили отвагу и решимость, поистине достойные преклонения. В то же время, некоторые из них долго колебались, прежде чем начать «сопротивляться»,— им казалось, что Сопротивление уж слишком отвечает интересам евреев, и поначалу это их останавливало: они хотели быть уверены, что борются в качестве *французов*, а не в качестве *евреев*. Подобная щепетильность наглядно показывает специфический характер их размышлений. Ситуация еврея сказывается во всем, и он не в состоянии просто принимать решения на основе конкретного и четкого анализа фактов. Одним словом, к характерной для него рефлектированности он приходит естественным путем. Неуверенный и щепетильный, еврей не может только действовать или только думать, но он еще *наблюдает* за собой действующим, за собой думающим. Следует, однако, заметить, что еврейская рефлектированность не есть производное от абстрактной любознательности или от стремления к нравственному преображению, а является, по существу, *практикой*. Интроспекция для еврея — средство понять в себе не человека, а именно *еврея*, и понять он хочет *для того, чтобы отрицать*. Цель его не в том, чтобы выявить у себя те или иные недостатки и бороться с ними, но в том, чтобы своим поведением доказать, что этих недостатков у него нет. В этом объяснение и специфического характера еврейской иронии, чаще всего обращенной на него самого и являющейся выражением постоянного стремления посмотреть на себя со стороны. Еврей знает, что на него смотрят, поэтому, забегая вперед, он старается взглянуть на себя глазами других. Такой объективизм по отношению к самому себе — это еще одна уловка неаутентичности: пока он наблюдает за собой «безучастным» взглядом постороннего, он и в самом деле ощущает себя *посторонним* самому себе: он — другой человек, он просто свидетель.

В то же время он прекрасно понимает, что эта отстраненность от себя будет недейственной, если ее не подтвердят другие. Вот откуда происходит эта весьма часто встречающаяся у евреев способность к усвоению. Еврей поглощает любые знания с жадностью, которую нельзя объяснить абстрактной любознательностью,— в чем его интерес? Он хочет быть «просто человеком» и ничем больше,— таким же человеком, как все прочие, и он надеется стать им, вникнув во все человеческие мысли и приобретя общечеловеческий взгляд на мир. Он развивает себя, чтобы разрушить в себе еврея, он хотел бы, чтобы к нему относился слегка измененный афоризм Теренция: Nil humani mihi alienum puto ergo homo sum *. В то же время, он старается затеряться в толпе христиан. Как мы видели, христиане, по обыкновению не стыдясь евреев, объявляют, что для них *не существует раса*, но единственно и только — *человек*, и если еврей очарован христианами, то причина не в их достоинствах, которых он не преувеличивает, а в том, что они — представители неноименованного, безрасового человечества. И когда он старается проникнуть в самые закрытые круги общества, им движут не безудержные амбиции, в которых его так часто упрекают. Или, точнее, эти амбиции являются выражением одного-единственного стремления: *добиться признания* его человеком. Если он хочет везде проскользнуть, то лишь потому, что он не может быть спокоен, пока существует среда, которая его выталкивает и, выталкивая, конституирует его как еврея в его собственных глазах. В принципе, это движение к ассимиляции прекрасно: еврей отстаивает свои права француза. К несчастью, безуспешность его попыток предопределена; он хочет, чтобы в нем видели «обыкновенного человека», но даже в тех кругах, куда ему удается проникнуть, его принимают как еврея: богатого и могущественного, с которым «просто надо» дружить, или «хорошего» (не такого, как другие), с которым дружат искренне *несмотря на* его расу. Все это для него не тайна, но если бы он

* Ничто человеческое мне не чуждо, следовательно, я человек *(лат.)*.

признался себе в том, что его принимают как еврея, его попытки потеряли бы всякий смысл, и он был бы глубоко разочарован. Поэтому он прибегает к самообману и скрывает от себя правду, которую в глубине души все-таки знает: он завоевал какое-то положение *как еврей*, он сохраняет его теми средствами, которыми располагает, то есть средствами *еврея*, но в каждом новом достижении он видит знак своего продвижения по пути ассимиляции. Само собой разумеется, что антисемитизм, возникающий почти мгновенно как реакция среды на проникновение в нее еврея, не позволит ему долго не замечать того, что ему так хотелось забыть. Однако приступы антисемитизма парадоксальным образом увеличивают достижения еврея, привлекая к нему новых людей и открывая перед ним новые возможности, потому что его амбиции — это, в сущности, поиски безопасности, точно так же, как его снобизм — если он есть — это стремление ассимилировать национальные ценности (картины, книги и т. д.). Так он проходит — быстро и с блеском — все социальные слои, но при этом остается чем-то вроде твердого ядрышка в принявшей его среде. Ассимиляция его столь же блистательна, сколь и эфемерна. Его в этом часто упрекают; так, по свидетельству Зигфрида, американцы усматривают причину своего антисемитизма в том, что иммигранты-евреи, с виду ассимилировавшиеся раньше всех, вновь проявляются как евреи во втором или третьем поколении. Само собой, интерпретируется это в том смысле, что еврей не хочет по-настоящему ассимилироваться, и значит, за его притворной податливостью прячется обдуманная, сознательная приверженность традициям своей расы. Но все как раз наоборот: только потому, что его никогда не принимают как *обыкновенного* человека, а всегда и везде — как *именно* еврея,— только поэтому еврей и неассимилируем.

Эта ситуация рождает новый парадокс: неаутентичный еврей, стремясь затеряться в толпе христиан, в то же время остается жестко привязанным к еврейской среде.

Куда бы ни проникал еврей, убегая от еврейской действительности, он чувствует, что его встречают как еврея и в каждое мгновение воспринимают только в этом качестве. Его жизнь среди христиан — далеко не отдых, она не дает ему той анонимности, которой он ищет, напротив, он находится в постоянном напряжении и в своем бегстве к человеку повсюду несет с собой образ, который его преследует. Вот это и рождает солидарность всех евреев: не поступки и не интересы, а ситуация. Сильней двухтысячелетних страданий их объединяет нынешняя враждебность христианского окружения. Им нет смысла утверждать, что лишь чистая случайность приводит их в одни и те же кварталы, дома, предприятия,— между ними есть сильная и сложная связь, которая заслуживает того, чтобы ее описать. В самом деле, еврей может употребить слово *«мы»* только разговаривая с евреем. И у всех (по крайней мере, неаутентичных) евреев появляется общий соблазн поверить «народному» мнению, что они «не такие люди, как другие»,— и общая же, слепая и отчаянная решимость бежать от этого соблазна. Но когда они встречаются друг с другом в семейственной, домашней обстановке, оказывается, что устранение наблюдающих не-евреев одновременно устраняет и еврейскую действительность. Само собой, тому христианину, которому случится попасть в такое общество, собравшиеся покажутся более чем когда-либо похожими на евреев — потому, что они раскрепощаются. Но это раскрепощение вовсе не означает, что они с наслаждением дают волю своей «еврейской натуре», как их в этом обвиняют,— наоборот, они о ней забывают. В самом деле, когда еврей находится в обществе евреев, он для них, а значит, и для самого себя — просто человек и ничего больше. Доказательством, если оно нужно, может служить то, что очень часто члены одной семьи не замечают характерных этнических черт у своих родных (характерными этническими чертами мы называем здесь наследственные биологические особенности, принятые нами в качестве бесспорно существующих). Я был знаком с одной дамой, еврейкой, сын которой в 1934 году вынужден был по каким-то делам ездить в нацистскую Германию. У сына была типичная внешность французского израэлита: горбатый нос, оттопыренные уши и т. д., но когда во время одной из таких поездок кто-то выразил тревогу за его судьбу, мать ответила: «о, я совершенно спокойна, он абсолютно не похож на еврея».

Однако, в силу самой диалектики еврейской неаутентичности, это строительство внутреннего убежища, эти попытки утвердить нечто имманентно еврейское, чтобы еврей перестал быть этническим символом и растворился в некой коллективной субъективности, а христианин перестал играть роль глазка,— все эти хитроумные способы *бегства* сводятся на нет универсальным и постоянным присутствием не-еврея. Даже в самом тесном своем кругу евреи могли бы сказать о нем то же, что Сен-Жон Перс сказал о солнце: «Его не представили, но оно — здесь, среди нас». Они знают, что даже естественное желание ходить друг к другу в гости в глазах христиан обличает в них евреев. И всякий раз, когда они появляются в обществе, их единоверческая солидарность метит их словно каленым железом. Еврей, встретивший другого еврея в собрании христиан, несколько напоминает француза, встретившего за границей соотечественника. Но француз любит показать всем окружающим, что он француз. Напротив, еврей, оказавшись единственным израэлитом в нееврейской компании, постарается *не чувствовать* себя евреем. Но если еще один еврей окажется там, он будет чувствовать себя в опасности *из-за другого*. И вот он, только что не замечавший характернейших этнических черт своего сына или племянника, уже следит за единоверцем глазами антисемита и со щемящим чувством обреченности замечает в нем объективные знаки их общего происхождения; он боится, что эти открытия сейчас сделают и христиане, и торопится предупредить их; потеряв терпение, он становится антисемитом по доверенности и за чужой счет. И каждая обнаруженная им еврейская черточка для него как удар кинжала, потому что ему кажется, что она обнаружена в нем самом, но, заданная объективно, недоступна и непоправима. Да и не важно, в самом деле, кто *провозглашает* еврейскую расу: после того, как она провозглашена, все попытки еврея отрицать ее существование утрачивают смысл. Известно, что враги евреев любят подтверждать свои мнения ссылкой на то, что «нет большего антисемита, чем сам еврей». На деле, антисемитизм еврея — заемный. В основном, он сводится к болезненно-навязчивому выискиванию у своих родных и близких недостатков, которые он изо всех сил старается отрицать. Стекель в уже цитированном нами исследовании приводит характерный отрывок из рассказа женщины на сеансе психоанализа: и воспитание детей, и вообще все в еврейской семье должно идти так, как говорит он (муж). Когда куда-нибудь идут, еще хуже: он следит за каждым ее шагом и все критикует, причем так, что выдержать это нет никакой возможности. В юности она была надменна, все восхищались ее уверенностью и изысканностью ее манер. Сейчас она живет в постоянном страхе совершить какой-нибудь промах, она боится осуждения мужа, которое читает в его глазах. *При малейшей оплошности он упрекает ее в том, что она ведет себя по-еврейски.*

Так и кажется, что присутствуешь при этой драме для двух действующих лиц: муж, критик, почти педант, постоянно о чем-то размышляющий и постоянно упрекающий жену за то, что она еврейка, потому что до смерти боится, что сам кому-то покажется евреем; и жена, раздавленная его безжалостным и враждебным взглядом, и чувствующая, что против воли увязла в своем «еврействе», и предчувствующая — даже не осознавая этого,— что каждый ее жест, каждая ее фраза выйдут у нее чуть-чуть фальшивыми и откроют всем ее происхождение. Ад для обоих! Но в антисемитизме еврея, выступающего в качестве объективного свидетеля и судьи, надо, кроме всего прочего, видеть и попытку отмежеваться от недостатков, числящихся за его «расой».

Точно так же, многим людям случается судить самих себя с трезвой и беспощадной суровостью, потому что эта суровость обеспечивает некое раздвоение, и, ощущая себя *судьями*, они уходят от положения виновных. Как бы то ни было, явное наличие в других тех черт «еврейской действительности», которые еврей отрицает в себе, способствует возникновению в сознании неаутентичного еврея логически необъяснимого мистического чувства связи с другими евреями. В сущности, это чувство есть признание некой *сопричастности:* евреи «соучаствуют» друг в друге, каждого из них всю жизнь неотступно преследуют все остальные, и эта мистическая сопричастность тем сильнее, чем упорнее старается неаутентичный еврей отрицать в себе еврея. В качестве доказательства я приведу здесь только один пример. Как известно, за рубежами нашего отечества довольно много проституток-француженок. Встретить француженку в публичном доме в Германии или в Аргентине французу всегда было не слишком приятно. Однако чувство сопричастности национальной действительности у него совсем другое: ведь Франция — *нация*, следовательно, французский патриот может считать, что он принадлежит некой коллективизированной действительности, проявляющей себя во всяких формах активности — экономических, культурных, военных...— и если некоторые второстепенные моменты оказываются неприятны, он может ими пренебречь. У еврея, встретившего еврейку при аналогичных обстоятельствах, реакция иная: он против воли видит в этой ситуации унижения проститутки символическую картину унижения еврейского народа. На эту тему я мог бы вспомнить много анекдотических историй, но приведу только одну, поскольку слышал ее от непосредственного участника событий. Некий еврей, зайдя в публичный дом, выбрал проститутку и поднялся с ней в номер. Проститутка призналась ему, что она еврейка. У него мгновенно пропала потенция, а затем возникло такое невыносимое чувство унижения, что оно вызвало сильнейшую рвоту. Это не было отвращение к сексуальному контакту с еврейкой (ведь у евреев как раз чаще встречаются несмешанные браки), это было, пожалуй, ощущение личного участия в унижении еврейской расы, которую олицетворяла эта проститутка, то есть участие в унижении самого себя: получалось, что это он проституирован и унижен,— *он* и весь еврейский народ.

Таким образом еврейское самосознание — пожизненный крест неаутентичного еврея, и он ничего не может с этим поделать. В то самое время, когда он всем своим поведением старается доказать, что у него нет приписываемых ему черт, он, как ему кажется, находит их у других и тогда обнаруживает, что как-то косвенно они передались и ему. Он ищет единоверцев и бежит от них; он доказывает, что он просто человек среди людей, такой же, как все остальные, и в то же время чувствует, что его компрометирует поведение первого попавшегося прохожего, если этот прохожий — еврей. Он становится антисемитом, чтобы разорвать все связи с еврейским сообществом, и в то же время находит его в глубине своего сердца, ибо сердечной болью отзываются в нем оскорбления, которые антисемиты наносят остальным евреям. И эти постоянные переходы от надменности к ощущению своей неполноценности, от добровольного и страстного отрицания особенностей своей расы к мистической и чувственной сопричастности еврейской действительности,— это как раз и есть характерная черта неаутентичного еврея. Такое мучительное и безвыходное положение может привести некоторых из них к мазохизму, потому что мазохизм выступает в качестве паллиатива и дает им своеобразную передышку, кратковременный отдых. Еврея неотвязно преследует мысль о том, что он, отвечая за себя как все прочие люди, свободно совершает те поступки, которые считает правильными, но в это же время враждебно настроенные по отношению к нему соотечественники всякий раз заявляют, что поступить так, как он, мог только еврей. И ему уже кажется, что он становится евреем в тот момент, когда делает попытку убежать от еврейской действительности. Ему кажется, что он ввязался в заведомо проигранную борьбу, в которой сам стал своим противником, и — в той мере, в какой он осознаёт свою ответственность за самого себя — он чувствует непосильную тяжесть ответственности перед другими евреями и христианами за то, что сделал себя евреем: это из-за него, хотя и вопреки его воле, еврейская действительность существует в мире. Но мазохизм — это желание, чтобы с тобой обращались как с объектом. Униженный, презираемый — или просто не замечаемый, мазохист рад, когда его отодвигают, когда им управляют, когда его используют как вещь. Он старается реализоваться в качестве неодушевленного предмета, отрекаясь тем самым от всякой личной ответственности. И некоторых евреев, уставших бороться с этим неуловимым, вновь и вновь отрицаемым, уничтожаемым и все время вновь появляющимся еврейством, привлекает такое полное самоотречение. Или уж лучше, в самом деле, заявить свою аутентичность и отстаивать свои права в качестве евреев. Но они не понимают, что проявление аутентичности — это восстание; они только хотят, чтобы все эти взгляды — и акты насилия, и проявления презрения — определили их в качестве евреев, подобно тому, как камню определено быть камнем, поскольку ему даны такие свойства и назначена такая судьба; и тогда они избавятся на краткий миг от этой заколдованной свободы, которая не дает им вырваться из их ситуации и которая, кажется, придумана с единственной целью — сделать их ответственными за все то, к чему они не хотят иметь ни малейшего отношения. Разумеется, не надо закрывать глаза на то, что этот мазохизм имеет и другие причины. В «Антигоне» Софокла есть такие великолепные и жестокие слова: «Для попавшей в несчастье ты слишком горда». Вековая близость к несчастью делает еврея, в отличие от Антигоны, негордым в беде. Это, можно сказать, одна из существенных его черт, но из этого отнюдь не следует вывод, который часто делают, что, якобы, еврей высокомерен, когда у него успехи, и кроток, когда у него провал,— дело совсем в другом. Им усвоен тот любопытный совет, который мудрая гречанка дала дочери Эдипа: он понял, что скромность, молчание, терпение подобают несчастью, потому что оно само — уже грех в глазах людей. Безусловно, эта мудрость может породить мазохизм, вкус к страданию, но существенно то, что при этом сохраняется желание устраниться от самого себя, чтобы получить, наконец, как вечное клеймо еврейскую натуру и судьбу, освобождающие от всякой ответственности и всякой борьбы. Таким образом, антисемитизм неаутентичного еврея и его мазохизм в некотором смысле представляют собой два предела его усилий: в одном случае, он доходит до отрицания своей расы, чтобы оказаться — при сугубо индивидуальном подходе — просто человеком без какихлибо дефектов, живущим среди других людей; во втором, он отказывается от своей человеческой свободы, чтобы уйти от греховной принадлежности к евреям и вернуться к покойному и пассивному существованию вещи.

Но антисемит добавляет к портрету новый штрих: еврей, говорит он нам,— абстрактный интеллектуал, рационалист в чистом виде, и мы отлично слышим, что в его устах слова «абстрактный», «рационалист», «интеллектуал» приобретают уничижительный оттенок. Ничего другого от него ожидать и не приходится, поскольку антисемит определяется конкретным и иррациональным владением богатствами всей Нации. Но если мы вспомним, что рационализм явился одним из основных инструментов освобождения людей, мы откажемся считать его чистой игрой абстракций, напротив, мы будем подчеркивать его созидательную мощь. Именно на рационализм уже два века — и не худших в истории — люди возлагают все свои надежды; он породил науки и их практические приложения; он был идеалом и страстью; он стремился соединить людей, открывая им те универсальные истины, которые могли бы послужить всеобщему примирению, и со свойственным ему наивным и симпатичным оптимизмом отважно путал Зло с ошибками. Ничего не поймет в еврейском рационализме тот, кто захочет увидеть в нем какую-то абстрактную склонность к спорам, не пожелав признать, что это не что иное как неизменная и юная любовь к людям.

Но в то же время, это и дорога бегства, я бы даже сказал,— королевская дорога бегства. В самом деле, мы уже видели, что одни израэлиты пытаются отрицать еврейскую ситуацию своим поведением и в своем сознании, а другие выбирают себе такую концепцию мира, в которой нет места даже самому понятию расы,— и все это, разумеется, лишь попытки спрятаться от *ситуации еврея.* Но если бы им удалось убедить себя и убедить других в том, что понятие «еврей» противоречиво, если бы им удалось развить в себе такое видение мира, которое позволило бы им не видеть еврейской действительности, как дальтоники не видят красного или зеленого,— разве тогда не смогли бы они с чистой совестью заявить, что они «просто люди среди людей»? Рационализм евреев есть страсть,— страсть к Всеобщему, и они выбрали ее для борьбы с индивидуалистическими концепциями, которые превращают их в особые существа. Разум — вот то, что лучше всего распределено в мире: он не принадлежит никому, и он принадлежит всем, и он для всех одинаков. Если существует Разум, то уже нет истины французской и истины немецкой, как нет истины негритянской или еврейской,— есть лишь единая Истина, и лучший — тот, кто ее открывает. Перед лицом всеобщих и вечных законов и сам человек становится всеобщим. И нет больше евреев и поляков, есть люди, живущие в Польше, и другие, объединенные записью в документах: «вероисповедание иудейское», но поскольку в основе их существования — всеобщее, они всегда могут прийти к согласию. Вспомните, как у Платоновского философа из диалога «Федон» пробуждение разума становится смертью тела, отмиранием особенностей характера, как бесплотный философ, из любви к абстрактной и всеобщей истине, теряет все свои индивидуальные черты и становится оком Всеобщего. Именно такой бесплотности и ищут некоторые израэлиты. Лучшее средство не ощущать себя евреем — обратиться к Разуму, потому что рассуждение равно действительно для всех и воспроизводимо всеми: не существует *еврейского способа* делать математические расчеты, поэтому, когда еврей-математик рассуждает, он утрачивает плоть и становится человеком всеобщим. И антисемит, проверяющий его рассуждения, сколько бы ни сопротивлялся, становится ему братом. Таким образом, рационализм, которому так страстно привержен еврей, это прежде всего упражнение в аскетизме и очищении, это побег во всеобщее; молодой еврей, ощутивший вкус блестящих и абстрактных умозаключений,— подобно младенцу, ощупывающему свое тело,— пробует и исследует это упоительное состояние человека всеобщего, и того согласия, той ассимиляции, в которых ему отказано в социальной сфере, он достигает в сфере высшей. Для него выбор рационализма — это выбор человеческой судьбы и человеческой природы. Поэтому заявление о том, что «еврей умнее христианина», в одно и то же время верно и неверно. Правильнее было бы сказать, что у еврея есть вкус к чисто интеллектуальному, что он любит заниматься такими объектами, как «всё» и «ничто», что заниматься ими ему не мешают ни те бесчисленные, в частности, рудиментарные, табу, на которые наталкивается сознание христианина, ни та характерная индивидуалистическая чувствительность, которую столь охотно культивируют в себе не-евреи. Надо еще добавить, что у еврея проявляется то, что я назвал бы страстным империализмом разума, поскольку ему важно не просто доказать, что он прав, его цель — убедить собеседников в абсолютной и безусловной ценности рационализма. Он ощущает себя миссионером всеобщего; бросая вызов всеобщности католической религии, от которой он отторгнут, он хочет утвердить «католицизм» разума в качестве средства постижения истины и средства духовной связи людей. Не случайно иудейский философ Леон Брунсвик ставил знак равенства между прогрессом разума и прогрессом *объединения* человечества.

Антисемиты упрекают еврея в том, что он «не созидает», что он носитель «духа разрушения». Это абсурдное обвинение (разве Спиноза, Пруст, Кафка, Дариус Мийо, Шагал, Эйнштейн, Бергсон — не евреи?) может показаться правдоподобным благодаря тому, что еврейский интеллект часто приобретает критическую направленность. Но и тут дело опять-таки не в предрасположенности мозговых клеток, а в выборе оружия. В самом деле, на евреев спущены иррациональные силы, рожденные традициями, расизмом, судьбой нации, инстинктом. При этом утверждается, что именно эти силы создали культуру, историю, памятники и практические ценности, которые в значительной

степени сохраняют в себе породившую их иррациональность и доступны только интуитивному познанию. Еврей защищается; отрицая заодно с иррациональностью и интуицию, он стремится рассеять эти темные силы, устранить этот магический вздор и вообще — все, что не может быть объяснено исходя из всеобщих принципов, все, что оставляет место для подозрений в особенности и исключительности. Он в принципе не доверяет тем тоталитарным образованиям, которые время от времени рождает христианский дух, и он *не соглашается*. Разумеется, можно в связи с этим говорить о разрушительных устремлениях, но то, что еврей хочет устранить, строго локализовано: это комплекс иррациональных ценностей, которые открываются лишь некоему непосредственному знанию — и то без гарантии. Еврей требует подтверждать ручательствами и гарантиями все положения, выдвигаемые его противниками, потому что он этим страхует самого себя. Он не доверяет интуиции, потому что она *не подвергает себя сомнению*, и следовательно, ведет к разъединению людей. Если он рассуждает и собеседует со своим противником, то делает это для того, чтобы с самого начала установить общее понимание, чтобы до всяких дебатов было достигнуто соглашение об исходных принципах. На основе такого предаарительного соглашения он предлагает создать некий гуманный строй, опирающийся на всеобщность человеческой природы. И вечный критицизм, в котором его обвиняют, скрыаает наивное стремление к разумному единению со своим противником и еще более наивную веру в то, что насилие совсем не обязательно в отношениях между людьми. В то время как антисемиты, фашисты и им подобные, взяв за исходную точку невыразимую в словах интуицию — такая она им и нужна — с необходимостью приходят к силе для навязывания тех представлений, которые они не могут внедрить иначе, неаутентичный еврей спешит растворить в критическом анализе все то, что способно разделить людей и подтолкнуть их к насилию,— ведь первой жертвой этого насилия будет он. Я отнюдь не забыл, что Спиноза, Гуссерль и Бергсон отводили место интуиции в своих построениях, но у двух первых она была *рациональной*, то есть основанной на разуме, критически обеспеченной и имевшей в качестве объектов всеобщие истины. Она ничем не напоминала паскалевскую «тонкость ума», а именно эта объявленная неоспоримой, зыбкая, предполагающая тысячу неощутимых ощущений тонкость кажется израэлиту самым худшим врагом. Что касается Бергсона, то его философия дает любопытный пример построения системы антиинтеллектуализма средствами чистого интеллекта,— причем самого спекулятивного и критического. Именно посредством рассуждений он ввел понятия чистой длительности и философской интуиции, но как раз эта интуиция, раскрывающая смысл длительности и жизни, обладает всеобщностью, поскольку каждый может ее применить, и напраалена на всеобщее, так как ее объекты называемы и представимы. Мне понятна та крайняя щепетильность, с которой Бергсон подходил к использованию языковых средств, но а конце концов, он пришел к заключению, что слова играют роль проводников, наводчяков и не слишком надежных гонцов. Да и кто потребовал бы от них большего? И взгляните, как непринужденно он ведет спор,— перечитайте первую главу эссе о непосредственных данных, или классическую критику психофизиологического параллелизма, или критику теории афазии Брока. В самом деле, ведь можно вслед за Пуанкаре сказать, что неевклидова геометрия сводится к выбору определений и рождается в тот момент, когда я решу назвать прямыми определенный тип кривых, например, окружности, которые можно провести на поверхности сферы,— точно так же можно сказать, что философин Бергсона — это рационализм, выбравший для себя особый язык. Так, он выбрал наименования «жизнь», «чистая длительность» и т. д. для того, что в прежних философских системах называлось «непрерывностью», а понимание этой непрерывности окрестил «интуицией». И поскольку такое понимание требует предварительных критических исследований, и поскольку оно охватывает всеобщее, а не какие-то невыразимые особенности, то все равно, называть ли его иррациональной интуицией или синтетической работой разума. Если мы — по праву — называем иррационалистами Кьеркегора и Новалиса, то система Бергсона — это, можно сказать, некрещенный рационализм. А лично я просто вижу в ней последнее ожесточение преследуемого: атаковать для самозащиты, овладеть иррационализмом противника как таковым, то есть обезвредить его и ассимилировать созидающим разумом. Действительно, иррационализм Сореля ведет прямой дорогой к насилию и, как следствие, к антисемитизму, в то же время иррационализм Бергсона абсолютно безвреден и единственно чему он может послужить — это всеобщему примирению.

Такая всеобщность, такой критический реализм, как прааило, характерны для демократа. В силу свойственного ему отвлеченного либерализма он утверждает, что и евреи, и китайцы, и негры должны обладать теми же прааами, что и остальные члены сообщества, но при этом он отстаиаает права вообще людей, а не конкретных и непоаторимых продуктов истории. Соответственно, и некоторые евреи привлекают к себе внимание демократа. Подвергающиеся всякого рода преследованиям, неассимилированные, нерастворившиеся в эгоистических и воинственных социумах, они мечтают о договорном сообществе, в котором само мышление примет форму договора, потому что будет диалогичным и потому что спорящие с самого начала заключат соглашение о принципах,— мечтают о сообществе, в котором такой «общественный договор» будет единственной коллективной связью. Евреи — самые кроткие люди на свете, страстные противники насилия. И эта упорная кротость, которую они сохранили в условиях жесточайших гонений, этот дух справедливости и разума, который они противопоставили как единственную свою защиту враждебному, жестокому и несправедливому обществу,— это, быть может, лучший их завет нам и это истинный знак их величия.

Но антисемит, паразитируя на свободных усилиях еврея жить и аладеть своей ситуацией, немедленно превращает их а неизменную характерологическую черту, доказывающую, что евреи неспособны ассимилироваться. Еврей уже не рационалист, а резонер, и его стремление к позитивным поискам всеобщности совсем не стремление, а просто доказательство того, что он не способен усвоить витальные расовые и национальные ценности. Дух свободной критики, в котором он черпает надежду на защиту от суеверий и мифов, становится сатанинским духом отрицания и тлетворным вирусом; вместо того, чтобы оценить этот инструмент самокритики, стихийно возникший в недрах современных обществ, в нем желают видеть постоянную угрозу национальным саязям и патриотическим ценностям. Вместо того, чтобы отрицать любовь определенной части евреев к деятельности в сфере Разума, нам кажется, правильнее и полезнее будет попытаться дать объяснение их рационализму.

Если проинтерпретировать отношение некоторых из них к своему собственному телу, то мы опять получим нечто вроде попытки к бегству. В самом деле, известно, что характерные этнические черты евреев — черты чисто физические. Антисемит пользуется этим фактом и превращает его в миф, объявляя, что может определить саоего врага с одного взгляда.

И реакция некоторых израэлитов — отрицание тела, которое их выдает. Естественно, интенсивность этого отрицания варьируется в зависимости от того, в какой мере их физический облик их демаскирует, но в любом случае, в их привязанности к собственному телу нет того самолюбования, того успокоительного чувства собственности, которое характерно для большинства «арийцев». Для этих последних их тело — плод французской земли, они владеют им через посредство той магической и глубинной сопричастности, которая уже обеспечила им пользование их землей и их культурой. И поскольку их тело — это их гордость, то они связывают с ним некое количестао неукоснительно иррациональных ценностей, предназначенных для выражения понятий *жизни* как таковой. Шелер справедливо назвал эти ценности витальными; действительно, они не имеют отношения ни к элементарным телесным нуждам, ни к духовным запросам — но лишь к определенному типу разаития, к определенному биологическому жанру, который, кажется, выражает интимное функционирование организма, гармонию и независимость органов, метаболизм клеток и, разумеется, «план жизни»,— этот слепой и коварный замысел, в котором и заключен самый смысл конечности жизни. Грациозность, благородство, пылкость — вот такие это ценности. Можно констатировать, что мы находим их даже у животных; действительно, ведь говорят же: грациозность кошки, благородство орла. Само собой, в понятие *расы* люди вводят огромное количество таких биологических ценностей. Разве сама раса не есть чистая витальная ценность? Разве не включено в ее глубинную структуру суждение о ценности — поскольку сама идея расы уже содержит в себе идею неравенства? А раз так, то христианин, ариец и ощущает свое тело по-особому: у него нет простого и ясного осознания физических изменений его органов; все те сигналы, призывы и извещения, которые ему посылает тело, доходят до него с некоторыми коэффициентами идеализации, они всегда в большей или меньшей степени — символы витальных ценностей. Он даже прикладывает определенные усилия, стараясь обеспечить себе такое восприятие самого себя, которое соответствоало бы его витальному идеалу. Небрежность наших щеголей, пылкость и лихость, бывшие в моде в иные эпохи, жестокость итальянских фашистов и грациозность женщин,— все это биологические формы поведения, имеющие целью продемонстрировать аристократизм тела. С этими ценностями естественно связаны антиценности; так, в опалу попадают *низкие функции* тела, а также некоторые типы поведения и некоторые общественные мнения, например, отношение к стыдливости. В самом деле, ведь стыдливость — это не просто стыд наготы, это еще и определенная привычка относиться к телу как к драгоценности, и отказ видеть в нем просто инструмент, и обычай прятать его в святилище из одежд как объект поклонения. Витальные же ценности неаутентичного еврея сорваны с него христианами, и если его тело напоминает о себе,

немедленно является концепция расы и отравляет эти интимные ощущения; что же касается благородства и грации, то эти ценности монополизировали арийцы, и этого он у них не получит. Если бы он принял такие ценности, он, возможно, был бы вынужден пересмотреть свои представления об этническом превосходстве — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во имя самой идеи *человека всеобщего* он отказывается прислушиваться к тем сугубо частным сигналам, которые посылает его организм, во имя *рациональности* он отвергает иррациональные ценности и приемлет только духовные,— и, поскольку всеобщее стало для него высшей ценностью, мыслит себе некое *всеобщее и рациональное тело*. У него нет к своему телу презрения аскета, для него это не «шкура» и не «туша», но он не воспринимает его и в качестве объекта поклонения; в той мере, в какой он не *забывает о нем*, он относится к нему как к инструменту, о котором заботится лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы точно приспособить его для своих целей. И как он отказывается принимать во внимание иррациональные ценности жизни, точно так же он не соглашается с установлением иерархии естественных функций. Это несогласие срабатывает дважды: во-первых, оно влечет за собой отрицание этнической специфичности израэлитов, а во-вторых, играет роль империалистического наступательного оружия, силой которого до́лжно привести христиан к убеждению в том, что их тела — не более чем инструменты. Это единственный источник того «отсутствия стыдливости», в котором антисемит не устает обвинять определенных евреев. При этом прежде всего выпячивается их рационалистическое отношение к телу. Но если тело — механизм, зачем налагать какие-то запреты на необходимые функции выделения? Зачем держать это тело под постоянным контролем? Им не надо наслаждаться, его не надо любить или стыдиться, надо только за ним ухаживать, чистить его и поддерживать в рабочем состоянии — как машину. Но помимо этого, под слоем такого рода бесстыдства, по крайней мере в отдельных случаях, несомненно можно различить и некоторое отчаяние: какой смысл прикрывать наготу тела, раздетого взглядами арийцев раз и навсегда? Разве быть среди них евреем не хуже, чем быть голым? И разумеется, подобный рационализм — удел отнюдь не только иудеев, многие христиане, врачи, например, усвоили такой же рационалистический взгляд на собственные тела или на тела своих детей, но тут речь идет о завоевании такой духовной свободы, которая в большинстве случаев аполне уживается со многими пережитками дологического сознания. Еврей, напротив, совсем не занимается критикой витальных ценностей: он сделал себя таким, что это не имеет для него смысла. Здесь нужно еще, в нику антисемиту, добавить, что этот телесный неуют может дать прямо противоположный результат и привести к крайней степени стыдливости. Мне много рассказывали об иудеях, которые стыдливостью далеко превосходили христиан и все время пытались куда-то спрятать свое тело, в то время как другие усиленно старались его одухотворить, иными словами — одеть, но не в витально ценное, поскольку в таковом отказано, а в духовно значимое. Для христианина мимика и жесты некоторых евреев зачастую утомительны из-за того, что они чересчур много *значат*. Они слишком ярко и слишком длительно выражают ум, доброту, покорность, горе. У нас стало модным высмеивать ту быструю и, если можно так сказать, говорливую жестикуляцию, которой еврей сопровождает свою речь. Такая пантомимическая живость, кстати, не столь распространена, как это изображают, но не это главное,— ее нужно отличать от определенных, внешне близких к ней проявлений, встречающихся, например, у марсельцев. Запальчивая, быстрая, неиссякаемая жестикуляция марсельца идет от внутреннего огня, от постоянной взвинченности, от желания выразить всем телом то, что он видит или чувствует. У еврея же это — прежде всего желание быть предельно значимым, ощущать свой организм как знак, выражающий идею, возвысить свое тело, которое ему в тягость, до уровня объектов или истин, самораскрываающих свой смысл. Прибавим, что описания столь деликатных материй требуют множества оговорок, и то, что мы сейчас излагали, относится не ко всем неаутентичным евреям — да и вся система поведения еврея может сильно варьироваться в зависимости от его образования, происхождения и, самое главное, от совокупности его взглядов.

Мне кажется, таким же образом можно объяснить и пресловутое иудейское «отсутствие такта». Разумеется, это обвинение содержит изрядную дозу недоброжелательства, однако, действительно, то, что называют тактом, у нас заносится в графу «тонкость ума», а к тонкости ума еврей относится подозрительно. Поступать тактично — значит оценивать ситуацию с одного взгляда, воспринимать ее синтетически и не столько анализировать, сколько чувствовать, но, в то же время, это значит и регулировать свое поведение, руководствуясь множеством неясных принципов, часть которых выводится из витальных ценностей, а другие порождены традициями вежливости и абсолютно иррациональными церемониями. Таким образом, поступок, совершенный «с тактом», предполагает, что совершивший его усвоил определенную концепцию мира, а именно: традиционалистскую, синтетическую и ритуальную, к которой *критерий разумности неприложим;* он предполагает также особое ощущение местного психологического климата и не может иметь никакой *критической* направленности; наконец, укажем еще, что такой поступок в полной мере обретает свой смысл только в строго регламентированном сообществе с установившимися идеалами, нравами и обычаями. Еврей имеет такое же природное чувство такта, как и любой другой человек — если говорить о такте как об изначальном понимании Другого, но он *не стремится* его иметь.

Согласие строить свое поведение на чувстве такта было бы равносильно признанию в том, что рассудок — неудовлетворительный посредник в межчеловеческом общении и что в тех случаях, когда речь идет о приспособлении к людям или управлении ими, традиции и темные интуитивные силы могут быть важнее рассудка; это было бы признанием некой казуистики, некой морали для частных случаев, следовательно — отказом от идеи всеобщности человеческой природы, требующей всеобщности и в подходах; пришлось бы признать, что отдельные ситуации несопоставимы — так же, как и отдельные люди, то есть пришлось бы перейти к индивидуализации. Но этим еврей подписал бы себе приговор, потому что славящийся своим тактом антисемит тут же объявил бы его «частным случаем» и исключил из национального сообщества. И вот у еврея обнаруживается явная склонность верить, что самые тяжелые проблемы поддаются разумному решению; он *не видит* иррационального, магического, конкретного, частного, не различает нюансов, *не верит* в неповторимые чувства. В силу естественной защитной реакции этот человек, вежащий мнением о нем других людей, пытается отрицать ценность мнений; справедливые суждения о вещах он склонен переносить на людей; он приближается к аналитическому рационализму инженера и рабочего, но не потому, что его формирует или притягивает мир вещей, а потому, что отталкивает мир людей. И он выстраивает аналитическую психологию, которая удобно заменяет синтетические структуры сознания игрой интересов, соединением желаний и алгебраической суммой наклонностей. Так искусство доминировать, привлекать и убеждать становится трезвым расчетом, впрочем, в интерпретациях поведения людей с помощью всеобщих понятий, само собой разумеется, есть риск ухода в область абстракций.

И действительно, именно наличие вкуса к абстракциям позволяет понять особое отношение еврея к деньгам. Говорят, еврей любит деньги. Однако коллективное сознание, охотно изображающее еврея жадным до наживы, редко совмещает его с другим популярным фольклорным образом — Скупого; более того, расточительство еврея — один из излюбленных мотивов антисемитских проклятий. По правде говоря, если еврей и любит деньги, то не из-за того, что ему как-то по-особому нравятся медные или золотые монеты или ассигнации,— деньги для него часто принимают абстрактную форму акций, чеков или банковских счетов. Следовательно, его привлекает не чувственная реальность, а именно ее абстрактная форма. На деле же речь идет о покупательной способности. Он предпочитает эту форму собственности всем остальным только потому, что она носит всеобщий характер. В самом деле, приобретение путем покупки не зависит от расы покупателя и не подвержено влиянию идиосинкразий; *цена* объекта предполагает *произвольного* покупателя, определяемого только тем, что он владеет суммой, обозначенной на этикетке. И как только эта сумма внесена, покупатель становится законным владельцем объекта. Таким образом, собственность купленная — это абстрактная и всеобщая форма собственности, противостоящая особому, иррациональному присвоению через сопричастность. Образуется порочный круг: чем богаче будет еврей, тем настойчивее антисемит-традиционалист будет утверждать, что истинную собственность дает не законное приобретение, а некое приспособление тела и духа к объекту владения (мы видели, что таким способом бедняга возвращает себе отечественную почву и отечественное духовное имущество). Антисемитская литература кишит обращенными к евреям гордыми фразами благородных разорившихся старцев и добродетельных сирот, основной смысл которых в том, что честь, любовь, добродетель, вкус и т. д.— «не купишь». Но чем больше антисемиты настаивают на таких видах присвоения, которые должны исключить из сообщества еврея, тем больше еврей будет стремиться утвердить в качестве единственного вида собственности собственность законную, приобретенную покупкой. В противовес тому магическому обладанию, в котором ему отказано, и с помощью которого у него хотят украсть все, включая то, что он купил, он стремится к деньгам как к законному покупательному средству всеобщего и анонимного человека, ведь таким он и хочет быть. Настаивая на власти денег, он пытается, с одной стороны, защитить свои права потребителя в сообществе, которое их оспаривает, а с другой — разумно изменить связь владельца с объектом владения, чтобы ввести собственность в рамки некой рациональной концепции мира. В самом деле, ком-

меркантильный рациональный акт покупки узаконивает собственность, которая определяется просто как право использования. В то же время *ценность* приобретенного объекта предстает уже не в виде некой мистической *маны* *, которой владеют лишь посвященные, а отождествляется с ценой, которая распубликована и непосредственно доступна всякому. Теперь ясно, что́ скрывается за стремлением еврея к деньгам: если ценность определяется деньгами, то она всеобща и рациональна, следовательно, не имеет каких-то смутных социальных источников и доступна всем, а значит, еврей не может быть исключен из общества и интегрируется в него в качестве анонимного покупателя и потребителя. И на красивые фразы антисемита «деньги не все могут» и «есть вещи, которых не купишь» еврей иногда отвечает утверждением всемогущества денег: «неподкупная совесть сто́ит дороже». И дело здесь не в цинизме или низости,— это просто контратака. Еврей хочет доказать антисемиту, что иррациональные ценности — только видимость, и что, вообще говоря, всякий хотел бы обратить их в наличные. И если антисемит не бессребренник, доказательство получено: значит, в глубине души он тоже предпочитает законное приобретение за деньги мистическому (через сопричастность). Одновременно еврей становится человеком анонимным и всеобщим, определяемым только своей покупательной способностью. Таким образом, сразу объясняются и так называемая «жадность к наживе», и реальная щедрость еврея. Его «любовь к деньгам» — следствие обдуманного решения считать имеющими ценность только рациональные, всеобщие и абстрактные отношения между людьми и вещами; еврей потому утилитарист, что общественное мнение отказывает ему во всех видах наслаждения объектами кроме одного — использования. Кроме того, он хочет с помощью денег приобрести те права, в которых ему отказано как частному лицу. Его не шокирует, когда его любят за деньги: уважение и лесть, которые приносит богатство, адресованы анонимному лицу, обладающему *такой* покупательной способностью, а ведь именно этой анонимности он и ищет; ситуация вполне парадоксальна: он хочет быть богатым, *чтобы на него не обращали внимания.*

Эти замечания помогут нам теперь обрисовать в основных чертах еврейскую «чувствительность». Можно предполагать, что она несет глубокий отпечаток выбора, сделанного евреем в отношении самого себя и в отношении смысла своей ситуации. Но мы не ставим задачи нарисовать портрет израэлита, поэтому ограничимся упоминанием о его долготерпении и вечном ожидании преследований, этом предчувствии катастрофы, которое он в счастливые годы старается заглушить в себе, но едва лишь небо начинают затягивать тучи, оно пророческой *аурой* наплывает вновь; мы отметим особую природу его гуманизма, эту волю к всеобщему братству, спорящую с самым упрямым индивидуализмом и с тем странным смешанным чувством любви, презрения, восхищения и недоверия, которое он испытывает к этим людям, не желающим его знать. Не думайте, что достаточно направиться к нему с распростертыми объятиями, и его доверие будет завоевано; он научился распознавать антисемитизм в самых торжественных декларациях либерализма. Он так же не доверяет христианам, как рабочие — новым буржуа, которые «выходят к народу». Психология утилитариста заставляет его подозревать в выражениях симпатии, которые ему кое-кто расточает, скрытый интерес, расчет, показную терпимость. И он в общем-то редко ошибается. Но несмотря ни на что, он страстно жаждет этой симпатии, ему лестны эти знаки уважения, которым он не доверяет, он желал бы оказаться там, вне ограды, вместе с этими людьми, среди них. Он лелеет несбыточную мечту вдруг силой явленной любви — и предъявленных доказательств доброй воли излечиться от своей всеохватной подозрительности. Стоило бы описать этот биполярный мир, эту разорванную душу, в которой каждое чувство расщепляется и зависит от того, кто его заронил, иудей или христианин. Любовь еврея к еврейке не та же, что его любовь к «арийке»; еврейская чувствительность глубоко рассечена, но это скрыто под мантией всеобщего гуманизма. Надо было бы отметить, наконец, безоружную свежесть и недисциплинированную спонтанность чувств еврея: всецело поглощенный рационализацией мира, неаутентичный израэлит, несомненно, может *проанализировать* свои страсти, но не может их дисциплинировать; он способен стать Прустом — но не Барресом. Дело в том, что дисциплина чувств и самодисциплина предполагают глубокий традиционализм, склонность к частному и иррациональному, применение эмпирических методов, спокойное пользование заслуженными привилегиями,— это принципы аристократического способа чувствования. Соответственно понимается и христианский долг: позаботиться о себе. И аристократически чувствующие заботятся о себе как о декоративных растениях или как о тех бочках отборного вина, которые отправляют за море, вплоть до Индии, чтобы затем снова возвратить их домой,— морской

* *Мана* — в верованиях народов Полинезии сверхъестественная сила, присущая отдельным людям, животным, предметам и духам.

воздух, проникнув в бочки, придает вину неповторимый привкус. Забота о себе вся пронизана магией и сопричастностью, но когда внимание постоянно обращено на себя, это в конце концов приносит и коекакие плоды. Еврей, бегущий от себя, видит в психологических процессах скорее механическое функционирование, чем органическую жизнь; разумеется, он участвует в игре, поскольку ставит на рефлексию, но не он придумал эту игру, и даже нет уверенности, что он правильно уловил ее истинный смысл: рефлексия — не лучший инструмент психологического исследования. Таким образом, этого рационалиста все время переполняют подвижные, зыбкие массы эмоций и страстей. Он соединяет первобытный способ чувствования с изощренностью интеллектуальной культуры. В проявлениях его дружбы есть такая искренность, свежесть и теплота, какие редко встретишь у христиан, опутанных традициями и церемониями. Именно это, кстати, делает еврея таким беззащитным в страдании, и именно поэтому страдания его так невыносимо горьки. Но настаивать на этом не входит в наши планы; мы указали те следствия, которые может иметь неаутентичность еврея, этого нам достаточно. В заключение, попытаемся дать в самых общих чертах описание того, что называют еврейским *беспокойством.* Ибо евреи часто беспокойны. Собственно, у израэлита никогда нет уверенности в отношении его работы и имущества, он даже не может поручиться, что завтра он будет в той же стране, в которой живет сегодня; его положение, его свободы — вплоть до права на жизнь — могут быть поставлены под сомнение в любую минуту. Кроме того, как мы видели, его преследует тот неуловимый и унизительный образ, в котором его видит враждебная толпа. Его история — это история двадцати веков скитаний, и всякую минуту он должен быть готов снова взять свой посох. Человек, которому не по себе даже в собственной коже, непримиримо враждующий со своим телом, преследующий несбыточную мечту ассимилироваться, ускользающую при попытках приблизиться к ней, он никогда не ощущает самодовольной безопасности «арийца», который прочно утвердился на своей территории и так уверен в своих правах собственности, что может даже забыть о том, что он собственник, и считать *природной* связь, соединяющую его со страной. Но не следует думать, что беспокойство еврея — метафизическое. Оно совсем не похоже на ту тревогу, которую рождает в нас раздумье об условиях человеческого существования. Я бы даже сказал, что метафизическое беспокойство — это роскошь, которую еврей, равно как и рабочий, сегодня не может себе позволить. Чтобы задаваться вопросами о месте человека в мире и о его предназначении, надо быть уверенным в своих правах, прочно укорениться и избавиться от всех тех страхов, которые повседневно одолевают угнетенные классы и меньшинства. Одним словом, метафизика — вотчина арийских господствующих классов. (Не надо усматривать в этих замечаниях попытки дискредитировать метафизику: она снова станет главной заботой человека, когда люди добьются освобождения.) Природа беспокойства еврея не метафизическая, а социальная, и тревожит его, как правило, не место человека в мире, а его место в обществе; он не чувствует заброшенности человека посреди безмолвной Вселенной, потому что еще не вырвался из общества в мир. А заброшенность он чувствует, находясь среди людей, и проблема расизма заслоняет ему вселенский горизонт. Это не тот случай, когда хочется, чтобы беспокойство продлилось; он не получает от него радости, он хочет только успокоения. Как мне говорили, во Франции нет евреев-сюрреалистов — это понятно: сюрреализм, в своей манере, ставит вопрос о человеческом предназначении. Их сеансы разрушительства и шумиха, поднимаемая вокруг них,— все это сытые игры юных буржуа, непринужденно чувствующих себя в стране-победительнице, которая принадлежит им. И разрушительство, и рассуждения об условиях человеческого существования чужды еврею; он — *человек общественный* по преимуществу, потому что все его мучения — от общества. Именно общество, а не божественное постановление сделало его евреем, именно оно породило еврейский вопрос, ограничив перспективу его жизненного пространства, и поскольку он принужден совершать выбор своего «я» только в этом ограниченном пространстве, то и сам выбор образа его существования социален и предопределен обществом. Социальны его конструктивные планы интегрироваться в национальное сообщество, социальны его усилия осознать себя, то есть определить свое место среди людей, социальны его радости и беды,— но все это потому, что социально проклятие, тяготеющее над ним. И поэтому тем, кто захочет его упрекнуть в метафизической неаутентичности, кто захочет указать, что его постоянное беспокойство приводит к радикальному позитивизму, следует иметь в виду, что эти упреки обращаются против тех, кто их высказывает: еврей социален потому, что таким его сделали антисемиты.

Вот такой это человек,— человек гонимый, приговоренный выбирать себя, решая в фальшивой ситуации фальшивые вопросы, утративший из-за угроз враждебного к нему общества метафизические интересы и загнанный в рационализм отчаяния. Вся его жизнь — одно сплошное

бегство от других и от самого себя. Его отчуждение так глубоко, что ему становится чуждым даже собственное тело. Его эмоциональная жизнь раздвоена и сведена к погоне за несбыточной мечтой о всеобщем братстве — в мире, которому этот мечтатель не нужен.

Кто виноват?

Это же в наших глазах он видит отражение того неприемлемого для него образа, который он хочет спрятать от самого себя. Это наше слово и дело — *все* наши слова и *все* наши дела,— и наш антисемитизм, и точно так же наш снисходительный либерализм — проникли ядом в его плоть и кровь; это мы заставили его *выбрать себя евреем*, неважно, убегающим или отстаивающим себя; это мы поставили его перед дилеммой еврейской аутентичности и неаутентичности. Мы создали этот человеческий род, который может быть определен только как искусственный продукт капитализма (или феодализма), произведенный с единственной целью — быть козлом отпущения в сообществе, все еще находящемся на дологической ступени развития. Этот человеческий род, *говорящий о человеке* больше, чем все остальные, потому что возник в результате вторичных реакций в недрах человечества, этот обездоленный, лишенный корней, без суда приговоренный к неаутентичности или пыткам человеческий вид — квинтэссенция человеческого. В этих обстоятельствах нет среди нас ни одного, кто не был бы полностью виновным, кто не был бы преступником: кровь евреев, пролитая нацистами, на руках каждого из нас.

Как бы там ни было, говорят мне, а еврей свободен: он может выбрать аутентичность. Это верно, но прежде всего нам надо понять, что *нас это не касается;* заключенный тоже свободен выбрать побег, если считать само собой разумеющимся, что он может остаться на проволоке,— разве от этого вина тюремщика меньше? Еврейская аутентичность заключается в выборе себя *в качестве еврея*, то есть в принятии своего положения еврея. Аутентичный еврей отказывается от мифа о всеобщем человеке, он себя понимает и в перспективе истории видит себя существом историческим и проклятым; он уже не убегает от себя и не стыдится своих сородичей. Он понял, что общество дурно, наивный монизм неаутентичного еврея он заменил социальным плюрализмом; он знает, что он *отделён*, что он неприкасаемый, исключенный, изгой — и вот *в таком качестве* он себя отстаивает. Одновременно он отказывается от всякого рационалистического оптимизма. Он видит, что во имя иррациональных ценностей мир разделен иррациональными границами; принимая эти деления — во всяком случае в том, что касается его — и объявляя себя евреем, он признаёт эти ценности и эти границы, поэтому в собратья и сотоварищи он выбирает тоже евреев. Он ставит на человеческое величие, потому что соглашается жить в таких условиях, в которых жить, строго говоря, невозможно, и потому, что черпает гордость в своем унижении. В тот момент, когда он перестает быть пассивным, он отнимает у антисемитизма всю его силу и всю вирулентность потому, что, в отличие от неаутентичного еврея, который бежит от еврейской действительности и которого евреем насильно делает антисемит, аутентичный *делает себя евреем* сам, «из собственного материала», вопреки всем. Он принимает все, вплоть до мученичества, и обезоруженному антисемиту остается только лаять ему вслед: укусить уже не получается. Одновременно, аутентичный еврей, как и вообще всякий аутентичный человек, ускользает от описания. Те общие черты, которые мы обнаружили у неаутентичных евреев, были следствием общей для них неаутентичности; ничего похожего у аутентичного еврея мы не обнаружим: он таков, каким он себя сделал,— и это все, что можно о нем сказать. В своем добровольном изгнании он снова обретает в себе человека,— полноценного человека со всеми теми метафизическими горизонтами, какие предполагает человеческое состояние.

Тем не менее, вы, добрые души, не сможете успокоить себя, говоря: «Ну вот, поскольку еврей свободен, то пусть он тогда будет аутентичным, и у нас больше не будет болеть голова». Выбор аутентичности не решает еврейского вопроса ни в социальном плане, ни даже в индивидуальном, хотя, несомненно, аутентичных евреев сегодня намного больше, чем можно было бы предположить. В немалой степени их прозрению способствовали страдания, выпавшие на их долю в последние годы; мне даже кажется, что аутентичных евреев может быть больше, чем аутентичных христиан. Но сделанный ими выбор самих себя отнюдь не облегчает им жизнь, совсем напротив. Вот пример: один «аутентичный» французский еврей, участвовавший в боях 1940 года, возглавлял во время оккупации выходивший в Лондоне французский пропагандистский журнал. Писал он под псевдонимом, опасаясь за жену-«арийку», оставшуюся во Франции. То же самое делали многие другие, эмигрировавшие из Франции, и когда речь шла о них, это считалось правильным. Но когда доходили до него, ему в таком праве отказывали, говоря: «Ага, еще один жид, скрывающий свое происхождение». Статьи для публикации он отбирал, руководствуясь исключительно их ценностью. Если случался большой процент статей евреев, читатели ухмылялись и писали ему: «Что, вся семейка снова вместе?» А когда он не принимал к печати статью еврея, говорили, что он «насаждает антисемитизм». «Ну и что», скажут мне, «он же аутентичный, не должен был обращать внимания». Но это легче сказать, чем сделать: он не мог не обращать внимания как раз потому, что *его деятельность состояла в пропаганде*,— он же зависел от мнений. «Очень хорошо, значит, такой род деятельности не для евреев,— он должен был уйти». Ну, вот мы и вернулись к началу: вы соглашаетесь на аутентичность — когда она ведет прямиком в гетто. И это не кто-то другой, это вы отказываетесь искать решение вопроса. К тому же положение в обществе не стало лучше, и мы создали такие условия, которые привели к углублению раскола в еврейской среде. В самом деле, выбор аутентичности может привести к различным, взаимоисключающим политическим решениям. Еврей может выбрать аутентичность, отстаивая свое место во французском сообществе,— и именно место еврея, с его правами и муками, а главной его задачей может стать доказательство того, что лучший для него способ быть французом — это утвердить себя в качестве *французского еврея*. Но с другой стороны, он может, следуя своему выбору, начать отстаивать права еврейской нации на свою территорию и независимость *; он может прийти к убеждению, что еврейская аутентичность предполагает поддержку со стороны общины израэлитов. Возможно ли представить себе, чтобы эти взаимоисключающие решения могли сочетаться и дополнять друг друга — как два проявления еврейской действительности? Не так уж невозможно, но для этого не должно быть той постоянной слежки за евреями, когда они на каждом шагу рискуют дать в руки своим противникам оружие против себя. Если бы мы не создали для еврея *его ситуации*, то речь бы шла просто о возможности — причем всегда открытой — выбора между Иерусалимом и Францией; подавляющее большинство французских израэлитов выбрало бы Францию, а небольшая часть поехала бы увеличивать еврейское население Палестины, и это отнюдь не означало бы, что еврей, интегрированный во французское сообщество, сохраняет связь с Тель-Авивом, нет, самое большее, Палестина как символ встала бы для него в ряд неких идеальных ценностей, и независимое еврейское государство было бы для целостности французского общества не более опасно, чем, например, ультрамонтанский клир, с которым мы прекрасно уживаемся. Однако нынешнее состояние умов превращает это абсолютно законное право выбора в источник конфликта между израэлитами. С точки зрения антисемитов, конституирование еврейской нации является доказательством того, что еврей во французском сообществе неуместен. Раньше ему ставили в вину его расу, теперь не признают в нем соотечественника: нечего ему у нас делать, пусть убирается в свой Иерусалим. Так что аутентичность, приводящая к сионизму, противопоказана еврею, который хочет оставаться в своем отечестве, ибо она снабжает аргументами антисемитов. Французский еврей злится на сиониста, намеренного еще больше осложнить и так уже достаточно деликатную ситуацию, а сионист, в свою очередь, злится на французского еврея, которого *априори* обвиняет в неаутентичности. Таким образом, выбор аутентичности представляется *моральным* самоопределением, приносящим еврею уверенность в этическом плане, но этот выбор никак не может служить решением в плане социальном и политическом: ситуация еврея сохраняется и, что бы он ни делал, все по-прежнему обращается против него.

4

Изложенные нами соображения, разумеется, не претендуют на то, чтобы дать рецепт решения еврейского вопроса. Но не исключено, что на их основе можно будет по крайней мере уточнить те условия, которые очертят контуры этого решения. В самом деле, мы убедились в том, что вопреки широко распространенному мнению, не черты еврейского характера рождают антисемитизм, а напротив, именно антисемитизм создает еврея. Таким образом, первопричина явления — антисемитизм как регрессивное социальное образование, воспроизводящее мировоззрение дологической стадии развития.

Ну, хорошо,— что делать?

Прежде всего заметим, что решение всякого вопроса включает в себя определение цели, которой желательно достичь, и средств ее достижения. (Впрочем, многие начинают дискуссии о средствах еще до того, как уяснят себе цель).

Так чего же на самом деле можно желать? Ассимиляции? Но это несбыточно, ведь, как мы установили, истинный противник ассимиляции не еврей, а антисемит. С момента своей эмансипации, то есть в течение примерно полутораста лет, еврей пытается стать полноправным членом общества, но общество его отталкивает. Следовательно, не имеет смысла воздействовать на него, чтобы он ускорил интеграцию, которую ему не дают начать: до тех пор, пока существует антисемитизм, ассимиляция не может быть реализована. Есть предложения применить кардинальные средства; даже некоторые евреи сами требуют перекрестить всех

* Сартр писал это в 1944 году.

израэлитов и обязать их всех записаться Дюранами и Дюпонами. Но одной этой меры недостаточно, ее пришлось бы дополнять политикой смешанных браков и суровыми запретами на совершение религиозных обрядов (в частности, обрезания). Скажу прямо, такие меры мне кажутся негуманными. Да, возможно, что Наполеон собирался их осуществить, но Наполеон как раз и строил свои планы на принесении личности в жертву сообществу. Ни одна демократия не может пойти на проведение интеграции евреев ценой такого принуждения. Да и вообще, подобную процедуру могут приветствовать только неаутентичные евреи в период разгула антисемитизма, ведь она направлена не на что-нибудь, а на ликвидацию еврейской расы, она представляет собой предельное выражение той тенденции, которую мы уже отмечали у демократа,— просто-напросто отменить еврея в пользу *человека*. Но существуют евреи, протестанты, католики, существуют французы, англичане, немцы, белые, черные, желтые — а *человек вообще* не существует. То есть речь идет об уничтожении сообщества духовного, основанного на обычаях и привязанностях, в пользу сообщества национального. Большинство сознательных евреев отвергают ассимиляцию, если она должна произойти в такой форме. Да, они мечтают влиться в нацию, но *в качестве евреев*,— кто может их за это упрекнуть? Их вынудили осознать себя евреями и довели до понимания роли солидарности,— что же удивляться, что они теперь отвергают меры, направленные на уничтожение рода израэлитов? Убеждать, что они образуют нацию в нации, не сто́ит — напрасный труд. Мы попытались показать, что еврейское сообщество не является ни национальным, ни интернациональным, ни религиозным, ни этническим, ни политическим,— это сообщество квазиисторическое. Еврея создает его конкретная ситуация, а объединяет с другими евреями идентичность ситуаций. Это квазиисторическое образование не следует считать каким-то инородным телом в общественном организме, как раз наоборот, оно — часть организма. Если церковь во времена своего всемогущества терпела его существование, то лишь потому, что считала выполняемые им экономические функции необходимыми. Сегодня экономические функции выполняют все, но это не дает оснований отрицать тот вклад, который еврей вносит в духовный облик и специфический характер французской нации, способствуя поддержанию в ней равновесия. Мы объективно и, быть может, сурово обрисовали характерные черты неаутентичных евреев; среди них достаточно тех, кто выступает против ассимиляции *как таковой*. В то же время, их рационализм, их критический ум, их мечты о правовом обществе и всеобщем братстве, их гуманизм — делают их своеобразной закваской, необходимой обществу. То, что мы здесь предлагаем, это конкретный либерализм; вот его основа: каждый, кто своим трудом вносит вклад в процветание страны, обладает всеми правами гражданина этой страны. И дает ему эти права не какая-то его особая — сомнительная и абстрактная — «человеческая природа», а его активное участие в жизни общества. А это означает, что евреи, точно так же, как арабы или негры, будучи связаны с каким-либо национальным предприятием, имеют и соответствующие права на это предприятие: они — граждане. Но права эти они имеют в качестве конкретных личностей, то есть *оставаясь* евреями, неграми или арабами. В обществах, где женщина имеет право голоса, от нее не требуют изменять свой пол, подходя к урне: голос женщины весит ровно столько же, сколько голос мужчины, но голосует женщина именно как женщина — со своим женским характером, своими женскими заботами и женскими страстями. Мы должны признать законные права еврея,— и права более туманные, ни в каком кодексе не записанные, но столь же насущные; мы должны признать его равноправие не в качестве потенциального христианина, а в его собственном качестве французского еврея; мы *должны* принять его таким, какой он есть, с его характером, обычаями, вкусами, верой — если он верит, с его именем и физическим обликом. И если он будет принят нами безоговорочно, то это прежде всего облегчит еврею выбор аутентичности, а затем уже сам ход истории постепенно сделает возможной и ненасильственной ту интеграцию, к которой его хотели принудить.

Но конкретный либерализм, который мы только что определили, это — цель, и если мы не определим средств его достижения, есть очень большой риск, что он останется лишь идеалом. Как мы показали, воздействовать на еврея смысла не имеет; еврейский вопрос порожден антисемитизмом, следовательно, для его решения нужно подавить этот антисемитизм. То есть вопрос формулируется так: как воздействовать на антисемитизм? Не следует пренебрегать традиционными средствами, в частности, пропагандистскими и воспитательными; надо стремиться к тому, чтобы дети получали в школе такое образование, которое поможет им избегать ошибок, продиктованных страстями. Правда, есть основания опасаться, что результаты будут получены сугубо частные. Но не меньше оснований без каких-либо опасений запретить постоянно действующим законом высказывания и поступки, имеющие целью опорочить какую-либо категорию граждан страны.

Мы не питаем иллюзий в отношении эффективности этих мер; законы никогда не стесняли и никогда не стеснят антисемита с его сознанием принадлежности к мистическому обществу, на которое не распространяются законы. Ведь сколько ни издавай декретов, все они будут рождены правовой Францией, а антисемит претендует на то, что он представляет истинную Францию.

Вспомним, что антисемитизм — это примитивная манихеистская концепция мира, в которой ненависть к еврею заняла место главного объяснительного мифа. Мы видели, что речь тут идет не об изолированном мнении, а о глобальном выборе ситуационным человеком самого себя и своего взгляда на мир. Антисемитизм выражает определенный, примитивно-мистический смысл недвижимой собственности. Если мы хотим сделать выбор антисемитизма невозможным, мы не обойдемся пропагандой, образованием и юридическими запретами: они адресуются к *свободе* антисемита. А поскольку он, как и всякий человек, есть свобода в ситуации, то нам надо кардинально изменить его ситуацию; в самом деле, ведь достаточно изменить перспективы выбора — и изменится сам выбор; при этом свобода никак не ограничивается, но свободное решение принимается на другой основе и связывается с другими структурами. Политик никогда не должен воздействовать на свободу граждан, само его положение запрещает какие-либо меры такого рода, кроме «обратных», то есть предотвращающих ограничения свободы,— воздействовать можно только на ситуации. Мы констатировали, что антисемитизм — это страстное усилие создать национальный блок *против* разделения общества на классы; он стремится устранить групповой антагонизм, накалив общественные страсти до такой температуры, которая расплавит все барьеры. Но, столкнувшись с невозможностью преодолеть это разделение, не затронув его экономические и социальные причины, антисемитизм старается объединить все барьеры в один; различия между богатыми и бедными, между работающими и владеющими, между властью законной и властью невидимой, между живущими в городах и живущими в деревнях — и все остальные различия он сводит к одному: еврей — не еврей. Это значит, что антисемитизм есть мифическое и буржуазное представление классовой борьбы, и что он не мог бы существовать в бесклассовом обществе. Он провозглашает *разделение* людей, их изоляцию в недрах сообщества, столкновение интересов, измельчание страстей; он может существовать только в сообществах, где сильно структурированные «плюралистические» группы связаны достаточно низкой солидарностью; антисемитизм — это феномен социального плюрализма. В обществе, где все члены солидарны, потому что все участвуют в общем деле, для антисемитизма не нашлось бы места. И наконец, атисемитизм провозглашает некую, основанную на мистической сопричастности, связь человека со своим «добром»,— связь, вытекающую из нынешних отношений собственности. В бесклассовом обществе, основанном на коллективной собственности на средства производства, когда человек избавится от призраков прошлого и начнет, наконец, *свое* дело,— строительство Царства Человека, для антисемитизма просто не останется почвы, его корни будут вырваны. Таким образом, аутентичный еврей, сознающий себя евреем в ситуации, созданной антисемитизмом, возражает против ассимиляции не больше, чем рабочий, сознающий свою классовую принадлежность, возражает против ликвидации классов. В обоих этих случаях осознание не только не мешает, но, напротив, ускоряет ликвидацию и классовой борьбы, и расизма. Но сегодня, когда против аутентичного еврея ведется война, он отказывается от невозможной *для него* ассимиляции и ждет радикального искоренения антисемитизма — для своих детей. Остается только сказать, что для ликвидации антисемитизма необходима и достаточна социалистическая революция, которую мы произведем *в том числе* и для евреев.

А пока — что, ждать? В конце концов, возлагать ответственность за решение еврейского вопроса на будущую революцию — это для тех, кто ничего не хочет делать. Но ведь речь идет о том, что непосредственно касается всех: мы солидарны с евреями потому, что антисемитизм ведет нас кратчайшим путем к национал-социализму. И потом, если мы не уважаем личность израэлита,— кто станет уважать нас?

Если мы осознали эти опасности, если мы похоронили и прокляли наше невольное пособничество антисемитам, превратившее нас в палачей, тогда, может быть, нам пора понять, что нужно защищать права евреев не больше и не меньше, а так же, как наши собственные. Сообщение о том, что вновь возрождается еврейская лига против антисемитизма, меня очень обрадовало: это доказывает, что дух аутентичности распространяется в среде израэлитов. Но будет ли эта лига эффективна? Многих евреев — и лучших среди них — удерживает от вступления в нее своего рода скромность. «Ну, еще не хватало»,— сказал мне недавно один из них. И довольно неловко, но с искренней и глубокой стыдливостью прибавил: «Антисемитизм, преследования,— неважно это все.» Понять это отвращение нетрудно, но *мы*, не-евреи, должны ли его разделять? Негритянский писатель Ричард

Райт недавно сказал: «В Соединенных Штатах нет проблемы негров, там есть только проблема белых.» Мы почти повторим эти слова: антисемитизм — не еврейская проблема, это *наша* проблема. Поскольку мы сами тоже рискуем стать невинными жертвами, надо быть уж совсем слепыми, чтобы не видеть: речь идет прежде всего о нас. И не евреи должны начинать создание военизированного союза по борьбе с антисемитизмом, а мы. Само собой разумеется, такой союз не решит проблемы. Но если его поддержит вся Франция и он добьется официального признания государством, если он даст толчок к зарождению аналогичных союзов в других странах и впоследствии объединится с ними в международную ассоциацию, если эта ассоциация будет эффективно вмешиваться в неправые дела, где бы они ни совершались, если она будет использовать возможности прессы, пропаганды и воспитания, то будет достигнут тройной эффект. Во-первых, это позволит противникам антисемитизма найти друг друга и объединиться в действенное сообщество; во-вторых, организованная группа всегда создает поле притяжения, это позволит привлечь многих из тех неопределившихся, которые *совсем* не думают о еврейском вопросе; и наконец, наши противники, увлеченно противопоставляющие «истинное отечество» правовому государству, получили бы свой образ врага: сообщество, занятое не абстракциями всеобщего права, а конкретной практической борьбой. Тем самым у антисемита был бы отнят его любимый аргумент, основанный на мифологизации конкретного.

Дело израэлита будет наполовину выиграно, если только его друзья и защитники найдут в себе малую часть той страсти и той настойчивости, которые его враги тратят на то, чтобы его погубить. Для пробуждения этой страсти не стоит взывать к арийскому великодушию: и у лучших из них эта добродетель на грани исчезновения, но нужно объяснить каждому, что судьба еврея — это *его* судьба. Ни один француз не будет свободен до тех пор, пока еврей не сможет пользоваться всеми своими правами. Ни один француз не будет в безопасности до тех пор, пока хоть один еврей — и во Франции, *и во всем мире* — должен опасаться за свою жизнь.

Перевел с французского
Г. НОТКИН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Баррес, Морис (1862—1923) — французский писатель, член Французской академии.
Бенда, Жюльен (1867—1956) — французский писатель и публицист.
Блок, Жан-Ришар (1884—1947) — французский писатель и общественный деятель.
Брока, Поль (1824—1880) — французский анатом и антрополог, один из основателей современной антропологии.
Гобино, Жозеф Артюр де (1816—1882) — французский социолог и писатель, один из основателей расово-антропологической школы в социологии, теоретик расизма.
Дрюмон, Эдуард Адольф (1844—1917) — французский публицист и писатель, прославившийся своим антисемитизмом.
Жакоб, Макс (1876—1944) — французский поэт и художник. Погиб в концлагере.
Зигфрид, Андрэ (1875—1959) — французский географ, историк и социолог, член Французской академии.
Кёлер, Вольфганг (1887—1967) — немецкий психолог, один из основателей гештальтпсихологии.
Кремьё, Исаак Адольф (1796—1880) — французский политический деятель, министр, сенатор; способствовал отмене рабства во французских колониях.
Леклерк (де Отклок), Филипп Мари (1902—1947) — французский генерал, его дивизия в 1944 году первой вошла в Париж; маршал Франции (посмертно).
Моррас, Шарль (1868—1952) — французский литератор; придерживался крайне правых взглядов, во время оккупации был основным идеологом правительства Петэна.
Перс, Сен-Жон (Алекси Леже), (1887—1975) — французский поэт и дипломат, один из духовных вдохновителей Сопротивления, лауреат Нобелевской премии 1960 г.
Политцер, Жорж (1903—1942) — французский философ, член ЦК ФКП, активный участник Сопротивления; расстрелян фашистами.
Понсов дю Террайль, Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель.
Райт, Ричард (1908—1960) — американский писатель.
Селин, Луи-Фердинанд (Луи Детуш), (1894—1961) — известный французский писатель.
Сорель, Жорж (1847—1922) — французский социальный философ, теоретик анархо-синдикализма.
Стекель, Вильгельм Людвиг (1868—1940) — австрийский врач, психоаналитик, ученик З. Фрейда.
Суарес, Андрэ (Исаак Феликс), (1868—1948) — французский писатель.
Швоб, Марсель (1867—1905) — французский писатель, переводчик и журналист.
Шуке, Артур (1853—1925) — французский историк и писатель.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА

Алексей ПУРИН

ПИРОТЕХНИК, ИЛИ РОМАНТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Перед нами финал седьмой части «Анны Карениной» — через четыре страницы героиня романа бросится под колеса вагона: «Прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые... Прошел и Петр... с тупым животным лицом... Шумные мужчины затихли... и один что-то шепнул об ней другому, разумеется что-нибудь гадкое... Она... села... в купе на... испачканный, когда-то белый диван... Петр с дурацкой улыбкой приподнял... свою шляпу... Наглый кондуктор захлопнул дверь... Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочка, ненатурально смеясь, пробежали внизу... „Девочка — и та изуродована и кривляется“,— подумала Анна. Чтобы не видеть никого, она быстро встала и села к противоположному окну в пустом вагоне. Испачканный уродливый мужик... прошел мимо этого окна... Анна... дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой... И муж и жена казались отвратительны Анне... Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов...» И т. д. Зададимся вопросом — что же хочет показать нам «зеркало русской революции», рисуя эту бесконечную галерею уродов? Может быть, уродливый мир, окружающий Каренину, в котором ей, живой и ранимой, жить более невозможно? Не Катерина ли она из островской «Грозы»?

Вот здесь, на этой толстовской странице — ключ к пониманию новой литературы, запретившей себе прямолинейное назидательное высказывание, и прежде всего — ключ к пониманию психологической лирики XX столетия (в каком бы наряде — прозаическом или стихотворном — она к нам ни приходила). Здесь — пробный камень читательской состоятельности. Увы, и сегодня найдутся люди, не научившиеся (за сто пятнадцать лет!) прочесть эту страницу по-человечески и воображающие, что Толстой изображает здесь уродливую действительность, толкающую (вот этот «наглый кондуктор»!) его героиню на железнодорожные рельсы. Воображающие, что великий художник способен мимоходом обозвать каждого, попавшего в поле зрения Анны (вот эту девочку!), «уродом» и «дураком». И повидимому, воображающие даже, что эта вот череда уродов и дураков и являет собой некую тайную, посконную, душераздирающую, мучительскую «красную нить» святой (и будто бы богоизбранной — в назидание всем прочим) отечественной литературы — благо есть еще столь же воображаемые (то есть дурно понятые) «Мертвые души» и откровение щедринской летописи.

Между людьми так понимающими толстовский текст, и нормальным арячим читателем проходит водораздел, на наш взгляд, самый труднопреодолимый. Политические расхождения бледнеют и как бы снимаются в зоне эстетического слепого пятна, становясь разве что политической игрой. Носители беллетристических белых одежд (честь им и хвала — за эту белизну!), стоит им раскрыть рот и заявить, что, по их мнению, «Лолитин привкус — сладкий запах мертвечины», закономерно оказываются в одной компании с черносорочечниками, обвиняющими публикаторов Набокова в некрофилии. Даже лексическая глухота ведет к страшным этическим искривлениям. Такая взаимозависимость этического и эстетического и является, кстати сказать, предметом художественного исследования в четвертой главе «Дара», где Набоков показывает, как благие побеги свободолюбия вырастают в деревья, приносящие отравленные тоталитаризмом плоды, благодаря трудам эстетически (читай: этически) слепых садоводов-мичуринцев. «Привкус» смешивается с «запахом», оводы со шмелями, добро со злом.

Согласитесь — вернемся к Толстому — эстетическое по существу и есть этическое: из нашего адекватного или неадекватного восприятия текста, зависящего от нашего эстетического зрения, мы делаем этический вывод. Ну, например: реальность, изображаемая Толстым — уродлива. Или: Толстой — мизантроп, в реальности он видит одних уродов... Таковы возможные варианты прочтения толстовского текста при эстетической глаукоме, когда художественное произведение воспринимается как юридический документ, как самооговор. Автор говорит ведь от своего имени, это он пишет про «тупое животное лицо» Петра! «Царица доказательств» готова вручить меч прокурору,— и тут в дело вступает телефонное право,

партийный интерес, решающие — кого покарать? — мизантропа ли Льва Толстого, пореформенную ли действительность самодержавной России. Оно и понятно: при выключенном эстетическом освещении художественный текст становится мутной водицей, в которой ловится всё что угодно. Но стоит только включить свет, открыть глаза, посмотреть нормальным челоаеческим зрением, как тотчас картина становится этически однозначной, не допускающей кривотолков.

Толстой, разумеется, моделирует отражение мира в сознании героини, для которой немыслимо дальнейшее существование. В ненормальном, уродливом сознании Анны уже нет ничего человеческого и живого. По существу она убита, раздавлена, мертва за четыре страницы до того места, где описан механический акт самоубийства. Рисуя такое отражение, Толстой рассчитывает, следовательно, на адекватную реакцию читателя, то есть на то, что нормальный читатель воспримет такое отражение как невозможное, крайнее, уродливое, уже нечеловеческое, граничащее с небытием, становящееся им. Мир, показываемый нам глазами Карениной, находится как бы за стеклом, за неустранимой преградой. Эти глаза смотрят на него уже о т т у д а, извне. Анна исключена из мира, лишь потому ей и дано право осуждать и отрицать всё без изъятия. Ее связь с миром, а значит, и волшебный прибор этики — разрушены. Толстой подготавливает читателя к самоубийству героини, предполагая, что зрячий читатель согласится с художником: катарсисом, прояснением, снятием противоречия между уже мертвым сознанием и еще живым телом может быть только смерть.

Между тем существует целое мыслительное направление и целый художественный стиль, которые объявляют ценностью как раз такую противоестественность, исключительность, отъединенность, такое разглядывание из-за стекла, такое состояние водолаза, отделенного от среды жизни. Это — совокупность самых разнообразных модификаций романтизма и «романтизма навыворот». Правильнее даже говорить о романтическом сознании, которое прежде всего неколлаборационистично по отношению к внешнему миру. Герой такой литературы не желает сотрудничать с миром, с жизнью, то есть по существу не желает жить. Сам посыл такого сознания противоестественен с точки зрения приверженца нормально-человеческих ценностей (например, как мы могли видеть, Толстого). Парение, невесомое колыхание, стояние за стеклом, кристальная чистота и дистиллированность героя и повествователя, свойственные произведениям, порожденным романтическим сознанием, очевидно свидетельствуют нам, что само это сознание находится в несомненном родстве с этико-эстетической глухотой.

И наоборот, гуманистическая литература[1] — всегда «коллаборационизм» по отношению к реальной жизни, колеблющееся приятие-неприятие, а не абсолютный нуль отрицания. Следуя за сложным рельефом реальности, она описывает этот неровный рельеф — в отличие от романтизма, прямолинейно уходящего в сторону, в пустоту. Но эта криволинейная траектория нормалистической литературы может быть этически однозначно расшифрована нормальным сознанием (конечно, не рааным общеизвестному «здравому смыслу») в любой точке. Возьмем, например, кошмарные шарахания и перепады, эти «американские горы» мандельштамовской лирики тридцатых годов — от «Мы живем, под собою не чуя страны...» до «Оды» Сталину. Для нормального эстетического слуха этическая проекция этой синусоиды оказывается все же прямолинейной, гуманистической. Вождеискательство и вождестроительство не может заразить всего мандельштамовского лирического мира, ибо в его крови есть антитела, он защищен от тоталитаризма вакцинами мировой культуры. «Сталинизм» Мандельштама — фурункулез, но все-таки не чума: организм борется с инфекцией, остается живая цветущая ткань:

> О, бабочка, о, мусульманка,
> В разрезанном саване вся —
> Жизняночка и умиранка,
> Такая большая, сия!

Это, обратим внимание, не олейниковский «таракан», не замятинская «блоха», не маяковский «клоп», не насекомое кафкианского «Превращения». Это другое зрение и другое мышление, питаемое лимфой и кровью жизнеутверждающей мировой культуры — греческими пчелами, бабочкиными крылышками психеи-души. Это унаследованный иммунитет. «Коллаборационизм» гуманистической литературы не может быть для нее смертельно опасен даже в очаге идеологической эпидемии, поскольку она — живой организм, обладающий мощной иммунной системой. Любой вирус, проникающий внутрь этого организма, нейтрализуется и гибнет. К слову сказать, это борение, эта высокая температура сопротивляющегося болезни организма и воспринимается потомками как некий высокий «гражданский жар» (но я как раз хочу подчеркнуть болезненность этого «гражданского жара», ибо нормальная поэзия, пребывающая в нормальных условиях, живет с нормальной температурой). Адекватность реакции на условия внешнего мира (в частности, иммунитет) — одно из существенных свойств такой человекоподобной литературы.

И напротив, романтическое сознание, запаянное в непроницаемую оболочку, напоминает ребенка с врожденным иммунодефицитом, для которого мельчайший прокол пленки — смертелен. Тоталитаризм и есть такое смертельно отравленное микроорганизмами Больших Идей романтическое сознание — имперский, расовый, социальный романтизм XX века (с широким диапазоном — от Редьярда Киплинга до Йозефа Геббельса). Романтическое сознание не может избежать заражения тоталитаризмом в эпоху тоталитаризма. Как бы ни были увлекательны, блистательны, политически актуальны и талантливы антиутопии Замятина, Хаксли, Оруэлла или андреeплатоновский «мифологизм», нас все же не оставляет впечатление, что мир рассматривается в них остекляневшим глазом романтического сознания, что эти произведения — родные дети тоталитарного мышления, порожденные им, борющиеся с ним на языке его же мыслительного эсперанто и обреченные — после его смерти — стать в ряд малочитаемых памятников романтической литературы. С преодолением тоталитарного мышления, с выходом человечества из хвоста этой ядовитой кометы исчезнет, кажется, всякая в них потребность. Показательно, что с выветриванием тоталитарного нафталина из нашего отечественного шкафа утрачивается и ощущение значимости якобы экзистенциальных открытий Кафки, действительно великого «романтика наизнанку», и сам он все дальше отодвигается от нас, пока, видимо, не займет прочного места где-нибудь рядом с Эдгаром По.

А придвигается к нам Набоков... Но, увы, все или почти все, сказанное об антиутопиях тоталитарной эпохи, относится и к «Приглашению на казнь» — этому досадному выпадению из общего строя русскоязычных набоковских романов, сбою системы, внеромантической по своей природе. Как бы ни держали этот роман на плаву неустранимое набоковское любопытство к жизни и волшебное зрение, нельзя не почувствовать в нем той «стеклянности», которой нет и в помине в его «автобиографических» (то есть лирических) романах и которая делает «Приглашение на казнь» страшно «доходчивым» и популярным. Нет, кажется, ни одного советского однотомника, его не включающего. Кажется, ни один из сопроводителей-предисловщиков, не устающих поливать грязью «холодного виртуоза», не забыл слегка похвалить его за эту книгу. Эта книга, в отличие от других произведений автора, который, «происходя из родовитой дворянской семьи, нравился больше всего евреям — думаю, из-за некоего духа тления и разложения, который сидел в натуре его» (драгоценное свидетельство Б. Зайцева, сообщенное миру О. Михайловым)[1], кажется, нравится всем. Причина такой «доходчивости» очевидна, она разъяснена нами выше...

О, как нам хотелось бы промолчать! Ну, антиутопия, ну, романтизм, ну, сбой... Но как замечательно написано — на порядок выше всех прочих антиутопий! И потом, слава Богу, хоть и одну эту, хоть с оговорками, хоть кривя рот, но все-таки терпят набоковскую книгу. Постепенно, может быть... По кирпичику... Вот уже и И. Ростовцевой приглянулся «Дар»!.. Да и вообще — нам-то что? Мы ведь уверены, что фурункулез не смертелен, что романтический сбой «Приглашения на казнь» снимается всем контекстом набоковского творчества, как и «сталинизм» Мандельштама. Не лучше ли промолчать, а для себя считать, что Набоков написал этот роман... ну, скажем, из спортивного интереса, для разминки пера — или вот из желания заработать на антиутопии? Почему мы это себе не можем позволить? Может же себе позволить американский профессор (имя которого я, к счастью, забыл), участвуя в «круглом столе» «Литгазеты», заявить, что, по его мнению, Набоков написал «Лолиту» для того, чтобы заработать на порнографии (нельзя не подивиться девственности и феноменальной некомпетентности уважаемого ученого! — Искатель эротических сцен заснет на двадцатой странице этого «эротического бестселлера»)...

Короче, мы не сказали бы ни слова о вывернутом наизнанку романтизме «Приглашения на казнь» и, вероятно, не стали бы заниматься подробным исследо-

---

[1] Употребляемые далее эпитеты — «гуманистическое», «индивидуалистическое», «нормалистическое», «нормально-челоаеческое» (ср. «искусство... есть норма» — у Набокова, «человечий стиль» — у Кушаера) и т. д.— каждый из которых неточен и недостаточен, образуют, на наш взглнд, семаитический веер, сфокусированный на самой сути того искусства, которое мы предлагаем рассматривать как некий «большой стиль» XX века, существующий поверх барьеров «манер», скажем, акмеизма и футуризма (см. также — «Двойная тень», «Звеада», 1990, № 10 и «Читая Набокова», сб. «Летний сад», Л.: 1991). Существенная черта этого «большого стиля» — интерес к личностному и частному, внеромантизм и внеутопиам. Об утопизме как одной из мыслительных доминант века — см. Аверинцев С. С., «Судьба и весть Осипа Мандельштама» (Мандельштам О., Сочиненин, М.: 1990. Т. I. С. 23—25).

[1] Набоков В. Истребление тиранов. Минск, 1990. С. 10.

ванием романтического сознания, если бы один широкоизвестный Пиротехник не произвел воображаемого взрыва.

Вик. Ерофеев в своей обширной статье [1] рассматривает «русский метароман» Набокова, то есть комплекс нескольких русскоязычных романов писателя, в который он справедливо не включает такие произведения этого периода, как «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние», оговаривая их изъятие «нерусским материалом», на котором они написаны. Трудно не согласиться: «Машенька» — «Защита Лужина» — «Подвиг» — «Дар» — действительно образуют некую систему «сюжетно» подобных романов, созданных на относительно однородном («русском») материале. Несомненно их фабульное сходство: усадебное детство, отрочество и юность — крушение России — эмиграция, поиски своего места в жизни. Четыре романа составляют как бы ряд расположенных друг за другом подобных треугольников. Эти треугольники раз от раза увеличиваются в размере вследствие роста мастерства, обострения художественного зрения, расширения диапазона авторских интересов. Ерофеев прав в том, что утраченный рай детства, рождественская точка — важнейший фокус набоковской оптики. В качестве умозрительной геометрической штудии мы могли бы предложить читателю отыскать эту точку, продолжив линии, соединяющие одноименные вершины начертанных нами фигур, до их взаимопересечения. Перевернутая пирамида «метаромана» растет из этой исходной точки, опирается на нее.

Геометрическая метафора, использованная нами для краткости (корректируя Чехова Пастернаком, следовало бы сказать: «краткость — сестра метафоры»), дает представление о единстве набоковского «русского метаромана» и обнаруживает контекст, в котором это единство было бы естественно рассмотреть. Мотив утраченного рая детства, его поисков, его возвращения — общее достояние крупнейших романных систем нашего столетия. Обратим внимание хотя бы на то, как «по-набоковски», «лолитообразно» возвращаются оттуда, из этого «золотого (а точнее — платино-иридиевого, поверочного) века», скажем, героини Т. Манна и Г. Гессе — Клавдия и Гермина. Вспомним и художественную систему М. Пруста, нацеленную на поиск и возвращение «утраченного времени». В «Даре» утраченный рай восстанавливается писательством Годунова-Чердынцева, поэтическим даром. Это, как и все сущее,— частный случай. Это необщедоступно (литература и не выписывает рецептов на предъявителя), но это естественно и понятно.

Увы, пиротехническое сознание естественности не ценит. Оно антиестественно по природе и парадоксальным образом смыкается с классицистической склонностью к схематическому разделению и доктрине. Именно эта романтико-классицистическая ангажированность заставляет Ерофеева искать в «метаромане» Набокова гегелевскую триаду. В качестве тезиса берутся «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг». Антитезой оказывается «Дар». Остается подыскать синтез. И такой романтический синтез-катарсис, вообще напрочь снимающий набоковский мир, Ерофеев находит — это, разумеется, «Приглашение на казнь». Впрочем, подозреваю, гремучая смесь была синтезирована Пиротехником априори, как это и свойственно романтизму и классицизму, которые строят свои эфемерные сооружения, начиная с крыши.

«Не будь „Приглашения на казнь“,— изумляется Ерофеев, приглашающий и нас подивиться и восхититься эффектностью его манипуляции,— метароман потерял бы важное измерение... Метароман, таким образом, завершается неожиданным взрывом системы его же ценностей, и этот взрыв разворачивает Набокова в сторону русской литературной традиции». Нет, мы не склонны приходить в восторг. Ничего неожиданного во взрыве системы, в которую *таким образом* привнесено постороннее, не имеющее никакого отношения к «метароману» *измерение*, мы не видим. Антиутопия прицеплена к составу «квазиавтобиографических» книг, как бронепоезд — к хвосту пригородной электрички... За кого нас, собственно, принимают, предполагая, что мы это «съедим», не моргнув глазом? Ситуация — крайне неловкая и крайне неприятная, подобная той, как если бы ваш знакомый отдавал вам деньги — трешку, пятерку, десятку, стольник... «керенку» достоинством в тысячу рублей — и говорил: «ну, вот, тысяча сто восемнадцать. Мы в расчете?»

Имеет ли хождение ассигнация набоковской «антиутопии» в системе его романов о русском эмигранте? И если эта книга, написанная явно, уж извините, не на русском материале, все-таки имеет хождение там, то почему же там не котируются «Король, дама, валет», «Отчаяние», «Камера обскура»? Быть может, стоило впустить туда хотя бы первую из них, чтобы по-набоковски обнажить прием, напоминающий приемы некоторых персонажей Микеланджело да Караваджо? Этот «караваджизм» исследователя разве не сказывается в том, что он хронологически ставит «Приглашение на казнь» после «Дара», умышленно смешивая даты журнальных публикаций и выхода отдельных изданий. Нет никакого сомнения — антиутопия написана раньше завершения работы над «Даром» [1]. Она — произведение другого ряда, побочный продукт, не относящийся к «метароману». Ее вбивание в «метароман» могло бы вызвать улыбку недоумения, когда бы нам не было ясно — для чего Ерофееву нужен этот ложный катарсис и воображаемый взрыв.

Для разрушения «Дара». Именно «Дар» — итоговый срез перевернутой пирамиды набоковского «метаромана», высшее русскоязычное достижение писателя (наряду с уже заокеанской русской «Лолитой»). Он концентрирует наработанное Набоковым в Европе, но и качественно отличается от предыдущих романов своей неслыханной новизной. Именно «Дар» (и «Лолита») ставят Набокова в ряд крупнейших прозаиков века, подлинных обновителей прозы, гуманистов, «граждан мира», утвердителей истинно человеческих ценностей. Новизна Набокова, которая обеспечивается, конечно же, не приемом, а *даром* (неким этико-эстетическим единством, порождающим нормальное, гармоническое, гуманистическое), состоит прежде всего в том, что общечеловеческие ценности продуцируются у него не просто частным, индивидуальным (как у Пруста или Манна), но — частным, индивидуальным, необщедоступным, нестандартным, представляющим меньшинство (писательство Федора Константиновича, нетипичная сексуальность Гумберта Гумберта). Если Т. Манн, стоит ему обернуться к художнику, начинает апокалиптически романтизироваться («Смерть в Венеции», «Доктор Фаустус»), то Набоков пишет в «Истреблении тиранов»: «Я ясно понимаю, во-первых, что настоящий человек — поэт». И это не романтическая, а как раз нормалистическая позиция, осознающая особость и ценность всякого индивидуального «дара», в том числе — и литературного. В художественной системе Набокова категория «дар» выражает некую существенную связь частного с общим, человеческого с божественным, «потусторонним» (но это «потустороннее» следует понимать с поправкой Фета, писавшего Полонскому: поэт — «никуда не годный человек, лепечущий «божественный вздор»).

Но нет, мы не станем строить триаду, обратнонаправленную ерофеевской, то есть объявлять «Дар» синтезом, а, например, «Подвиг» — антитезой, что, отметим все же, было бы более похоже на правду. И вообще, заметив, что четыре набоковских романа можно рассматривать как «метароман», давайте на этом и остановимся. Ведь можно и не рассматривать. Такие комплексы произведений — скорее правило, чем исключение. И кроме того, «автобиографический» набоковский комплекс содержит, конечно, не только четыре романа, но и рассказы, книгу «Другие берега»,— так что всякие умозрительные чертежные построения (в том числе, разумеется, и наша «пирамида») — неполны, смешны и ничего по сути не проясняют. Скорее, наоборот. Вероятно, и раздувание проблемы «метаромана» предпринято романтическим Пиротехником лишь затем, чтобы подмять всего довоенного Набокова (а главное — «Дар») под «Приглашение на казнь». Это сделано, может быть, из чистосердечного желания романтического сознания оправдать «большого художника» в своих глазах, попытаться принять его (таким образом его извратив), «протащить» (как сказали бы полвека назад) его в свою догматическую систему под личиной водолаза Ц. Ц.— то есть из самых благих побуждений, как некогда из самых благих побуждений в догматическую систему протаскивали Пушкина-декабриста и скифоподобного Блока.

Только такой, загримированный под романтика Набоков еще как-то приемлем для Ерофеева. Но романтический Прокруст в данном случае сталкивается с активным сопротивлением самого художественного материала, и поэтому клиент ему явно несимпатичен. Он — «вот уж не гуманист!». Его романы — «авантюры „я“ в призрачном мире декораций». Очень сомнительно — «нужен» ли он «сегодня»... И это еще ласковая журба в сравнении с тем, что говорится о «Даре»; именно «Дар» выводит из себя ценителей огненного очищения мира. О. Михайлов видит героя романа — «неряшливым в быту, рассеянным чудаковатым, не любимым ни обывателями, ни вещами». В. Ерофеев обнаруживает в нем «расщепленное сознание „и целый сонм комплексов“». Он, по Ерофееву, воображает себя «спасителем России, разоблачающим губителя России». У него — «расползшееся на полстраницы претенциозное имя», «удачно и непроизвольно [1] передающее экспансию этого разросшегося „я“» — «загорелого, здорового, счастливого, наделенного похотью тщеславия». Его «отец воскрешен (пусть только во сне, но сам сон приносит катарсис воскрешения)»...

Итак, романтический катарсис способен не только «развернуть Набокова», но и воскресить отца его героя, дабы усугу-

---

[1] Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая. «Вопросы литературы», 1988, № 10. Статья перепечатана также в книге В. Ерофеева «В лабиринте проклятых вопросов» (М.: 1990) и в первом томе Собрания сочинений Набокова (М.: 1990), выходящего «под наблюдением В. В. Ерофеева».

[1] См. письма В. Набокова редактору «Современных записок» В. В. Рудневу («Минувшее», Вып. 8, Париж, 1989. С. 271—278).

[1] Усложнение имени кажется мне лирическим приемом, как бы требующим от читателя сокращения сложной дроби до авторского «я».

бить благополучие Федора Константиновича, непонятно как согласующееся с его болезненной расщепленностью. В призрачном этическом мире романтического сознания приснившийся погибший отец считается воскрешенным; «загорелое, здоровое, счастливое» — отвратительным; «удовлетворительный исход поисков рая» — «раздражает»... Ничего иного и ждать нельзя — романтизм рассматривает художественный мир глазами толстовской Анны. Жизнь, во всей ее сложности и шероховатости ставшая главным героем романа (и в этом новизна «Дара»),— уродлива и глупа. С точки зрения романтического сознания, нормальный человек, живущий нормальной жизнью, неинтересен, плох, недостоин быть главным героем литературного произведения. Нужен герой — ни на кого не похожий, единственный непрозрачный. Нужны тюрьма, плаха, палач, на худой конец — всепоглощающая мания, загадочное сияние в очах, пограничный столб.

«Набоковский герой,— пишет Ерофеев,— хорош... в защите, в обороне... в мучительный момент выживания, в противоборстве. Тогда в нем проявляется завидный стоицизм, сопротивление всем подлостям тоталитаризма, отказ от любой формы коллаборационизма, независимость духа и суждений, достойная защита своих идеалов...» Романтическое (читай: классицистическое) сознание, как показывает эта ерофеевская «Клятва Горациев» [1], не видит и не может видеть сложного ежедневного героического существования, составленного из боли и радости, из приятия-неприятия, из несомненной зависимости человека от окружающей жизни. Оно не в состоянии пользоваться категориями живого этико-эстетического, и потому оперирует обызвествленной «этикой». Ему нужен зримый герой, Трижды Герой, на худой конец — герой «Подвига», совершенно неважно — для чего и куда идущий, важно — что с револьвером а кармане. Независимость духа понимается им как независимость от реальности: поэтом можешь ты не быть, но обязан купить наган и топать в Страну Советов. Это ведь, на самом-то деле, мальчишкибальчишевщина и павликморозовщина!

Романтическому (читай: тоталитарному) сознанию нужны притча, учебное пособие, опора вне жизни (которая для него — глупа и уродлива, несамодостаточна), «идеалы» — то есть некая привнесенная, навсегда засунутая в мозг схема. Странный классицизм романтического сознания выражается в том, что оно видит действительность как бы в картинках ньютоновской физики: вот катится шарик-герой по ровной поверхности под действием приложенных к нему «идеалов», вот что-то (неважно — что) попадается ему на пути, он это «что-то» сшибает... «Становится заметной,— пишет Ерофеев,— общая слабость литературы, *построенной на принципе* самовыражения, *без опоры* на онтологическую реальность, *без опоры* на то, что выходит *за пределы* „земного рая“». Комментарии тут излишни, достаточно подчеркиваний: лексическая окраска фразы говорит не менее, чем ее смысл. Таково уж романтическое сознание, не верящее в самодостаточность жизни, выходящее за пределы «земного» и рассматривающее оттуда реальность остекляневшим взглядом. Оно этически, эстетически и даже лексически слепо.

Утверждая, что антиутопический взрыв «разворачивает Набокова в сторону русской литературной традиции», романтическое сознание показывает прежде всего то, какой оно эту традицию видит. А видит оно ее — пиротехнически-утопической, с «галереей уродов». Литература, по мнению романтического сознания, призвана судить, учить и проповедовать, словно она — не искусство, а беспоповская церковь, адвокатура или школа для неимущих. Русский роман XIX столетия, и верно, судил, учил, проповедовал, замещая отсутствовавшие в обществе социально-политические институты. Но сколько же можно? Мы больше не хотим, чтобы нас праведно рассудили в романе, как и не желаем довольствоваться мнимыми воскрешениями во сне. Мы предпочли бы реализацию законных человеческих праа в действительности, а не на типографской странице. Нас в высшей степени не умиляют рассуждения пиротехников о том, что «институт присяжных, литературная гласность есть только искажение печалования», коему может, слава Богу, предаваться «христианство», благо «государство с его юстициею, полициею есть печальная необходимость». Разве не знаменательно, что автор этой очаровательной мыслительной конструкции, Николай Федоров, начинает свой мрачный шедевр антиестественного и антинаучного тоталитарного будетлянства — «Философию общего дела» — с предложения достичь мировой гармонии и всеотчего вскрешения посредством «действия взрывчатых веществ на атмосферные явления»? Такое азиатское (а точнее сказать — патриархальное) увлечение пиротехникой и стрельбой — важное свойство романтического сознания, заставляющее его отдавать приказы лучникам Поднебесной одновременно пальнуть в солнце или истребить всех бесполезных чирикающих крупоедов.

[1] Ср. с фразой, произносимой одним из «полу-я» главного героя «Школы для дуракоа» Саши Соколова: «Непримиримость с окружающей действительностью, стойкость в борьбе с лицемерием и ханжеством, несгибаемая воля, твердость в достижении поставленной цели... ставили тебя вне обычного ряда велосипедистов» (Октябрь. 1989. № 3. С. 96).

Ерофеевский взрыв — явление того же романтического ряда, что и метеорологическая пиротехника неученого федоровского любомудрия, рассматриаающего землю «не как жилище», а «как кладбище», и «на кладбище» рекомендующего перенести «центр тяжести общества» (вот где стоило бы П. Проскурину поискать то, что он тщился найти в свежих журналах!), зараженного не только аирусом тоталитаризма (требоаание «военнообязательного государства» и «всеобщей воинской повинности» для борьбы с природой и т. д.), но и вирусом расовой неприязни, «крови и почвы», как всегда, сросшимся с вирусом «антимасонстаа», то есть антисвободомыслия («С.-Петербург — западник, или ноаоязычник, протестантский или католический союзник ислама, т. е. приверженец ново- и староиудиейства», «даже внутри России, в самой глуши, во всяком месте астречаем немца-барина или князя-татарина, а между собою чувствуем повсюду рознь» и т. д.).

Именно туда — в Кремль, к «кладбищу на площади» около храма, к культу мертаых отцов, «совокупность индивидуальных образов» которых являет собою образ «одного отца», к государству, которому «не увлекаться аластью — даже не добродетель»,— пытается поаернуть не только Набокова, но и всю русскую литературную традицию романтическое сознание. К борьбе с природой и жизнью (ибо они — «похоть» и смерть), к угрюмой утопии, где эстетическое, индиаидуальное, социальное, политическое частное снято онтологическим, деонтологическим, физико-астрономическим (эпитеты асех этих самоназваний романтического сознания не содержат какого-либо прочного смысла) общим. «Ошибка Петербургского периода,— пишет Н. Федоров,— заключена в том, что он *свободу* поставил на место *долга* к отечеству» [1]. И дело даже не в том, что этим категориям, естестаенно сосуществующим и борющимся в нормальном сознании, указано место, а в том, что сами они романтически (читай: тоталитарно, соборно, общедельно) искривлены: свобода есть похоть иудомасонства, а долг — метафизически-расовая и «физико-астрономическая» абстракция. Ищущие общей абстракции — *общее* и обрящут. Они — и Федоров, и Чернышевский, и Сталин, и Гитлер — романтики. И дело не в личном злодействе, а — как исключение — в *общем:* романтики любят кровь.

[1] Ср. даже у Н. Бердяева: «Пушкин — двойствен, у него как бы два лица. У иего была любовь к великой силе России, но была и страстная любовь к свободе» (Истоки и смысл русского коммунизма. М.: 1990, с. 65).

Хочу обратить внимание на еще одно проявление романтизма, связанное, как и ерофееаский «взрыв», с происходящим становлением в сознании широкого читателя подлинной картины русской литературы XX века. Это вступительная статья Ю. Линника к составленному им сборнику стихотворений Мандельштама [1], где творчестао поэта рассматривается с позиции мистика, где сам поэт объяаляется мистиком, проаидцем, «предшественником экуменизма», который, по мысли автора, будет когда-нибудь «канонизирован» (т. е.— как православный саятой). Меня, однако, более всего впечатляет такое высказыаание Ю. Линника о ситуации 30-х гг.: «С. Кьеркегор спрашивал: зачем вам свобода печати, когда есть свобода мысли? О. Мандельштам кричал на неудачлнвого поэта: а Христа печатали? Конечно, свобода мысли не должна исключать свободу печати,— но как прекрасна эта незримая свобода в окружении штыков, стукачей, колючей проаолоки». Это, конечно, калька с федоровского «печалования», а не с пушкинской «тайной свободы». И прошу прощения, но в этом любовании мнимой прекрасностью на фоне того, что и не снилось Кьеркегору и Федорову, в калькировании их умственных шалостей постприори слышен едаа ли не сатанинский соблазн — ну, как минимум, непозволительная детскость отказа от ценностей христианской цивилизации. Мы же не Ницше и живем не в добропорядочном XIX веке!

И еще одно высказывание Ю. Линника кажется мне существенным для нашего разгоаора: «Представьте себе, что наука будущего откроет закон сохранения снов — и покажет непреложно: нас могут питать сны и фантазии дреаних магов, поэтов, художников, которые они не успели записать, закрепить н материале». Замечательная тональность! Нечто среднее — между сочинениями героя четвертой главы «Дара» и лекцией Остапа Бендера в васюкинском шахматном клубе. Не оттого ли «Двенадцать стульев» столь «потрафили душе» В. Сирина (см. рассказ «Тяжелый дым»), что эта шахматная история, перекликаясь с «советским шахматным журнальчиком» из набоковского романа, демонстрирует главное свойство любой федоровщины (чернышевщины, циолкоащины... вообще романтического сознания) — безвыходную провинциальность и обидную одноглазость, в силу которых все их прожекты по осчастливливанию человечества заканчиваются показательными процессами, концлагерями и межконтинентальными баллистическими ракетами?

Удивит ли нас то, что мистического составителя (а данном случае — поэта

[1] Стихотворения. Петрозаводск, 1990.

Ю. Липпика) меньше всего интересует сам текст стихов Мандельштама, который он некритически берет из таллиннского издания, составленного П. Нерлером[1], усваивая все его феноменальные искажения и ослышки? Даже в рифме («МеганоМ — похорон», с. 91; «МосквЫ — живу», с. 146). Даже в размере («Я хочу, чтобЫ мыслящее тело», с. 193). Или то, что он «поправляет» мандельштамовский неологизм «раппортички» (от РАППа, с. 139) и дублирует стихотворение «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...», помечая его в одном случае 1917-м, а в другом — 1918 годом (с. 93 и 239)? Или то, что он перевирает (как и Нерлер[2]) фамилию М. Кузмина — «Кузьмин» (с. 246)?..

Нет, не удивит. Романтическому сознанию не интересны частности и детали, конкретное и живое. Оно лишено набоковской пунктуальности. Оно заворожено Большими Идеями Старших Братьев, онтологическим общим, метафизическими красотами внеэтического «печалования».

Романтическое сознание — всегда загонщик человечества к счастью, которого будто бы нет вот здесь, но которое будто бы есть вон там,— стоит только туда дойти по трупам. Оно родилось с человечеством и, похоже, раньше его не умрет. Но оно противно природе разумного человека, и только насилием, пальбой, взрывами можно развернуть мир в сторону тоталитаризма. Только с помощью карточного фокуса можно попытаться развернуть Набокова в сторону романтического искусства: филоновских «галерей уродов», платоновской мифологизированной «реальности», плакатного немецкого экспрессионизма и антиутопий, строящихся на том, что ячейка, созерцающая мир миллионов других ячеек, вдруг осознает (или воображает, что осознает) свое от прочих ячеек отличие, свою дефектность. При всей своей скучноватой натуралистичности, антиутопии — все же утопии (то есть то, чего нет), ибо рисуют идеальное (какая разница — со знаком «плюс» или со знаком «минус») общество — беспримесное, химически чистое. Отсюда и несомненная эстетическая ущербность этого жанра, в котором «поломка», мятеж и гибель одной ячейки, протекающие на фоне идеальной застывшей неповрежденности всех остальных,— не более чем механический повествовательный прием, потребный для включения фабулы во вневременной среде идеального мира, рисуемого антиутопистом. Иначе был бы не «роман», а трактат. На самом же деле это механическое возбуждение ячеечного осознания, столь далекое от нормального человеческого экзистенциального знания своей индивидуальности, мало чем отличается от приемов соцреалистической литературы тех же десятилетий. Антиутопия — калька с "советского «шпионского» или «американского» романа. И разве не бесчеловечно такое «печалование» («радование») об умозрительной получеловеческой ячейке, желание бесконечнодлить это «печалование» («радование») — и не дай бог ему помешают институт присяжных и литературная гласность! — сочетающееся с воинствующим неприятием живого, живущего, несчастно-счастливого, индивидуально-сложного полного человека («похотливого» — по терминологии романтизма), сосуществующего с миром таких же сложных индивидуализированных людей?

Именно таков полный человек Набокова. Таков полный, нормальный человек зрелой лирики Пушкина (его стихов и прозы), гармонически сочетающий свободу и долг, выбирающий — как бы на скрещении свободы и долга — Барклая и обходящий Кутузова... А когда б выбрал Кутузова — узрел бы наш Пиротехник в этом герое «похоть» успеха? А как быть романтическому сознанию с «Евгением Онегиным» и — сказать страшно! — с «Домиком в Коломне»? «...Но сам сон приносит катарсис замужества»,— сказал бы russkiy Пиротехник?.. Таков и полный, нормальный человек Мандельштама, мучающийся невозможностью однозначного выбора, живущий в убитой хлороформом толпе, разделяющий общую участь, сходящий с ума, но остающийся полным и сложным. Таков, наконец, человек лучших книг Толстого, лишь на самом краю пропасти способный увидеть мир, окрашенный в романтические уродливые тона.

Эта литература утверждает равнозначность и равноценность индивидуального и универсального, способность частного содержать общечеловеческие ценности. Более того, она утверждает, что эти ценности как раз сосредоточены не вообще где-то (не в соборе, не в Кремле, не на кладбище, не в некоем мутном «онтологическом»), а — в каждом, в любом индивидуальном, частном живом. И отсюда ее напряженное внимание и любовь к конкретному, частному живому — к человеку, бабочке, цветку, слову... Такая литература не терпит романтического схематизма, сортировки, отбора,— то есть обеднения живого мира. Ее герой — полная жизнь. Она антиромантична, а потому — антитоталитарна, антишовинистична — по определению.

Анненский в статье «Что такое поэзия?» показывает различие романтического и нормального (как мы бы сказали) сознания: «С одной стороны — *я*, как герой на скале, как Манфред, демон; *я* политического борца; а другой *я*, т. е. каждый, ...человеческое *я*, которое не ищет одиночества, а напротив, боится его; *я* вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте паутины; не то *я*, которое противопоставило себя целому миру, будто бы его не понявшему, а то *я*, которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою».

Такое *я* и есть подлинный герой набоковской прозы. Даже «радужную паутину» Анненского мы можем теперь отыскать на 66-й странице первой советской «Лолиты». И разве эта перекличка, без которой непредставима настоящая поэзия, не есть доказательство этической однозначности, рождаемой здоровым эстетическим зрением — в отличие от мутной двусмысленности толкований, в случае если это зрение отсутствует или притупилось?

На этом можно было бы и закончить, но вновь вынырнувшее имя «бедной девочки» напоминает нам о том, что Виктор Ерофеев выступает еще и как автор предисловия к первому советскому изданию набоковского «эротического бестселлера» (старое выражение О. Михайлова и Л. Черткова). Вероятно, лишь дефицит площади заставляет нашего Пиротехника обойтись тут без особенных взрывов, ограничившись только подмачиванием романа многократным употреблением слов «эротика» и «эротический» (причем эти слова имеют у него смысл, близкий к тому словосочетанию «скушная порнография», которым мы бы охарактеризовали нынешние кооперативно-толкучечные газетные комиксы; «эротика», по Ерофееву,— как бы «скромная», ослабленная, «приличная» порнография). Для «опираний» схем просто недостает места на этих десяти страницах, где будущий Наблюдатель Четырехтомника обязан исполнить роль «проводника» слепого и бестолкового нашего читателя и сообщить ему кое-какие историко-литературные факты. Впрочем, совсем удержаться от игры с огнем Ерофеев не может и здесь. «„Лолита" *эксгумировала*,— пишет он, сладострастно подчеркивая, выделяя курсивом это «эксгумировала», словно гордясь его созвучностью, его лексической (а мы думаем — и этической) однородностью с не раз уже поминавшимся нами разнообразнейшим романтическим труполюбием,— для мирового читателя русскоязычные тексты писателя», из коих «некоторые», такие «как „Приглашение на казнь"» являются (конечно же!) «подлинными шедеврами».

Здесь не место заниматься исследованием «Лолиты». Можно лишь сказать, что на наш взгляд, герой этого романа — не Г. Г., не Ло, а некое лирическое *я*, погруженное в жизнь. «Лолиту», как и «Дар», нельзя понять, если отнестись к ней не как к поэзии, а как к информации. Это лирическое произведение, которое следует судить по законам лирики, а не «этики». Работа текста романа подобна работе стихотворного текста новой поэзии. Никто же не верит Маяковскому, когда он пишет: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Не будем уподобляться соцреалисту М. Рыльскому, нашедшему криминал в строчках Анненского — «Я люблю, когда в доме есть дети//И когда по ночам они плачут». Взяв эти строки эпиграфом, душевнейший друг детей Рыльский поправляет «мизантропа» Анненского: «...И когда эти дети смеются». Что ж, в данном случае смеяться — не грех. И тем более не стоит делать большие глаза, говоря о «Лолите». Посвящая роман жене, Набоков, разумеется, дарит ей не трусики нимфетки, не урину Таксовича, даже не розы Гейзихи, а то сильное лирическое излучение, которое порождает сложный контекст книги. Это лирическое излучение есть поэтическая *возгонка* (но не романтическая *разгонка*) подлинной жизни. Что же касается «шокирующего» сюжета, якобы говорящего о беспринципности, аморальности художника, неразборчивого в выборе средств, то мы уже показали: «принципы» и «этика» — термины тугого на ухо романтизма, воспринимающего только литавры, вагнеровский нордический гром и не слышащего гармонизующей мелодии реальной жизни. Они не имеют значения ни для жизни, ни для поэзии, ни для любви.

«„Лолита" — книга о великой любви»,— говорит Лидия Гинзбург. Осмелюсь уточнить: книга великой любви. Любви к миру, к самодостаточной жизни. Жизнь есть самоосмысление и самооправдание. Безымянное лирическое *я* «Лолиты» жадно ищет впитать в себя мир и стать им, делая его собой. В той же статье Анненского мы найдем совершенно волшебные, фантастические, словно бы вписанные туда Набоковым или начертанные Анненским по прочтении «Лолиты» слова:

«Стихи и проза вступают в таинственный союз... Растет словарь. Слова получают новые оттенки, и в этом отношении погоня за новым и необычным часто приносит добрые плоды[1]... Вспомните хотя бы слово Лафарга violuptè (из violer[2] и voluptè[3] — нечто вроде „карамазовщи-

[1] Избранное. Таллинн, 1989.

[2] Стихотворения, переводы, очерки, статьи. Тбилиси, 1990. С. 388.

[1] Ср. из предисловия к «Лолите»: «...„неприличное" бывает зачастую равнозначно „необычному"...»

[2] Осквернять *(фр.)*.

[3] Сладострастие *(фр.)*.

ны")... Строгая богиня красоты уже не боится наклонить свой факел над уродством и разложением. Мир, освещаемый правдивым и тонким самоанализом поэта, не может не быть страшен, но он не будет мне отвратителен, потому что он — я».

И еще:

«Вместо скучных гипербол, которыми в старой поэзии условно передавались сложные и нередко выдуманные чувства, новая поэзия ищет точных символов для *ощущений*, т. е. реального субстрата жизни и для *настроений*, т. е. той формы душевной жизни, которая более всего роднит людей между собой, входя в психологию толпы с таким же правом, квк в индивидуальную психологию».

Эта *новая поэзия* и есть великая русская литература XX века, истинная наследница Пушкина и Толстого. Она антиромантична. Оставаясь высокой, она работает с *будничным* словом, о котором Анненский говорит как о самом важном, загадочном и страшном. Снимая вымышленное романтизмом противоречие этического и эстетического, она гармонически сочетает в себе элитарность и демократизм. Проза Набокова — неотделимая часть этой *новой поэзии.*

Николай
КРЫЩУК

КТО БРОСИТ КАМЕНЬ?

Литературная полемика — дело зряшное, хотя бы потому, что никто ее не читает. После того, как литература ушла на пенсию с поста «учителя жизни», критика стала и вовсе занятием сугубо цеховым. Да и разбежались критики кто куда. Одни подались в чистую науку, другие сели за воспоминания и прозу, третьи переквалифицировались в политиков и экономистов. Остались единицы, и те, похоже, сосредоточились больше на социологическом анализе литературы и литературных отношений.

Ситуация объяснений не требует. Я сам на долгие годы бросил это ремесло и не думал уже, что когда-нибудь вернусь к нему. И вот однако ж...

В сущности, не улыбнуться ли попросту на чисто отечественную претензию Алексея Пурина одним ударом покончить с таким «кошмарным» явлением, которое он определяет, как «романтическое сознание»? Вероятно, не надеясь попасть прямо в сердце, автор бесстрашно охотится за каждой головой дракона, сжимающего в своих когтях мировую культуру. Нешуточность замысла обнаруживается с самого начала: «Между людьми, так понимающими толстовский текст (напомню: речь идет о финальных страницах седьмой части «Анны Карениной»,— *Н. К.*), и нормальным зрячим читателем проходит водораздел, на наш взгляд, самый труднопреодолимый. Политические расхождения бледнеют и как бы снимаются в зоне эстетического слепого пятна...» Сюжет разворачивается, летят поганые головы с плеч: романтизм, классицизм, шовинизм, тоталитаризм, фашизм... Казалось бы, как сопрячь? А из одного тулова растут. Потому и оказываются в братской могиле, порешенные безжалостной рыцарской рукой, Эдгар По и Николай Федоров, Гитлер и Андрей Платонов, Евгений Замятин и Сталин, Ленин и Кафка, немецкие экспрессионисты и большевики, Филонов и Мао Цзе-дун, Чернышевский и Циолковский, Олейников и Киплинг, Геббельс, Хвксли и Оруэлл. Думаю, Христос не попал в этот ряд по чистой случайности.

Список вполне курьезный. Но я меньше всего хочу задеть самолюбие автора. Фельетонное начало — просто разминка. Поговорить же есть о чем.

Я недаром упомянул об отечественной природе авторской претензии. Нельзя счесть случайностью, что, оттолкнувшись от разного прочтения нескольких страниц романа, автор приходит к столь разрушительному и универсальному разделению всего человечества на две качественно неравные половины. Не сидеть им за одним столом. Что тут ислам и христианство, демократия и фашизм — несходное восприятие нескольких страниц прозы Льва Толстого разделяют покруче. Никакая Организация Объединенных Наций не поможет. Война.

Первое спокойное соображение, которое приходит тут на ум, вычитал я недавно из беседы с философом А. М. Пятигорским, рассуждающим о чисто российском феномене «огромного преувеличения культуры». Он говорит о том, что «обязательность» культуры чрезвычайно «снижает рефлексивный потенциал человека», что губительна даже единая норма языка, что господство единой культурной нормы «является *монистической* предпосылкой, ограничивающей возможности выражения индивидуального мышления», а пафос разоблачительства «мышление совершенно притупляет». Если ни одному англичанину не придет в голову сказать: «Ах! Вы не читали Диккенса!», то у нас, напротив, человек, не читавший Достоевского, может услышать в ответ лишь одно: «Да вы с ума сошли!»

Не потому ли так легко перелетает автор от безобидного литературного текста к всемирно-историческим обобщениям? Некий Ю. Линник, наивно-лирически мечтвющий о том, что «наука откроет закон сохрвнения снов», оказывается у Пурина непосредственным виновником показвтельных процессов и концлвгерей. Никаких доквзательств — энергия голой убежденности. Пафос разоблачительства.

Ни лично, ни по литературным трудам не знаком с Линником. Но подозреваю, что это все же не персонаж ромвна, а реальный человек. И «Неву», возможно, выписывает, прочтет. Не слишком ли, сквжем твк, неосторожно для автора, который сокрушается о «страшных этических искривлениях» романтизма и вступвется, нвпротив, за «конкретное и живое»?

Вообще чуть ли не все упреки автора удивительным образом, как бумеранги, возвращаются к нему же. Разве его стремление к универсальным построениям, которым пропизана вся статья, не романтического происхождения? Пурин обвиняет романтизм в агрессивности, но его собственный текст является образцом идеологической нетерпимости, уже почти забытой. Тут и чернышевщина, и циолковщина, и мальчишкибальчишевщина, и павликморозовщина. Прямо до мурашек. От моей ведь фамилии тоже можно коечто образоввть.

Автор противопоставляет «идеал» и «жизнь». При этом идеал понимается, конечно, как бич, орудие насилия. Но в то же самое время он с завидной последовательностью обрисовывает и пытается внедрить в читательское сознание собственный идеал. Пусть тот обозначается словами «самодостаточность жизни» или «полный человек», это не мешает ему жестко стегать людей, у которых иные, чем у автора, взгляды на жизнь и эстетические пристрастия, и сбрасывать с корабля культуры художников, иногда гениальной одаренности, отказывая им не только в эстетическом слухе и зрении, но попросту в нормальности, разумности. Порой кажется, что на призыв Иисуса бросить камень, нашлась, наконец, достойнвя кандидатура.

О человеческой безгрешности судить не могу, а вот литервтурные грехи очевидны. В том числе те самые, которые твк досаждают автору, когда он говорит о романтиках.

И лексическая глухота. Слово «коллаборвционизм» употребляет он в сугубо положительном контексте, помня о его французском происхождении и забывая,

что оно прочно закрепилось в языке как обозначение предательства людей, сотрудничавших с фашистами в оккупировнных стрвнвх.

И отсутствие педантизма. Так, увлекшись в очередной раз ироническим разоблачительством, он пропускает в тексте «„керенку" достоинством в тысячу рублей». Между тем керенки были достоинством в двадцать и сорок рублей — других не было.

Последнее, конечно, пустяк. В тексте же Кафки это можно было бы счесть и вовсе за прием. И не по принципу «сам — дурак» строю я наш разговор. Но чтобы напомнить, что все мы люди, а значит, все не без греха, и хорошо бы проявлять больше терпимости даже в самых принципиальных спорах. Напомню слова Гоголя: «Обращаться со словом нужно честно: оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было...». Всячески превозноси коллаборационизм (от фр. collaboration — сотрудничество), почему бы не пригласить к сотрудничеству оппонента? Неужели он обязательно злонамерен и совсем уж безнадежен? Но он ведь тоже часть жизни.

И еще: бумеранговая природа притязаний свидетельствует о печальном родстве всех тех, кто не может примириться друг с другом по причинам политическим, национальным, эстетическим или религиозным. Родство это, конечно, не синоним братства и любви. Оно — основа непримиримости в большей степени, чем все различия. Российский, советский ли это феномен — не будем гадать. Но неподача руки сильнее принципиальных разногласий, в претензия на глобализм — несовпадения в означенной точке.

Теперь все же вернемся к началу — к концу романа Л. Толстого. Пурин уверяет нас, что «в ненормальном, уродливом сознании Анны уже нет ничего человеческого и живого», что по существу она «мертва за четыре страницы до того места, где описан механический акт самоубийства». Иначе говоря, не мир виноват — зрение. И все, кто видит в этих толстовских стрвницах отражение реальности, ненормальны, уродливы и мертвы. По логике рассуждения им лучше всего последовать примеру Анны. Вероятно, это и есть гуманизм «полного человека».

То, что мир на этих страницах увиден глазами Анны, несомненно. Я как-то не представляю, кто бы в здравом уме стал это оспаривать. И концентрация уродств — следствие ее состояния. Но верно ли, что сознание ее уродливо и мертво? Что

в ней разрушен «волшебный прибор этики»?

Мертвое сознание влюбляется в мрак и эстетизирует уродство, для него не существует границ между добром и злом, прекрасным и безобразным. Они уравнены в перспективе априорной безысходности.

В этом смысле сознание Анны именно что человечно и живо. Ею не утеряны представления о естественном и прекрасном. Но в состоянии пароксизма они приобрели форму неосуществимой претензии к миру. Ее предсмертная проницательность (пусть и исключительно в отрицательном плане) равновелика художественной проницательности Толстого. Вот почему на этих страницах потрясает не только состояние Анны, но увиденное ею (Толстым) состояние мира.

Пурин замечает нагромождение уродств, но упускает из виду (и опускает при цитировании) эту проницательность, которая свидетельствует далеко не только о болезненном состоянии ума. «Прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые...»,— обрывает цитату критик. Продолжим: «...и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили». Если бы эти мужчины были только фантомом, который рожден болезненным воображением мертвого сознания, не бродили бы они и сегодня по улицам наших городов.

Да, муж и жена, сидящие с Анной в купе, кажутся ей отвратительными. Но дело опять же не в одном ее состоянии. Ведь не приснились же ей эти разговоры по-французски! Толстой описывает эту пару подробно и объективно, и мы не можем в конце концов не разделить отношение к ним героини. А какие тонкие наблюдения при этом: «И, взглянув на краснощекого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятою женщиной и муж обманывает ее и поддерживает в ней это мнение о себе». Этот психологический сюжет был бы уместен в самом мирном, даже отчасти юмористическом контексте, например, в каком-нибудь рассказе Чехова.

«Да, на чем я остановилась? — думает Анна.— На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мученьем, что все мы созданы затем, чтобы мучаться, и что мы все знаем это и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать?»

Неужели автору «Пиротехника» не знакомо это состояние? «Нормальные» люди его не испытывают? Не испытывают приступов мизантропии, пессимизма, отчаяния? Если это так, я не завидую их счастью. Но, разумеется, это не так. И подвержены таким настроениям не только персонажи, но и авторы (в этих раздумьях Анны несомненно слышится голос самого Толстого). Это тоже часть жизни, а значит, и предмет искусства. После таких переживаний не всегда бросаются под поезд, иногда доживают до глубокой и плодотворной старости. Без них радость не полна, и счастье отдает тупой самовлюбленностью.

Думаю, а как бы ответил на эти мучительные, очень человеческие размышления Анны Пурин? Пожалуй, словами той самой «болезненной жены», которая ехала в одном купе с Анной: «На то дан человеку разум, чтобы избавиться от того, что его беспокоит». Не такую ли философию для каждодневного пользования предлагает нам апологет нормального, разумного человека?

Прямо хочется попросить прощения: простите, ради Бога, случается это у нас, достает, настигает, завладевает — иногда на секунду, иногда на годы, кого-то доводит до смертного часа. И бывает, почти что беспричинно. Едет молодой человек в чужой город. Карьеру делать. Тоже видит всякие картины и предается воспоминаниям. Иногда не очень приятным. А то и сплошь неприятным:

«Господин, стоявший в проходе, повернулся и, слегка качнувшись, отступив на полшага и вновь поборов шаткость пола, вошел в отделение.

Только тогда Франц увидел его лицо: нос — крохотный, обтянут по кости белесой кожей, кругленькие, черные ноздри непристойны и ассиметричны, на щеках, на лбу — целая география оттенков,— желтоватость, розоватость, лоск. Бог знает, что случилось с этим лицом,— какая болезнь, какой взрыв, какая едкая кислота его обезобрвзили.

...У Франца дрожь прошла между лопаток, и во рту появилось страшное ощущение... Память стала паноптикумом, и он знал, знал, что там, где-то в глубине,— камера ужасов. Однажды собаку вырвало на пороге мясной лавки; однажды ребенок поднял с панели и губами стал надувать нечто, похожее на соску, желтое, прозрачное; однажды простуженный старик в трамвае пальнул мокротой... Все — образы, которых Франц сейчас не вспомнил ясно, но которые всегда толпились на заднем плане, приветствуя истерической судорогой всякое новое, сродное им впечатление. После таких ужасов, в те еще недавние дни, вялый, долговязый, перезрелый школьник ронял из рук портфель, бросался ничком на кушетку, и его долго мучительно мутило. Мутило его и на последнем экзамене,— оттого, что сосед по парте, задумавшись, грыз и без того обгрызанные, мясом ущемленные ногти. И школу Франц покинул с облегчением, полагая, что отделался навсегда от ее грязноватой, прыщеватой жизни.

Господин разглядывал журнал, и сочетание его лица и фотографии на обложке было чудовищно».

Кто все это написал? «Нормальный» Набоков. Конечно, к этой «камере ужасов» не сводится ни роман «Король, дама, валет», ни творчество его, ни вся жизнь. Но ведь и Е. Замятиным написан не только роман «Мы», и Андреем Платоновым не только «Котлован». Между прочим, если не воспаляться, и «Приглашение на казнь» Набокова не надо квалифицировать как «досадное выпадение из общего строя». Во-первых, сколько я знаю, Набоков от этого романа никогда не отрекался. Во-вторых, «досадные выпадения» художников такого уровня всегда имеют объяснения, часто столь поучительные, что оборачиваются переворотом в мировоззрении. Не грех было бы и задуматься, прежде чем обнажать шпагу.

Я не всеяден. Мне не нравится плохая литература. Но для меня никогда не было внутреннего разлада между Достоевским и Толстым, Чеховым и Кафкой, Ахматовой и Цветаевой. Их не только в космос послать — за стол нельзя вместе усадить. Но каждый из них в последней степени правдив. Каждому я в какой-то момент жизни отзываюсь. Я богаче их, потому что не совпадаю. И в то же время они строят меня, потому что жизнь многосоставна и многосложна. Ни одна из этих правд во мне не отменяет другую. Они последовательны, переменны и в то же время всегда существенны. А во мне есть еще собственная правда, тоже, впрочем, весьма сложного конгломерата. Но я всем благодарен за дележ.

Никогда, вероятно, не буду перечитывать Хемингуэя. Но это ведь мой сюжет, его тексты продолжают жить своей жизнью, и мне не в чем их упрекнуть. Бродского читаю чаще, чем Ахматову. А он почитает ее чрезвычайно. Есть ли тут противоречие?

Романтизм оторван от жизни, конструктивен, прян, высокопарен, водянист. Ну что же, любое явление имеет свои края, крайности. Проповедуемое Пуриным мировоззрение тоже. Этическая аморфность, неконструктивность, фактурная загроможденность, прикрытая светскими манерами духовная импотенция, близорукость. Однако есть ведь и замечательное, созданное художниками разного цвета таланта. Плодотворно ли заниматься эстетическим расизмом?

И еще: не надо обходиться с романтиками как с недоумками. Они ведают, что творят, и сознательно несут свой крест.

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется — возмездье
За то, что каждый раз

Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.

Это — Цветаева. До конца в Елабуге оставалось еще больше двадцати лет. Она ли не знала, за что платит?

В статье Пурина есть замечательно точные слова. Он пишет о дорогом: «„Лолиту“, как и „Дар“, нельзя понять, если отнестись к ней не квк к поэзии, а как к информации. Это лирическое произведение, которое следует судить по законам лирики, а не „этики“. Работа текста романа подобна работе стихотворного текста новой поэзии. Никто же не поверит Маяковскому, когда он пишет: „Я люблю смотреть, как умирают дети“. Не будем уподобляться соцреалисту М. Рыльскому, нашедшему криминал в строчках Анненского — „Я люблю, когда в доме есть дети И когда по ночам они плачут“. Взяв эти строки эпиграфом, душевнейший друг детей Рыльский поправляет „мизантропа“ Анненского: „...И когда эти дети смеются“». Все это очень верно. Но ведь именно так надо относиться критику и к текстам нелюбимых им авторов. Когда та же Цветаева пишет:

Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет,—

она все же не самоубийство имеет в виду и не отказ сотрудничать с жизнью. Это стихи о несовместимости человеческой свободы и фашизма. Есть у нее идеалы.

Художники XX века часто смотрели на мир не то что «из-за стекла», но сквозь колючую проволоку. Пурин призывает их к «коллаборационизму». Смешно, но больше — стыдно. Ну, конечно, когда «выветрится тоталитарный нафталин из нашего отечественного шкафа», вся эта литература, может быть, действительно станет никому не интересна и «займет прочное место где-нибудь рядом с Эдгаром По». Хочется поймать ваш оптимистический взгляд и разделить уверенность, которая так радостно приближает чеховские перспективы. Привет, соотечественник!

ВСПОМИНАЕМ...

Алексей
МАШЕВСКИЙ

ПРЕРВАННЫЙ ДИАЛОГ

Что я хочу? Зафиксировать мысль, откровение, мелькнувшее своим радужным опереньем посреди интересного, возбуждающего разговора, или описать сам этот разговор, соблазняясь речевыми заминками, забавными отклонениями и оборотами, странной, не зависимой от нас жизнью языка, или дать портрет моего собеседника, точнее, собеседницы, так много видевшей на своем веку, так много обдумавшей и высказавшей, что, задавая вопрос, инстинктивно ждешь ответа от времени, от целой эпохи; а может быть, я хочу признаться в любви и боли? И еще надо не забыть посмеяться над велеречивым вступлением, улыбнуться, поскольку больше всего здесь приветствуется юмор и живая, приверженная целительному сомнению самоирония. Вот уж нагородил!

Однако задача в самом деле непростая, потому что хорошо бы избавиться от набивших оскомину описаний, диалогоподобных интервью, раскладывания наблюдений по заранее заготовленным логическим полочкам: как повернулась, как посмотрела, что вспомнила... Ах, не удержаться будет!

Вот сама Лидия Яковлевна Гинзбург решает эту проблему просто и радикально, оставляя от «персонажа», от его высказывания лишь то, что может быть ассимилировано авторской интонацией и дать новое, неожиданное направление стремительно идущей в рост мысли. В моем случае, правда, этот рецепт не годится, поскольку «персонаж» читателю куда интереснее каких бы то ни было авторских интонаций. Итак, будем ловить дюжину зайцев, разбегающихся в разные стороны.

Бывают такие особые июньские дни, когда под вечер свет целиком заполняет пространство странным зеленоватым и ровным сиянием, когда блики от колышащейся листвы никак не успокоятся, шевелятся, норовя обернуться то золотистою сетью, то дырявой ветошью, то пылью, покрывшей стекла очков. А ветер сгибает, гладит перестоявшие длинные стебли травы — такие покорные, такие густые, какими бывают разве только в молодости волосы (копна, не прячущаяся под головной убор вихрастая шевелюра), мягкие волосы, свободно полощущиеся на ветру. Может быть, поэтому, когда смотришь на молодое июньское бескрайнее это колыхание, на свет, как бы не тронутый ни зноем, ни влажностью, ни тяжелым духом плодоносящей земли, тревожит тебя чувство, похожее на влюбленность, на ментоловое желание чего-то неуловимого, невозможного — такого, что увидел только и сразу же ощутил тихую боль, легкую смерть.

Комната Лидии Яковлевны напоминает в такие вот светлые летние вечера большой, пронизанный солнечными лучами аквариум. Поворачиваешься боком к яркому раскрытому окну, точно сонная рыбка, обводишь стенки удивленным, круглым глазом: стеллажи, книги — на столе, на подоконнике, на полу, цветные пятна корешков, золотых пропыленных букв. И как-то спокойно-спокойно, словно можно и не говорить ни о чем, слушать детские голоса с улицы, смотреть на гиацинты в вазочке и на митрохинский цикламен. Это только поначалу сюда идешь, волнуясь и вожделея, ожидая от встречи сокровенного зрелища, лицезрения живого классика, одобрительного кивка — «старик Державин нас заметил...». Вот уж что самое тут неважное — распределение ролей в сочиняемой честолюбием провинциальной пьеске.

И кто бы мог подумать, что так скоро мне придется увидеть эту комнату иной!

Может быть, весь ужас смерти в том и состоит, что она не бывает одномоментной, что ее разрушительное действие наступает задолго и не обрывается сразу физической гибелью человека. Нет, остается еще мир его дома, его вещей, обреченных на мучительный распад и деградацию. Ведь только наше присутствие одушевляет, придает целесообразность тем, зачастую случайным связям, которые соединяют в одном куске пространства письменный стол и кресло, клочок бумаги, смешную пузатую фигурку, чайник с падающей крышкой, рисунок засыхающей розы, цветную яркую фотографию — и книги, сотни, тысячи книг. Бедные, бедные предметы, что с ними будет со всеми!

Особенно быстро сиротеет одежда, теряет смысл, превращаясь из употребляемого каждодневно платья, платка, кофточки в молчаливую драпировку, в цветную тряпку, наделенную какой-то повышенной способностью мучить, внушать тошнотные приступы почти физиологической тоски. Пустая кровать, неприбранный, заваленный бумагами стол, симулирующий, длящий еще ту минуту жизни и активности, которая прошла и невозвратна, темные пятна невыгоревших обоев, отмечающие места прежних картинок, рисунков, пыль на корешках книг. Вот эту я хотел попросить почитать у Лидии Яковлевны, а эту она давала мне месяца два назад.

Удивительно: то, что всегда рассматривал как непредставимое, внутренне невозможное, такое, с чем нельзя будет примириться, логикой жизни превращается вдруг в свершившийся факт, и поступки твои, предпочтения, реакции начинают приспосабливаться к этой данности, обволакивая ее, поглощая — так плоть обволакивает застрявшую в теле пулю. И знаете, такая уступка реальности вызывает в душе не гнев, не отчаяние, даже не горечь — напротив, успокоение и подъем, словно нам обещано нечто большее, сверх расчетов и ожиданий (может быть, даже возвращение, встреча — как знать, ведь оказалась же жизнь сильнее нашего ужаса перед смертью).

«Ничего, ничего, все это вам пригодится, любой опыт пригодится»,— говорила Лидия Яковлевна. «Говорила...» — я, кажется, впервые употребил прошедшую форму глагола и сразу почувствовал боль. Чуткий мучитель — язык, посылающий нам издалека нежные печальные напоминания... Он теперь сохранит навсегда вернее базальтовых надгробий простые емкие формы скорби: «говорила», «любила», «была».

Невозобновимость действий, впечатлений, той радости, что сопровождала общение с дорогим человеком, преследует и по ночам какими-то странными, исполненными отчаяния снами. Но чем больше потеря, тем бесповоротней отказ от себя — бывшего, тем более освежителен новый, подспудный прилив сил, когда ты снова гол и свободен, и нет путей отступления, и иррациональная потребность жить, наблюдать, участвовать наделяет сердце мужеством, а душе дарует спокойствие и просветление. Так в молодости понимаешь цену взросления и его необходимое условие — смерть.

Кому хотелось бы рассказать об этом? — Лидии Яковлевне...

А помнишь ее запись? —

«Вот человек написал о любви, о голоде и о смерти.

— О любви и голоде пишут, когда они приходят.

— Да. К сожалению, того же нельзя сказать *о* смерти».

Меня все мучает ощущение, что самое-самое, самое важное было оставлено на потом... А теперь не спросить, ожидая ее горячего внимательного взгляда, слова, предваряемого медленным движением растягивающихся тонких лиловых губ. Впрочем, должно же быть что-то непроницаемое, непригодное для анализа и трансформаций, то, что есть переживание жизни в чистом виде без покровов и отвле-

чений — точнее, уже непереживание. Но почему-то взгляд непроизвольно устремляется туда: вероятно, искусство здесь чувствует свой последний предел и тем настойчивее стремится утвердиться на конечной границе. Зачем, зачем этот последний опыт, уже не могущий дать ничего? Или это уже не наш опыт?..

Теперь многие бросятся перечитывать ею написанное уже иначе, ответственнее, отчетливее, честнее. Возможность живого общения часто мешает быть внимательным, ведь и перед читающим стоит проблема выбора, понуждения себя к последнему интеллектуальному усилию, позволяющему разомкнуть круг. Но когда можно встретиться, перезвонить, переспросить, уточнить, усвоить как бы в «разжеванном» виде!.. Какой соблазн облегченного отношения к тексту, и какая ошибка! Мысль, принявшую свою естественную, единственную непроизвольную форму не перетолковать; не рассказать, как стихи, как живопись, как любимую музыкальную фразу. И мне страшно теперь читать эти страницы, и чувство такое, будто комнаты, в которые я свободно ступал, наполнились эхом, и стены зарезонировали, и потолок оказался сводом, и на шепотом произнесенный вопрос приходит многоголосый отклик: «В старости не следует (по возможности) бояться смерти, потому что из теоретической области смерть перешла в практическую. В старости нельзя жаловаться, потому, что кто-нибудь может в самом деле пожалеть... Нельзя опускать руки, потому что в старости этот жест чересчур естественный». И дальше о том, сколько позволено молодости, сколько ей отпущено и простится.

Но я ведь помню: Лидия Яковлевна сидит в своем кресле напротив, смотрит чуть в сторону, склонив голову к правому плечу, непроизвольно теребит, поворачивает серебряное кольцо на пальце, а разговор идет о неразрешимости проблемы смерти для индивидуалистического сознания, и (о, странность!) ей, как молодой, как двадцатилетней, позволено касаться этого вопроса сугубо теоретически — то есть страстно и горячо, то есть так остро и непосредственно, как будто ей неведома ближайшая перспектива, или она умеет отстранять от себя страх (а мы ведь за год до смерти говорили). Вот сейчас она скажет: «Ну что ж... э-ээ...» И будет пауза в 10—20 секунд, после которой речь потечет уже без остановок и прерываний, накручиваясь на запущенное колесико мысли:

— У вас вместо индивидуализма получается эгоизм, тогда как индивидуализм в высших своих проявлениях как раз от него свободен. Ну, тут важна не замкнутость на себе, а... ну, вот то, что я называю обязательным личностным переживанием

внеположного. То есть индивидуалистическое сознание стремится обнаружить вовне безусловные ценности, которые затем должны быть пропущены через себя... Тем самым решается вопрос об обязательности этического предпочтения при сохранении свободы выбора. Разрушение индивидуализма началось с разрушения этих безусловных внеположных ценностей: идеи бога, затем социальной идеи. Потом и со свободой выбора стало туго.

— Иосиф К. у Кафки?

— Да, да...

Лидия Яковлевна говорит, осторожно подбирая слова, часто останавливаясь и припоминая что-то. Потом догадываешься: свободнее чувствуя себя с листом бумаги, она сверяет разговор с написанным ею ранее, как бы испытывает свою мысль на еще одном собеседнике. Это не значит, что ей неведома живая реакция спорщика, упоение парадоксально разрастающейся сетью логических ответвлений разговора, но какое-то особенное уважение к мысли, к истине (я бы сказал, даже к порядку, если бы понятие это не отдавало некоторой одномерностью), цепкое внимание к исходному пункту рассуждений присутствует всегда. И в нужный момент она вернется к, казалось бы, уже всеми забытой изначальной идее, суммирует высказывания, подведет итог. Может быть, иногда это даже будет звучать банально, но ее сосредоточенность, ее внимательная цепкость, ее системность (подчас как бы намеренно отсекающая лишнее, вышелушивающая посторонние интенции) производят неизгладимое впечатление. Разговор? Нет, скорее веселое священнодействие. А какая торжественность в посторонних бытовых замечаниях, совершенно неожиданно вклинивающихся в беседу: «Как вы думаете, может быть, закрыть шторы... а форточку оставить открытой?.. Пожалуй, только до половины... Так... Ну, еще можно чуть-чуть прикрыть...» Даже консервы надо открывать ответственно и сосредоточенно, специальной патентованной американской открывашкой (как правило, эту миссию берет на себя сама хозяйка). Впрочем, за подчеркнутой организованностью и разумностью заведенных раз навсегда ритуалов проглядывают безуспешные многолетние попытки творческого человека справиться с бытом, овладеть путем рациональных установлений стихией, которая менее всего пригодна для логических трансформаций и охотнее подчиняется ведьминским заклинаниям домохозяйки с шумовкой. Сколько раз вода из перекипевшего чайника заливала конфорку! А лекарства так и оставались непринятыми. Другое дело область интеллектуальных поисков и блужданий...

— Это интересно, что вы говорите, Лидия Яковлевна. Я, правда, пытался подойти к проблеме несколько иначе. Для меня индивидуализм — это примеривание к себе жизни, тогда как нынешнее сознание озабочено не столько поиском соответствий, сколько исследует саму возможность жить, мыслить, действовать, любить. Любить жизнь — это же дар Набокова. То же, скажем, и в стихах Кушнера.

— Да, про дар правильно. Но, видите ли, у Кушнера, кроме дара любить, есть еще и внеположные ценности, которые он вводит как бы тайно. Они не проявлены. Это как раз свойство XX века, что либо внеположных ценностей нет, а есть только дар — как, например, у Бродского (и это ощущается как недостача, трагический пробел), либо они не проявлены.

— Но, Лидия Яковлевна, мы же как-то говорили с вами о новом герое, новой модели человека в поэзии Кушнера, новой специфике. Не может же она состоять в одной непроявленности?

Лидия Яковлевна откидывается в кресле. Свет, льющийся горячим потоком из широкого окна, слепит. Рефлекторно, стараясь избавиться от назойливого липкого полыхания, она отворачивается, смотрит на меня чуть сбоку, потом, осознав, что это солнце мешает ей сосредоточиться, замечает: «Подождите, я сейчас пересяду в другое кресло». Грузно встает... Она всегда не любила жары, духоты, зимой проветривала комнату до состояния легкого морозца, так что, навещая ее, я и в толстом мохеровом свитере замерзал от долгого сидения. Она же ходила в одном платье, только иногда накидывала кофту на плечи, не боялась сквозняков. Лишь однажды простудилась по-настоящему — за четыре месяца до смерти: пневмония, бронхит. Ее невозможно было уговорить вести себя разумно, не вскакивать с постели, хорошенько укрываться, завязать платком грудь.

— Ну вот еще. Нет, я не буду. Мне жарко, и потом он колется. Знаете, там есть такой шелковый шарфик. Разве что им... И нельзя же все время лежать... И потом, уверяю вас, все эти лекарства не помогают. Невозможно принимать столько таблеток.

Положение было уже очень серьезное, но сознание как будто не могло охватить горестную реальность, прячась за капризными детскими отговорками. Она словно бы не понимала... понимала, конечно, но такое понимание невозможно все время держать в уме, эту тему бесперспективно мусолить. Со смертью кокетничают лишь когда неопасно. Впрочем, вытесненное из сознания закрепляется на подсознательном уровне, проявляясь особой какой-то тиранической раздражительностью, недовольством обслуживающими тебя людьми, недовольством, которому потому-то и позволено быть выпущенным на волю, что плохи, плохи, плохи, плохи дела. Впрочем, так же, как болезнь не может поглотить всего внимания ребенка, лишь отвлекая его на время кризиса от игрушек и книг, не поглощали лечебные заботы и Лидию Яковлевну, свободную от пристрастия многих старых людей к самозабвенному обсуждению с близкими мельчайших деталей своего самочувствия. По-моему, ее больше интересовали политика да судьба рукописи, с которой возникли заминки в «Советском писателе».

— Ну (Лидия Яковлевна расположилась в кресле под тышлеровским портретом Ахматовой)... ну так... Ах, да! Но вы ведь, Алеша, сами говорили про этого героя Кушнера — обычного человека, поставленного на пьедестал. Кстати, это совсем не набоковский тип. У Набокова они все-таки все отмечены некоторой избранностью.

— Нет, нет, ничего подобного. Ну в чем, скажите на милость, избранность Г. Г.? Обычный писака. Нет, дело в даре, понимаемом не как избранность, а как особость. Он наделен даром любить жизнь или хотя бы один прихотливый горячий изгиб этой жизни: нимфеток, бабочек, шахматы — все равно. Дело в том, что дар становится больше самого человека.

— Это так... начинает подчинять и вести, делается самостоятельной доминантой. Я знаю... Но, понимаете, я всю жизнь чувствовала недостаточность дара самого по себе. Дело в том, что его ведь нельзя обосновать как внеположную ценность.

— Но ведь такое обоснование нужно лишь индивидуалистическому сознанию.

— Да, но вы не учитываете, что я и есть еще во многом человек индивидуалистического сознания... Хотя то, что вы говорите про дар любви к жизни... Ну, вот в «Возвращении домой» это тоже есть: про природу, про море...

— Конечно, есть!

Помню, как три года назад в этой же комнате я читал еще не опубликованное «Возвращение домой». Текст тогда показался очень трудным, загадочным, может быть, из-за того, что торопился и напряженно прислушивался к реакции Лидии Яковлевны, сидевшей напротив, просматривавшей пачку моих новых стихов. Она, впрочем, тоже не могла сосредоточиться, все время отрывала глаза от бумаги, спрашивала: «Ну как, вы много уже прочли?»

Потом воспоминания о ее прозе догоняли, приходили, откуда-то извне, теребя. Природа в этом повествовании такая странная, совсем не безразличная, не стафажная (как это чаще всего бывает в прозе, когда писатель громоздит кулисы для последующего действия) — собственно, у Лидии Яковлевны и не природа вовсе, а такой напряженный, пульсирующий поток восприятия раздраженного, смущенного тайным чувством человека. «Телом, потерявшим свою тяжесть, пловец не ложится, но откидывается на спину, примерно как в шезлонге. Он видит небо, не имеющее цвета, и справа низкие горы сухих серых и розовых тонов. Ему нравится, что он видит все это, в этой именно перспективе, благодаря собственному усилию. Даже не усилию — усилие незаметно; скажем, благодаря собственному желанию держаться на поверхности воды. Вообще он существует сейчас только собственной идеей. Это особенно ясно, когда плывешь против короткой и крепкой волны, систематически бьющей в рот и подбородок. В самодовольство пловца входит, конечно, представление глубины, но очень абстрактное. Глубина плохо понятна — разве море, в самом деле яма, наполненная водой?»

— И все равно (Лидия Яковлевна словно с усилием стряхивает с себя задумчивость), все равно: для меня всегда ценностью был дар, творчество, но как внутреннее ощущение, как возможность. Однако, понимаете, мне всю жизнь не хватало этого. Ведь можно же заблуждаться. Ведь субъективным переживанием нельзя заменить внеположную ценность, такую, например, как идея бога для религиозно мыслящего человека. И, если хотите, это наиболее драматическое противоречие, наиболее острое переживание всей моей жизни. Ну, об этом — «Мысль описавшая круг».

— Да, я понимаю. Но, Лидия Яковлевна, ведь тут-то и происходит преображение. Ведь своей «Мыслью описавшей круг» вы этот самый круг размыкаете. Творческим усилием размыкаете. Логически нельзя доказать, что дар — ценность, однако, это можно продемонстрировать. Точно так же, как человек обосновывает свою силу не рассуждениями о собственной молодости и здоровье, а действием: берет груз, поднимает его и несет. Это что-то вроде апории Зенона. Если следовать логическим выкладкам, Ахиллес никогда не догонит черепаху, стоит, однако, устроить соревнование...

Впрочем, остается еще упрямое недоверие к зрению, мизантропическое убеждение, что мир только и создан для того, чтобы тебя дурачить. «Кажимость», знаменитая «кажимость», даже Пушкина соблазнившая на каламбур:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

К счастью, еще на первом курсе института я смог объяснить себе эту черепаховую апорию, и уже не зрительно, а в наивном

всеоружии законов квантовой механики. Все-таки непонятно, почему лукавому уму надо больше доверять, чем волшебному зрению, чувственному пиршеству, хрустальной радости глаза. Впрочем, тем приятнее, что свидетельства органов чувств находят себе союзников на уровне мельчайших мировых событий, где царствует Принцип Неопределенности, где сопменный янтарю греческий элёктрон — электрôн находится сразу в нескольких точках изменившего свойства, сжавшегося пространства.

Туманное серебристое облачко, напитанная энергией капля — как представить себе частицу, сочетающую протяженность с неделимостью? Тут уже разум требует от математической формулы убедительности зрительного образа. И придумываешь, воображаешь замысловатые сферы и петли атомных орбит. Скорее сферические поверхности, скорее грушевидные, гантелеобразные стяжки, сверкающие эллипсоиды. И вот, начиная с определенной величины малости, мы еще здесь и мы уже там. Пространство и время нельзя дробить бесконечно...

«Понятно»,— говорит Лидия Яковлевна с обычной интонацией, дающей знать собеседнику, что его внимательно слушают и удовлетворены. «Понятно»,— говорит она, откидываясь на спинку кресла. И потом со смехом: — «То есть ничего не понятно...»

Этот разговор имел своим началом одну совместную прогулку в Комарове шесть лет назад. Помню довольно крутой спуск к морю от Дома творчества, мимо огромных дачных участков с елями, соснами, сохраняющими видимость леса. Большая часть пространства тонет в тени, и пародийные «частные» леса, перелески, рощицы оставляют мрачноватое впечатление. Вдоль дороги — канавы, заросшие дурной яркозеленой остролистой травой, вызывающей на воспоминания о жуках-плавунцах, головастиках, водяных пауках, скользящих по черной глади — в общем, обо всем том, что составляет предмет подробных каждодневных ребячьих забот, источник радостей и впечатлений. Энтомологи, вероятно, остаются детьми на всю жизнь — только этим и могу объяснить их небрезгливую способность выискивать, вылавливать, брать в руки всех этих жесткокрылых, членистоногих, паукообразных — брр... Меня теперь ни за что не заставишь. А когда, открывая ящик на работе, видишь это футуристическое шестиногое рыжее чудовище на твоих бумагах! Побежал, побежал, шелестя лапками... Прости, Грегор Замза, боюсь, я был бы непримиримее твоих испуганных родичей!

Неужели религиозное сознание может справиться со всем этим? Помню едва уловимый вызов и неясное ожидание, почудившееся мне в словах Лидии Яковлевны: «к сожалению, я в бога не верю». Мы сидели на бревне, наполовину засыпанном песком. Залив, открытый взору, серебристо-коричневый, гладкий, с медленными бурунами воли, с отблесками и солнечными рефлексами загустевал, тяжелел в десяти шагах перед нами, и небо было необыкновенное, словно бы расслоившееся на радужные лохматые полосы облаков: от холодного стального до малинового, тревожного и ликующего.

Можно не верить, а все-таки заглядываешь за край с тайной робостью, как в детстве в щелочку неплотно прикрытой двери. Вдруг в пустой комнате кто-то есть? Ах, зрение радо сразу же представить нам косвенные улики присутствия. Этот воздух, это сумашествие и небесах, сам наш разговор, тихий, растворяющийся в близорукой охристой дымке, уходящие в песок слова... «И в душе моей пусто и сладко...» Вера — ведь она в потрясении и тишине, в молчании на мгновение умолкнувшей, остановленной страсти. А всякие там убеждения, заповеди, конкретные модели спасения... Не очень-то они помогают...

Последний раз я видел Лидию Яковлевну в больнице, после удара, часов за пятнадцать до смерти. Если и узнала меня, то на секунду, не более. Когда взял за руку, посмотрела своим характерным вопрошающим взглядом снизу вверх и сразу отвлеклась, закашлявшись, захрипев. Только руку мою не отпускала, сильно-сильно сжимала, притягивала к себе. Словно бы опоры искала для какого-то последнего, самого трудного усилия.

Вечером я перечитывал ее последнюю книгу, и взгляд упал на строки: «Странно, что мне всегда было легче узнать о самоубийстве человека, чем о любой другой форме смерти. Только он одолел тайну судьбы, сам выбрал себе „годовщину“. Если бы только знать за собой эту силу, эту возможность, можно ведь жить, не боясь ничего — болезней, беспомощности, деградации, самой смерти».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Русский словарь языкового расширения. Составил А. И. Солженицын. М.: Наука, 1990.

В антиутопии Дж. Оруэлла «1984» тоталитарная власть очищает «старый английский» язык от ненужных слов — с целью создать Новояз, пригодный только для выражения ортодоксальных мыслей. Это — конечная цель, это сбудется к 2050, а пока, в 1984-м, все говорят и думают еще на старом английском. Но быстро сокращается его словарный состав — и у людей быстро отмирает сама способность мыслить. Ибо язык — это прежде всего средство мышления.

Носители Новояза механически проглатывают готовые бессодержательные ярлыки: «враг народа», «форма общественного сознания», «экономика должна быть экономной»,— и опора режима не в том, что человек не знает, какая это «бюрократия» губит страну, а в том, что он не способен даже задать себе такой вопрос.

«И мне захотелось как-то,.. восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему... Лучший способ обогащения языка — это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств... Тут подобраны слова, никак не заслуживающие преждевременной смерти, еще вполне гибкие, таящие в себе богатое движение — в между тем почти целиком заброшенные». *Алчничать. Забубенщина. Хвалебщик. Морозобой. Крадун. Вслушливый. Мохногривый. Нахвостничать* — просто самоцветы. Другие слова сами по себе, может быть, и тускловаты, ничего особенного,— но сразу заиграют, если удачно подобрать оправу: водой *сплеснуло*; *хлёстко* кони скачут; *хлёстко* торгуют; все наши *присердечные* тут. Эти слова и составляют «область желанного и осуществимого языкового расширения».

Лингвистическая утопия? — как отозвались многие, кто с насмешкой, кто с горечью. На обозримое будущее — увы, пожалуй. Но в том и счастливый парадокс нашего мира, что утопии и заблуждения великих умов всегда не только мудрее любой посредственной «правильности», но и в жизнь они несут больше пользы и добра — уже тем, что бесценнее будят мысль и совесть.

Конечно, можно было бы построить Словарь по другому принципу — как словарь экзотических синонимов к общеупотребительным словам. Легче было бы пользоваться всем пишущим. Но получился бы справочник. А солженицынский Словарь — для чтения. Для наслаждения. Для обогащения.

И. РАК

Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. Перевод с испанского. М.: Радуга, 1989; Хорхе Луис Борхес. В сборнике «Книга песчинок». Фантастическая проза Латинской Америки. Перевод с испанского. Л.: Художественная литература, 1990.

Борхес одинок, как крик, бегущий от эха. Если бы он сам не был богом, то посетовал бы с Тем на то, что хоть вариантов и великое множество, но все они уравнены безнадежностью. Он отказался от поэзии. Поэзия ищет эвфемизмы для ужаса; метафора унимает страх, дробит на образы его ясный и дикий первобытный лик, превращает смерть в смутную бездну, а была она когда-то за чертой, проведенной по обычной земле, и за той чертой еще можно было пройти несколько шагов с разваленным горлом. Метафора — мост от Слова, которое было вначале — к тому началу, где слово еще не заслонило невнятную нам очевидность. Борхес выгрызает эту непостижимую очевидность, как остов из сочности и мощи латиноамериканской литературы, потрясшей нас Чернобылем роскоши метафор, которыми заросла кровь.

Он отказался от времени, от перемен его и сдвигов, ибо, несмотря на все ухищрения рафинированности, все попытки цивилизации, жизнь в конце концов опять обнажается как страсть, рвущаяся к единственному неизведанному, к единственному, способному утолить — к смерти. Ближе, чем на рукоять кинжала, не сойтись ни любящим, ни враждующим. Ярче света клинок и горячее солнца пуля. Где же еще звучать бьющей наотмашь офицерской фразе Борхеса?!

Куда там высокомерию Киплинга, куда презрительной усмешке Мериме, не подающим смерти руку; для Борхеса она — добыча.

Его рассказы кончаются как сны — ужасом пробуждения. В смерть или в жизнь? Решайте сами, если способны опознать разницу по скарбу, разбросанному вокруг нас. И еще — кажется, он все-таки встречается с Богом, но поздно, ибо последний из великих сюжетов — сюжет о самоубийстве Создателя.

Этот мир был столько раз отдан на поток и разграбление литературе, столько раз отдавался в рабство ее зеркалам, что сам стал отражением, неотличимым от своих отражений. Он приобрел очертания формы, которую Борхес хочет разбить. Потому что и в духовном пространстве существует уже очевидность, переставшая быть метафорой для новых ископаемых — духовная смерть, лежащая за чертой книги.

И все-таки воля к смерти продолжает ЖИЗНЬ, ибо жалко, что все вышло именно так, жалко, что все так получилось, а если не жалко, то не стоит читать Борхеса.

Е. СКУЛЬСКАЯ

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Том первый. «Октябрь», 1990, № 10—12.

Семидесятилетнее опоздание сделало особенно злободневной эту скрупулезнейшую историю болезни: впечатляет и армия, доблестно сражавшаяся за деспотическую Россию, но отказавшаяся защищать «свою свободу», впечатляет и национальная рознь, вспыхнувшая именно тогда, когда правительство было готово к невиданным национальным уступкам. Военному человеку представляется безумием и тот аукцион обещаний, послаблений и славословий, который в борьбе за «расплавленные массы» устроили демократическое правительство «помещиков и капиталистов» и «народная власть» митингов и Советов, отменившая робкие попытки центра хоть чем-то распорядиться. В такой ситуации никакое правительство не может удовлетворить всех, меланхолически замечает автор, еще не знающий, что в довольно скором времени правительство Сталина будет пользоваться почти всеобщей любовью.

Деникин (рука отказывается вывести имя этого чудовища, стеснявшегося полностью написать слова «сукин сын») подробно разбирает пагубность того или иного приказа или назначения. Но, кажется, и у него брезжит догадка, что общественное равновесие лишь отчасти покоится на законах, убеждениях, интересах и т. п., а основная его опора — в общественных стереотипах и символах, главное могущество которых заключается в том, что им подчиняются, не задумываясь, — будь это «отечество», «государь», «партия», «демократия», «командир», «права человека» — или просто набор привычек. Если же эти эмблемы перестают вызывать *нерассуждающее* почтение — тогда становится почти невозможным найти ту силу, которая могла бы ввести в берега человеческие — нет, не поступки, а *желания*. И этой силой очень часто становится ужас — ужас таких размеров, которые вызывают уже не протест, а обожествление. Такой силой может сделаться и овладевшая массами идея — неизбежно ложная, ибо только ложь бывает простой и общепонятной, только она дает твердые обещания, а истина всегда вызывает многообразие мнений и сомнений. Неужто историческое развитие заключается в том, что сила косности время от времени сменяется силой ужаса или силой безумия, которое может явиться в мир и через образованнейших и благонамереннейших людей — кто из нас может похвастаться, что он честнее Керенского и умнее Милюкова? И есть ли основания считать современных государственных мудрецов Запада более великодушными или дальновидными, чем их предшественников, искавших, по мнению главного белогвардейца, тактических выгод перед приближающимся концом света?

А. МЕЛИХОВ

Встречи с прошлым. Сборник материалов Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ). Выпуск седьмой. М.: Советская Россия, 1990.

Говорят, мемуары — атомные бомбы для пенсионеров... Уж не тех ли, что полагают: задним числом можно угробить прошлое? Но разве его угробишь! Его можно только замаскировать, затемнить, оподлить. И то не навечно. И рано или поздно правда о нем сделается всеобщим достоянием. Вот уже около двадцати лет являет нам эту правду ЦГАЛИ. Он знакомит нас при помощи Сборников «Встречи с прошлым» с уникальными материалами, хранящимися в архивных кладовых.

В архивные документы седьмого выпуска (воспоминания, дневники, письма, неопубликованные произведения) мы вчитываемся с чувством еще большего, чем когда бы то ни было, почтения ко всем и ко всему, очень хорошо, казалось бы, известному. И с удивлением, для нас нежданным, встречаемся и с незнакомой в чем-то Ахматовой (в обзоре, подготовленном А. О. Зайцевым по материалам архива Ю. Г. Оксмана), и с «новым» Пастернаком («Переписка Б. Л. Пастернака с С. Н. Дурылиным» — публикация М. А. Рашковской), и узнаем подробности последних дней жизни Маяковского (вот, кстати, строки из воспоминаний Г. Д. Катаняи о похоронах поэта: «...Толпа рвется в ворота. Встают на дыбы, вертятся среди надгробий лошади, осипшие от крика милиционеры стреляют в воздух...»). Мы погружаемся в тот поток писем, что вызван был почти три десятилетия назад публикацией в «Новом мире» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и приобщаемся к таинству стихосложения, заглянув в творческую лабораторию Николая Гумилева («Вторая песнь „Поэмы начала"» — публикация И. П. Сиротинской), и проходим по мрачным лабиринтам Гулага («Главы из воспоминаний М. М. Мелентьева» — публикация Е. Б. Коркиной), и всматриваемся в редкие фотоснимки, изображающие Сашу Черного, Б. Пильняка, М. Кузмина, Г. Шенгели, Г. Данилевского, Ф. Шаляпина и многих, многих других.

Нет, не прав был поэт, нечаянно обронивший: «Не надо заводить архивов...» Надо! Они необходимы и нам, и детям нашим, и внукам, и правнукам... Встречаясь с прошлым, яснее понимаешь настоящее и основательно готовишься для встречи с грядущим — уж теперь-то оно ни за что не обманет!..

А. ПЕТРОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Совсем недавно. Совсем давно

Людмила **КУЗЬМИНА**

КУДА ЖЕ ШЕЛ КОРАБЛЬ?

Роман О. Д. Форш «Сумасшедший корабль» впервые вышел в свет в 1931 году в Ленинграде. Его второе издание состоялось в нашем же городе только в 1988 году... Срок, равный целой творческой жизни. Разумеется, дело не в художественной несостоятельности этого произведения, ставшего раритетом. Сама писательница в автобиографической повести «Дни моей жизни» сказала: «„Сумасшедший корабль" — история русского быта первого десятилетия революции. Эту книгу я считаю лучшей моей книгой».

«Сумасшедший корабль» — это в значительной степени художественные мемуары, в которых широко, с долею гротеска, но и с мастерской точностью изображена литературная жизнь Петрограда тех лет, когда, по словам автора, «пришлось густо хватить революции».

Название романа относится прежде всего к определенному петербургскому дому, в котором по инициативе М. Горького, а также усилиями «Общества деятелей художественного слова» 19 ноября 1919 года открылся Дом Искусств, для краткости всеми называемый ДИСКом. Здесь Ольга Дмитриевна жила с 1920-го по 1924 год.

Этот дом принадлежал ранее миллионерам-бакалейщикам братьям Елисеевым. Он стоит на пересечении Невского (дом 15) с набережной Мойки (дом 59) и улицей Герцена (б. Б. Морской, 14). Построен в XVIII в. (1768—1771). Ленинградцы хорошо его знают по кинотеатру «Баррикада». До революции нижний этаж дома занимал крупнейший банк, а два верхних — богатая квартира, покинутая Елисеевыми в 1917 году. Среди брошенной владельцами мебели (которую в скором времени вывезли представители новой власти) осталось и два живых существа: кухарка Настя и лакей Ефим, продолжавшие с охотой служить новым хозяевам.

Дом Искусств сделался местом жительства многих, в будущем знаменитых писателей. Выдав им скудные, но спасительные по тем временам пайки, правительство, в свою очередь, от этой скученности в одном месте интеллигенции получило, очевидно, некоторые свои выгоды.

Роман «Сумасшедший корабль» построен на документальной основе. «Обдиски» — обитатели ДИСКа — узнаваемы, хотя они и зашифрованы кодом вымышленных имен: Еруслан — М. Горький, Микула — Н. А. Клюев, Кричалец — С. Г. Скиталец, Долива — сама О. Д. Форш, Инопланетный Гастролер — А. Белый, художник Либин — И. Я. Билибин, французский писатель Корьюс — А. Барбюс, Геня Чорн — Е. Л. Шварц, Жуканец — В. Б. Шкловский, Гоголенко — М. И. Зощенко, Копильский — М. Л. Слонимский, Котихина — художница Щекотихина, поэтесса Элан — Н. А. Павлович, Арноста — М. С. Шагинян, Гаэтан — А. А. Блок, поэт с лицом египетского писца — Н. С. Гумилев.

Жили в ДИСКе также Н. С. Тихонов, К. А. Федин, Н. Н. Никитин, В. Ф. Ходасевич, В. А. Рождественский, Александр Грин, О. Э. Мандельштам и другие.

Кто постарше и попризнаннее поселился в просторных комнатах бельэтажа с высокими лепными потолками и мраморными столами. Иные жили в бывшей спальне, а кто и в комнате, соседствующей с уборной Елисеева — в четыре окна, с душем, силомерами и велосипедами и даже фонтаном, кто — в бывшей ванной и предбаннике; молодежь же — по преимуществу в комнатах для слуг, прозванных тут же «обезьянником». Окна этих тесных комнат выходили во двор, пройти в них можно было только из кухни по винтовой железной лестнице через темный коридорчик.

Ольге Дмитриевне досталась комната в «обезьяннике». Ее скромное жилище походило на учени-

ческий пенал. Окно выходило на Строгановский дворец, отчего комната Форш под лучами солнца освещалась красным отсветом: дворец был выкрашен тогда в оранжевый цвет. Рядом с Форш жила Шекотихина с маленьким сыном, через коридор — поэтесса Н. Павлович, а дверь в дверь — В. Милашевский. Он вспоминал: «Я слышал за стенкой, как Ольга Дмитриевна разжигает печурку, чем-то гремит... Потом тишина. Она пишет, пишет...»

Жили холодно и голодно. Обитателям ДИСКа навсегда запомнились «подвязанные веревкой подошвы Пяста, перелицованная куртка Замятина, заплаты на штанах Юрия Верховского, до блеска заношенный френч Зощенки».

Петроградский голод вполне коснулся и Форш. «Она больна, еле держится на ногах, целый месяц голодает до того, что от слабости большую часть дня лежит в постели. Пайка никакого...», — писал М. Горькому 23 мая 1921 года Р. В. Иванов-Разумник.

О многом в романе «Сумасшедший корабль» Форш пишет с юмором. Это — прежде всего о трудном быте, о его неустановившихся формах. Но как только речь заходит о необходимости создать новую культуру и о тех, кто всячески старался сохранить для народа старое наследие,— голос полон пафоса и лиризма.

«Сумасшедший корабль» — своеобразная летопись литературного послереволюционного Петрограда. В ДИСКе рождалась в муках почти вся петроградская литература. Книги чаще ходили в рукописях — типографские машины стояли. В узком профессиональном кругу читались и обсуждались новые произведения. Здесь Федин читал главы романа «Города и годы», А. Грин — свои рассказы и повесть «Алые паруса», Всеволод Иванов — «Партизанские повести». Со своей прозой выступал перед «обдисками» Зощенко, а также Тихонов, Кетлинская, Никитин и другие. Здесь слушали К. И. Чуковского и М. С. Шагинян. И Ольгу Дмитриевну Форш.

В стенах Дома Искусств она написала свой первый роман «Одеты камнем». «Сумасшедший корабль» родился уже в другом писательском «общежитии» — в «недоскребе» на канале Грибоедова, 9.

Но именно в «Сумасшедшем корабле» запечатлены многие интересные литературные события тех лет: выступления А. Блока, С. Есенина, собрания «Серапионовых братьев» — литературного общества, организованного в феврале 1921 года при ДИСКе.

Ольга Дмитриевна была непременным участником всех начинаний. По возрасту, происхождению («генеральскому»!) да и по культуре, ей, казалось бы, ближе было старшее поколение. Но все ее интересы влекли Форш в круг литературной молодежи. С охотой и без противодействия она вошла в их среду. «Серапионы» — Тихонов, Слонимский, Зощенко, И. А. Груздев, Федин, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Е. Г. Полонская — каждую субботу собирались вокруг большого, когда-то обеденного, стола и вели острые, принципиальные споры об искусстве, о его современном положении и предназначении.

Форш и в своих произведениях, и в спорах всегда отстаивала идею нравственного обогащения нового человека, для чего, с ее точки зрения, необходимо было «связать воедино две эпохи», сохранить русское искусство в те самые годы, когда «истории страны было не до искусства». Только с развитием в человеке духовного, нравственного, эстетического начал связывала писательница надежды на становление новой личности. В романе «Сумасшедший корабль» Форш настаивала на том, что вопрос о культурной революции необходимо решать вместе с социальными, экономическими проблемами. «Если своевременно не спохватиться и не обогатить человека внутренне,— пишет она,— он утечет у вас сквозь пальцы. Коли поете — кто был ничем, тот станет всем,— то уж не медлите, становитесь. Сколько ни освобождать человека внешне, если он мыслью и чувствами беден, слеп к красоте, глух к звуку, он только внешне причастный член коллектива, а втайне продолжает зависеть от „четвероногого“ в самом себе».

ДИСК стал местом общения писателей с любителями литературы. В парадной части дома, со временем приведенном в порядок и утепленном, все чаще происходили литературные собрания, привлекавшие подчас весь город. Много народу собралось в январе 1920 года слушать воспоминания М. Горького о Льве Толстом. Большая заинтересованная аудитория встретила Блока, выступавшего в июне того же года. 20 сентября к петроградским писателям приехал гость из Англии — Г. Уэллс. С неменьшим интересом слушали собравшиеся в ДИСКе в ноябре стихи О. Мандельштама в авторском исполнении. 4 декабря Маяковский привез в Петроград не напечатанную еще поэму «150 000 000» и «белый, в завитушках рококо зал „Дома искусств“ был набит до отказа. Уже не хватало приставных стульев. Слушатели плотной толпой стояли в проходах, сгрудились на ступеньках эстрады... Кого только не было здесь! И все литераторы, и Академия наук, и Эрмитаж, и студенчество, и многочисленные технические работники».

В холодном и голодном Петербурге кипела культурная жизнь.

Форш находила возможность отрываться от письменного стола, читала лекции, вела кружок на конфетной фабрике Жоржа Бормана, преподавала в театральной студии Шимановского.

Осенью 1921 года Ольга Дмитриевна перебралась в более просторную комнату. Ее родственник Н. Мещерский вспоминал: «Комната была абсолютно круглой и в ней не было ни одного угла». К круглым комнатам Форш проявила в своих произведениях определенное пристрастие. Подробнейше описана подобная комната и в романе «Одеты камнем» как комната Ф. М. Достоевского в Инженерном замке и, конечно, в романе «Сумасшедший корабль»: «Мы вошли в удивительную комнату. Она была огромная и совершенно круглая. По внешней стороне, огибающей проспект и канал с желто-зеленой водой, шли три больших окна. Первый план прекрасно совпадал с бесконечной перспективой на город. За окном, как призрак, возникло одно из чудес Растрелли — красный графский дворец. На фронтоне — две лисицы, вметенные на дыбы. В переменчивой игре заката они казались ожившими. Когда все окно охвачено пурпурно-золотым небом заката, и все здания зыбки, я в этом городе чую острее гений строителей».

Вряд ли кто-либо из современных Форш писателей с такой же любовью относился к городу на Неве, как она сама. В ее творчестве отражен исторический облик Петербурга—Петрограда—Ленинграда в разные эпохи его существования, создан его яркий живописный портрет. Город отвечал творческой потребности писательницы обогатить духовный мир своего современника, углубить его мысль.

Она знала Петроград разным. В 1920 году, приехав с детьми из Киева, она увидела город холодным, бесхлебным. Город был пуст, шла гражданская война. Нет топлива, в «буржуйках» горят книги. Петроград кажется зачумленным. Окна домов заколочены, парадные входы закрыты. Гранит рушится, решетки повреждены. Заводы бездействуют, над городом дымит только одна труба — водокачки: водопровод еще кое-как работает.

На перекрестках улиц — старики и женщины роют окопы. Только на какой-нибудь окраинной улице нет-нет, да и прогрохочет трамвай. На мостовых можно увидеть околевших лошадей. Лица у людей серые, с синевой под глазами. Школы закрыты, дети рассеянно слоняются по улицам. То тут, то там — хвосты очередей.



Андрей Белый. Рис. О. Форш. 1934



Александр Блок. Рис. О. Форш. 20-е годы

К весне по городу расползались мхи и травы; казалось, повсюду от каналов расходится влага, и Петроград поглощает болото. К лету сады, острова буйно заросли травой.

Но надо всем этим — под голубым небом сверкал купол Исаакиевского собора, высились стройные громады дворцов. Питер был красив какой-то страшноватой красотой...

«Сумасшедший корабль» — это не только Дом Искусств. Это еще и Петроград того времени. Городской пейзаж и картинки городского быта создают убедительную историческую канву книги.

Город «стоял такой знакомый, свой, с четырьмя недвижными лошадьми на мосту, со стороны Невского — Адмиралтейством», но небо над ним сейчас казалось «непривычно голубым», а «солнце слишком ярким». «Посреди, на выщербленной мостовой колосились злаки, синел василек, алел мак, а ромашки крутили головками посолонь».

Но обывателю в этом городе было страшно, он не всегда знал, дойдет ли до дома. «В феврале строчили пулеметы в городе, а сейчас всюду расклеены призывы: «Остерегайтесь шпионов! Смерть шпионам!». Ранее примечательный прежде всего своими архитектурными памятниками, садами, мостами над Невой — своей красотой, Петроград в тревожное время революции и гражданской войны «украсился» другими деталями уличного оформления. Например, столбами: «Столбы с объявлениями, призывами, воззваниями, в которых, положительно... была самостоятельная жизнь». «Столбы безмолвно объединились. Столбы стали провозглашать. Когда, кто наклеивал воззвание — было неуловимо. Желтоватые бумажки за ночь выдавались как бы самостоятельно из глубины столбов на поверхность». Столбы «выбрасывали» первый приказ Военного Совета (комитета обороны), приказы об аресте мятежных кронштадтских моряков, по которым «Ленинград открыл ураганный огонь, курсантам выданы саваны... курсанты в белых саванах, не отличимые от снега и льда, взяли форты». «На столбах был расклеен один, приведенный уже в исполнение приговор. Имя поэта там не значилось». Форш тоже не называет его имя, но подсказывает читателю, что речь идет о поэте «с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила». И читатель понимает, что имеется в виду Н. С. Гумилев. Форш рассказывает — насколько было возможно — и об обстоятельствах его ареста: «Ночью его арестовали. Никто не знал, почему, но думали, конечно, пустяки... А назавтра, хотя улицы полны были народом, они показались пустынными. Такое безмолвие могло быть только в жгучий полдень и еще когда в доме покойник, и живые к нему только что вошли». Прямее в 1931 году об этом нельзя было говорить... И без того не так много осталось нам от литературы тех лет таких, скажем, городских сцен: «Никто никому ничего не пояснял. Не спрашивали. Не толкались. Уже к стоящим недвижно подходил новый, прочитывал, чуть отойдя, оставался стоять. На проспектах, улицах, площадях возникали окаменелости. Каменный город». Это теперь мы знаем, что произошло все 24 августа, и на улицах Петрограда вывесили извещения о расстреле Н. С. Гумилева, и не только его, и что с этого августа начались массовые репрессии. В романе же Форш для нас важна каждая деталь, скажем, такая: «В Казанском соборе была панихида „по убиенным“. Было много народу и много слез».

Художник по профессии, Форш остро видела то, о чем принималась писать. Глаз ее был зорким. Не потому ли в ее романах появились еще не замеченные другими приметы времени. Так, описывая в «Сумасшедшем корабле» гражданскую панихиду по критику А. Волынскому, она замечает: «Кто-то видный сказал пространную речь о машине, где есть

шестерни, чьи зубцы — искусство, наука и общественная деятельность. И вот один из представителей, один из зубцов шестерни — такой-то — лежит перед нами мертвый. Но, надо надеяться, он скоро будет заменен новый зубом, и шестерня пойдет, как ни в чем не бывало.

Тогда женщина, не собиравшаяся говорить и не оратор, попросила слова. Она сказала: „...Человек не совсем то же, что часть машины и в особенности такой человек, как был покойный. И заменить его не так просто"».

В «Сумасшедшем корабле» действие происходит в основном в тех местах Петрограда, которые позволяют говорить об искусстве. Кроме ДИСКа, это — Мятлевский дом на Исаакиевской площади (№ 9), где автор показывает неподготовленному зрителю полотна К. С. Петрова-Водкина, объясняя их смысл, или Эрмитаж, где у картины Рафаэля просвещает «художественно необразованного юношу». Последнему Форш объясняет: «Мы сейчас знаем искусство только с классовой точки зрения. О том, что искусство... есть в то же время и средство самовоспитания, мы не знаем. Мы пока заняты только тем, чтобы освободить человека экономически». Даже веря в такую иерархию ценностей в голодной стране, Форш сильно сомневалась, не уподобится ли новое общество «голому королю, которого одни льстецы уверяли, что он великолепен».

Если исторические романы Форш не встречали препятствия к выходу в свет, то роман «Сумасшедший корабль» после 1931 года при жизни писательницы не издавался. Написанный рукою нелицеприятного летописца послереволюционной российской жизни, он оказался в ряду литературных произведений той поры, не допущенных к печати.

В 1931 году роман Форш вызвал резкие нападки официальной критики. Б. Рюриков в рецензии «Куда идет корабль?» утверждал, что «Форш реставрирует теории старого, классово враждебного нам искусства», что «писательница ничего не может понять в окружающей действительности», «симпатии Форш на стороне буржуазного Запада».

Роман не был включен ни в четырехтомное собрание ее сочинений (1956 год), ни в восьмитомное (1-й том вышел в 1962 году). Форш хлопотала об издании своего любимого романа до последних месяцев жизни. 12 января 1961 года Н. С. Тихонов писал ей, что «вернулся к „Сумасшедшему кораблю"» (за его выпуск в свет, кстати, и Тихонов, и К. А. Федин много, но безуспешно ходатайствовали перед властями), что его «страницы не поддаются действию времени. Они точны самой строгой точностью художественного припечатывания действительно бывшего...», что книга эта «не постареет, не поблекнет словесно» и «всякий любитель литературы прочтет» ее «с большим интересом, как документ эпохи начала советской литературы».

Новые времена

ИЗ ФОНДОВ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТЕТРАДИ»

П. ГАРРИС

ЧЕТЫРЕ ПИЕССЫ НА ТЕМЫ АБСУРДА

НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ

В апреле 1980 года Иван Иванович Перехлюстов вышел покурить в тамбур пригородного поезда, следующего в Выборгском направлении.

Неосторожно прислонившись к дверям, Перехлюстов на полном ходу вывалился наружу и начал падать.

Альманах-газета «Петербургская тетрадь», или «Пб. Т», ближайшая, как догадывается читатель, родственница «Седьмой тетради». Издается альманах-газета при участии журнала «Нева». Скрасить людям жизнь в наше смутное время — такую задачу ставит перед собою редакция нового издания, объявившего, кстати сказать, вместе с «Седьмой тетрадью», конкурс на лучший святочный рассказ объемом не более 5 машинописных страниц.

Адрес редакции «Пб. Т»: 193029, Ленинград, ул. Бабушкина, 25. Телефон: 567-30-07. Принимаются заявки на приложение к «Пб. Т» — факсимильные издания оригинальных планов Петербурга 1900 г. (на 4 листах, цена — 8 р.) и 1828 г. (на 12 листах, цена — 34 р.). Издания высылаются наложенным платежом.

В мае того же года Иван Иванович все еще падал. Он продолжал падать и через год. Дачевладельцы, приглашая к себе знакомых, говорили: «Как проедешь Ивана Ивановича — выходи!»

В восемьдесят четвертом году высокий забор из бетонных плит скрыл Перехлюстова от праздных глаз. У железных ворот круглые сутки дежурил милиционер.

Пост сняли в восемьдесят восьмом.

В восемьдесят девятом — бетонные щиты закрыли рекламные щиты, вывеска приглашала посетить аттракцион «Падение», и за два рубля всякий желающий мог войти внутрь.

В январе 1990 года цена билета увеличилась до пяти рублей.

В марте — до десяти.

Когда билеты на Ивана Ивановича стали продаваться только за свободно конвертируемую валюту, Иван Иванович Перехлюстов упал на землю.

СУДЬБЫ ТЯЖЕЛЫЕ УДАРЫ

Иван Иванович Брумс спит и видит сон, будто он копает землю малой саперной лопаткой. Припекает солнце, и пот с Ивана Ивановича стекает крупными каплями.

Иван Иванович бросает лопатку, вытирает лицо клетчатым носовым платком и просыпается. Он вылезает из-под ватного одеяла, выпивает стакан водки и моментально засыпает со стаканом в руке.

Во сне Брумс берет лопату, ставит на ее место стакан и долго-долго копает.

Устав работать, Иван Иванович втыкает лопату в землю. Он просыпается и хочет выпить еще водки, открывает бутылку и тут вспоминает, что поставил стакан на траву. Иван Иванович достает из буфета чашку, наливает в нее и выпивает водки. После чего засыпает, держа в руках чашку и бутылку.

Иван Иванович осторожно помещает бутылку с водкой и чашку рядом со стаканом и продолжает копать.

Прокопав с полчаса, он останавливается, меряет глубину ямы и просыпается. И хочет выпить водки. И тут с ужасом осознает, что водка осталась возле ямы.

Иван Иванович Брумс швыряет лопату, садится на кровать и размышляет о своей тяжелой жизни.

ЗАМЕНА

Иван Степанович посмотрел в календарь и не поверил глазам. В календаре не было понедельника.

Иван Степанович пошарил на шкафу и под диваном, поискал в других комнатах, вывернул карманы пальто — без результата. Он возвратился к календарю, потрогал пальцем белое пятно над вторником и сунул под язык таблетку валидола.

Иван Степанович написал от руки два десятка объявлений о пропаже с обещанием вознаграждения и развесил при помощи хлебного мякиша на столбах. За расклейкой его застал старшина милиции Сергеев и оштрафовал на пятьдесят рублей.

Через несколько дней Ивана Степановича остановил на улице давно не бритый мужчина и потребовал вознаграждение, утверждая, что он и есть пропавший. Иван Степанович выдернул рукав из цепких пальцев незнакомца и успел при этом заметить на его руке татуировку в виде буквы «П».

Назавтра, придя вечером домой, Иван Степанович обнаружил на кухне вчерашнего небритого мужика, который сидел за столом и пил чай из блюдца, шумно прихлебывая. Рядом суетилась раскрасневшаяся жена.

Гость заявил, что вернулся насовсем.

В один из выходных дней, когда жена ушла в магазин, а Понедельник после сытного обеда дремал перед телевизором, Иван Степанович в последний раз прочитал свежую газету, вздохнул печально и влез в календарь на место первого дня недели. В начале следующей Понедельник тщательно выбрил щеки и подбородок и вышел на работу, заменив Ивана Степановича.

ЭВОЛЮЦИЯ

На исходе воскресенья у Ивана Шепталова защекотало в левом ухе. Иван Шепталов покрутил в нем мизинцем и забыл об этом.

В понедельник утром он ощутил в ухе легкий зуд, но не придал ему значения. К вечеру зуд усилился до чрезвычайности. Иван Шепталов, ожесточенно потерзав ухо указательным пальцем, решил, что на работу завтра не пойдет.

Во вторник Иван обнаружил в своей голове непривычную пластичность и смог придавать ей разнообразные формы. Обеспокоенный, он надел на голову трехлитровую банку.

В среду и четверг Иван Шепталов уже не вставал с постели — мягкость распространилась на туловище.

В ночь с пятницы на субботу он перетек с кровати на пол, просочился под дверью в коридор, затем в кладовку, нашел большую бутыль, покрытую пылью, и уютно в ней разместился.

В воскресенье его соседка по коммунальной квартире зашла в кладовку. Она взяла бутыль, вылила содержимое в унитаз и поставила в ней бражку к приближающемуся революционному празднику.

Так Иван Николаевич Шепталов отправился в путешествие по ленинградской канализации. Я думаю, он живет там и теперь.

Анатолий РЯСИНЦЕВ

НОСТАЛЬГИЯ

Интерес к барахолкам зародился во мне с первого знакомства с ними и, говоря высокопарным слогом, я пронес этот интерес через всю жизнь.

Привлекала меня не столько сама суть барахолки, сколько все, что ей сопутствовало. В памяти остались шарманщики с попугаями. Под звуки грустного вальса попугай вытаскивал билетики с наивными предсказаниями судьбы, и люди поспешно разворачивали билетики, чтобы таким образом поскорее заглянуть в будущее. Помню множество клеток с птицами всевозможных расцветок, с ритуалом выпуска их на волю, помню точильщиков ножей, демонстрирующих свое уникальное искусство.

Но и без этих экзотических примет старины барахолка манила меня и неожиданностью товаров, и своеобразием общения продающего и покупающего, когда одна сторона без стеснения завышала цену и в ответ другая без стеснения снижала: со ста рублей до десяти, с девяноста до двадцати, с восьмидесяти до тридцати и так далее. Джентльменский диалог при этом вполне отвечал узаконенному стилю барахолки. Если же один обижался и вежливо говорил: «Ты что, обалдел?», другой не менее вежливо отвечал: «Возьми двадцать копеек и больше не подходи». Но в подобных диалогах было больше доброжелательности, чем озлобленности.

Товары лежали часто просто на земле или на какой-нибудь холстине. Мне доставляло громадное удовольствие перебирать всевозможные значки, шпильки, ключи, пуговицы. И хотя я понимал, что ничего особенного не найду, это не уменьшало моего интереса.

У меня был знакомый, который посещение барахолки считал большим праздником. Он мало что покупал, так как денег у него никогда не было, но в каждой вещи он видел душу. Он считал, что, если эта вещь была создана, значит, она должна жить вечно. Для него не было понятия вещи, изжившей себя. Ему было неважно, что ваза для цветов протекала или что ртуть в термометре застыла на одном месте. Он верил, что жизнь все равно не ушла из этой вещи, и даже одна-единственная калоша, предлагаемая здесь покупателю, не утрачивала для него ценность. Он верил, что где-то живет и вторая. И я во многом был с ним солидарен.

Когда я стал взрослее, у меня появились дополнительные интересы. Я всматривался в лица продающих, чтобы понять, что же их заставило вынести этот хлам, могли ли они рассчитывать, что кто-то купит половинку ножниц или солдатика без головы. Дальнейшие мои наблюдения показали: многие продавцы приходили на барахолку не за тем, чтобы продать или купить, а просто посмотреть, поторговаться, побыть в атмосфере этих старых и часто уже никому не нужных вещей. Что же касается явного хлама, то я был убежден: барахолка — это место ритуального расставания с ним, а торговля с покупателями — часто своеобразная игра. Мне казалось, что барахолка это место общения, что сюда приходят люди, спасаясь от одиночества или семейных неурядиц. Здесь часто можно было услышать и незатейливые шутки, и споры, может быть, не очень глубокие, но с претензией на философские обобщения.

Если бы выдавались премии покупателям за покупку бракованных вещей, я уверен, что получил бы первый приз. Однажды, я принес домой сенбернара-кобеля, но, к моему удивлению, он оказался дворнягой и представительницей прекрасного пола. Через час я стоял на базаре в надежде, что кто-нибудь заберет это чудо кинологии, но забрали не его, а меня, и я должен был объяснять в милиции, как это я, интеллигентный мальчик, ученик образцовой трудовой школы, оказался в столь необычной роли продавца собаки. Помню еще одну покупку, которой я до поры до времени очень гордился. Лакированные туфли. Они были совершенно новые, и в солнечную погоду своим блеском привлекали всеобщее внимание. Для всех, естественно, было тайной их сравнительно невысокая цена. Но тайна, увы, раскрылась с первым дождем. Возвращался домой я босиком, так как подошва, оказавшаяся картонной, размокла

и развалилась, а туфли с блеском, но без подошвы, это уже не блеск. Та же участь постигла и каракулевую шапку, приобретенную на барахолке. Пока она висела на вешалке, все ею любовались, но стоило ей попасть под дождь, как от нее мгновенно отлетело все, что было сверху и называлось каракулем, а то, что осталось, назвать шапкой можно было только будучи большим фантастом.

Все это относится не только к школьным годам, я вообще легко поддавался самому элементарному надувательству и совершал безрассудные поступки, обольщаясь чисто внешними признаками вещи. Так, уже в зрелые годы я пленился зажигалкой, в прозрачном резервуаре которой плавала муха. При испытании вспыхнула вся зажигалка. Правда, произошло это только один раз. Зажигалка была всего лишь местом жительства мухи, которая, впрочем, довольно быстро распалась на частицы. К столь же «ценному» приобретению можно отнести и пластинку, очень красиво оформленную и вещавшую с грузинским акцентом: «Если тебе не понравится, приходи завтра на то же место, и я обменяю». И после небольшой музыкальной паузы следовало продолжение текста: «Если завтра не уеду в Тбилиси». Помню и старый барометр, стрелки которого стояли на одном месте.

В последние годы я несколько раз был в Варшаве и, конечно, не упустил случая посетить барахолку, которая там красиво называется «базар хоббистов». Не зная языка, я угадывал диалоги и понимал, что и там царит тот же дух, что и в наших городах. Очевидно, барахолка — это нечто единое, независимо от страны и национальности. Всюду любопытные посетители, которые рассматривают вещи словно в музее.

Сейчас барахолки не те. Их функции отчасти переданы комиссионным магазинам, кооператорам определенного сорта и беспардонному жулью. Но память о тех, давних, осталась у многих как частица памяти о прошлом, так же, как память о духовых оркестрах на катках, о немом кино, о скейтинг-рингах и эскимо.

Вероятно, решение о закрытии барахолок было принято не без оснований. Это же рассадник спекуляции! Но вместе с тем это и потеря возможности купить какую-то мелочь, которой нет нигде. Вероятно, поэтому в редакции газет идут сотни писем с просьбами об открытии барахолок. Может быть, среди них есть письма тех, кто не забыл и меня. Если так, то, ради Бога, приносите нового сенбернара, куклу без ног и барометр, на котором всегда без перемен.

Я обязательно куплю!

Дело прошлое

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

Столыпин... Самое яркое из имен последнего царствования...

Быстро уходят вдаль воспоминания недавнего прошлого, но все более непререкаемым блеском загорается для нас имя Петра Аркадьевича Столыпина, когда-то столь боевое и для многих — когда-то спорное...

Мало сказать, что Столыпин был одним из лучших министров всех вообще царствований: он и от лучших *слуг* российского и ператорского престола был отличен тем, что обладал чертами *вождя*, в современном политическом значении этого слова. Столыпин был диктатором. «Временщиком» звали его враги. Он властно *вел* русскую политику, круто направлял ее в определенное русло и, одно время, добивался в Царском Селе *всего*.

Продолжение. Начало см.: Нева, 1991, № 4—6.

А вместе с тем умел оставаться, внешне, служилым рыцарем своего Государя.

Когда в неудачной японской войне надломилась вера в старое петербургское «как прикажете», тогда Витте удалось начать новый, более творческий период русской политической жизни. В идее, новый порядок был основан на сближении власти с русскими общественными «верхами» и на постепенном втягивании крестьянских «низов» в общерусскую культурную государственность. Но Витте удалось *только начать*. Наладить новый, думский порядок суждено было П. А. Столыпину.

Витте, в первых поисках нового строя, не нашел опоры в русском обществе и никогда не имел ее, по-настоящему, у Государя. В отличие от императора Александра Третьего император Николай Второй Витте не верил. «Витте всегда как-то отделяет себя — от меня!» — эта фраза, вскользь, но с неудовольствием брошенная Государем графу Сольскому, метко определяет взаимные отношения.

Сменивший Витте накануне открытия первой Думы И. Л. Горемыкин оказался тогда — как и впоследствии — в непримиримом разладе с самой *идеей* Думы. И Государь, с редкой проницательностью и удачей, назначил тогда премьером Столыпина.

Не «объезженный» в петербургских канцеляриях и интригах, но зато привыкший смотреть прямо в глаза русской жизни, Столыпин был сразу встречен по-особенному: надеждой и ненавистью.

Для спасения идеи народного представительства Столыпин сломал неудачный избирательный закон Витте (не побоявшись взять «вину и грех» на себя). Не побоялся затем Столыпин — и в этом его главная историческая заслуга — приступить и к коренной ломке крестьянского земельного строя. Он справедливо не видел для России иного выхода. Мужицкое хозяйство надо было вывести из темного, бесправного общинного подполья на твердую собственническую дорогу.

Успех столыпинской реформы был лучшим доказательством ее жизненности. А как ополчались тогда на нее наши «правые»!

Но, сказавши революционерам: «Не запугаете», Столыпин мог бы повторить те же слова и правым. Он не боялся крепко держаться Думы, всегда отстаивал молодое русское народное представительство. Не побоялся он вести беспощадную борьбу и с появившимся около царской семьи Распутиным, постоянно высылая его обратно в Тюмень. Это подтачивало его собственное положение, но зато, пока Столыпин был жив, старец никак не мог и не смел распоясаться.

Распоясываться, впрочем, никому не было позволено при Столыпине. Упрямый русский националист, он был и упрямейшим, подтянутым «западником»: человеком чести, долга и дисциплины. Он *ненавидел* и русскую лень и русское бахвальство, штатское и военное. Столыпин твердо знал и помнил две основных вещи: 1). России надо было внутренне привести себя в порядок, подтянуться, окрепнуть, разбогатеть и 2). России ни в коем случае — еще долго! — не следовало воевать.

Благодаря Столыпину, Россия вышла тогда из смуты и вступила в полосу невиданного ранее хозяйственного расцвета и великодержавного роста...

Его политическая линия была «центральной» — единственно правильной для России. И когда, падая от изменнической пули революционера-охранника, Столыпин перекрестил издали Государя, этот последний его политический жест был прекрасным, ибо искренним. Столыпин имел *право* этот жест сделать! Он никогда не «отделял себя» от покойного Государя. И даже, когда мог быть в душе недоволен, продолжал «честно и грозно» служить монарху. Понимал, что значил для России (внутренне еще слабо и плохо связанной) исконный «обруч» монархии!

Убийство Столыпина было сильнейшим ударом по императорской России, началом ее конца. Столыпинское «Вперед, на легком тормозе» продолжалось еще некоторое время и после его смерти. Главными продолжателями столыпинской традиции были граф В. Н. Коковцов и А. В. Кривошеин. Но *власти* его не было дано уже никому. Крайние русские фланги начали уже брать верх над центром. И земля стала понемногу ускользать из-под русского трона...

Последний, безвластный, русский премьер князь Голицын остался и на этом посту тем, кем он был раньше: управляющим канцелярией императрицы Александры Федоровны... О вожде-премьере не было уже и помину...

Но Столыпин свой долг перед Россией исполнил. В верности родине он, в нужную минуту, всегда находил в себе и нужные силы. Как бы нехотя, считая себя раньше «косноязычным», он в Думе показал себя первоклассным оратором. Никогда не считая себя не только гением, но даже просто особым «умницей», он избрал единственно верный путь для России.

И вот — судьба! Как человек и политик, Столыпин всегда был практическим реалистом. Он трезво и просто разглядывал любое положение и внимательно искал из него выход. Зато, раз приняв решение, шел уже в его исполнении безбоязненно, до конца. И на наших глазах этот простой и мужественный образ честного реалиста не только был облечен героическим ореолом: он начинает уже обрастать «светящеюся легендой» — в согласии с исторической правдой.

1936

Продолжение следует

Парнас

Стефан Цвейг — один из создателей современного биографического романа, биографической новеллы. Вот далеко не полный перечень его героев: Бальзак, Верхарн, Гельдерлин, Гете, Дик-

кенс, Достоевский, Казанова, Клейст, Магеллан, Мазереель, Мария Стюарт, Ницше, Роллан, Л. Толстой, Фрейд, Фуше — писатели, поэты, философы, богословы, композиторы, художники, врачи, первооткрыватели земель и океанов, политические деятели, коронованные особы и даже авантюристы. В больших произведениях, в книгах о Марии Антуанетте, Эразме Роттердамском, например, есть главы, отдельные страницы, посвященные тому или иному историческому персонажу: Бомарше, Мирабо, Ульриху фон Гуттену — наброски, сколки биографий, биографические этюды — жемчужины психологического анализа описываемого характера.

В своих работах Ст. Цвейг опирался иа документы, если же их не оказывалось, писателю иа помощь приходила интуиция психолога.

«Там, где, казалось бы, кончается строгое научное исследование, начинается свободное и одухотворенное искусство духовного вйдения; там, где отказывает палеография, должна стать пригодной психология, логически обоснованные вероятности которой часто стóят больше, чем голан истина актов и фактов», пишет Цвейг в своем романе «Мария Антуанетта».

Популярного и часто издаваемого у нас писателя мы знаем не очень хорошо. Многие его книги, причем, книги особенно значительные, появились у нас лишь несколько лет яазад — «Совесть против насилия», «Мария Антуанетта», «Вчерашний мир». Многие же эссе, литературные портреты, работы о рукописях до сих пор ждут своего часа. Почему же мы узнаём, или узнáем, их через 50, через 80 лет после того, как Цвейг их написал? Причины запрета иных произведений лежат на поверхности.

В «Совести против насилия», книге о Кастеллио, большом гуманисте XVI века, обсуждается не узкий богословский вопрос, не кризис в отношениях либерального и ортодоксального протестантства, а неизмеримо более важный, более общий, вечный вопрос, а следовательно и вопрос нашей современности.

«Безразлично, как называются полюса, постоянно создающие силовое поле,— терпимость и нетерпимость, свобода и навязанная опека, гуманизм и фанатизм, индивидуальность и унифицированность — все эти понятия стоят по существу перед последним, глубочайшим личным вопросом, что предпочесть, что является самым важным для каждого человека: гуманное или вызванное сиюминутными требованиями времени, нравственное или рациональное начала, индивидуальность или общность». («Совесть против насилии»)

Мария Антуанетта — героиня одноименного романа — показана живым человеком. Она непременно вызовет у читателя горячее сочувствие, а разве можно сочувствовать человеку, казненному революцией?

Из двенадцати новелл цикла «Звездные часы человечества» до недавнего времени мы знали лишь восемь. Поэму о Достоевском, изданную однажды в конце двадцатых, у нас более не переиздавали, так как ее переводчик как «враг народа» вскоре был расстрелян. В другой новелле — о композиторе Генделе — слишком много говорится о Всевышнем, о религии, которая, как известно, опиум для народа. В новелле о Ленине вождь показан в неожиданном для советского читателя ракурсе политика, который ради достижения поставленной перед собой высокой цели приемлет любые средства. Журнал «Нева», опубликовав новеллу (1987, № 11), вынужден был по настоятельной рекомендации ИМЛ (рекомендация была официальным документом для цензуры), изменить ее заглавие, которое, по мнению ИМЛ, резало бы глаза нашим читателям: набранное жирным шрифтом авторское «Запломбированный вагон» — это слишком вызывающе. Правда, вся новелла ему посвящена, и «запломбированный вагон» не однажды встречается в тексте.

Почему не публиковались эссе о Берте фон Зутнер, Альберте Швейцере, Эрнсте Ренане, Артюре Рембо, Поле Верлене, других выдающихся людях мировой культуры, можно только строить догадки. Обратимся к БСЭ. Три издания этого справочника всегда следовали идеологической политике, проводимой руководством страны (собственно, КПСС), того времени, когда они выходили в свет.

Во втором, 50-томном издании БСЭ (1949—1958), на десятилетия — до выхода в свет 3-го издания — определившего курс культурной жизни страны, не нашлось места для статьи о Зутнер, очень много сделавшей для международного пацифистского движения конца прошлого — начала нашего века, ведь пацифизм — это «буржуазно-либеральное движение» (БСЭ, «Пацифизм»). Нет в этом издании и статьи о Швейцере, философе, музыковеде, органисте-исполнителе мирового класса, более пятидесяти лет своей жизни жертвенно работавшем в созданной им на свои средства больнице в Экваториальной Африке. В статье о Ренане, признанном историке религий и древних культур, говорится, что его сочинения «проникнуты субъективизмом и носят дилетантский характер». Кроме того, там сказано, что «он был открытым врагом демократии и Парижской Коммуны». А Рембо, по БСЭ,— «создает реакционную символистскую теорию поэзии (напр., знаменитый «цветной сонет», который Горький считал не более, как «красивой игрой слов»). Читателям настоящей публикации интересно будет сравнить мнение Горького об этом стихотворении с мнением Ст. Цвейга. Верлен (тоже по БСЭ) — «декадент и основатель этой болезненно-извращенной литературной школы (Горький. Несобранные лит.-критич. статьи)». Конечно, подобных характеристик было совершенно достаточно, чтобы литературные портреты этих поэтов оказались на долгие годы под запретом. Правда, имена Рембо и Верлена, едва ли не самых крупных поэтов Франции прошлого века, полностью предать забвению нашими функционерами от культуры не удалось. Время от времени в сборниках, хрестоматиях, периодических изданиях публиковались их стихотворения, наши поэты-современники — Лившиц, Пастернак, Антокольский, Самойлов — переводили их. За последние 75 лет вышли даже три книги Рембо, одна-две — Верлена. В Ленинградской публичной библиотеке есть авторефераты диссертаций на соискание степени кандидата филологических наук, посвященные творчеству Рембо и Верлена («Бунт как основа творчества», «Артюр Рембо и Парижская Коммуна», «Лирика Поля Верлена и ее интерпретация в русском переводе», «Импрессионизм в поэзии Поля Верлена»), некоторые другие, написанные в последние пятнадцать лет.

Эссе «Артюр Рембо» впервые было опубликовано в еженедельнике «Die Zukunft» (Берлин, 1907) и одновременно — как предисловие к книге «Артюр Рембо, жизнь и творчество» (изд.

Инзель, Лейпциг). Позже эссе было включено автором в сборник «Встречи с людьми, городами, книгами», частично переведенный на русский.

В 1922 году под редакцией Ст. Цвейга вышел первый двухтомник произведений Верлена на немецком языке (изд. Инзель, Лейпциг). Эссе «Жизнь Поля Верлена» было включено во второй том этого издания.

Оба эти эссе на русском не публиковались.

Иллюстрации к настоящей публикации взяты из книги «Рембо. Произведения» (М., «Радуга», 1988).

Стефан ЦВЕЙГ

АРТЮР РЕМБО

Absurde! Redicule! Dègoûtant![1] — так отбивался Артюр Рембо от поклонников его творчества, когда те, восхищаясь стихотворениями молодого поэта, пытались вернуть его в литературу. Это не было dègoûtant[2] рисовкой мастера, энергично отрекавшегося от юношеских опытов, чтобы сосредоточить интерес читателей на своих зрелых произведениях; нет, этими словами он жестко, безжалостно подводил черту под своим литературным творчеством. Двадцатитрехлетний, он уже давно отказался от искусства. Вернувшись из Африки, побывал во многих странах Европы, бродяжничал по Германии, Англии, Бельгии, торговал всякой мелочью вразнос на парижских бульварах, нанимался в голландских деревнях на покосы, на самые низкооплачиваемые подсобные работы, знакомы были ему и соломенная тюремная подстилка, и ужас, вселяемый первобытным лесом. Был наемником-солдатом голландских колониальных войск на Суматре, травимый беглец, он голодал в малайских деревушках или прятался в дебрях тропического леса, вел жизнь среди обезьян и диких зверей. Египет знал он, Кипр, Занзибар, Аден: всюду побывал в свои двадцать три года, и Европа показалась ему узилищем, исправительным домом, грязным болотом. И тогда он отправился в страны, названий которых до него в Европе, вероятно, и не знали, стал изучать язык негров Сомали, осваивал девственные земли Африки, помогал императору Менелику готовить войну против Италии, но не дожил до победы в битве под Адуа *. Тридцати семи лет, безногим калекой со сжатыми кулаками скончался он в Марселе, в этом белом городе, в этих сверкающих воротах Европы в страны Ближнего и Среднего Востока.

В семнадцать лет он уже прославленный, знаменитый поэт, Shakespeare enfant[3], как назвал его Виктор Гюго, мастер на меткие эпитеты. В пятнадцать лет создал Рембо «Sensation» *, замечательнейшее немецкое стихотворение на фран-

[1] Бессмысленно! Смехотворно! Отвратительно! *(фр.)*
[2] отвратительной *(фр.)*
[3] дитя Шекспира *(фр.)*

цузском языке, в шестнадцать—семнадцать лет в стихотворении «Effanès» * и других, столь же конвульсивных, absolument ècoeurè par toute poèsie existante[1], в диких совершенно свободных от какой бы то ни было эстетичности стихотворениях, открыл страну иллюзий, страну совершенно новых для поэтов возможностей. И, наконец, скорее еще ребенок, чем уже юноша, он создал произведение непреходящей ценности — «Le Bateau ivre»[2], это фантасмагорическое сновидение, бунт красок, причудливую симфонию лихорадящих слов, стихотворение, которое многим, и мне в их числе, представляется значительнейшим стихотворением французской литературы. Походя, скорее дурачась, чем серьезно, набросал он однажды сонет о соответствии гласных цветам, который и ныне во Франции считается евангелием художников. Все эти шедевры, однако, он создавал небрежно, пожалуй, даже, неохотно. Друзья собирали его стихотворения, друзья печатали их. Единственный сборник «Une saison en enfer»[3] он издал в Брюсселе сам, но весь тираж этой книжечки уже через несколько дней был уничтожен, остались случайно сохранившиеся три-четыре экземпляра, маленькие, неопрятные тетрадки на оберточной бумаге *. Поэзию он не принимал всерьез. С ее помощью он разве что пытался освободиться от рвущейся вовне жизненной силы. Сначала таким вентилем была поэзия. Затем появилась эротика. И ее он отбросил. «Le dèbauche est dègoûtante»[4]. Для науки он был потерян: «La science est trop lente»[5]. Его энергия, способная разрядиться как вспышка молнии, источником постоянного тепла быть не могла. И, кроме того, обладая огромной энергией, он был инертен. «Quel siècle à mains![6]» — однажды со стоном произнес он. Ему отвратительна осторожная, вьющаяся вверх по спирали тропа к логическому познанию, отвратительна потому, что это — работа. Он хотел волшеб-

[1] самых страшных во всей существующей поэзии *(фр.)*
[2] Пьяный корабль *(фр.)*.*
[3] Пора в аду *(фр.)*.*
[4] Разврат противен *(фр.)*.
[5] Наука слишком медлительна *(фр.)*.*
[6] Какой ручной век! *(фр.)* *



А. Рембо. Рис. Р. Мюнха.

ным образом мгновенной вспышкой интуиции осветить лик тайны. Вместо вдохновения, которое Гете славит как первое условие художнического познания, его воодушевляя пароксизм, алчная конвульсия вместо постепенного охвата. Словно проклятье, вырывалась накапливающаяся в нем сила, прочь отбросить хочет он то, что переполнчет его: сначала кидается к поэзии, потом — к женщинам, затем — к активной дентельности. Не получаетсн. Тогда он пытается освободиться от терзающих его страданий безрассудными поступками, подобно человеку, который, чтобы утишить боль в животе, бежит, карабкается в гору, качается из стороны в сторону, пляшет, делает совершенно бессмысленные движения, Рембо бросается из одной страны в другую. Так, совершенно неожиданно, словно вырвавшись из тюрьмы, на свободу, бежал он, четырнадцатилетний, в Париж, а потом, в двадцать, в тридцать лет — в страны Экваториальной Африки. Он — конкистадор *, силач, выходящий на простор с пустыми руками, с горячим сердцем. Не ради успеха тянется он к действию, а ради самого действия, потому что это действие оглушает. «L'action n'est pas la vie, mais une facon de gacher quelque force un ènervement [1]. Утверждение нужно было ему, а не пустяки, вроде искусстаа. Но никакой Кортес не снаряжает галеры, никакой Валленштейн не собирает войска *, никакая республика не предоставляет место юному генералу. Не в 1793 году живет он, а в конце обнищавшего девятнадцатого века. И сила анархистски бунтует против себя самой. Однажды хмель Бальзака кружит ему голову, возникает мысль — стать богатым, бесконечно богатым, и если завоевать мир невозможно, то нужно купить его. Словно пламя, взметывается ввысь давнее пророчество из его книги: «Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'ceil furieux: sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or: je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces feroces infirmes retour des pays chauds. Je seroi mèlè aux affaires politiquez. Sauvè» [1]. Но многое из задуманного не удаетсн; он получает всего лишь какие-то суммы, состояние же — никогда. Медленно засасывает его скука одинокой жизни, своенравие силы, не находящей себе применения, собственнан сила душит его. Стремление к свершениям рвется из его тела, лихорадка терзает его душу. Умирая, он хочет бежать во Францию, но на границе родины настигает его смерть. И если бы не верность и усилия его друзей, никто так и не узнал бы, что африканский торговец, умерший после ампутации обеих ног в марсельской больнице, был поэтом, одним из величайших поэтов Франции.

[1] Действие — это не жизнь, но способ попусту тратить силы, нечто вроде невроза *(фр.)* *.

[1] «Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на менн, всякий сразу поймет, что я из породы сильных. У меня будет золото; я буду праздным и жестоким. Женщины любят носитьсн с такими вот свирепыми калеками, возвратившимися из жарких стран. Я ввяжусь в политические интриги. Буду спасен» («Пора в аду. Дурная кровь». Пер. с фр. Ю. Стефанова).

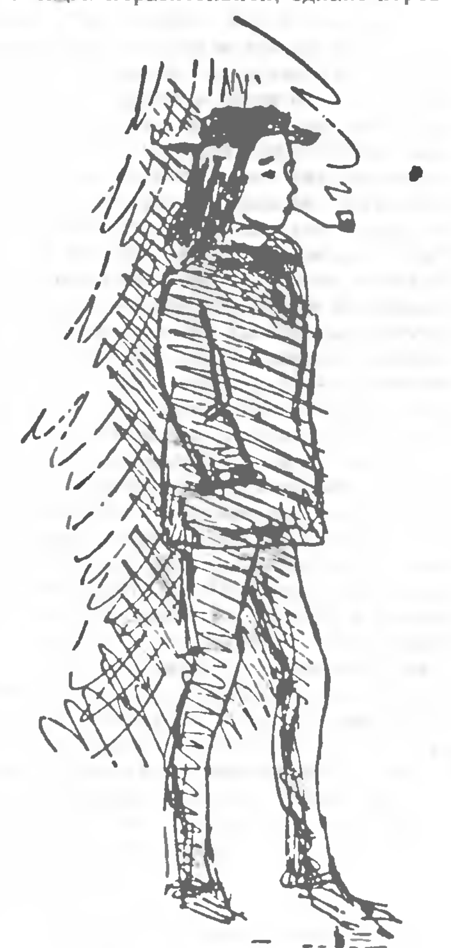


А. Рембо. Портрет работы Жана Кокто.

Когда читаешь об отдельных эпизодах жизни Рембо, когда слышишь названия никогда не виданных тобой городов варваров, то постепенно в туманной, сказочной дали начинает вырисовываться представление о судьбе поэта. Она — как бы совсем из другого, не нашего времени. Но ведь Рембо был нашим старшим современником. Я встречал в Париже его учителя из Шарлевиля, мосье Изамбара *, единственного человека, знавшего Рембо в то время, когда тот писал стихи, единственного, чьи воспоминания дают представление о Рембо-поэте. Он пишет: рано созревший, вспыльчивый, грубый, мужественный малый с большими крепкими кулаками, пожалуй, атлет, уже в школе он обладал поразительной, однако нервной энергией. Эта характеристика подтверждается картиной Фантен-Латура *, на которой Рембо изображен сидящим в непринужденной позе, он похож на рабочего, писателя выдает в нем лишь высокий лоб. Руки его — с голубыми жилами, вероятно, набухавшими словно змеи, когда он приходил в ярость. Жестоким выглядит он, таким, пожалуй, и был. Если подумать о том, как трагически завершилась его встреча с Верленом * под Штутгартом на берегу Неккара, когда горячий спор о религии перешел в драку и под ударами палки окровавленный Верлен, потеряв сознание, упал,— если подумать вообще об этих поразительных отношениях, а которых Рембо — человек воли, являлся l'èpoux infernal [1], а Верлену, мечтателю, была присуща женственная мягкость, податливость, то чувствуешь, как вокруг Рембо разлетаются искры огня, сжигающего его. Пролетарская сила стягивает его члены и упрямо противопоставляет себя всем лишениям. Декаданс, утонченность, крайне болезненная раздражительность, галлюцинированное вйдение («les vices de son sang gaulois» [2]) были чисто духовным и никогда не захватывали его внешнюю жизнь, которая, впрочем, постепенно все более и более освобождалась от временны́х культур; космополит, как и все бродяги, социальный феномен, как, например, цыгане, подобно перелетной птице, не желающий нигде обосноваться, падает он, одинокий метеор, в культуру, словно Каспар Хаузер *, забывший, откуда он пришел, нико-



А. Рембо. Рис. П. Пикассо.



А. Рембо. Рис. П. Верлена.

[1] сатанинским супругом *(фр.)*.
[2] изъян его галльской крови *(фр.)*

му более не принадлежащий и никому принадлежать не желающий. Артюр Рембо был необычен уже фактом своего существования, своим категорическим отвращением ко всем культурам, своим презрением ко всему европейскому, необычен своим необузданным индивидуализмом. В наши дни — он полубог внутренней свободы. Разбойник инстинкта.

Поэтом, великим поэтом его сделали два обстоятельства: условия и одаренность. Прежде всего ему присуще отсутствие каких-либо внутренних обязательств. Он абсолютно ничем не был стеснен. Ничто не связывало его рук, ничто не было ему свято. Гордо говорил он: «J'ai de mes ancêtres gaulois l'idolâtrie et l'amour du sacrilège, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure; surtout mensonge et paresse» [1]. Ничто не сдерживает его. Родственные чувства представляются ему глупостью, оковами и путами; письма родным как будто пишутся банкиру — деньги, деньги — вот их постоянный припев. Патриотизм, гордость культурой он отбросил словно гнилой плод. Жить среди неразвитых негров ему интереснее, чем с европейцами. Религия никогда не могла принудить его встать на колени. Христос для него всего лишь «eternel voleur des energies» [2]. Дружба никогда ни с кем не связывала его, не была для него бóльшим, чем только мимолетное братство вагантов*. Мораль — до смешного дешевая штука, «une faiblesse du cervelle» [3]. Искусство — какой-то вид работы. Ничего крепкого, солидного не дает Артюру Рембо никакое мировоззрение, бездумно витает он над безднами познания. Даже ранний поэт в Рембо свободен. Свободен от эстетики, от артистичности, от общепринятых обязательств. Грубо хватает он поэзию и добивается ее преданности не нежной любовью, нет, она просто уступает его жестокому натиску. Беспощадны его стихи, не очень-то удобны для слабых нервов; от иных из этих стихотворений разит нищетой, грязной одеждой, пóтом обуви, вонью выгребных ям; гениальный клубок реалистической действительности и безудержной фантазии. Эти стихотворения не похожи на написанные до них. Рембо начинает писать, как если бы никто до него никогда не писал стихотворений, как если бы эстетика, со-

[1] «От предков-галлов у меня страсть к идолопоклонству и кощунству; возможные пороки — гнев, похоть — о, как она изумительна, похоть! — а также лживость и лень» («Пора в аду. Дурная кровь». Пер. с фр. Ю. Стефанова).
[2] «Исусе, женских воль грабитель непреклонный...» («Первое причастие». Пер. с фр. Р. Дубровина).
[3] слабоумие *(фр.)*

здаваемая тысячами людей, развалилась словно карточный домик. В этой слепой свободе инстинкта своеобразно вырастает его поэзия, неевропейская, необычная, самобытная и великая; германская и варварская, вламывается она в высокоразвитую галльскую культуру подобно тому, как во времена Великого переселения народов северные полчища вторглись во владения Рима и Византии*.

Эта внутренняя свобода Рембо, это и в жизни и в поэтическом творчестве импульсивное самоосвобождение от всяческих сдерживающих понятий, является предпосылкой для его величия. К этому следует добавить единственную в своем роде способность, галлюцинативную силу его воззрений или, лучше, его восприимчивость. Ибо он принимает явления внешнего мира не только в известной мере пространственно, а проникается всеми их качествами, он не только видит их, он слушает, чувствует их запахи, ощущает их вкус, осязает их, пронизывается ими. Его способность воспринимать поглощает предметы словно бурлящий поток, жадно, ненасытно: и, как художник, он пожирает их, высасывает их сущность, смакует их исчезающие оттенки, они впитываются его кровью. И так глубоко, так стремительно поглощает он ощущения всех пяти чувств, что разрушает упорядочивающие их связи, что ведет к потере их качеств: аромата, звучания, красок, чувства формы, все это втекает одно в другое, соприкасается друг с другом в самых глубинных слоях подсознания, где существует лишь смутное ощущение извне возбужденного инстинкта. Именно на этой глубине, на этом уровне интуиции и основываются поэтически освобожденные созвучия различных впечатлений чувств, которые глухо предчувствовал Бодлер* в своем сонете «La nature est un temple» [1]. Это процесс соотнесения друг другу различных ощущений, который психология называет псевдоанестезией, процесс этот для художнически чувствующих людей обычно повседневен и не является чем-то особенным. Но ни у одного поэта этот процесс не протекал так выраженно и определенно, как у Рембо. Каждый услышанный им звук тотчас же вызывал в нем ощущение совершенно определенного цвета. Правда, эту тождественность ощущений звука и цвета логически обосновать невозможно и коренится она лишь в чувствах, в чувствах поэта, но часто также в логическом предчувствии поэта или в других людях — через убеждающую силу выражения. Насколько необычно сильна эта жизненная достовер-

[1] Здесь имеется в виду сонет «Соответствие», первая строка которого в переводе В. Левика здесь приводится: «Природа — некий храм...».

ность взаимосвязей ощущений, проявившаяся в Рембо, говорит его программное стихотворение «Sonnette des voyelles» [1], в котором фантастические картины кристаллизуются почти догматически, здесь А отождествляется с черным цветом, Е — с белым, И — с красным, О — с голубым и У — с зеленым, в этом сонете naissances latentes [2], сцепившись в дикие образы, воспринимаются как нечто целое. Это стихотворение — наполовину шутка, но в то же время — стремительное падение в темную область неосознанного, падение, которое удавалось немногим. Это — абстрактная поэзия, искусство символов, не нуждающихся для расшифровки в помощи рассудка, инстинкт, волшебство. «Алхимия слова», как назвал он ее, черная магия, никому, кроме как поэту, не доступная, знакомая лишь немногим посвященным. И вновь слышим мы нетерпеливый крик его жизни: «La science est trop lente» — наука слишком медлительна, описательность в стихотворении — слишком растянута, нудна, кропотливость — утомительна, гениальный набросок — все. Символ должен быть пойман в молнии, в интуиции, он не дистиллируется в мягком, кротком огне домашнего очага; возможно, расплачиваться за это придется понятностью символа. Но чувство — это все. Понятностью легко мог себе позволить пожертвовать тот, кто писал свои стихотворения не для журналов, книг, например, Рембо, желавший разрядить стихами свою внутреннюю напряженность. И электрический разряд бьет слепо, неожиданно.

И совершенно естественно, что такая внутренняя необузданность, такая жгучая сила колорита, такая искрящаяся полнота выражения должны были вскоре взорвать сосуд, традиционную французскую стихотворную форму. Только четырнадцатилетний мальчик пишет еще благовоспитанным александрийским стихом. Вскоре строки потекут анжамбеманом*, рифмы будут отскакивать от окончаний строк; чувства — оказавшись в состоянии брожения — станут раздувать качающиеся строки и поэт отшвырнет разбитую форму. Сначала — лишь революционно, используя ассонансы, свободные рифмы, вскоре он поведет себя анархистски, отбросит вообще все формы, будет писать «Illuminations» [3],— дико и свободно текущие стихи в прозе, следующие своей дикой мелодике. В прозе, которая по художническим меркам является вершиной поэзии, поэзии великой, словно водопад строк Уолта Уитмена*, словно вакхические экстазы Ницше*. Внутреннее освобождение от культуры, Рембо

[1] Сонет о гласных *(фр.)**.
[2] загадочные рождения *(фр.)*
[3] Озарения* *(фр.)*.

вновь приближается к заикающимся праязыкам, религиозным в глубочайшем смысле, рапсодическим* и проповедническим. Поразительно сходство стилей почти одновременно появившихся книг — «Пора в аду» и «Заратустра»*, двух авторов, двух Одиноких, Освободившихся от Мира. Сила слов Рембо постепенно становится феноменальной, слова под его рукой набухают: серый студень понятий, словно вампир, высасывает кровь, наполнится ею и, набухнув, переливается, готовый взорваться светом невиданных красок. Самые затертые слова становятся новыми, трещат электрическими разрядами и внезапно разлетаются буйными искрами. Неожиданно взлетают они вверх и вновь покоряют прежде, чем ты логически постигнешь их. И это не какие-нибудь особенно благородные слова, а подчас слова уличного жаргона, вырванные из научного лексикона, часто же — сконструированные молодым поэтом. Всего лишь несколько примеров. «La reine aux fesses cascadantes» [1]. Как это великолепно! Или — «Le coeur fou robinsonne» [2] — такого оборота ни в одном академическом словаре не сыщешь. Или еще: ithyphalliques et pioupiesques [3], «percaliser sa peau» [4] — тысячи примеров, едва ли не в каждой строфе. Подобными словами срываются с петель двери к последней тайне, и поэт с гордостью может сказать: «J'ecrivais les silences, les nuits, je notais l'inexprimable» [5]. В возрасте, когда другие барахтаются, путаются в тупом сумасбродстве в волочащихся за ними сетях юношеской глупости, он сделал за три года неслыханно много. Пятнадцатилетний, он написал «Ощущение», простое и одно из прекраснейших стихотворений французской литературы, в шестнадцать лет он пишет «Les chercheuses de poux» [6], дьявольски красивое, в глубине своей сущности противоестественное, извращенное стихотворение, воспринимаемое со сладострастным трепетом, как поглаживание спины прохладной рукой. Строчки все более и более наполняются горячей артериальной кровью, ритмы становятся свободнее, фантазия все невероятнее, все сильнее отклоняются стихи от живой жизни, в сторону, к зеркальным поверхностям неведомых миров. Галлюцинация стремительно несет его все дальше и дальше. Если оставаться в рамках биографических дат, Рембо в пятнадцать лет покинул Францию, в шестнадцать — Ев-

[1] Королева упругих ягодиц* *(фр.)*.
[2] Безумное сердце робинзонит по роману *(фр.)*.
[3] солдатско-фаллический* *(фр.)*.
[4] перкализирует кожу* *(фр.)*
[5] «Я записывал голоса безмолвия и ночи, пытался выразить невыразимое» («Пора в аду. Словеса в бреду, II».
[6] Искательницы вшей* *(фр.)*



Воскресенье в маленьком городке.
Рис. А. Рембо в школьной тетради

ропу. И вот его судно рулит навстречу необузданной роскоши Востока, к фантасмагорическим ночам других небес, к дурманящему сладострастию тропиков. И словно красное знамя анархии, веет над французской лирикой его бессмертное стихотворение «Пьяный корабль», великий мятеж красок, победа раскованных чувств. Это — низвергающийся водопад тесно переплетенных друг с другом картин, кипящая пучина, в которую, похоже, они сброшены с апокалиптических небес. Видéния, смысл которых становится тебе ясным лишь некоторое время спустя; сначала же, ошеломленный, шатаешься от этих картин словно под ударами дубины. Только в рисунках Уильяма Блейка * найдешь подобные лихорадочные видéния. Эти удивительные страны, водные просторы которых бороздят поющие рыбы, страны, над которыми раскинулись усеянные звездами цветущие небосводы, страны, где гигантских змей пожирают полчища клопов, где восходят серебряные солнца, о, эти грезы «поэмы океана», какой таинственный огонь, какая сжигающая лихорадка создали все это? И все же, тем не менее, эти картины как-то внутренне, некими сокровенными корнями связаны с живой жизнью. Испуганно, языком пламени над уничтожающим все на своем пути потоком лавы внезапно вырывается крик: «Je regrette l'Europe aux anciens parapets» [1]. Предчувствие судьбы — вот глубочайшая сущность этого сновидения. Здесь, во всей своей полноте проявилось последнее страстное желание поэта быть voyant [2], волшебником, который выкапывает, угадывает сновидения будущего. Он знал их. Еще не прожитая им жизнь была описана им в этом и других его стихотворениях, она как бы высвечивалась сквозь матовые стекла. Он знал о своей жизни за два десятка лет до того, как эти сны станут явью. Это — неслыханное торжество внутреннего предопределения, утонченнейшая возможность уже показать едва еще зарождающееся в художественном произведении. «Пьяный корабль» — одно из последних стихотворений Рембо. Дыхание творца было таким горячим, что воск в его руках таял и не смог принять нужную художнику форму. Литература, искусство оказались слишком слабыми, чтобы полностью выразить невыразимое. И тогда он отбросил литературу, искусство. В восемнадцать лет.

Иные считают «безвкусным» то, что он не умер тогда — еще целая жизнь, еще двадцать лет как ненужный придаток прицепились к его жизни в литературе. Эти люди не понимают, как ограниченно, как «литературно» они думают. То, что поэт в восемнадцать лет создал подобные шедевры — не было чем-то единственным в своем роде. Новое здесь, если можно так сказать, только в возрастном рекорде. Китс — совершенно сложившийся поэт — умер в двадцать четыре года. Беспримерным в мировой литературе является пренебрежение художника к искусству, то, что он не отдался искусству, а рванул его к себе, совершил насилие над ним, а потом, когда искусство потеряло для поэта значение, отбросил его и никогда более им не интересовался; то, что он отрешился от последних иллюзий задолго до того, как другие поэты только осмеливались думать о них и что он, подобно Фаусту *, в решающий час мужественно зачеркнул «В начале было Слово» и взамен этой мысли решительно и нестираемыми красками начертал в Книге жизни: «В начале было Дело».

[1] «Я начал тосковать по гаваням Европы» («Пьяный корабль». Пер. с фр. Д. Самойлова).
[2] ясновидящим *(фр.)*

ПРИМЕЧАНИЯ

Артюр Рембо родился в 1854 году в Шарлевиле, небольшом городке в Арденнах, на северо-востоке Франции. Писать прозой, а затем стихами стал лет семи-восьми. В августе 1871-го — первое бегство в Париж, в конце февраля 1871-го — второе. В августе 1871-го поэт посылает свои стихи Верлену, тот приглашает его в Париж. Сближение с Верленом. Совместные поездки в Бель-

гию, Лондон. В июле 1873-го — во время очередной ссоры Верлен стреляет в Рембо, ранит его, попадает в тюрьму. В 1874—1880 гг. — бродяжничество Рембо: Англия, Германия, Италия, Австрия, Голландия, в 1880 году — Кипр, Египет, Аден, Хараре, где он и провел последние десять лет своей жизни. Умер от саркомы 10 ноября 1891 года.

Менелик II (1844—1913) — объявил себя в 1865 году королем Абиссинии, с 1889-го — император Абиссинии. В 1895-м объявил войну своему прежнему союзнику — Италии, которая претендовала на расширение колониальных владений в Эритрее за счет Абиссинии. Победа при Адуа (1895) решила исход войны в пользу Абиссинии.

«Sensation» — впервые это стихотворение опубликовано без ведома автора в одном из парижских журналов в январе—феврале 1889-го. Известны по крайней мере семь переводов на русский. Некоторые приведены ниже.

«Les Effarés» — впервые издано в 1878-м в англ. журнале, затем во Франции — в 1883-м. Написано в сентябре 1870-го. Русские переводы: «Завороженные» (А. Арго,) «Испуганные» (В. Брюсов), «Потрясенные» (А. Ревич), «Завороженные» (В. Микушевич).

«Пьяный корабль» — стихотворение написано осенью 1871-го, впервые опубликовано без ведома автора в 1883-м. Русские переводы: Д. Самойлова, Б. Лившица, П. Антокольского, Е. Витковского, Н. Стрижевской, Д. Бродского, М. Кудинова, Д. Мартынова, других.

«Пора в аду» (другой перевод — «Лето в аду») — издана Рембо в 1873-м, написана в апреле—августе 1873-го. Поэт не смог оплатить тираж (500 экз.), тюк книг остался лежать на складе. Через несколько десятков лет этот тюк книг был найден. До этого открытия существовала легенда о том, что поэт сам уничтожил весь тираж книги, как бы этим актом прощаясь с литературой.

«На что же я способен? Я знаю, что такое труд, знаю, как медлительна наука». (Пора в аду. Вспышка». Перевод Ю. Стефанова.)

«Все ремесла мне ненавистны. Хозяева, рабочие, скопища крестьян, все это — быдло. Рука пишущего стоит руки пашущего. Вот уж поистине, ручной век! А я был и останусь безруким. Прирученность в конце концов заводит слишком далеко». («Пора в аду. Дурная кровь». Перевод Ю. Стефанова.)

«Я превращаюсь в волшебную оперу; я вижу, что все сущее обречено стремиться к счастью. Действие — это не жизнь, но способ попусту тратить силы, нечто вроде невроза, А мораль — это размягчение мозгов». (Пора в аду. Словеса в бреду. Алхимия слова. Перевод Ю. Стефанова.)

Конкистадор — испанский и португальский завоеватель. Здесь — завоеватель, грабитель, захватчик.

Кортес — (1485—1547) исп. конкистадор, завоеватель Мексики.

Галеры — здесь: гребные суда.

Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) — полководец, имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг.

Изамбар, Жорж — профессор риторики в гимназии Шарлевиля. Автор книги воспоминаний «Артюр Рембо в Дапэ и Шарлевиле».

Фантен-Латур, Игнац Анри (1836—1904) — французский художник и график, автор ряда групповых портретов. Здесь упоминается картина «Угол стола» (1872, Лувр. Париж) с Полем Верленом и А. Рембо.

Верлен, Поль Мари (1844—1896) — фр. поэт, много переводился на русский язык. О взаимоотношениях Рембо с Верленом — подробнее в эссе «Жизнь Поля Верлена».

Подкидыш Каспар Хаузер родился, вероятно, в 1812-м, умер в 1833-м. Появился в Нюрнберге в 1828-м, сначала едва мог связать несколько слов в разговоре с людьми. Постепенно получил какое-то образование. Смерть от колотой раны (убийца не был найден) и другие обстоятельства жизни подкидыша дали повод к обширным мифологическим построениям ряду поэтов, которые касались этой темы, в том числе в Верлену.

Ваганты (*лат.*) — в средние века актеры, беглые монахи, странствующие студенты.

Великое переселение народов — условное название массового вторжения на территорию Римской империи в 4—7 вв. германских, славянских, сарматских и др. племен.

Бодлер, Шарль (1821—1867) — фр. поэт.

«Гласные» — сонет написан, возможно в феврале—марте 1871-го. Известны переводы на русский В. Микушевича, И. Тхоржевского, Н. Стрижевской.

Анжамбеман (*лат., фр.*) — перенос, текучая строка.

«Озарения» — стихи в прозе. По свидетельству Верлена, были написаны в 1873—1875 гг. Впервые опубликованы в 1885-м.

Уитмен, Уолт (1819—1892) — американский поэт.

Ницше, Фридрих Вильгельм (1844—1900) — нем. философ, поэт, композитор.

Рапсодический — здесь: народно-эпический.

«Заратустра» — одно из последних произведений Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1885).

«Королева упругих ягодиц» — образ из стихотворения «Парижская оргия, или Столица заселяется вновь», написано, вероятно, в июле 1871-го, издано без ведома автора в 1884-м. Известны переводы Е. Витковского, Г. Русакова.

«Безумное сердце робинзонит по роману» — образ из стихотворения «Роман». Рукопись датирована сентябрем 1870г-го, впервые издано стихотворение посмертно, в 1891-м.

«Солдатско-фаллический» — образ из стихотворения «Украденное сердце». Написано летом 1871-го, впервые издано без ведома автора летом 1886-м. Русский перевод В. Орла.

«Перкализирует кожу» — образ из стихотворения «Сидящие» — пер. В. Парнаха. «Восседающие» — перевод В. Макушевича. Впервые издан без ведома автора в 1883-м.

«Искательницы вшей» — написано, вероятно, в 1871-м, впервые опубликовано без ведома автора в 1883-м. Русские переводы Б. Лившица и И. Анненского.

Блейк, Уильям (1757—1827) — англ. поэт и художник.

Китс, Джон (1795—1821) — один из самых значительных лириков английской романтики.

...подобно Фаусту... См. «Фауст». 1 часть. Рабочая комната. Монолог Фауста: «В начале было Слово». С первых строк Загадка. Так ли понял я намек?..», перевод Б. Пастернака.

Вступительная статья, перевод и примечания
Л. Миримова

АРТЮР РЕМБО В ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ

Sensation

Par les soirs bleus d'été, j'irai les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l'herbe menue:
Reveur, j'en sentirai la fraicheur á mes pieds.
Je Laisserai le vent baigner ma tete nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:
Mais l'amour infini me montera dans l'ame,
Et j'irai loin bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature,— heureux comme avec une femme

1870

Ощущение

В сапфире сумерек пойду я вдоль межи,
Ступая по траве подошвою босою.
Лицо исколют мне колосья спелой ржи.
И придорожный куст обдаст меня росою.

Не буду говорить и думать ни о чем —
Пусть бесконечная любовь владеет мною,—
И побреду, куда глаза глядят, путем
Природы — счастлив с ней, как с женщиной земною.

1934

Перевод ***Б. ЛИВШИЦА***

Ощущение

Один из голубых и мягких вечеров...
Стебли колючие, и нежный шелк тропинки,
И свежесть ранняя на бархате ковров,
И ночи первые на волосах росинки.

Ни мысли в голове, ни слова с губ немых,
Но сердце любит всех, всех в мире без изъятья,
И сладко в сумерках бродить мне голубых,
И ночь меня зовет, как женщина в объятья...

1904

Перевод ***И. АННЕНСКОГО***

Влечение

Направлюсь вечером я прямо в синеву;
Колосья соблазнят мечтателя щекоткой;
Коснется ветер щек, и я примну траву.
Беспечно странствуя стремительной походкой.

Пойду, не думая о том, чего не жаль;
Впервые утолив мой пыл нетерпеливый,
Кочевника прельстит изменчивая даль:
Природа, я в пути любовник твой счастливый!

Перевод ***В. МИКУШЕВИЧА***